ISSN 0130–6545

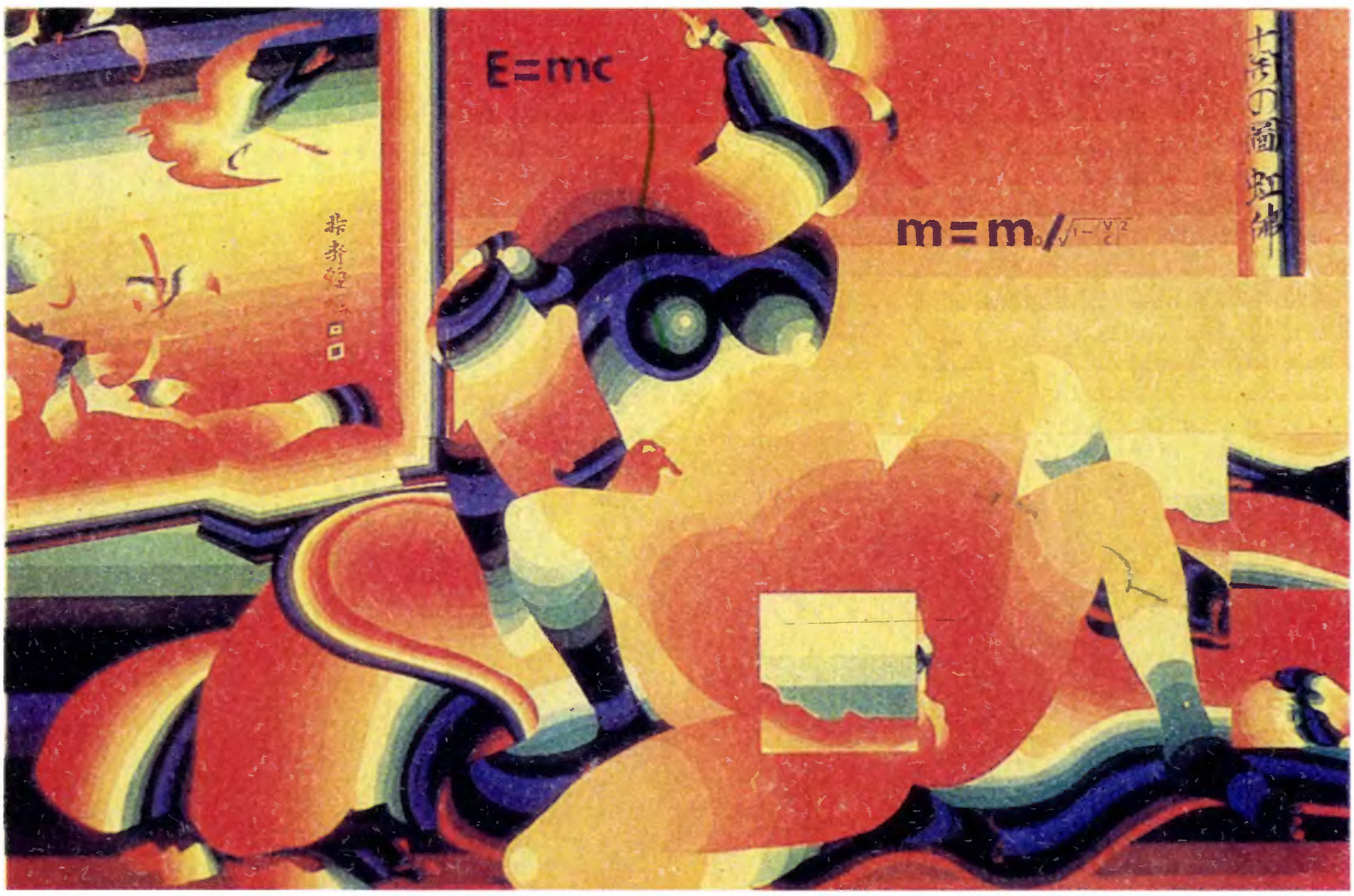
5.1993 ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

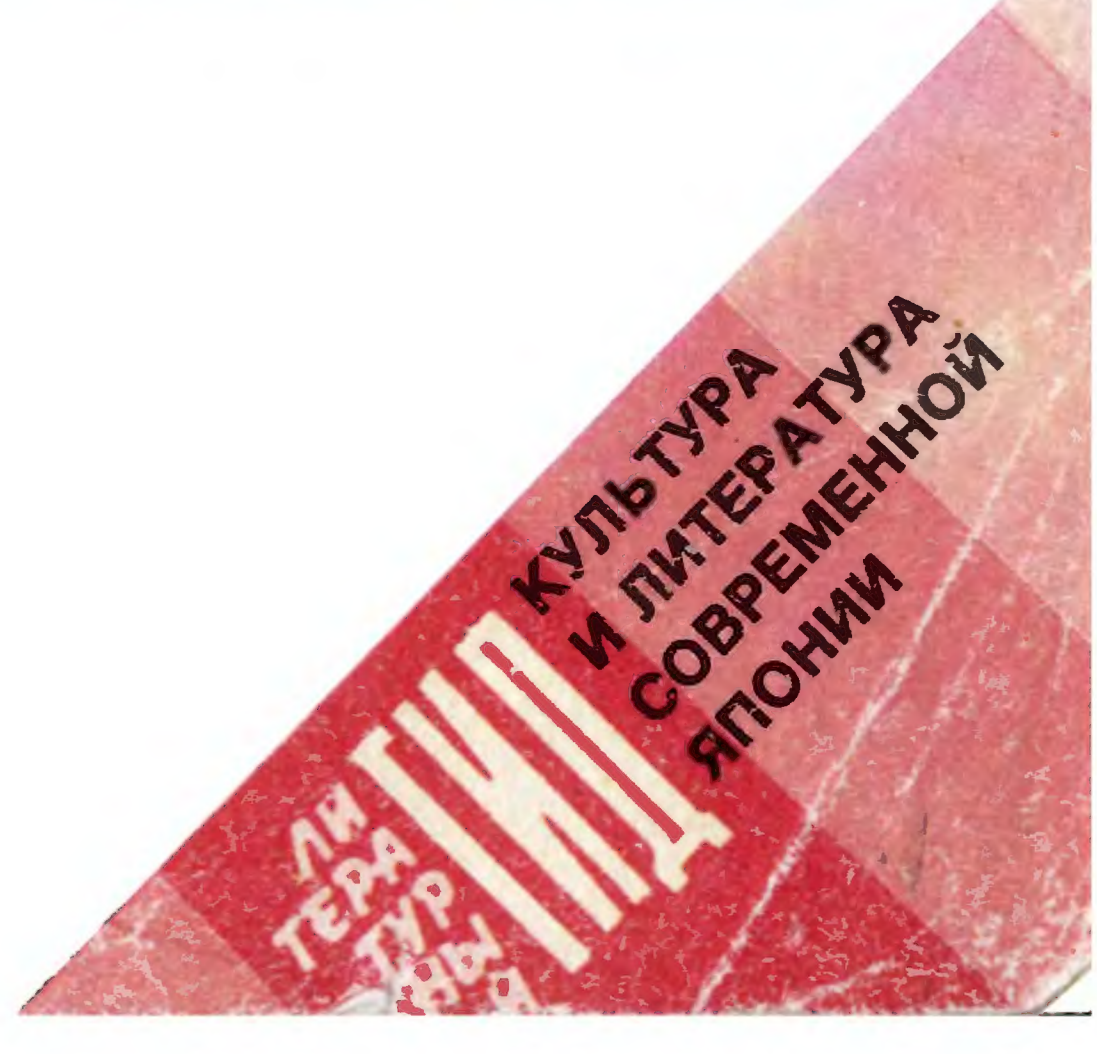
ГЕРМАН ГЕССЕ
Демиан
Письма к друзьям

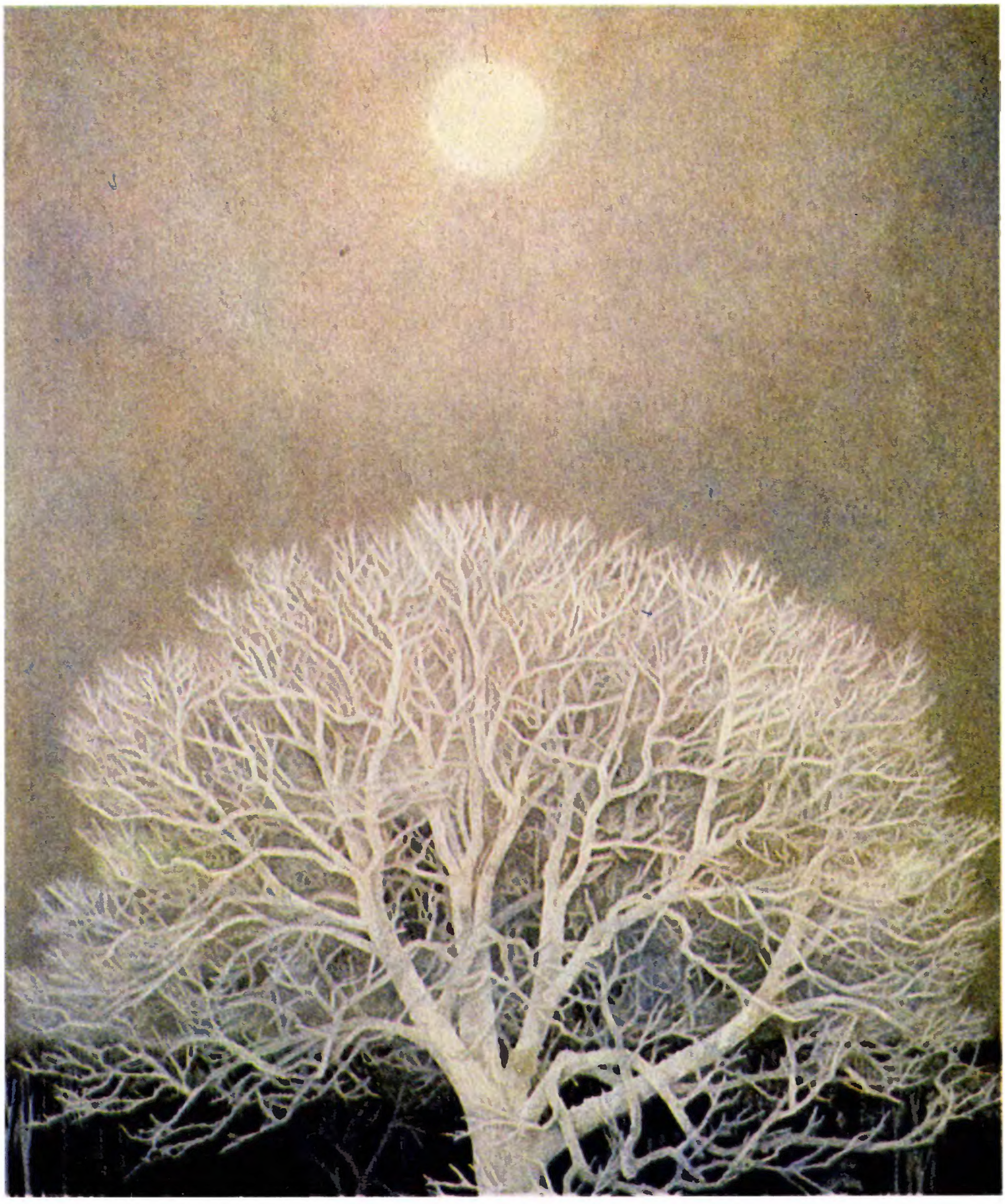
ДЖОН АПДАЙК
Два рассказа

«РОЛЛИНГ СТОУНЗ»
Тексты песен



Этот номер журнала выпущен при содействии Японского фонда





ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1993 года в «ИЛ» будут опубликованы:

Самый известный роман выдающегося английского писателя ДЖОНА ФАУЛЗА «Волхв» и «совершенно ошеломляющий», по отзыву «Таймс», роман-мистификация другого английского художника слова ПИТЕРА АКРОЙДА «Завещание Оскара Уайльда».

В разделах «Литературное наследие» и «Классика XX века» читайте повесть-эссе ЭЛИАСА КАНЕТТИ «Другой процесс, Франц Кафка в письмах к Фелице», новеллу ГАБРИЕЛЕ Д'АННУНЦИО «Леда без лебедя», рассказы ВЛАДИМИРА НАБОКОВА, Г. КОЛЕТТ, И. Б. ЗИНГЕРА.

В разделе «Документальная проза» мы напечатаем уникальную книгу рисунков и мини-эссе ДЖЕНА ИОНЕСКО «Черное и белое», а также два американских бестселлера минувшего года: книгу о ДЭН СЯОПИНЕ, написанную известным советологом и китаистом ХАРРИСОМ СОЛСБЕРИ, и книгу адвоката ЭДВАРДА ДЕ ГРАЦИА о знаменитых процессах века над литературными произведениями — «Улиссом», «Тропиком Рака», «Любовником леди Чаттерли».

Будет продолжена серия «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД»

Где бы вы ни жили, став подписчиком «ИЛ», вы окажетесь в центре литературной жизни современного мира.

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ — заместитель главного редактора
Н. Н. СКУРСКАЯ — ответственный секретарь
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заведующий отделом критики и публицистики

Л. А. ЖМЫРЕВ — коммерческий директор

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, М. Н. ВАКСМАХЕР, Е. Ю. ГЕНИЕВА,
В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ,
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. Э. ИВАНОВА,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, А. В. КАРЕЛЬСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ,
А. С. МУЛЯРЧИК, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ,
Н. Л. ТРАУБЕРГ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ИЛ»

РОБЕР МЕРЛЬ. **«Мадрапур».** Роман. Во время авиарейса из Парижа в таинственное государство Мадрапур, расположенное, по слухам, где-то в Индии, обнаруживается, что самолет движется в неизвестном направлении, ведомый некой мистической силой. Описание взаимоотношений между пассажирами, волей случая или рока оказавшихся на борту самолета, их поведения на краю внезапно разверзшейся бездны и составляет содержание порой забавного, порой драматического повествования, которое являет собой попытку философского осмысления различных аспектов человеческого бытия.

В новой рубрике раздела критики «ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕССА МИРА» мы представим читателю британский литературный еженедельник **«Таймс литерари сапплмент».**

На страницах обложки — работы современных японских художников: АЙ-О (1-я стр.), КАЙИ ХИГАСИЯМЫ (2-я стр.), ХЭЙХАТИРО ФУКУДЫ (3-я стр.), МУНАКАТЫ СИКО (4-я стр.)

По всем вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская площадь, 5.

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**

Технический редактор **Г. И. Голосовская**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47.

Журнал выходит один раз в месяц.

При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 05.02.93. Подписано в печать 07.04.93. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 25,69. Заказ № 3493.

Тираж 103 000 экз. Цена по подписке 33 р.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика». Полиграфическая фирма «Красный пролетарий», 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

5 май 1993

СОДЕРЖАНИЕ

ДЖОН АПДАЙК — Два рассказа *(Перевод с английского И. Бернштейн)* 5

ЖАН-КЛОД БРИСВИЛЬ — Ужин *(Пьеса. Перевод с французского Ирины Кузнецовой. Вступление Андрея Смирнова)* 13

Из классики XX века

ГЕРМАН ГЕССЕ — Демиан. История юности, написанная Эмилем Синклером *(Перевод с немецкого и послесловие С. Апта)*. Письма к друзьям *(Перевод с немецкого Г. Барышниковой)* 39

МИК ДЖЭГГЕР и КИЙТ РИЧАРД — Тексты песен группы «Роллинг стоунз» *(Перевод с английского Г. Агафонова. Вступление В. Скороденко)* . 116

Литературный гид: «Культура и литература современной Японии»

АКИРА КУРОСАВА — Жабий жир *(Нечто вроде автобиографии. Фрагменты. Перевод Л. Ермаковой)* 125

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ ТАНКА. Стихи Мотоко Митиуры, Мати Тавары и Амари Хаяси *(Перевод и предисловие Т. Соколовой-Делюсиной)* . . 153

КЭНДЗИ НАКАГАМИ — Поклон издалека *(Перевод Т. Соколовой-Делюсиной)* 158

ХАРУКИ МУРАКАМИ — Авария на Нью-Йоркской шахте *(Перевод Л. Громковской)* 164

МАСАХИКО СИМАДА — Дельфин в пустыне *(Перевод Т. Соколовой-Делюсиной)* 172

АННА ОГИНО — Водяной мешок *(Перевод Г. Чхартишвили)* . . 182

КЭНДЗИ МАРУЯМА — Плач по луне *(Перевод Г. Чхартишвили)* . . . 213

Г. ЧХАРТИШВИЛИ — Невыносимая тяжесть легкости. Японская проза в конце века 239

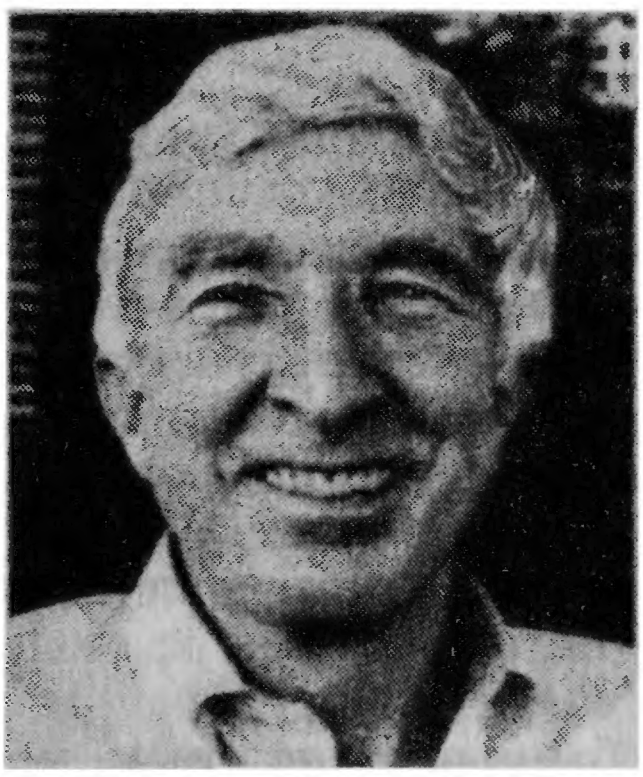
В. АЛПАТОВ — Япония: язык и миф о языке 245

А. МЕЩЕРЯКОВ — Взгляд на пространство и пространство взгляда . 251

Японская литература на страницах «ИЛ» 163, 171, 238

Авторы этого номера . 256

© «Иностранная литература», 1993



ДЖОН АПДАЙК

Два рассказа

Перевод с английского ***И. БЕРНШТЕЙН***

Листья

Виноградные листья у меня за окном поразительно красивы. Поразительно — потому что после долгой ночи сосредоточения на себе, страха и позора мне странно видеть, что, оказывается, по-прежнему есть в мире красота, что независимо от наших крахов по-прежнему сохранились естественная соразмерность и ненавязчиво-изощренное изобилие «изобразительных средств», чем метит Природа истинные создания свои. Природа; сегодня утром я точно знаю, что природное — это то, чему чуждо чувство вины. Наши тела существуют в Природе; наши ботинки, шнурки, пластмассовые наконечники шнурков — все, что вокруг нас, вблизи и вдали,— существуют в Природе; и, однако же, что-то нас к ней не пускает, вроде выталкивающей силы воды, которая не дает коснуться песчаного дна, такого ребристого, усеянного полумесяцами ракушечных обломков,— а кажется, вон оно, только руку протянуть.

На ветку за окном прилетела сойка. И сразу прочно устроилась, чуть враскорячку, повернув ко мне облезлую гузку, а голова настороженно окаменела, отпечатавшись хищным крючконосым силуэтом на фоне белесого неба, простершегося над ржавым болотом. Видите ее? Я вот увидел и, оборвав цепь своих мыслей, протянул руку сквозь стекло, поймал и запечатлел на этом листе. А она уже улетела. Но все равно так и осталась несколькими строчками выше враскорячку сидеть на ветке, и гузка у нее облезлая, а голова настороженно окаменела. Что умею, то умею, хоть это, может, никому и не нужно.

Виноградные листья там, где не затеняют друг друга, золотятся. Плоские, они принимают на себя и отбрасывают лучи всей поверхностью, и чистый свет, эта сумма спектра и источник жизни, отражается ярко-желтым, как его раскрашивают дети. На жухлых листьях заемное это свечение густеет до темно-оранжевого, а те, что еще свежи и зелены — потому что, если присмотреться, зелень держится в листве до глубокой осени,— отцеживают из солнца нежную лимонную субстанцию. Тени, которыми листья пятнают друг друга, нервные и бегучие на ветру, рассыпающем по крыше уютные шорохи, образуют несмотря на это разные четкие узоры — какие-то бессчетные варварские ятаганы, копейные наконечники, двузубцы, боевые шлемы. Но общее впечатление, как ни странно, совсем не угрожающее. Наоборот, прихотливая игра символов одновременно крова и пространства, тепла и ветра манит наружу; мой взгляд ныряет в листву за окном. Листья, листья со всех сторон. На дубе они как цепкие когти, в иссиня-бурой ржавчине. На вязе — перистые, сквозящие женственной желтизной. На сумахе — зубчатые, рдеющие горячим румянцем. Я блаженно плаваю в огненной лиственной вселенной. Но что-то цепляет меня и тянет назад во внутреннюю тьму, где солнцем — больная совесть.

Надо разобраться в событиях. Мне говорят, что я вел себя бессовестно; теперь понадобится немало времени, чтобы как-то совместить это всеобщее

осуждение с сознанием безоговорочной правоты, которая в наших собственных глазах всегда облекает наши поступки, даже самые неудачные. Ну, а когда события разобраны — действиям найдена мотивация, действующим лицам придана психология, промахи разбиты на категории, злодеяния названы своими именами, все эти буйные непричесанные джунгли подстрижены объяснениями и укоренены в Истории, тем самым как бы возвратившись в Природу,— что тогда? Не сомнителен ли такой возврат? Способны ли наши души утешиться сознанием, что все пройдет, и мирно растаять в лиственном перегное? Нет. Мы стоим на пересечении двух миров, и нет хода ни вперед, ни назад, только может еще тоньше стать разделяющая грань.

Я помню очень отчетливо, какое черное платье было на жене, когда она уходила из дому получать развод. Мягкое, облегающее, с треугольным вырезом, оно всегда ей шло, выгодно оттеняло ее бледность. В то утро она была особенно красива: лицо такое бледное, измученное, мертвенное. А тело, ведь оно относится к миру Природы, знать ничего не знало о нашем крахе, оно выглядело и двигалось до несуразности как всегда. Уходя, она мельком чмокнула меня, и мы оба ощутили юмор ситуации: можно было подумать, что она просто собралась, как обычно, в Бостон — на концерт в «Симфони-холл» или за покупками в «Бонвит» [1]. Так же нашарила в сумочке ключи, и так же озабоченно дала наставления благодушной женщине, которая оставалась с детьми, и так же, сев в машину, сперва провалилась с головкой, а потом вынырнула и подалась вперед. Получив, наконец, то, что хотел, разведенный, я посмотрел на своих детей глазами оставившего их, оглядел дом, как разглядывают фотоснимки из невозвратного прошлого, сел в машину и рванул через осенний пейзаж, точно человек в асбестовой робе через бушующее пламя,— туда, где меня ждала новая суженая, в слезах, но с улыбкой, потрясенная, но недрогнувшая, и тут, к своему ужасу, вдруг почувствовал, что мой внутренний мрак, разодрав кожу, вырвался наружу и поглотил нас обоих, утопил нашу любовь. Мир Природы, к которому она относилась, перестал существовать. Мое сердце испуганно шарахнулось назад, да так по сей день и дрожит в испуге. Я отступил. И когда ехал обратно, листья на деревьях вдоль шоссе служили мне дорожными знаками. Вот и вся история. Я по телефону притянул жену назад; крепко обнял черное платье и приготовился встретить боль.

Она не заставляет себя ждать, боль. Что ни день, новая ее порция приходит по почте, во взгляде, по телефонному проводу. При каждом звонке я жду, что вот сейчас отмотается новый виток последствий. Спрятался в этот загородный домик, но и здесь есть телефон, и шорохи ветра, сучьев, невидимки-зверьки заряжены его электрическим молчаньем. В любую минуту он может взорваться, и снова затмится поразительная красота листьев.

Я встаю и нервно прохожу по половицам. Прямо в воздухе, перед самым моим лицом, белой типографской звездочкой висит паучок. Задираю голову, но никак не разгляжу на потолке, где прикреплена к сухой штукатурке его паутинка. Паучок в нерешительности. Чувствует чужое исполинское присутствие. Воинственно растопырив белые симметричные ножки, он под действием собственной тяжести начинает вращаться на невидимой нити. Ловлю себя на том, что стою в забавной древней позе мудреца, который тщится из созерцания паука извлечь мораль [2], и мне становится стыдно. Однако я отбрасываю стыд и сосредоточиваю внимание на крохотном многоугольничке, так настойчиво спущенном к самому моему носу. Мораль никак не извлекается. Мы с пауком обитаем в сопредельных, но несовпадающих вселенных. Через пропасть нас объединяет только страх. Телефон молчит. Паучок, поразмыслив, начинает вращаться в обратную сторону. А ветер продолжает размешивать солнечный свет. Выходя и входя,

---

[1] Дорогой универсальный магазин в Бостоне. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Согласно популярной легенде, шотландский король Роберт Брюс (1306—1329) научился упорству у паука, наблюдая, как тот снова и снова плетет свою постоянно сметаемую паутину; пример вдохновил короля, и он в конце концов выгнал англичан из своей страны.

я натаскал на подошвах несколько сухих листьев, они расплющены на полу, как обрывки темной бумаги.

А эти страницы разве не листья? И разве не для того я их исписываю, чтобы посредством некоего личного фотосинтеза переложить мою вину на Природу, у которой нет виноватых? Топкий берег, ровный, как ковер, теперь весь в бледно-зеленых разводах по коричневому разных оттенков: охряного, ржавого, рыжего, каштанового,— а там, где суша поднимается выше уровня прилива, хмуро топорщатся хвойные верхушки. За ними виднеется невысокий синий холм; здесь, в прибрежном краю, холмы слишком скромны, чтобы иметь имена. Но я его вижу, вижу впервые за месяцы. Как мальчишка, вцепившись кончиками пальцев и вытянув шею, видит за безжалостно высоким забором крышу скрытого дома. А под окном трава отросла и полегла нестриженая, зеленая, вперемешку с листьями, летящими с подростка-вяза; и я вспоминаю, как приехал в этот домик, убежденный, что оставил свою жизнь в городе, и в первую ночь лег спать один, взяв почитать перед сном, как берут в чужом доме, первую попавшуюся книгу, старое издание «Листьев травы». Сон мой был подобен петле: когда я проснулся, то оказался как бы еще в книге, и светящееся небо, сквозящее в голых ветвях молодого вяза, будто бы тоже было страницей из Уитмена, и я лежал весь нараспашку, как женщина, отдающаяся страсти, свободный и любящий, без единого темного уголка в душе. Это было божественное пробуждение. Но к вечеру я уже снова был у себя дома.

Четкие дикарские тени виноградных листьев сместились. Изменился угол падения света. Мне кажется, что тепло снаружи навалилось на дверь, я подхожу и открываю ему — и солнечный свет плашмя падает к моим ногам, как кающийся грешник.

Звонил твой любовник

Зазвонил телефон, и Ричард Мейпл, ввиду простуды и последнего рабочего дня недели оставшийся сегодня дома, ответил: «Алло?» Но на том конце провода повесили трубку. Он возвратился в спальню, где Джоан застилала кровать, и объявил:

— Звонил твой любовник.

— Да? И что сказал?

— Ничего. Повесил трубку. Не ожидал застать меня дома.

— Может, это была твоя любовница.

Ричард чувствовал, несмотря на насморк и муть в мозгах, что тут какая-то несообразность, и в конце концов сообразил какая:

— Если б это была моя любовница, зачем бы она стала вешать трубку, когда услышала мой голос?

Джоан встряхнула простыню, отчего получился громкий хлопок, и сказала:

— Может, она тебя разлюбила.

— Дурацкий какой-то разговор.

— Ты же его начал.

— А ты бы что подумала, если бы тебе позвонили в будний день, ты отвечаешь, а там вешают трубку? Он явно рассчитывал застать тебя одну.

— Ну, что же. Если ты сходишь за сигаретами, я пока отзвоню ему и объясню, в чем дело.

— Ты думаешь, я подумаю, что ты шутишь, а я знаю, что на самом деле так именно и будет.

— Да ладно тебе, Дик, брось, пожалуйста. Ну кто бы это мог звонить? Фредди Веттер?

— Или Гарри Сэксон. Или вообще кто-нибудь, кого я не знаю. Какой-нибудь бывший однокашник, который переехал жить в Новую Англию. Или молочник. Я иногда, пока бреюсь, слышу, как вы с ним любезничаете.

© by John Updike, 1979

— В окружении толпы голодных детей. И ему пятьдесят лет, и у него волосы из ушей растут.

— Как у твоего отца. Тебе вообще нравятся мужчины старшего возраста. Вроде того дяденьки-чосероведа, у которого мы занимались, когда только познакомились. Факт таков, что ты последнее время ходишь какая-то ужасно счастливая. Возишься по дому, а на губах улыбочка. Вот, вот и сейчас!

— Я улыбаюсь, потому что ты городишь чушь. Нет у меня любовника. Мне некуда его втиснуть. Все мое время уходит на самоотверженное обслуживание мужа и его многочисленных детей.

— Ах, так значит, это я заставил тебя заводить столько детей? А тебя манила карьера дизайнера. Или увлекательный мир бизнеса. Может быть, самолетостроение. Первая женщина-конструктор титанового фюзеляжа. Или автор методики преодоления цикличности в урожаях зерновых. Джоан Мейпл — известный агроном. Джоан Мейпл — специалистка по геополитике. Если бы не похотливая скотина муж, за которого она вышла по недоразумению, эта благородная женщина — сознательный гражданин нашего стонущего в нищете общества...

— Дик, ты мерил температуру? Я уже много лет не слышала от тебя такого бреда.

— А я уже много лет не сталкивался с таким предательством. Этот тихонький щелчок в трубке. Такой ядовитый многозначительный щелчок — мол, я знаю твою жену получше, чем ты.

— Дети, наверно. Ты давай до вечера выздоравливай, если мы хотим, чтобы к ужину пришел Мак.

— Ах, так это Мак, да? Сукин сын. Еще развод не оформлен, а он звонит моей жене. Да еще рассчитывает, что у меня для него от яств стол будет ломиться.

— Слушай, я сейчас сама подломлюсь. У меня из-за тебя мигрень начинается.

— Ясное дело. Сначала я в безумной жажде потомства заставляю тебя рожать детей, а потом я же довожу тебя до менструальной мигрени.

— Ложись в постель, я тебе принесу апельсиновый сок и тосты палочками, как тебе мама жарила.

— Ты прелесть.

Пока он поудобнее устраивался под одеялом, телефон в коридоре снова зазвонил, и Джоан взяла трубку.

— Да... нет... нет... хорошо,— только и произнесла она и щелкнула рычажком.

— Кто это был? — крикнул он.

— Предлагали купить «Всемирную книжную энциклопедию»,— отозвалась она.

— Очень правдоподобно,— язвительно буркнул он, упиваясь своей иронией, и откинулся на подушки, убежденный, что придирается зря, что никакого любовника не существует.

Мак Деннис — простой симпатичный застенчивый парень, их ровесник, жена его Элинор уехала в Вайоминг оформлять развод. Он о ней говорит с приторной нежностью, будто о любимой дочери, впервые отпущенной в летний лагерь, или об отлетевшем ангеле, поддерживающем, однако, тесную электронную связь с презренной землей.

— Она пишет, у них там потрясающие грозы. Дети каждое утро катаются верхом, а вечером играют в компьютерные игры и к десяти ложатся спать. Все чувствуют себя хорошо как никогда. У Элли даже астма прошла, она теперь думает, это у нее была аллергия на меня.

— Надо было тебе обриться наголо и ходить в целлофане,— говорит Ричард.

Джоан спросила:

— А ты-то сам как себя чувствуешь? Питаешься хоть нормально? Мак, по-моему, ты очень отощал.

— Я теперь, когда не ночую в Бостоне,— отвечает Мак, шлепая себя по карманам в поисках сигарет,— ужинаю в мотеле на Тридцать третьем шоссе. Там самая лучшая кормежка, и можно смотреть, как детишки купаются в бассейне.

И опускает взгляд на свои пустые ладони, будто принес в них сюрприз. А весь сюрприз, должно быть,— что он скучает по собственным детям.

— У меня тоже сигареты кончились,— говорит Джоан.

— Я съезжу куплю,— вызвался Ричард.

— И бутылку «Горького лимонного» в винной лавке.

— А я пока приготовлю кувшин «мартини»,— сказал Мак.— Верно ведь, здорово, что кончилась жара и можно опять пить «мартини»?

Было то время года, когда днем еще продолжается позднее лето, а с наступлением темноты оказывается, что уже осень. Над центром, куда Ричард приехал за вином и сигаретами, сгустился вечер, ярко залучились неоновые вывески. Перхота комком пряталась в его простуженном горле; и было как-то отчаянно весело, оттого что весь день пролежал в постели, а теперь вот не только встал, но даже вышел из дома. Вернувшись, он припарковал машину у заднего забора и пошел к крыльцу по траве, оглушительной от опавших листьев, хотя кроны деревьев вокруг были по-прежнему густы. Освещенные окна его дома идиллически золотились — наверху в детских комнатах (мелькнуло на фоне обоев лицо Джудит, старшей дочки, розовая кургузая пятерня поднялась и поправила куклу на полке) и внизу в кухне. В кухонных окнах, где горят лампы дневного света, безмолвно разыгрывается живая картина. Мак держит шейкер и переливает коктейль в невидимый стакан, который подставляет ему белая вытянутая рука Джоан. Джоан игриво откинула голову и что-то говорит, чуть выпятив губы; Ричарду знакома эта ее манера, она так делает, когда смотрится в зеркало или когда разговаривает со старшими — вообще когда старается предстать в выигрышном виде. То, что она говорит, рассмешило Мака, льющая рука дрогнула (по металлической крышке метнулся зайчик, выплеснулась зеленая капля). Он ставит шейкер на стол и опять поднимает перед собой пустые ладони, как раньше, когда в них не оказалось сюрприза. Джоан, прямо со стаканом в руке, подалась к нему, ее голова, удлиненная пучком на макушке, с зачесанными кверху волосами и с пушистой светлой змейкой на затылке заслонила лицо Мака, видны только глаза, и они закрываются. Поцелуй. Джоан наклонила голову чуть вправо, Мак — чуть влево, чтобы удобнее соприкоснуться губами. Изящную линию ее плеча продолжает отведенная рука со стаканом. Второй она обвила его шею. А на заднем плане за открытой дверцей кухонного шкафчика ошалело замерли в ряд картонные коробки с засыпкой, названий Ричарду не разобрать, но можно догадаться по раскраске: «Чирио», «Пшенично-медовая», «Луковая стружка». Джоан отодвигается от Мака и указательным пальцем проводит сверху вниз по его летнему клетчатому галстуку, кончая тычком в живот, то ли отталкивает, то ли в знак сожаления. Его лицо, бледное, с тенями от резкого верхнего света, вроде бы в шутку, но целеустремленно надвигается снова. Все замедленно и плавно, как сцена под водой. И еще похоже на бессмысленное, беззвучное, увиденное мельком снаружи изображение на чужом телеэкране. К верхнему окну подошла Джудит, но она не видит папу в густой древесной тени. Постояла в своей желтой кисейной рубашонке, почесала бесхитростно под мышкой, разглядывая бьющуюся в сетку ночную бабочку; и от этого соглядатайства сердце у Ричарда, как у ребенка, который сидит один и смотрит кино, тоже переполняется ощущением опасной причастности к тайнам бытия. Во втором кухонном окне виден закипающий чайник, над ним распускается белый плюмаж пара, запотевают стекла. Джоан опять что-то произносит, ее выпяченные губы перебрасывают быстрые мостики через сужающуюся пропасть. Мак не дотянулся, пожал плечами, сморщил губы, будто заговорил по-французски. Джоан, смеясь, запрокинула голову, победно отвела свободную руку и снова очутилась у него в объятиях. Его распластанная пятерня у нее на пояснице ползет вниз и исчезает из виду, скрытая краем кухонного стола.

Ричард, громко шаркая подошвами по бетонным ступеням, спустился из сада к задней двери, открыл ее пинком, давая им время отодвинуться друг от друга. Из конца в конец кухни они показались ему маленькими, меньше детей, и лица растерянные, как спросонья. Джоан выключила горелку под кипящим чайником, а Мак поплелся навстречу Ричарду, доставая из кармана деньги за сигареты.

После третьего коктейля, когда стеснение снялось, Ричард сказал, сам упиваясь жалобной гнусавиной в своем голосе:

— Вообразите, каково мне было. Я, больной, отправляюсь среди ночи купить сигареты жене и гостю, чтобы они могли отравлять тут атмосферу, обостряя мой и без того тяжелый бронхит, возвратился, иду через задний двор, и что же я вижу в окне? Они у меня на кухне представляют сцены из Кама-сутры. Прямо какой-то порнофильм, и вместо актеров — знакомые.

— Где это ты теперь смотришь порнофильмы? — спросила Джоан.

— Глупости, Дик,— смущенно произнес Мак, потирая себе ладонями ляжки.— Обыкновенный братский поцелуй. Родственное объятие. Бескорыстная дань восхищения твоей обворожительной супруге.

— Ей-богу, Дик, по-моему, с твоей стороны большое свинство стоять и подсматривать в собственные окна,— сказала Джоан.

— Стоять! Да я просто окаменел от ужаса! Получил глубокую душевную травму. Впервые в жизни наблюдал такую сцену.— Ричарда распирало упоительное чувство торжества; сила его острословия, издевки казалась беспредельной, и эти двое словно куклы, гомункулы у него в руках, он может ими забавляться, как вздумает.

— А мы ничего и не делали,— говорит Джоан и вскидывает голову, хочет быть выше всего этого; красивая шея напряжена, губы выпячены, как припухли.

— Еще бы! По вашим меркам, так вы только начали, я думаю. Успели испробовать далеко не весь арсенал возможных поз соития. Вы что, думали, я не вернусь? Может, вы подсыпали мне яду в стакан, а я оказался слишком живучий, как Распутин, и не умер?

— Дик,— говорит Мак,— Джоан любит тебя. И я тоже; если есть мужчина, которого я люблю, то это ты. Мы с Джоан уже давно навели в этом деле ясность и решили, что останемся просто друзьями.

— Что это еще за ирландский разговорчик, Мак Деннис? «Из всех мужчин мне мил лишь ты один». Обо мне можешь не думать, приятель. Ты бы лучше вспомнил про бедняжку Элинор, которая выбивается где-то из сил, доставая тебе развод, трясется каждый божий день верхом на лошади и играет до посинения в компьютерные игры...

— Садимся есть,— говорит Джоан.— Я из-за тебя так разнервничалась, что, наверно, пережарила мясо. И перестань паясничать, Дик, тебя это ничуть не извиняет.

На следующее утро Мейплы проснулись квелые и раздраженные с похмелья. Мак просидел до двух часов — в знак того, что никто ни на кого не в обиде. По субботам Джоан ездит утром играть с другими дамами в теннис, а Ричард тем временем забавляет детей. Уже переодевшись в белые шорты и кроссовки, она задержалась, чтобы доругаться.

— До чего же надо было дойти — выдумать такое про меня и Мака,— говорит она Ричарду.— Зачем это тебе понадобилось, интересно? Следы заметаешь?

— Моя дорогая миссис Мейпл, я же видел собственными глазами в моем собственном окне, как ты очень похоже изображала паучиху, которой щекочут брюшко. Где это ты научилась так крутить головой? Ну прямо шарик на пальце у кукольника, только еще выразительнее.

— Мак всегда на кухне меня целует, так у нас заведено и ничего не значит. Ты ведь прекрасно знаешь, как он влюблен в свою Элинор.

— Так влюблен, что разводится. Преданность прямо донкихотская.

— Развод — это ее затея, как тебе известно. А он очень тоскует. Я его жалею.

— О да, в этом я мог убедиться. Сестра милосердия под Верденом.

— Что бы мне хотелось понять, это чему ты так радуешься?

— Радуюсь? Я раздавлен.

— Ты страшно доволен. Посмотри в зеркало на свою ухмылку.

— Ты так поразительно не выказываешь ни малейшего раскаяния, что я думаю, может, ты шутишь.

Зазвонил телефон. Джоан взяла трубку и сказала: «Алло». Ричарду на расстоянии слышен щелчок: там положили трубку. Джоан отвернулась от телефона и говорит Ричарду:

— Вот так-то. Она думала, что я давно уже играю в теннис.

— Кто это — она?

— Это ты мне скажи — кто. Твоя любовница. Дама сердца.

— Это был явно твой любовник. Что-то в твоем голосе его насторожило, и он дал отбой.

— Ну и отправляйся к ней! — вдруг взрывается Джоан, с таким же выбросом энергии она в другие похмельные утра устремляется переделывать горы домашних дел.— Отправляйся к ней, будь мужчиной, чем морочить меня и толкать неизвестно на что! Нет у меня любовника! Я позволила Маку себя поцеловать, потому что он был пьян и ему одиноко! И не старайся сделать меня интереснее, чем я есть! Я просто замотанная домашняя хозяйка и хочу только поиграть в теннис с другими такими же замученными женщинами.

Ричард молча достает из чулана ее недавно перетянутую ракетку, подносит, держа в зубах по-собачьи, и кладет у ее кроссовок. В эту минуту в комнату входит Ричард-младший, их первенец, девятилетний крепыш, в настоящее время одержимо коллекционирующий карточки «про Бэтмена», оказывается свидетелем этой сцены и, чтобы скрыть испуг, смеется.

— Пап, можно мне сейчас десять центов? Я вытряхнул все мусорные корзинки.

— Мама уезжает играть, Дикки,— говорит Ричард, слизывая с губ соленый вкус ракетки.— А мы давайте все поедем в игрушечный магазин и купим «Бэтмобиль».

— Ура,— вяло радуется мальчик и переводит широко распахнутые глаза с одного родителя на другого, словно видит, как предательски расширяется между ними пропасть.

Ричард свозил детей в игрушечный магазин, потом на детскую площадку, потом накормил гамбургерами у лотка. И от этих невинных занятий остатки насморка и похмелья у него в голове переродились в косматую усталость, чистую, как сон младенца. Он послушно кивал, пока сын пересказывал ему нескончаемый «мультик»:

— ...и понимаешь, пап, у Пингвина оказался зонтик, из которого шел дым, здорово так, и там в банке были еще двое в таких смешных масках, они стали лить воду, я не понял зачем, чтобы лопнул, что ли, а Робин от воды лезет по монетам, вроде полтинников, они столбиками составлены и разъезжаются, а потом, понимаешь, пап...

Когда наконец оказались дома, детей немедленно унесло той таинственной приливно-отливной волной, которая в другие дни затопляла двор Мейплов неизвестно чьими чужими сорванцами. Джоан вернулась после игры розовая, разгоряченная, лоснясь от пота, с черными, запудренными пылью лодыжками. Ричард предложил лечь и устроить мертвый час.

— Только мертвый час, и больше ничего,— предупредила Джоан.

— Конечно,— согласился он.— У меня ведь на детской площадке было свидание с любовницей, и мы удовлетворили друг друга на карусели.

— Марлин и я обыграли Лиз и Алису. Это не могла быть ни одна из них, они все втроем дожидались меня целых полчаса.

В кровати (рядом на тумбочке в непривычном полусвете от зашторенного солнечного окна пузырилась таинственным светом вчерашняя вода в стакане) он спросил:

— Значит, по-твоему, я хочу сделать тебя интереснее, чем ты есть?

— Конечно. Так тебе скучно. Ты же нарочно оставил меня с Маком наедине. Разве это на тебя похоже — простуженному выходить на улицу?

— Как это грустно, что у тебя нет любовника.

— Уж извини.

— Но ты вообще-то все равно довольно интересная. Вот здесь, и здесь, и здесь.

— Я же сказала: просто мертвый час.

За дверью спальни в коридоре зазвонил телефон. Испустил четыре рулады — четыре пущенные издали ледяные стрелы — и смолк без ответа. Помолчал в недоумении. Затем вопросительно, на пробу, звякнул, словно кто-то, проходя, задел стол,— и пошли, маршируя друг за другом, звонки, настаивая, сетуя, они повторялись, пока счет не достиг двенадцати; после этого любовник повесил трубку.

ЖАН-КЛОД БРИСВИЛЬ

Ужин

ПЬЕСА

Перевод с французского ИРИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ

Два негодяя за бутылкой шампанского торгуются по поводу того, какой нужен режим в стране, чтобы им обоим не остаться внакладе.

А если на языке родных осин?

Два прагматика пытаются достичь консенсуса по вопросу об исполнительной власти в переходный период.

Однодневка на злобу дня? Только почему — французская, а злоба — российская?

Выводя на сцену таких деятелей, как Талейран и Фуше, драматический писатель сразу попадает в болото истории. Это не статисты какие-нибудь, а первоплановые политические актеры наполеоновской драмы, каждый из них породил собственную легенду, она занимала Бальзака, Гюго, Цвейга. Жизнь их описана и истолкована в сотнях томов документов, воспоминаний, специальных исследований. Не успеет отважный автор и рта раскрыть, как строго научный хор укажет ему пределы. Талейран? Ну, как же, отец лжи, епископ-расстрига, игрок, бабник, взяточник, продал церковь революции, Директорию — Бонапарту, Бонапарта — Бурбонам, человек, «не продавший родную мать только потому, что не нашлось покупателя». Фуше? Дело известное, гений предательства, цареубийца, террорист, вечный перебежчик, от жирондистов к монтаньярам, от Робеспьера — к термидорианцам, от Директории — к Первому Консулу и так далее, создатель тайной полиции, наводнивший империю платными стукачами, первым из коих была императрица собственной персоной.

В общем-то, все это — правда, никуда от нее драматургу не деться. И Жан-Клод Брисвиль как бы покорно следует ей, этой правде, опираясь на историческую и литературную традиции, как он это делал и в других своих пьесах, где появлялись в качестве действующих лиц то революционер Сен-Жюст, то философы Декарт и Паскаль, то госпожа дю Деффан, знаменитая хозяйка салона, где встречались энциклопедисты, которую, кстати говоря, блестяще сыграла в прошлом сезоне не менее знаменитая Сюзанна Флон (зрители со стажем наверняка помнят ее в роли Жанны в «Жаворонке» Ануя в постановке самого автора, она приезжала в Москву с театром «Вье коломбье»). В тексте «Ужина» попадаются подлинные остроты Фуше, и особенно Талейрана, дошедшие от современников, то всплывет строчка из мемуаров, то отголосок фразы Наполеона, продиктованной на Святой Елене. Сама пьеса, можно поручиться, родилась из классической картины в «Замогильных записках» Шатобриана, где «порок шествует под руку с преступлением» — из той самой, что звучит в финале. И когда Талейран говорит о себе, что не делал историю, а «только прикладывал руку к событиям», он опять-таки цитирует своего врага Шатобриана.

А что сверх того?

Конечно же, из цитат живых характеров не слепишь, драму не построишь. И писатель — не архивная крыса, если все читать — писать некогда. Видно, и соотечественники автора, несмотря на всю разницу их положения и нынешнего нашего, учуяли в «Ужине» что-то существенное для их французской жизни, не из учебника, а ветром с улицы занесенное. Премьеру в театре «Монпарнас» сыграли в 1989 году, когда с небывалой помпой праздновалось двухсотлетие революции, и вот в течение двух сезонов каждый вечер актеры Клод Риш и Клод Брассер выходили на сцену перед полным залом. А в декабре минувшем появился фильм под тем же названием, с теми же исполнителями и опять успех. В чем секрет?

Тут бы самое время сказать об отменной живости характеров, о блеске отточенного диалога, о том, что каламбуры, вложенные в уста Талейрана, порой превосходят собственно талейрановские. Народ не толпился под окнами Талейрана, никто не собирался громить его

огромный дворец. И Фуше отнюдь не был мужланом и прекрасно знал, как следует обращаться с коньяком. И, разумеется, не могло быть портрета убиенного герцога Энгиенского в доме того, кто спровоцировал убийство. Все это — выдумка опытного театрального писателя, умело и рассчитанно обостряющего драматизм ситуации. Но не в этом дело.

Театр алогичен, здесь глубину мысли постигают только чувством. Оказывается, эти два старых циника были несчастными детьми, не знавшими родительской ласки, и на всю жизнь затаили обиду на тех, кто произвел их на свет и бросил посреди безжалостного мира. Тут Брисвиль почти документально точен в деталях, рисующих воспитание Талейрана и Фуше. Один, так сказать, спускался в революцию с высот привилегированного положения светского князя по рождению, князя церкви по сану. Другого революция подняла на поверхность из тьмы безвестности. Обделенность любовью оказывается важнее обделенности социальной, мечта о реванше выросла из сиротства.

Эта неожиданная сентиментальная нота не только придает психологическую убедительность характерам, но сообщает им масштаб и историческую перспективу — перед нами бывшие революционеры.

Это Талейран, еще в облачении епископа, в самом начале революции бестрепетно предложил Учредительному собранию забрать в казну церковные земли, вскоре стал председателем Национального собрания, а еще через полгода явился главным действующим лицом на шумном празднике Федерации, благословив королевскую семью, национальную гвардию и все несметное сборище народу. Это он рукоположил новых священников, наплевав на запрет папы, за что папа отлучил его от церкви, и, наконец сбросив митру, отправился в Лондон служить новому режиму в качестве дипломата.

Что касается Фуше, то он даже у «бешеных» в Конвенте слыл за непримиримого. Посланный комиссаром в департамент Нижней Луары, он его буквально разорил насильственными реквизициями, ограбил церкви, пересажал непокорных, и все это — под гром коммунистических воззваний. Он утопил в крови и едва не сравнял с землей мятежный Лион, а когда перед ним замаячила гильотина, именно он, поставив жизнь на карту, сплел сеть, которая накрыла Робеспьера девятого термидора.

Вот что это были за люди. А теперь они сидят друг против друга, усталые, захмелевшие, примирившиеся на время — два богатых старика, не верящие ни в Бога, ни в черта. Сейчас они уйдут служить новому хозяину — революция кончилась. Но тень ее незримо витает над ними — той вековечной мечты о земной справедливости, которая принесла с собой реки крови, никого не сделала счастливей и оставила в душах пепел.

Я надеюсь, что в постановке на русской сцене с Олегом Табаковым в роли Талейрана и Арменом Джигарханяном в роли Фуше зазвучит горькая мудрость этой пьесы — «в свете нашего опыта», по выражению Томаса Манна.

АНДРЕЙ СМИРНОВ

Действующие лица:

Фуше, герцог Отрантский
Талейран, князь Беневентский
Жак
Жан } **слуги Талейрана**

Шестое июля 1815 года. Дворец Талейрана в Париже, на улице Сен-Флорантен. Близится полночь.

Просторная гостиная погружена в полумрак. В глубине закрытая дверь. На консоли часы.

Створки двери приоткрываются, входят два лакея в ливреях с зажженными канделябрами.

Некоторое время они молчат.

Жак. Утром его одень... вечером раздень... и ночью не прилечь ни на минуту... Осточертело!

Жан. Еще бы!

Жак. Который теперь час?

Жан *(смотрит на часы)*. Около двенадцати.

Жак. Побыстрей бы на боковую!

Жан. Скоро он вернется, как думаешь?

Жак. Откуда я знаю?

Пауза.

А где он есть?

Ж а н. У Веллингтона.

Пауза.

У этой английской сволочи.

Ж а к. Наверно, не мог отвертеться.

Пауза.

Ж а н *(теребя воротничок)*. Духота.

Ж а к. Тучи сгущаются.

Ж а н. И не только на небе.

Ж а к *(выглядывая в окно)*. Да уж! В городе жутковато, солдаты шляются. Все англичане... да немчура...

Ж а н. Нечего было их сюда пускать.

Ж а к. Так ведь уже пустили. Куда денешься, оккупанты! А вообще, это нас не касается.

Пауза.

Ж а н *(указывая на груду мебели)*. Ты погляди на эту свалку!.. Сто лет разгребать!

Ж а к. Кончай! Он же только приехал. Еще вчера он был в Бельгии. Дай ему дух перевести, освоиться.

Пауза.

Ж а н. Кто есть в доме?

Ж а к. На кухне толстый Карем, привратник на входе да мы с тобой на побегушках.

Ж а н. А племянница?

Ж а к. Ждет в постели, как обычно, когда он придет баюкать свое сокровище. Он дня не может без нее прожить.

Ж а н. На сорок лет моложе! Такая гладкая... Не даст замерзнуть.

Пауза.

А что на улице? Стоят по-прежнему? Чего они хотят?

Ж а к *(выглядывает в окно)*. Сами не знают.

Ж а н. Отойди, увидят.

Ж а к *(оборачивается к нему)*. Перетрухал?

Жан молча пожимает плечами.

С кем ты разговаривал на улице? Днем.

Ж а н. Я?

Ж а к. Я видел.

Ж а н. С соседским дворником.

Ж а к. Я тут дворников всех до одного знаю, а этого никогда не видел.

Пауза.

Ты уверен, что не ищейка?

Ж а н *(возмущенно)*. Ты спятил!

Ж а к *(угрожающе)*. Только не надо мне мозги пудрить. У меня нюх на таких, как ты.

Ж а н *(указывая на стол)*. Два прибора. А почему два?

Ж а к. Ждем гостя.

Ж а н. Какого-то деятеля! Видал, что творится на кухне? Как будто король явится.

Ж а к. Или королева.

Ж а н. Думаешь, мы ее знаем?

Ж а к. Похоже, он ее не хочет никому показывать.

Ж а н. Мы не в счет.

Ж а к. Мы свои ребята.

Тихо смеются, как сообщники.

Да, от нас секретов нет.

Снова смеются.

Мне-то нравится хозяин. Когда я его брею и подношу бритву к горлу, он каждый раз вздрагивает.

Ж а н. Видал бы ты свою рожу! Помнишь, ему приснилось, что к нему лезут в окно?

Ж а к. А как же.

Ж а н. Мы тогда прибежали, он лежал на полу. Сказал, что упал с кровати... что ему страшный сон приснился. И весь трясся.

Ж а к. Может, вправду чего приснилось. При такой жизни...

Пауза..

А император? Что-нибудь о нем слышно после Ватерлоо?

Ж а н. Говорят, уплыл в Америку.

Ж а к. Скатертью дорога! Век бы его не видать!

Ж а н. Не бойся, это тебе не грозит. А Людовик засел в Сен-Дени. Боится Парижа...

Гул толпы на улице.

Ж а к *(снова выглядывает в окно)*. Опять якобинцы воду мутят...

Ж а н. Да, мы влипли! Куда ни плюнь, везде иностранцы. Русские на Елисейских полях! Дожили! А французская армия... куда она делась?

Ж а к. Нет больше французской армии. И слава Богу... А то опять бы полезли воевать.

Ж а н. По улицам страшно ходить. Куда легавые попрятались? При Фуше хоть был порядок.

Ж а к *(выглядывает на улицу)*. Не люблю быдло.

Пауза..

Пришли, встали и смотрят. Господи, чего им от нас надо?

Ж а н. Скройся, я тебе говорю. Увидят.

Жак делает ему знак замолчать, прислушивается.

Ж а к *(тихо)*. Его карета.

Ж а н. Ну наконец.

Берут каждый по канделябру и встают по обе стороны двери.

Пауза..

Они явно успокоились.

Карета! Сам ты карета! Что он, дурак — ехать этой дорогой? На Риволи столько всякого сброда, он наверняка явится с другой стороны. Еще хорошо, если там никого нет.

Пауза.

Не надо было наниматься к Талейрану. Хамелеон! Сегодня он за императора... завтра за короля, послезавтра за англичан... А нам что делать? Как соседям в глаза смотреть? Мне тут пришлось выслушать пару теплых слов. Если он влипнет — нам крышка, помяни мое слово.

Ж а к. Заткнись, мне за тебя стыдно. Гребешь лопатой, и работа не пыльная. Так что помалкивай, не распускай слюни.

Пауза.

Ж а н. Я что хотел сказать...

Ж а к. Болтаешь много. Я давно за тобой слежу. Ты не забудь, что это я тебя сюда пристроил.

Гул на улице перерастает в рев, в окно влетает камень и, разбив стекло, падает к ногам перепуганного Жана. Жак поднимает камень.

Ж а н. Еще чуть-чуть, и я получил бы этой штукой по башке. *(Ставит канделябр и делает шаг к двери.)* Еще не поздно смыться через черный ход. Пошли?

Слышен скрежет железа по каменным плитам. Они застывают, прислушиваясь.

Ж а к. Давай бери свечки. Теперь это точно он.

Жан идет за канделябром, возвращается и встает напротив Жака.

Ж а н *(шепотом)*. Не знаю почему, когда он дома, я не так боюсь.

Из темноты появляются Т а л е й р а н и Ф у ш е и входят в дверь. Талейран одной рукой опирается на руку Фуше, другой на трость. Фуше, входя, внимательно вглядывается в лица лакеев, закрывающих за ними дверь. В гостиной загорается свет.

Небольшой беспорядок свидетельствует о недавнем возвращении хозяина дома. Фуше провожает Талейрана до кресла и помогает ему сесть, потом обводит взглядом гостиную.

Ф у ш е. Я счастлив быть принятым в вашем доме, князь. Прежде я не имел этой чести. Значит, вот она, ваша знаменитая гостиная? Мне о ней столько рассказывали. Вся Европа о ней говорит.

Т а л е й р а н. Прошу извинить за беспорядок, сударь. Я только приехал из Гента и нашел на дверях печати. *(Улыбаясь в ответ на притворное изумление Фуше.)* Да, да, дом был опечатан. Впрочем, вряд ли для всеведущего Фуше это новость.

Ф у ш е. В какое ужасное время мы живем! *(Обходит гостиную и все внимательно осматривает.)* Как вы доехали?

Т а л е й р а н. Великолепно. Я ехал вместе с его величеством.

Ф у ш е. Его величество в добром здравии?

Т а л е й р а н. В отменном. Розовые щечки, светлая голова.

Ф у ш е. Говорят, ума палата?

Т а л е й р а н. Палата, господин Фуше.

Ф у ш е. Без вас он все еще был бы в Генте.

Т а л е й р а н *(сладко улыбаясь)*. Он все еще в Сен-Дени.

Ф у ш е. Вы второй раз сыграли роль Провидения в его судьбе.

Т а л е й р а н. Благодарю. Вы не представляете себе, как приятно было увидеть вас у Веллингтона.

Ф у ш е. Вы заметили, как он старался не подпускать нас друг к другу?

Т а л е й р а н. Как будто боялся, что мы подеремся... Болван! Вы там были единственным человеком, с которым я мечтал поговорить.

Ф у ш е *(изображая, что он польщен и смущен)*. Вы меня осчастливили! Просто не решаюсь верить.

Т а л е й р а н. Кому-кому, а нам с вами есть о чем побеседовать. Завтра я еду в Сен-Дени на аудиенцию к королю.

Взгляд Фуше вдруг останавливается на сервировке стола.

Ф у ш е. Два прибора! Вы позвали меня ужинать всего час назад! Вы так самоуверенны, ваша светлость? *(Беспокойно озирается по сторонам.)* Мы одни?

Т а л е й р а н. Вам меня мало, господин Фуше?

Фуше обходит комнату, настороженно все осматривает и возвращается к Талейрану.

Садитесь, прошу вас!

Фуше в раздумье смотрит на него.

Что до меня, то я слегка проголодался.

Фуше решается наконец сесть, и в этот момент Талейран дергает шнурок звонка. Фуше мгновенно выпрямляется, так и не усевшись. Дверь распахивается, входят л а к е и . Они вносят кушанья и расставляют их на столе. Фуше следит за ними, пока они не уходят и не закрывают за собой дверь. Талейран перехватывает его взгляд

Да, рожи подлые, знаю, зато немы как могила и преданы мне душой и телом.

Пауза.

Садитесь, пожалуйста!

Фуше медленно усаживается.

Как я рад вас видеть! Уж сколько лет у нас не было случая спокойно побеседовать.

Ф у ш е *(иронически)*. Вы соскучились?

Т а л е й р а н. Мне не хватало вас, господин герцог.

Ф у ш е. Не смел надеяться.

Где-то далеко звучит «Карманьола».

Чем хуже времена, тем дороже дружба.

Т а л е й р а н. Я бы даже сказал, без нее не обойтись... между определенными людьми.

Пауза.

Ф у ш е *(указывая на окно)*. Обстоятельства... иногда сближают...

Т а л е й р а н. Что ж, спасибо обстоятельствам. Я всегда знал, что однажды мы встретимся... чтобы определить дальнейший ход событий.

Ф у ш е *(иронически)*. Одним словом, поговорим по душам.

Т а л е й р а н *(улыбаясь)*. Мы созданы, чтобы понимать друг друга.

Ф у ш е. С полуслова.

Т а л е й р а н. Зачем нам больше?

Ф у ш е. Мы не солдаты и не придворные... которым надо все разжевывать.

Т а л е й р а н. Конечно, Фуше. Это мы с вами дергаем за ниточки. В этой игре я кое-что умею.

Ф у ш е. Не всегда.

Пауза.

Вы, кажется, тут выразились в том смысле, что Жак Массулье и Жан Венсан преданы вам... душой и телом?

Талейран ошеломленно смотрит на него.

Ваши лакеи...

Т а л е й р а н. Лакеи? Что лакеи?

Пауза.

Вы хотите сказать, что они работают на ваш департамент?

Ф у ш е *(с улыбкой)*. Я хочу сказать, что здесь очень жарко.

Талейран поеживается.

Т а л е й р а н. Я всегда мерзну, господин Фуше. Я мерзну даже в самую жару. Таким уродился. *(Пристально смотрит на Фуше.)* И потом, что-то в вас есть такое... леденящее.

Пауза.

Я прибавлю жалованья своим лакеям. Они заслужили.

Ф у ш е. Да, вы их не балуете, ваша светлость.

Снова, уже ближе, возникают звуки «Карманьолы».

Вам эта песенка ничего не напоминает?

Т а л е й р а н. В ту пору, господин Фуше, я был в Америке.

Ф у ш е. Конечно, я запамятовал!.. Америка! Говорят, это великая страна — и с большим будущим. Когда-нибудь вы должны мне рассказать, как живут люди в Америке.

Т а л е й р а н. Так же, как во Франции, в деревне. В деревне, только без барина. Леса погуще, да туземцы красной масти... и лютые.

Ф у ш е. Как сейчас парижане?

Т а л е й р а н *(с улыбкой)*. Да, пожалуй. Вас это не пугает?

Ф у ш е *(чуть заметно улыбнувшись, сочувственным тоном)*. Пугает, но не так сильно, как вас. *(Возвращается к столу и садится.)* Сдержать их трудно, почти невозможно.

Талейран наполняет фужеры шампанским, и каждый берет свой, наблюдая за собеседником.

Талейран поднимает свой фужер.

Т а л е й р а н. За нашу дружбу!

Фуше подносит фужер к губам, но, прежде чем пить, ждет, пока выпьет хозяин.

Ф у ш е *(выпивает и ставит фужер на стол)*. Она вошла в пословицу.

Т а л е й р а н *(поднимая серебряную крышку на блюде)*. Сейчас я вам это докажу.

Ф у ш е *(восхищенно)*. Гусиный паштет с трюфелями!

Т а л е й р а н. Да, из Перигора... с земли Талейранов. *(Отрезает кусок и кладет на тарелку, которую протягивает ему Фуше.)*

Ф у ш е. Князь, вы умеете жить.

Т а л е й р а н *(накладывая себе паштета.)* Привычка, господин Фуше. Умение жить и умение умирать у нас в крови.

Молча едят.

Как по-вашему, сколько у нас времени, чтобы поужинать спокойно?

Ф у ш е. В обрез.

Т а л е й р а н. Разве?

Ф у ш е. Совсем в обрез. Взрыв может произойти в любую минуту. Я знаю, чем это пахнет. Церемониться не будут ни с кем.

Т а л е й р а н *(утирая рот)*. Ну, скажем, часа два. Два часа, чтобы подобрать власть для Франции.

Ф у ш е. Только не забывайте, у вас под окнами не Веллингтон, а наша чернь. Они ненавидят нас, но сейчас ждут спасения...

Т а л е й р а н. Которое может прийти только от нас с вами. Мы мыслим одинаково, господин Фуше. Если позволите, из этого и будем исходить.

Пауза.

Ф у ш е. Чтобы прийти к чему?

Т а л е й р а н. К чему бы мы ни пришли, идти нам придется вместе.

Ф у ш е *(с притворным удивлением)*. Кто бы мог подумать, что вам понадобится моя рука?

Т а л е й р а н. Так же, как вам моя голова. *(Проводит ребром ладони по воротничку.)* Раз уж она уцелела.

Ф у ш е. Действительно, нам давно пора поладить.

Талейран берет нож и режет паштет.

Т а л е й р а н. Еще паштета?

Ф у ш е *(протягивая тарелку)*. Ах, князь, за вашим столом сопротивление бесполезно.

Т а л е й р а н *(самодовольно)*. Посмотрите, что нас ждет! *(Поднимает одну за другой серебряные крышки.)* Спаржа горошком, мягкие части артишоков под зеленым соусом... семга по-королевски и филе из куропаток.

Ф у ш е. Как тут можно думать о смене режима! *(Указывает на бутылку шампанского.)* Да еще такая бутыль шампанского!

Т а л е й р а н. Подарок герцога Веллингтона.

Ф у ш е. У вас оно куда лучше пьется, чем у него. *(Пьет.)* Я не пил шампанского со времени нашей победы при Ватерлоо.

Т а л е й р а н. Как вам показался Веллингтон?

Ф у ш е. По-моему, пустейший человек.

Т а л е й р а н. Он просто полон самим собой.

Ф у ш е. И такой нудный...

Т а л е й р а н. Убийственно. Ему повезло, что он победил при Ватерлоо. Кладите себе еще, господин сенатор. Не стесняйтесь.

Фуше оглядывает стол жадным взглядом чревоугодника.

Ф у ш е. «Не стесняйтесь!» Ах, князь, как это прекрасно звучит, особенно в политике! Итак, я начну... с семги. *(Кладет себе семги, с наслаждением принюхивается и начинает есть.)* Так о чем мы говорили?

Т а л е й р а н. О Ватерлоо. Королевские лилии там опять расцвели. Теперь они украшают каждую шляпу.

Ф у ш е. Лилии? Грош им цена. За сто дней они окончательно увяли.

Т а л е й р а н. Не могу согласиться.

Ф у ш е. Было бы странно, если бы вы согласились.

Пауза.

Т а л е й р а н *(продолжая с удовольствием есть)*. Или мы придем к согласию нынче же ночью, или оба исчезнем со сцены. Если нас вообще не посадят, господин председатель Временного правительства.

Фуше продолжает невозмутимо есть.

У нас с вами на руках один козырь, один на двоих, вы это прекрасно знаете.

Пауза.

У вас, возможно, имеется замысел касательно будущего Франции?

Ф у ш е. И не один, господин бывший премьер его величества.

Т а л е й р а н. Даже не один? Интересно послушать!

Сверху доносятся звуки музыкальных инструментов, которые настраивают на верхнем этаже.

Ф у ш е *(удивленно и подозрительно)*. Что это?

Т а л е й р а н. Я нанял оркестр. По ночам они репетируют, после того как отыграют в Итальянской опере. *(Смотрит на часы.)* Полночь... как раз в это время они и приходят.

Ф у ш е. Кто? Оркестр?

Т а л е й р а н. На днях я принимаю генерала Орлова и князя Меттерниха. Я решил, что, если их встретить музыкой их стран... это может расположить их в пользу Франции.

Пауза.

Это вальс. Новый танец. Он произвел фурор на Венском конгрессе.

Ф у ш е *(недоверчиво)*. Оркестр и ночует у вас?

Т а л е й р а н *(презрительно)*. Спросите у моих лакеев. Они вам скажут.

Обмениваются долгим взглядом.

Ф у ш е. Ситуация не простая.

Пауза.

Палата депутатов провозгласила императором Наполеона Второго...

Т а л е й р а н *(возмущенно)*. Сына людоеда! Это несерьезно.

Ф у ш е. ...а его мать Марию-Луизу — регентшей, позволю себе вам напомнить.

Пауза.

Семга просто восхитительна!

Т а л е й р а н. Мне привозят ее с Рейна, из Страсбурга.

Ф у ш е. Подумать только, а у Веллингтона едят разварившуюся говядину!

Пауза.

Я готов признать, что маленький Бонапарт не может быть серьезным претендентом, но он и не единственный.

Пауза.

Есть еще Луи-Филипп Орлеанский.

Т а л е й р а н *(притворно содрогаясь)*. Сын цареубийцы! Помилуйте...

Ф у ш е *(лицемерно)*. Это все быльем поросло.

Т а л е й р а н. Не так уж и поросло, господин Фуше. Герцог Орлеанский пока подождет. Поищем поближе.

Ф у ш е. Поближе?

Т а л е й р а н. Да... совсем близко.

Ф у ш е *(хлопнув себя по лбу)*. Народ! Как же я позабыл? Ну конечно, французский народ.

Издевательский смешок Талейрана.

Не смейтесь. При нынешнем безвластии именно республика, опомнившаяся от крайностей и избавившаяся от иллюзий, могла бы стать решением.

Т а л е й р а н. Соскучились по Директории, господин Фуше? *(Смотрит на часы. Пауза.)* Сегодня, седьмого июля тысяча восемьсот пятнадцатого года, в половине первого ночи, Франция готова отдаться первому встречному — и никогда ее правительство еще не было до такой степени временным. Я знаю, что вы его глава, господин Фуше, но кого, в сущности, вы возглавляете? Стадо ошалевших депутатов, которые никак не придут в себя после Ватерлоо. Появись завтра решительный человек, и они поползут к нему на брюхе. Вот она, опасность: новый Бонапарт, из низов, и чем хуже разруха, тем крепче будет его власть.

Пауза.

Не благоразумнее ли самим выбрать хозяина — которого мы знаем и который в нас нуждается?

Ф у ш е *(улыбается)*. Чтобы вы опять возглавили его правительство?

Т а л е й р а н *(поднимает бокал)*. Но на сей раз при мне будете вы, ваше превосходительство.

Ф у ш е. Опасное соседство.

Т а л е й р а н. Зато я буду у вас на глазах. Вы сможете следить за мной, Фуше. Вы же будете рядом. Это увлекательно, вот увидите.

Ф у ш е. Не сомневаюсь, но, если не возражаете, эту игру мы пока отложим. Есть вещи более срочные.

Пауза.

Давайте вернемся к Бурбонам.

Пауза.

Боюсь, что народ их больше не примет.

Т а л е й р а н *(иронически)*. Боитесь... Неужели?

Ф у ш е. Я сказал «боюсь»... как бы поставив себя на ваше место. Когда мы запросто отрубили королю голову и небо не обрушилось на нас за это, выяснилось, что король был всего лишь обыкновенным человеком. Еще одна реставрация монархии в этой стране, после всего, что тут творилось четверть века,— мне кажется, это дело неблагодарное и тяжелое.

Т а л е й р а н *(сухо)*. Да, ну и что?

Ф у ш е. А то, что монархия милостью Божьей больше не существует. Это лишь один из возможных вариантов — причем непопулярный и нежизнеспособный. Народу придется его навязывать. Но какими силами? Армии больше нет, а одной полиции, даже самой могущественной, не хватит, чтобы подавить всеобщее восстание.

Пауза.

И потом — к чему скрывать? — у меня нет желания, ваша светлость, стрелять в народ.

Т а л е й р а н *(изображая удивление и негодование)*. Но какое же правительство хочет стрелять в народ, господин Фуше? Никакое! Просто всякое правительство, сознающее свою ответственность перед народом, бывает иногда вынуждено принять меры, чтобы разогнать бунтовщиков... в интересах самого же народа.

Пауза.

Ф у ш е. Да... Ну хорошо.

Пауза.

У меня есть один план.

Т а л е й р а н. Какой же? Я весь внимание.

Пауза.

Ф у ш е. Ввиду временных трудностей с хлебом и нарушений общественного порядка я как глава Временного правительства призываю Национальную гвардию и заставляю парламент признать недействительным постановление о регентстве императрицы. Сейчас во Франции австриячки не в почете.

Т а л е й р а н. А дальше?

Ф у ш е. Дальше, опираясь на якобинцев, я распускаю правительство и объявляю чрезвычайное положение. Во главе — Комитет общественного спасения, где соберутся республиканцы всех мастей... Раскаявшиеся члены Конвента, разочаровавшиеся бонапартисты.

Пауза.

Таких очень много.

Пауза.

Т а л е й р а н. Одни парижане. Но Париж еще не Франция.

Ф у ш е. Да, но с девяносто третьего года Париж задает тон. Провинция пойдет за ним, мои люди ручаются. Провинция за демократию, против привилегий. Народ на самом деле хочет республику — вот я ее и готовлю.

Пауза.

Объясните пузатому Бурбону, что ему лучше убраться назад в Бельгию со всей компанией, и я сочту своим долгом предоставить вам портфель министра иностранных дел. При *мне*. В *моем* правительстве.

Талейран задумчиво смотрит на Фуше и качает головой.

Т а л е й р а н *(улыбаясь)*. Вы серьезно, Фуше?

Ф у ш е *(так же)*. А что вы на это скажете?

Т а л е й р а н. Во всяком случае, вам не откажешь в воображении. Как ловко у вас получается... Да вы у нас поэт!

Ф у ш е. У меня есть возможности претворить мою поэму в жизнь. Для этого мне достаточно в нее поверить. И я, кажется, верю... все больше и больше.

Пауза.

На лице Талейрана сомнение. Фуше накладывает себе что-то с блюда и внимательно рассматривает содержимое своей тарелки.

Как вы сказали: спаржа горошком?

Т а л е й р а н. Я обязан этим рецептом господину де Кюсси: мелко нарезаете нежные части спаржи — как бы горошинами,— моете, обдаете кипятком, ставите на огонь, кладете хороший кусок масла, чабрец, гвоздику... и, перед тем как снимать, яичный желток со сливками.

Ф у ш е. А я не верил своим людям! Они сообщают, что вы час в день проводите на кухне.

Т а л е й р а н. Вранье — не меньше двух. Друзья познаются в еде.

На улице слышны крики, обрывки «Марсельезы» и топот кавалерии. Фуше встает и приоткрывает штору.

Ф у ш е. Это уланы Блюхера...

Звон разбитого стекла.

Его солдатне не понравились ваши окна.

Т а л е й р а н *(продолжая есть)*. Они погубят наших куропаток.

Фуше возвращается к столу и садится.

Ф у ш е. Блюхер! А вы знаете, что он хотел взорвать Йенский мост только потому, что он напоминает ему о поражении под Йеной? [1] Пришлось сменить название, чтобы унять эту гориллу.

Т а л е й р а н. Они ведут себя как дома. Господин Фуше, давайте не будем доводить дело до худшего. Для меня Реставрация...

Ф у ш е *(перебивает его)*. Не давите на меня! Я знаю: вам мерещатся только Бурбоны... вы слушаете только Бурбонов... у вас в голове одни Бурбоны...

Т а л е й р а н *(в свою очередь перебивая его)*. Я понимаю, что на вас они наводят ужас.

Ф у ш е *(глухо и угрожающе)*. Я герцог, сенатор, глава правительства. У порога — Республика. Якобинцы у меня в руках. Меня не запугаешь. Еще никому не удавалось меня запугать.

[1] В сражении под Йеной в 1806 г. армия Наполеона I разгромила прусские войска.

Пауза.

И вдобавок у меня есть полиция.

Т а л е й р а н. Действительно, у вас еще осталась горстка смутьянов. Хватит, чтобы задержать Реставрацию, но маловато, чтобы восстановить Республику. Вам придется смириться с этим, Фуше: будущее сегодня в прошлом. Только Бурбоны могут дать какие-то гарантии.

Ф у ш е. Для вас.

Т а л е й р а н. Для меня... и для вас, если я этим займусь... и даже для страны.

Молчание. Фуше размышляет.

Чувствуется, что он холодно взвешивает предложение Талейрана.

Ф у ш е. Значит, опять Людовик!

Т а л е й р а н. Ну да... Людовик Восемнадцатый! Один номер проскочили, но мы, по крайней мере, остались в кругу семейства. Семейства, которое, заметьте себе, пользуется поддержкой победителей. Не надо забывать, что Париж оккупирован. Оккупантам тоже есть что сказать — и они уже сказали. Вы слышали сегодня Веллингтона: «I love your Lewis: he is the best» [1].

Сверху доносится приглушенная музыка.

Ф у ш е. Надо же! «Гимн свободе». Ваши музыканты отстали от жизни.

Т а л е й р а н. Они не заметили, что время ушло. Как и все мы.

На улице раздаются выстрелы, слышится «Марсельеза». Еще одно окно разбивается.

Если так пойдет дальше, стекло у меня останется только в часах.

Ф у ш е *(прислушиваясь)*. Это уже республиканцы... «Марсельеза»!

Т а л е й р а н. Вы дождетесь, что ваши приятели-якобинцы ворвутся сюда и нас поубивают.

Ф у ш е. Вас, сударь. Но не меня.

Т а л е й р а н. Ваше превосходительство, давайте восстановим законный порядок. Нельзя терять ни часу. Паскье, Гувьон Сен-Сир, барон Луи и Жокур дали согласие войти в правительство.

Пауза.

Не хватает только вас.

Ф у ш е. Натурально.

Пауза.

Король хочет в Париж и ждет только меня, чтобы я показал дорогу.

Т а л е й р а н. Это, без сомнения, так. Он в вас нуждается.

Ф у ш е. Сейчас нуждается...

Т а л е й р а н. По полицейской части вам нет равных, и король это знает. Великий министр полиции нужен всем. При хорошей полиции и правительство всегда хорошее, потому что никто не смеет сказать, что оно плохое.

Ф у ш е. Кроме тех, кто уже за это сидит. А кто сидит, те уже отщепенцы. Их мнение не в счет.

Т а л е й р а н. Тот факт, что у них вообще есть мнение, это просто наглость по отношению к власти.

Фуше пьет и ставит фужер на стол.

Ф у ш е. Ну хорошо... Допустим, королю придется изобразить благосклонность. Но в этой стране есть люди, которые больше монархисты, чем сам король.

Т а л е й р а н. Правые? Да они молятся на вас! Даже этот оголтелый Крюссоль полез умолять короля, чтобы вас позвали. А прекрасный пол, Фуше... Наши дамы не видят никого, кроме вас. Я знаю, что из целомудрия вы стараетесь держаться подальше от их прелестей, но тем не менее у вас в предместье Сен-Жермен такие заступницы, что вам нечего бояться. Тут и графиня де Нарбор... и герцогиня — де Дюра... и княгиня — де Водемон... Сударь, предместье Сен-Жермен только вас и хочет.

Ф у ш е *(со зловещей улыбкой)*. Это забавно, согласитесь.

---

[1] А мне нравится ваш Людовик. Он лучше других *(англ.)*.

Талейран. Они соображают. Вы держите в узде якобинцев. При одной мысли о красных колпаках они падают в обморок.

Фуше. Припугнуть их даже полезно. Но это же ненадолго. Как только они перестанут бояться, мои чары живо поблекнут, и я окажусь у них в лапах.

Талейран. Ну, тут я за вас спокоен. До той поры вы заведете на ваших поклонников досье с прелестными постыдными подробностями, от которых можно сквозь землю провалиться. Чудные стопудовые досье, в которые вы вкладываете столько души. Они все будут у вас на крючке точно так же, как ваши бывшие друзья-якобинцы.

Фуше. Да, я об этом уже думал.

Талейран. Как же иначе! Вы не можете не думать о своих досье. Это ваша любовная лирика. Я знаю, что и на меня у вас есть «личное дело». А на кого нет?

Фуше *(воодушевляясь)*. Ну, такое, как ваше... такое развернутое, жуткое — нет, это редкость!

Талейран. Вы мне льстите! Впрочем, мы столько лет друг друга знаем... Сколько же лет, Фуше?

Фуше. Всю жизнь. Мы знали друг друга еще до того, как познакомились.

Талейран. Так говорят любовники.

Пауза.

Могу я попросить вас помочь мне вытянуть ногу?

Фуше приподнимает больную ногу Талейрана и подставляет под нее табурет.

Она меня тянет книзу. Она окажется в аду раньше меня.

Пауза.

Однако вернемся к делу...

Фуше *(с сарказмом)*. К «личному».

Талейран. Вот именно. Не я ли устроил вам назначение — причем именно на пост министра полиции — в седьмом году?

Фуше. От которого по вашей же милости меня и отстранили двадцать восьмого фруктидора десятого года.

Талейран. Чтобы сделать сенатором! А в мессидоре двенадцатого года Наполеон — опять же по моему совету — вернул вам милую вашему сердцу полицию и вы стали его превосходительством сенатором-министром.

Фуше. А вы — великим вице-электором и получили крест Почетного легиона... Весьма кстати, поскольку креста на вас нет. *(Фуше хихикает.)*

Талейран. По-вашему, я смешон?

Фуше. Я просто вспомнил, как вы выглядели в Тюильри, когда Бонапарт раскрыл ваш маленький заговор в пользу Мюрата. Он поносил вас три часа с четвертью. Я засек время.

Талейран. А как он орал на вас после покушения, когда взорвалась адская машина! Но все-таки на четверть часа меньше, чем на меня.

Фуше *(с гордостью)*. Да, никого он столько не оскорблял, сколько нас обоих.

Талейран. И без обоих не мог обойтись.

Пауза.

Фуше. А все-таки вы его любили. Вы же писали ему: «Без вас я не чувствую полноты жизни».

Талейран мгновение молча смотрит на него и отводит глаза.

Оба священнослужители. Я, провинциальный монашек, и вы, епископ, назначенный королем.

Талейран. Я хоть и епископ, а знаете, сколько раз в жизни я служил обедню?

Фуше. Знаю. Семь раз.

Талейран *(восхищенно)*. Нечем крыть! Бесподобно! Как бы там ни было, а Богу все равно — что простой монах, что епископ. Обет есть обет. А мы с вами оба расстриги.

Ф у ш е. Я-то всего лишь послушник, для меня сутана была вроде савана. А вот вы... князь церкви... епископский сан был вам обеспечен с пеленок...

Пауза.

Вы бесились с жиру, ваше преосвященство.

Т а л е й р а н. Отнюдь не с жиру. Я прихромал к Господу вот на этой ноге *(указывает на больную ногу)* и, если угодно, затаил обиду.

Ф у ш е. На что? На ногу?

Т а л е й р а н. Нет, на Бога.

Пауза.

Ф у ш е. С вами не соскучишься, ваше преосвященство.

Т а л е й р а н. А мне с самим собой до смерти скучно. Никто не знает, Фуше, а ведь все, чего я достиг,— это со скуки. Чего со скуки не сделаешь!

Ф у ш е. А говорят, вы чураетесь черной работы.

Т а л е й р а н. Какая жалость, Фуше, что в свое время вы ее не чурались.

Пауза.

Ф у ш е *(сухо)*. Я делал свое дело. Далеко не всегда с удовольствием. Но делал.

Т а л е й р а н. Так сделайте теперь, чтобы король вернулся в Тюильри.

Ф у ш е *(сдерживая гнев)*. Сделайте! Сделайте, чтобы Париж не бунтовал... Сделайте, чтобы король мог вернуться в свою столицу... Сделайте, чтобы я возглавил кабинет министров... *(Круто поворачивается и указывает пальцем на Талейрана.)* Я могу сделать. Ну, он вернется, перестанет бояться, и что будет со мной? *(Постепенно распаляясь.)* Может, у меня слишком богатое воображение, но я могу себе представить, как через пару месяцев вы с вашим королем отправляете меня послом к краснокожим. Или куда-нибудь на юг инспектором по овцеводству. Меня ждут большие успехи на этом поприще. Я, как никто, разбираюсь в тонкорунных породах. У меня даже есть отара на ферме в Провансе. Как вы думаете, господин будущий премьер? А вдруг меня ждет слава крупнейшего овцевода страны?

Талейран делает ему знак замолчать.

Т а л е й р а н. Вы вслушайтесь...

Ф у ш е. Что?

Т а л е й р а н. Тишина.

Ф у ш е *(прислушиваясь)*. Да, ничего не слышно. *(Встает и приоткрывает штору.)* Они все здесь.

Т а л е й р а н. Кто?

Ф у ш е. Да люди... На улице черно от народа.

Т а л е й р а н. Что они делают?

Ф у ш е. Смотрят на ваш дом. Стоят и смотрят.

Т а л е й р а н. А что им надо?

Ф у ш е *(возвращаясь к столу)*. Они наверняка знают, что я у вас.

Т а л е й р а н. А, ваши агенты уже постарались.

Ф у ш е. Они ждут результата нашей встречи.

Пауза.

Т а л е й р а н *(задумчиво)*. Я раздумываю, господин Фуше...

Пауза.

Как вы доберетесь до короля, если я не проложу вам дорогу? Между вами и его величеством, как вы прекрасно знаете, стоит одна преграда. Ох уж это слово... Убийственное слово, которое вы обронили в январе девяносто третьего года! Когда в Конвенте решалась участь Людовика Четырнадцатого и вас попросили высказаться... помните?

Фуше слегка кривится.

Конечно, нынешний король никогда не пылал особой любовью к своему братцу, согласен. Монархи вообще не прочь прикончить друг друга в кругу семьи. Но почему-то не любят, когда им помогают посторонние. Надо принимать их такими,

как есть. Вспомните этот кошмар, когда пытали Дамьена. За что? За безобидный удар перочинным ножиком, нанесенный Людовику... Пятнадцатому, если не ошибаюсь?

Ф у ш е. Мало ли что было при старом режиме.

Т а л е й р а н. Он возвращается, Фуше. Он уже у ворот. А вместе с ним — ханжество, предрассудки, незабытые обиды. Вы себе представляете, кто вы такой в глазах его величества?

Ф у ш е. Единственный человек, который в силах помочь ему войти в город без боя.

Т а л е й р а н. Это ваша возможная роль, но никак не ваше лицо. Имейте в виду, для Людовика XVIII вы никакой не глава правительства, равно как и не министр, не сенатор, не шеф полиции и не герцог Отрантский. Он даже не знает, где находится это самое Отранто.

Ф у ш е. Я разъясню.

Т а л е й р а н. Заодно разъясните и мне, потому что я тоже не знаю. Короче, насколько я понял из беседы с его величеством, ваша биография кончается для него шестнадцатого января тысяча семьсот девяносто третьего года... на этом досадном, прискорбном голосовании.

Ф у ш е *(приподнимая крышку одного из блюд)*. Мне, право, совестно... но уж больно хороша семга.

Т а л е й р а н. Не стесняйтесь, дорогой мой, не стесняйтесь... и положите мне тоже, пожалуйста, раз уж вы этим занялись.

Фуше кладет семгу Талейрану и подкладывает себе еще. Молча едят.

Ох уж это голосование... Злополучное голосование, в котором вам пришлось участвовать...

Ф у ш е *(словно только что вспомнил)*. А, да...

Т а л е й р а н. Король в своей великой милости мог бы постараться забыть революционные свадьбы в Нанте...

Ф у ш е *(продолжая есть)*. Я только помогал Карье [1].

Т а л е й р а н. Помогали! Привязывали монашку к попу и отправляли любить друг друга нагишом на дно Луары. Да, да, именно нагишом! Согласитесь, это все-таки...

Фуше качает головой и пожимает плечами, изображая полное снисхождение к содеянному.

А в Лионе? Как вы там блюли революционную законность? А, Фуше?..

Ф у ш е. Я подавлял мятеж монархистов.

Т а л е й р а н. Да, согнали всех подозреваемых и приказали в них стрелять.

Пауза.

Из пушки, между прочим, из пушки.

Ф у ш е. Их было слишком много. *(Облизывается.)* Я душу готов продать за эту семгу.

Т а л е й р а н. А поскольку пушка стреляет не так метко, вы пустили эскадрон прямо по телам, чтобы кончить дело саблями...

Ф у ш е. Что вы хотите, время было такое. И потом, когда это было!..

Т а л е й р а н. Да, ваша якобинская юность была щедра на выдумки... Ох, это голосование! Ну почему вы не оказались в тот несчастный день в Америке!

Ф у ш е *(раздраженно)*. Ну ладно... Я был в Конвенте. Так сложилось.

Т а л е й р а н. Понимаю вас. Но не мне, а королю надо доказать, что член Конвента Жозеф Фуше и новоиспеченный герцог Отрантский — давно уже совершенно разные люди.

Ф у ш е *(оставаясь непроницаемым)*. Короче, мне нужен хороший адвокат.

Т а л е й р а н. Очень хороший, который знал бы вас как самого себя и пользовался доверием короля.

Ф у ш е. Я вижу только одного.

Т а л е й р а н *(скромно)*. Увы.

Ф у ш е. Цены вам нет.

---

[1] Жан-Батист Карье (1755—1794) — член Конвента, прославившийся жестокими расправами над духовенством в Нанте. Был гильотинирован.

Талейран *(иронически)*. Вы прекрасно знаете, что есть.

Фуше. Но вы стоите слишком дорого! Это знает вся Европа. Нет ни одного принца, министра, короля, который не платил бы вам за услуги. Даже за то, чтобы просто принять человека, вы брали. У меня в вашем досье есть все подробности насчет подношений, которые вы брали самым непотребным образом. Семь страниц убористым почерком.

Талейран. И не жалко на меня столько бумаги?

Фуше. Австрия, Италия, Англия, Испания и Португалия... епископы, банкиры, посланники, короли... даже алжирские евреи... все платили вам. Сто семнадцать миллионов шестьсот девяносто франков.

Талейран. Прошу вас, не будем ссориться. Вы хотите, чтобы я поговорил с королем? Да или нет?

Фуше. От вас можно умереть со смеху. *(С холодной яростью.)* Ваш подагрик впихнет свою жирную задницу на трон, только если я этого захочу.

Талейран *(мирно)*. Пожалуйста, говорите тише, а то пропадет удовольствие от еды.

Фуше *(успокаиваясь)*. Извините.

Молча едят.

Кстати, по поводу мягкой части артишоков позвольте выразить вам мое восхищение.

Талейран. Вернемся лучше к мягкой части подагрика.

Фуше. Так вот, чтобы вы могли возглавить его кабинет, он должен сесть на трон. А это зависит только от меня — от меня одного. Так что лучше не злите меня.

Талейран *(спокойно)*. Ну-ну, полно, Фуше... простите, герцог Отрантский.

Фуше. Мало того! *(Бросается к балконной двери и распахивает обе створки. Слышится гул толпы.)* Стоит мне выйти и позвать якобинцев, они ворвутся сюда, спалят всю вашу прекрасную мебель, а вас вышвырнут с балкона.

Талейран *(продолжая есть)*. Ну и что вам это даст? Республики во Франции победители все равно не допустят. Если вы будете носиться с этой идеей, на том ваша карьера и закончится. Подумайте... Реставрация — единственный разумный путь. С Бонапартом покончено, мы можем действовать без всякого риска. Поверьте мне, на сей раз Реставрация должна быть удачной.

Фуше *(ледяным тоном)*. Она может произойти и без вас. Сегодня ваше положение при короле хорошее, завтра может стать хуже. И станет, если я пожелаю.

Пауза.

Талейран *(хлопает себя по лбу)*. Совсем запамятовал! На меня же есть материал! Мое «личное дело»! Какой ужас! Я просто весь дрожу от страха.

Фуше закрывает балконную дверь, возвращается к столу и садится.

Фуше. Да, у вас есть все основания.

Талейран наполняет фужер и опустошает его залпом.

Талейран *(с расстановкой)*. Знаете, почему ваше досье меня не пугает? Потому что оно общеизвестно. Там нет ничего нового. Ни для кого. И для короля меньше чем для кого бы то ни было. Я — взяточник, ренегат, расстрига... Кто же этого не знает?

Фуше. И женаты на разведенной потаскухе, которая к тому же индианка.

Талейран. Да... и у меня есть восемнадцатилетняя любовница, она живет в моем доме и приходится мне племянницей. Вся Франция сплетничает об этом и преспокойно с этим мирится. Единственное, что имеет значение для людей, это мой дар. Он охраняет меня. Я как раз говорил об этом королю... Есть во мне нечто необъяснимое, что приносит несчастье правителям, которые пытаются без меня обойтись.

Фуше. Любопытно.

Пауза.

Талейран. А теперь, господин сенатор, давайте подумаем о нашем ближайшем будущем: завтра утром я еду в Сен-Дени к королю. Я могу похлопотать за вас.

Ф у ш е *(иронически)*. Похлопотать?

Т а л е й р а н. Я представлю в выгодном свете ваш талант, объясню, как много вы еще можете принести пользы. Его величество обладает государственным чутьем и озабочен тем, как привлечь на службу старые кадры. Он, без сомнения, отдаст должное бесценным документам, которые вы так кропотливо собирали, и, естественным образом, вернет вам министерство полиции.

Ф у ш е. Но я пока еще председатель Временного правительства. Национальная гвардия подчиняется мне. Стоит мне сказать слово...

Т а л е й р а н. И королю не останется ничего другого, как снова убраться за границу. Так он это знает... Он прекрасно знает, что, несмотря на свою шарообразную форму, не может перелететь в Тюильри по воздуху. Кстати, вы слыхали? Он еще потолстел! У него все откладывается в брюхо. Брюхоносец.

Пауза.

Ф у ш е *(холодно)*. Раз король понимает, что без меня не обойтись, что я один держу в руках улицу, тогда зачем мне адвокат? Мое дело верное. Я могу и без вас явиться в Сен-Дени. Я буду там принят и не откажу себе в удовольствии передать его величеству поклон от вас.

Т а л е й р а н. И сейчас же убедитесь, что его величество наделен юношеской памятью и упрямством осла. К тому же он мелочен, мстителен, ничего не забыл и ничему не научился. Мне иногда кажется, что он скорее готов помереть в эмиграции, чем иметь дело с некоторыми людьми.

Пауза.

Не надо забывать, что у монархов политическая выгода порой отступает перед тем, что в былые времена называлось... Постойте, как же это называлось? Ах да — честь. У Людовика Восемнадцатого, к примеру, одно-единственное слово, которое легкомысленно вырвалось у вас двадцать лет назад, может до сих пор стоять в ушах.

Пауза.

Правда, слово это было тяжелее свинца и обрушилось на его брата.

Пауза.

Как бы он в человеке ни нуждался, он вполне может отказать ему в прощении и прогнать навсегда. Нелепо, вы скажете... Но так уж короли устроены, и, зная об этом, вы не можете отправляться к его величеству, не прибегнув к моему искусству.

Ф у ш е. К вашему искусству!

Т а л е й р а н. Да, да, чтобы заставить его величество забыть, как двадцать два года назад вы приказали укоротить на голову его братца.

Пауза. Сверху доносится музыка — играют арфы. Фуше неторопливо встает и, заложив руки за спину, обходит гостиную. Он задерживается перед большим, наполовину скрытым от нас портретом молодого человека в охотничьем костюме и, сдув с него пыль, поворачивается к Талейрану.

Ф у ш е *(любезно)*. Фамильный портрет?

Т а л е й р а н. В доме от них деваться некуда. На каждой стене родственники. Когда король впервые принял меня, он имел любезность напомнить, что обе наши семьи ведут родословную с десятого века, и, окажись мои предки в свое время более удачливыми, сегодня не он, а я предлагал бы ему сесть.

Ф у ш е. А кто этот юноша?

Талейран в свою очередь встает, опираясь на трость, подходит к портрету и подносит к глазам лорнет.

Т а л е й р а н. Потомок великого Конде.

Ф у ш е. Герцог Энгиенский?..

Т а л е й р а н. Он самый.

Ф у ш е. То есть Бурбон, принц королевского дома. Родич короля.

Пауза.

Похищен по приказу Бонапарта французскими жандармами с баденской территории — между прочим, нейтральной,— судим без адвоката, осужден без малейшего доказательства вины. Казнен в ту же ночь во рву Венского замка.

Талейран *(высокопарно)*. Герб императора запятнан его кровью.

Фуше. Как вы считаете, ваше превосходительство, что толкнуло Бонапарта на это?

Талейран. Он обезумел. Ему везде мерещились заговоры.

Фуше. Можно было попытаться его образумить.

Талейран. Он был одержим. Никого не слушал. *(Возвращается к столу, садится в кресло.)*

Фуше. Вы уверены? *(Вынимает из кармана письмо, разворачивает и подносит к стоящему на столе канделябру, чтобы прочесть.)* Это копия вашего письма Бонапарту от восьмого марта тысяча восемьсот четвертого года.

Пауза.

Оригинал в надежном месте, у меня в архиве.

Пауза.

Я получил его от Меневаля, бывшего секретаря Корсиканца и одного из лучших моих сотрудников. *(Откашливается и начинает читать, медленно и громко.)* «Я долго размышлял над тем, что имел честь услышать от вас вчера вечером... Наконец представился случай разом покончить со всем, что не давало Вам покоя. Неужели Вы упустите такую возможность? Ее дает Вам грядущий процесс, когда перед судом предстанут вдохновители, исполнители и сообщники раскрытого заговора. Реакционеры фруктидора сомкнулись с недобитой Вандеей. За всем этим стоит принц дома Бурбонов. Они хотят одного — убить Вас. Вы поставлены перед необходимостью защищаться. Долг правосудия в этом случае — действовать беспощадно, отбросив ненужную щепетильность. Задумайтесь над этим, прошу Вас». *(Медленно складывает письмо, убирает его в карман и, скрестив руки, пристально смотрит на Талейрана.)* В прошлом году вы сумели изъять документы из дела герцога Энгиенского и уничтожить. Всё, кроме этого письма, вынутого из папки Меневалем. Теперь оно перекочевало в ваше досье. Герцог Отрантский отправил на гильотину брата нынешнего короля, это знают все. Но никто пока не знает, что князь Беневентский подвел под расстрел кузена.

Выпрямившись в кресле, Талейран молчит с ледяным лицом. Фуше наполняет бокал и протягивает ему. Талейран машинально берет его и выпивает. Молчание. С верхнего этажа доносятся звуки вальса. Фуше весело делает несколько па. За окном слышится шум толпы.

Австрийский танец... От этой музыки хочется начать жизнь сначала. У меня крылья вырастают... *(Внезапно останавливается.)* А что, если открыть окна? Чтобы те, на улице, тоже могли послушать. Представляете: весь Париж танцует под ваш оркестр! Лучше уж пусть танцуют, чем затевают какую-нибудь гнусность.

Пауза.

Талейран, опустив голову, размышляет, затем с трудом встает, идет к Фуше, тот дает ему дорогу. Талейран просовывает руку за ковер на стене и дергает шнурок. Слышится далекий перезвон. Фуше отступает к окну. Пауза.

Открывается дверь, входят лакеи и секунду неподвижно стоят на пороге. Обмен взглядами. Лакеи берут ломберный столик и ставят его перед диванчиком. Затем выходят и тут же возвращаются, неся на большом серебряном блюде мороженое, которое ставят на стол. Талейран садится.

Жан и Жак шныряют по комнате, задерживаясь без видимой причины. Талейран следит за ними взглядом, затем жестом выпроваживает. Лакеи выходят и закрывают за собой дверь. Фуше медленно подходит к столу, садится. Талейран кладет ему на тарелку мороженое. Молча едят.

Талейран. Теперь, герцог, мы связаны с вами еще крепче.

Фуше. Вы воображали, будто держите меня за глотку, а теперь чувствуете, как моя рука сжимается на вашей.

Талейран. Конечно, мы можем душить друг друга, пока не придушим. А можем попытаться повальсировать вместе.

Фуше *(иронически)*. С вашей хромой ногой?

Талейран. Я буду танцевать на здоровой, а вы уж постарайтесь ее не

отдавить. Вероятно, это будет не слишком грациозно, но все лучше, чем убивать друг друга. Мне наскучили расправы.

Фуше. Ах, наскучили? Вот уж никогда бы не подумал. Я как раз не нахожу в них ничего скучного. Эбер, Шометт, Карье, Кутон, Шалье... Я своими глазами видел, как шмякались в корзину их головы. Все друзья... но вопрос стоял просто — они или я. Я ни о чем не жалею.

Пауза.

Талейран. Вы жуткий человек.

На улице раздаются выстрелы.

Фуше *(со скукой)*. Ну, что они опять палят?

Талейран. Они недовольны. Знаете, Фуше, что такое недовольный? Это бедняк, который задумался.

Фуше. На то и полиция, чтобы не позволять им думать.

Талейран. Тут мы сходимся.

Фуше. Только не слишком близко, ваша светлость. А то я буду бояться подножки.

Талейран. Мы должны идти рядом. Раз уж между нами нет братства, пусть будет хотя бы равенство.

Фуше. Наконец-то равенство! Нас уравняла кровь Бурбонов, которую мы оба пролили. Герцог Отрантский и князь Беневентский равны в кровопролитии и предательстве.

Талейран разливает шампанское по бокалам, и оба пьют маленькими глотками.

Талейран. Мы мало пьем. А между прочим, шампанское располагает к любви. Я бы, наверно, полюбил вас, дорогой мой, если бы слушался велений шампанского.

Фуше ставит бокал.

Фуше. А я, чем больше пью, тем сильнее боюсь вас.

Талейран. Меня, который приглашает вас сопровождать меня завтра к королю...

Фуше. В Сен-Дени?

Талейран. Да, в Сен-Дени, где он ждет от вас пропуска в Париж.

Фуше встает и делает несколько шагов по комнате.

Фуше. И что же я ему скажу?

Талейран. Будет достаточно, если вы броситесь на колени... и поцелуете руку, которую он вам протянет.

Фуше. И все?

Талейран *(иронически)*. За вас будут говорить чувства.

Заложив руки за спину, склонив голову набок, Фуше молча размышляет.

Решайтесь. Нам осталось несколько часов, пока мы еще можем надеяться стать министрами этого короля.

Фуше. Я в раздумье.

Талейран. Это заметно.

Фуше. Если я спросил о деталях протокола, это еще не значит, что я согласился. Я же вам сказал: если все как следует взвесить, то республика...

Талейран, зевая, перебивает его.

Талейран. Меня начинает клонить в сон.

Тихий стук в дверь.

Войдите.

Дверь приотворяется, в гостиную проскальзывает Жак. Он говорит что-то на ухо Талейрану, тот шепотом отвечает ему. Все трое обмениваются взглядами. Жак выходит.

Герцогиня Дино требует меня к себе перед сном.

Фуше. А, ваша племянница. Ничего, подождет.

Талейран. Она не привыкла ждать, но уж сегодня, ради вас... *(Пауза. Тихо.)* Ее глаза — единственный свет в ночи.

Пауза.

Что же она такое видит во мне, чего я сам не вижу?

Фуше. Что-что?

Пауза.

Талейран. Который теперь час?

Фуше *(достает из кармана часы)*. Час ночи.

Талейран. А народ... все еще здесь?

Фуше выглядывает в окно.

Фуше. Огромная толпа!

Талейран. Ну и как атмосфера?

Фуше. Тяжелая.

Талейран. Но грозы не будет. Если бы она разразилась, все бы разошлись по домам. Дождь — большая контрреволюционная сила.

Фуше. Молнии сверкают, но дождя нет. *(Отходит от окна, возвращается к Талейрану, утирая лоб.)* Вам не кажется, что тут нечем дышать?

Талейран. Нет. Мне даже сегодня холодно. Вы знаете — вы, который знает все на свете,— что на мне сейчас три фланелевые фуфайки, две пары подштанников, сорочка, штаны и жилет? А на ночь я надеваю четырнадцать ватных ночных колпаков один на другой?

Фуше. Четырнадцать? Мне говорили восемнадцать...

Талейран. Люди любят преувеличивать. Нет, только четырнадцать. Я вечно мерзну. Ну, и если я случайно упаду с кровати, чтобы смягчить удар...

Фуше. Да...

Талейран *(небрежно)*. Одевание, раздевание... На это уходит часа три, а то и четыре. Потом обеды, ужины — то дома, то в гостях, вист, дамы... Наконец, политика и ее сюрпризы...

Пауза.

Все считают меня занятым человеком, а я бездельничаю.

Фуше. Вы мне как-то приснились.

Талейран. Страшный сон, должно быть.

Фуше. Лакей раздевал вас на ночь. И когда вас распаковали... Угадайте, что там оказалось?

Талейран. Пустое место.

Фуше. Как вы догадались?

Талейран. Да потому что так и есть. Вы настоящий профессионал, Фуше. Даже парадный мундир с позументами не может скрыть пустоту.

Пауза.

Да, кстати, чуть не забыл... Если вы соберетесь ехать со мной к королю, вам придется принять присягу.

Фуше. Это будет восьмая по счету.

Талейран. У вас восьмая, а у меня двенадцатая.

Фуше. Что поделаешь, человек — хозяин своего слова, иногда приходится брать его назад.

Талейран. Вы будете смеяться, господин Фуше, но в этот раз я присягал с чистой совестью. В молодости я гордился Францией. Мне казалось, что в ней все идеально устроено. Что в ней говорят на самом прекрасном в мире языке и с легкостью создают шедевры. К несчастью, такая Франция ничего не говорила императору. Ему нравилась только Франция, вышедшая из берегов. Если так можно выразиться, в разливе. Мне претит отсутствие чувства меры. И эта взбесившаяся страна, готовая захапать всю Европу, была мне не по душе. Наполеон своим буйством убил сладость жизни. Бурбоны везут в своем обозе старые привилегии, но они уже не смогут вернуть привилегиям былой прелести.

Ф у ш е. Выходит, вы предавали из высших соображений?

Т а л е й р а н. Я никогда не изменял государю, пока он не изменял сам себе. Я был неверен властям, но всегда верен Франции.

Пауза.

И потом, скажу вам честно, на все, что обо мне болтают, мне плевать.

Пауза.

Ф у ш е. Завидую вашему происхождению. Моим изменам не хватает корней в отечественной истории. Им, в каком-то смысле, недостает родословной.

Т а л е й р а н. Пожалуй, первый Талейран, который предал своего короля, жил во времена Гуго Капета [1]. В нашей семье его память священна.

Ф у ш е. Какие предки! Предатели, разбойники, убийцы... У вас есть оправдание.

Т а л е й р а н. А вы, герцог Отрантский, какие можете предъявить аргументы высшему суду?

Ф у ш е. Страсть, ваша честь. Чем не смягчающее обстоятельство? Оно взывает к снисхождению. Меня пожирает страсть. Я ее раб на всю жизнь.

Т а л е й р а н. Как ее зовут, Фуше?

Ф у ш е. Полиция, князь. Сыск, дознание. Разгадать человека, разоблачить, вскрыть.

Т а л е й р а н. Украсть письмо для начала...

Ф у ш е *(с упоением)*. Купить женщину, которую он любит, выведать у его детей то, за что он заплатит честью, а может быть, и головой... Ах, сударь, какое наслаждение ткнуть человека носом в его позорные секреты! Надо видеть его лицо в этот момент — перекошенное, неузнаваемое... Свеча, которая на глазах оплывает.

Т а л е й р а н. И озаряет вашу жизнь!

Ф у ш е. Они-то кажутся себе неуязвимыми в своих мундирах и орденах, но стоит только колупнуть позолоту... Если бы вы знали! Весь гной прорывается наружу. Они усыхают на глазах.

Т а л е й р а н. Завидую королю, у которого вы будете министром. За месяц он узнает о человечестве больше, чем за всю предыдущую жизнь. Давайте выпьем. Вы что-то не жалуете мой коньяк. *(Наполняет рюмки. Фуше залпом выпивает. Талейран качает головой и вздыхает.)* С вашего позволения, коньяк пьют не так. Взгляните, пожалуйста. *(Берет рюмку и начинает показывать.)* Вы берете рюмку, греете в ладони, слегка вращаете, чтобы влага источала аромат. Потом подносите к губам, вдыхаете...

Ф у ш е. А дальше?

Т а л е й р а н. А дальше ставите на стол и обсуждаете.

Фуше застывает, окаменев от унижения, потом встает и швыряет свою рюмку об стену. Рюмка разбивается.

Ф у ш е. От ваших церемоний несет мертвечиной. Я из другого века. Кончились ваши реверансы, пришли новые времена. Хозяйничать станут мелкие сошки, бюрократы, фискалы. Закон будет двусмысленным, никто не будет знать толком, преступник он или нет, и все будут бояться. Вот какая должна быть власть: вездесущая, многоликая. Неприметная и всемогущая. Она будет сидеть в мозгу у каждого. *(Резко поворачивается к Талейрану и указывает на него пальцем.)* Вот тогда, сударь, и будет порядок.

Шум толпы и отсвет пожара в стеклах, как будто под окном что-то горит. Сквозь разбитое окно в гостиную вползает дым.

Т а л е й р а н *(спокойно)*. Они собираются идти на приступ?

Фуше выглядывает в окно.

Ф у ш е. Не думаю. Несколько психов жгут солому. *(Кашляет.)* Они сами себя заводят.

Пауза.

---

[1] Гуго Капет (938—996) — основатель французской династии Капетингов.

Талейран. Расходиться не собираются?

Фуше. Их все больше и больше. *(Возвращается к столу, садится).*

Талейран. Нервничаете, Фуше?

Фуше. Люблю порядок, как вам известно.

Талейран *(кладет себе еду на тарелку)*. Нужен толковый человек в полиции. Если мы будем тянуть, господин Фуше, нас просто сметут.

Фуше *(возбуждаясь все больше и больше)*. Вас раньше. С вашей фамилией — без очереди. Да, сударь! Вот увидите, с вас сдерут все ваши тряпки и вышвырнут на улицу в чем мать родила. Будете там стоять нагишом, на железной ноге и смотреть, как в сточной канаве уплывают ваши фуфайки и кальсоны.

Музыка продолжает тихо играть.

Талейран *(жуя безе)*. Вас обидели, Фуше?

Фуше. Меня?

Талейран. Видимо, да, раз вам нравится пугать. *(Обматывает вокруг шеи шарф, как епитрахиль, и наклоняется к Фуше в позе священника, выслушивающего исповедь.)* Друг мой... *(Касается руки Фуше.)* Что вас мучит?

Фуше наливает себе рюмку и залпом опустошает ее.

Фуше *(удрученно)*. О!.. *(Снова наливает себе и с застывшим взглядом отпивает несколько глотков.)*

Талейран *(мягко)*. Не бойтесь...

Фуше *(неуверенно)*. Я рос без надзора. У вас, у Талейранов, о коньяке говорили, вместо того чтобы пить. А у нас пили потому, что говорить было не о чем. Мой отец был моряк, мысли приходили ему в голову после первого стакана. Один раз я причастился, мне было девять лет, а он вышел из кабака. Он схватил меня, швырнул в шаланду и стал выгребать в открытое море. Волна была чудовищная, качка ужасная. Меня вывернуло... Все отправилось в море — и завтрак, и причастие.

Талейран. Я только-только научился ходить, кормилица усадила меня на комод, и я упал. Вот откуда моя хромота. За четыре года мои драгоценные родители ни разу не поинтересовались, жив ли я.

Фуше. Но они хоть не приставали к вам! Я был хилый, задыхался, мне велели закаляться. Я должен был как заведенный бегать вдоль берега. А когда я уже валился с ног и приходил на ужин... Знаете, чем меня кормили?

Талейран отрицательно качает головой.

Сырыми мидиями. Ракушками.

Пауза.

Родители вас любили?

Талейран. Нет.

Пауза.

Не знаю почему. Мы не были знакомы.

Фуше. Счастливчик! Когда им надоело гонять меня по мокрому песку, они засунули меня к монахам-ораторианцам. От тамошней кормежки я затосковал по ракушкам. А какой холод в спальнях! В тазу вода замерзала!

Талейран *(печально)*. У вас хоть крыша была над головой! А я в пять лет у кормилицы с утра до ночи болтался на улице в предместье Сен-Марсель, зимой, в лохмотьях. Один из моих дядюшек случайно проходил мимо, он взял меня за руку и привел как есть к моей матери, прямо в салон, где она принимала гостей. «Сестрица,— сказал он,— вот один из потомков князей Шале, юный отрок, чей герб...»

Фуше. *(машинально подхватывает)*. «...три золотых оскаленных львиных головы под княжескими коронами. Щит покрыт мантией и увенчан герцогской короной.»

Талейран *(пораженный)*. Дьявол!

Фуше. И потом дядюшка сказал вам: «Ваша светлость, поцелуйте эту даму, это госпожа ваша матушка».

Т а л е й р а н. Я поцеловал. А она меня нет.

Пауза. Оба развалились в креслах, усталые, слегка пьяные. Наверху звучит концерт для арфы.

Ф у ш е. Нас не баловали.

Т а л е й р а н *(бормочет)*. Князь Шале...

Ф у ш е *(торжественно)*. ... граф Гриньоль, маркиз Эксидейль, барон де Марель, де Бовиль и прочая и прочая, князь Талейран-Перигор.

Т а л е й р а н. Все эти звучные титулы не помогли. Родители видели только мою хромоту. На меня надели рясу. Я поклялся, что они пожалеют об этом... Вся троица. Семья, Церковь и Монархия.

Ф у ш е *(отвешивает поклон)*. Эту клятву вы сдержали, ваше преосвященство.

Т а л е й р а н. Дитя, брошенное родной матерью, не способно на верность.

Ф у ш е *(весело)*. Ну, князь, мы, кажется, впадаем в нытье. *(Снова наливает себе шампанского.)* Давайте зальем мрак шампанским *(Пьет.)* Как хорошо!

Пауза.

Что вы обо мне скажете?

Талейран удивленно смотрит на него. Фуше встает, вертится перед ним.

Ну, фигура... осанка...

Т а л е й р а н. Красивая внешность дает мужчине выигрыш всего-то в пару недель. Куда вам торопиться?

Ф у ш е *(сконфуженно)*. Да, я урод.

Т а л е й р а н *(небрежно)*. Да нет, голубчик, вы красивы... *(Тихо.)* Или я начинаю привыкать.

Пауза.

А кому вы хотите понравиться?

Ф у ш е. Жене.

Т а л е й р а н. Мне говорили, что она умерла.

Ф у ш е. Первая. Я собираюсь жениться второй раз.

Т а л е й р а н. Поздравляю.

Ф у ш е. Я овдовел давно.

Пауза.

Вы думаете, я слишком стар?

Т а л е й р а н. С вашими деньгами и положением мужчина не бывает стар.

Ф у ш е *(мечтательно)*. Пожалуй. Она меня любит.

Т а л е й р а н. А вы?

Ф у ш е *(воодушевляясь)*. Я! Боже мой!.. Как только она появляется, я, кажется... Стоит мне ее увидеть, как... Да, я люблю ее.

Т а л е й р а н. Можно узнать ее имя?

Ф у ш е. Мадемуазель де Кастеллан. Ей двадцать шесть лет.

Т а л е й р а н. Кастеллан! Одна из старейших фамилий Прованса. И двадцать шесть лет! Блистательная удача, Фуше!

Фуше, польщенный, выпячивает грудь.

Постойте... А не по вашей ли милости слетела голова ее папаши?

Ф у ш е *(смущенно)*. Его спас переворот.

Т а л е й р а н. Какая жалость! А то бы ей пришлось любить вас в терзаниях. Как Химена любила Сида.

Пауза.

Скажите, герцог Отрантский — я спрашиваю просто из любопытства,— вот вы, самый богатый человек Франции, помолвленный с молодой хорошенькой женщиной, почему бы вам не бросить все и не зажить в своем замке в Эксе? Что вам мешает удалиться от дел?

Ф у ш е. Никаких дел не существует, существует жизнь. Жизнь — это и есть дела, въевшиеся нам в плоть и кровь.

Талейран. Хорошо сказано.

Фуше. Сначала человек пускается в политику, чтобы добиться власти, а добившись, не может бросить игру. Во что я еще могу играть в моем возрасте? Я не чувствую себя уставшим. От власти устают только те, кто ее не имеет.

Пауза.

И потом, знать всю подноготную!..

Талейран. Так давайте играть в паре. Нам придется с вами сосуществовать. Постараемся свыкнуться с этой мыслью. Не будем забывать: или мы оба, или ни тот, ни другой.

Фуше. Значит, мы оба.

Талейран. Наконец-то мы сдвинулись с места!

Фуше *(довольный)*. Конечно, вы и я... я и вы.

Талейран. Вот увидите, это будет совсем недурно. Вдвоем мы сумеем придать Реставрации обаяние старого режима.

Пауза.

Государственный секретарь по внутренним делам — это вас устроит?

Фуше. Я должен восстановить агентурную сеть.

Талейран. Все в ваших руках.

Фуше. Хорошо организованная сеть — это кровеносная система страны. Информация стекается, подозрение переходит в уверенность, подследственный становится преступником. Миг, когда в порядочном человеке проступает жулик... Да я готов жизнь отдать за это мгновение!

Талейран смотрит на него, удивленный последними словами.

Талейран. По-вашему, невиновных нет?

Фуше. Да их на самом деле нет! *(Вдруг начинает смеяться.)* Это напомнило мне один случай. Анекдот. Зимой девяносто четвертого года я стоял на площади Согласия, у самого эшафота. Там в списке был один знакомый, его потащили, он вдруг начал вопить: «Не надо! Я невиновен!..» А Сансон, палач... Помните Сансона? *(Смеется.)* Швырнул его на перекладину и так спокойно говорит: «Невиновен? Сейчас посмотрим». И хрясь!

Талейран *(бесстрастно)*. М-да...

Фуше. Не смешно?

Пауза.

А что, если я доем мороженое? Положить вам?

Талейран протягивает свою тарелку.

У вас все тот же знаменитый повар?

Талейран. Власть меняется, кухня остается.

Фуше. Передайте ему, что я восхищен. Ужин просто чудо.

Талейран. Не премину.

Едят.

Скажите, Фуше... А правда, что вашим главным агентом при Бонапарте была...

Фуше *(ликуя)*. Да, Жозефина! Она мне дорого стоила, стерва. Но зато как работала! Через нее я держал в руках всю семейку: четверых братьев, двух сестер, мамашу Летицию, дядюшку кардинала, ну и, конечно, Самого. Ему и в голову не приходило, что все, что он рассказывает в постели, наутро передается мне слово в слово. Он так и не понял. Он с ума сходил от этого!

Пауза.

Давайте лучше поговорим о вас, ваша светлость. Какие у вас планы? Опять возьмете иностранные дела?

Талейран. Меня знают в Европе, и для короля это не секрет.

Фуше. Приятно делать историю?

Талейран. Пустые хлопоты. Я только прикладываю руку. История слишком ненадежная штука, чтобы за нее держаться.

Ф у ш е. Она сама нас держит за горло.

Т а л е й р а н. Душа просит покаяния, герцог?

Ф у ш е. Оставьте мою душу в покое. Займитесь собственной.

Т а л е й р а н. Непременно. Могу я рассчитывать на вас сегодня вечером?

Пауза.

Вы едете со мной к королю?

Ф у ш е. Если вы ручаетесь...

Т а л е й р а н *(с готовностью, перебивая его)*. Портфель министра полиции? Он ваш. И амнистия вашим соратникам, полная и безусловная.

Ф у ш е. В таком случае я еду.

Пауза.

А теперь я отправлюсь спать. А то, боюсь, не смогу завтра подняться с колен перед отпрыском Людовика Святого.

Талейран берет со стола колокольчик и звонит. Никто не появляется. Он звонит снова. Наконец дверь открывается, и входит Ж а н, неся канделябр.

Т.а л е й р а н. Проводите господина председателя Временного правительства. *(Обращаясь к Фуше.)* До вечера. В десять я заеду за вами. '

Ф у ш е. Я буду готов. *(Кланяется на прощание Талейрану, по-прежнему сидящему за столом, и идет за лакеем к выходу. Проходя мимо портрета герцога Энгиенского, он останавливается и, взяв из рук лакея канделябр, долго всматривается в портрет. Сделав лакею знак удалиться, медленно возвращается к Талейрану.)* Для чего вам понадобилось его убрать? Вы же прекрасно знали, что он не имел никакого отношения к заговору... Он был совершенно безобидный.

Пауза.

Что он вам сделал?

Т а л е й р а н. Монархисты поднимали голову. Надо было ударить повыше, дать урок. Мне казалось, что мы с вами мыслим одинаково.

Ф у ш е. Не могу понять, чего вы так старались? Хватало и без вас добровольных палачей. А вы вдруг забыли осторожность, оставили такую улику — письмо, писанное собственной рукой... *(Стоит перед столом, за которым по-прежнему невозмутимо сидит Талейран. Фуше вдруг резко опускает канделябр на стол, и свечи оказываются на уровне глаз Талейрана. Тот, ослепленный, непроизвольно заслоняет глаза рукой.)* Вы, случайно, не родственники?

Т а л е й р а н *(хладнокровно)*. Как это у вас называется на жандармском наречии? «Потрошить», кажется? Это вы меня «потрошите»?

Ф у ш е. Повторяю вопрос: герцог Энгиенский вам родственник?

Талейран делает попытку взять свою трость, прислоненную к креслу, но Фуше легким движением ноги отшвыривает ее в сторону.

Т а л е й р а н. Я вижу, вы не утратили квалификации.

Ф у ш е. Талейраны состояли в родстве с семейством Конде?..

Т а л е й р а н. Если добраться до самой верхушки древа, наверняка отыщется какой-нибудь сук, где наши предки сидели рядышком.

Пауза.

Ф у ш е. Он был молод, благороден, с незапятнанной честью, у него не было пороков... И он не хромал. Когда слуги пудрили ваше сумрачное лицо, вы, глядя в зеркало, вспоминали, что этот светлый человек ходит по земле. Пытка!

Пауза.

И как бы вы ни холили свою персону, вы мучительно себя ненавидите и опускаетесь все ниже и ниже!

Талейран изящно утирает рот кружевным платком.

Т а л е й р а н. Господин сыщик, вы меня допрашиваете или исповедуете?

Ф у ш е. Пытаюсь понять, чем вы пахнете. Я, конечно, не ангел, от меня пахнет чужой кровью. Но от вас...

Т а л е й р а н. Не вздумайте хвалиться этим перед королем. Его обоняние очень чувствительно к этому запаху — особенно от вас.

Пауза.

Еще коньяку, герцог Отрантский? Он вернет нам радость жизни.

Фуше наливает себе и пьет.

Ну как, вам лучше?

Ф у ш е. Не жалуюсь.

Т а л е й р а н. Тогда почему вы ищете со мной ссоры? Чего ради? Друг мой, вы становитесь непредсказуемы к трем часам ночи.

Ф у ш е. Я все сказал. Пускай разбирается история.

Талейран с трудом встает и поднимает свой бокал.

Т а л е й р а н. За неудачу истории и удачу в делах!

Фуше тоже поднимает бокал.

Ф у ш е. И за новый старый режим! За потомка Людовика Святого! За нашу дружбу! И долой красных!

Т а л е й р а н *(спокойно)*. И за пустые небеса, герцог!

За окном сверкает молния, раздается гром и внезапный шум дождя. Порыв ветра распахивает балконную дверь, свечи гаснут. Фуше подходит к двери и закрывает ее.

Что они там делают? *(Зажигает свечи.)*

Ф у ш е (глядя в окно). Разбежались.

Т а л е й р а н. Я так и знал. Дождь — лучший страж порядка.

Ф у ш е *(задумчиво, продолжая смотреть в окно)*. Жутко.

Т а л е й р а н. Что?

Ф у ш е. Безлюдье.

Т а л е й р а н. В общем, сегодня ночью вас одолевают страхи.

Фуше берет колокольчик и звонит. Талейран улыбается.

Еще десерта?

Ф у ш е. Пусть меня сопро́водят.

Т а л е й р а н. Сопроводя́т, Фуше, надо говорить сопроводят или проводят.

Фуше швыряет колокольчик в угол через всю гостиную.

Хотите уйти, откройте сами... Дверь не заперта.

Фуше направляется к двери, колеблется, возвращается снова.

Ф у ш е *(упорно)*. Не пристало главе правительства самому открывать двери.

Т а л е й р а н. Человек, который запугал всю Францию, боится темноты! А вдруг там подкарауливают вас... мои люди? Или они ваши? Черт их теперь разберет. *(Сладким голосом.)* Если они вас прирежут, я не пойду на них доносить.

Во время последних реплик сверкает молния, слышится гром и шум дождя.

Ф у ш е. Это вас не спасет.

Т а л е й р а н. Хватит. Мы всю ночь друг друга стращаем.

Пауза.

Ф у ш е *(тихо)*. Да, правда. Нам так мало осталось. Мы старики. Такие богатые! И скоро помрем. Ну разве это справедливо — вдруг лишиться всего и оказаться рядом с последним ничтожеством?

Т а л е й р а н *(тихо)*. Почаще предавайтесь меланхолии. Она потихоньку примиряет с мыслью о смерти.

Ф у ш е *(кричит)*. Не хочу даже слышать о смерти! *(Тихо.)* У нас еще все впереди!

Т а л е й р а н. Я же говорил, что мы непременно придем к согласию!

Ф у ш е. Я в этом не сомневался. И к равновесию сил!

Т а л е й р а н. На сегодняшний день.

Пауза.

Фуше... зачем мы женимся? Такие люди, как мы с вами, должны довольствоваться политическим супружеством. В нем куда больше страсти...

Пауза.

Берегите себя, друг мой. Я не хочу овдоветь раньше времени. Вам надо выспаться. *(Хлопает в ладоши. Дверь открывается. За ней темнота.)* Итак, сегодня вечером у короля.

Ф у ш е. Можете смело на меня положиться.

Т а л е й р а н. Все, что от вас требуется,— встать на колени и поцеловать руку. Я буду рядом, чтобы благословить вас.

Фуше идет к выходу.

Фуше!

Фуше оборачивается.

Только не насмешите меня!..

Делает Фуше знак приблизиться, потом встает и опирается на его руку. Они медленно выходят в темноту. Входят Ж а н и Ж а к.

Ж а н. Кому же теперь толкнуть все эти секреты?

Ж а к. Больше некому. Лавочка временно прикрылась. Нас употребили, и не нас одних. Вся Франция в дерьме. Кому нужна была вся эта болтовня, эта мясорубка? За что боролись? Двадцать пять лет бардака — и все псу под хвост.

Ж а н. Мы еще ничего. Мы все-таки при деле. Какой-то навар имеем.

Ж а к. С объедков.

Ж а н. А что тебе не нравится?

Ж а к. А то, что нас никогда не пустят дальше лакейской. И не рыпайся.

Ж а н. Почему?

Ж а к. Потому что мы рылом не вышли. Хочешь остаться цел — не высовывайся...

Г о л о с з а с ц е н о й: «Я приехал в Сен-Дени. Меня привели в комнату, прилегающую к покоям короля. Там никого не было, я сел в углу и стал ждать. Вдруг дверь распахнулась: глазам моим предстал порок, шествующий под руку с преступлением,— господин Талейран, поддерживаемый господином Фуше; адское видение безмолвно проплыло мимо меня и скрылось в кабинете короля. Фуше явился, чтобы поклясться в верности своему повелителю. Верноподданный цареубийца, упав на колени, простер руки, погубившие короля-мученика, к его родному брату. Христопродавец-епископ скрепил клятву». Шатобриан. «Замогильные записки». 7 июля 1815 г., около 11 часов.

Из классики XX века

ГЕРМАН ГЕССЕ

Демиан

История юности, написанная Эмилем Синклером

Перевод с немецкого и послесловие С. АПТА

Лауреат Нобелевской премии 1946 г.

Я ведь всего только и хотел попытаться жить тем, что само рвалось из меня наружу. Почему же это было так трудно?

Чтобы рассказать мою историю, мне надо начать издалека. Мне следовало бы, будь это возможно, вернуться гораздо дальше назад, в самые первые годы моего детства, и еще дальше, в даль моего происхождения.

Писатели, когда они пишут романы, делают вид, будто они Господь Бог и могут целиком охватить и понять какую-то человеческую историю, могут изобразить ее так, как если бы ее рассказывал себе сам Господь Бог, без всякого тумана, только существенное. Я так не могу, да и писатели тоже не могут. Но мне моя история важнее, чем какому-нибудь писателю его история; ибо это моя собственная история, а значит, история человека не выдуманного, возможного, идеального или еще как-либо не существующего, а настоящего, единственного в своем роде, живого человека. Что это такое, настоящий живой человек, о том, правда, сегодня знают меньше, чем когда-либо, и людей, каждый из которых есть драгоценная, единственная в своем роде попытка природы, убивают сегодня скопом. Если бы мы не были еще чем-то бóльшим, чем единственными в своем роде людьми, если бы нас действительно можно было полностью уничтожить пулей, то рассказывать истории не было бы уже смысла. Но каждый человек — это не только он сам, это еще и та единственная в своем роде, совершенно особенная, в каждом случае важная и замечательная точка, где скрещиваются явления мира так — только однажды и никогда больше. Поэтому история каждого человека важна, вечна, божественна, поэтому каждый человек, пока он жив и исполняет волю природы, чудесен и достоин всяческого внимания. В каждом приобрел образ дух, в каждом страдает живая тварь, в каждом распинают Спасителя.

Мало кто знает сегодня, что такое человек. Многие чувствуют это, и потому им легче умирать, как и мне будет легче умереть, когда допишу эту историю.

Знающим я назвать себя не смею. Я был ищущим и все еще остаюсь им, но ищу я уже не на звездах и не в книгах, я начинаю слышать то, чему учит

меня шумящая во мне кровь. Моя история лишена приятности, в ней нет милой гармонии выдуманных историй, она отдает бессмыслицей и душевной смутой, безумием и бредом, как жизнь всех, кто уже не хочет обманываться.

Жизнь каждого человека есть путь к самому себе, попытка пути, намек на тропу. Ни один человек никогда не был самим собой целиком и полностью; каждый, тем не менее, стремится к этому, один глухо, другой отчетливей, каждый как может. Каждый несет с собой до конца оставшееся от его рождения, слизь и яичную скорлупу некоей первобытности. Иной так и не становится человеком, остается лягушкой, остается ящерицей, остается муравьем. Иной вверху человек, а внизу рыба. Но каждый — это бросок природы в сторону человека. И происхождение у всех одно — матери, мы все из одного и того же жерла; но каждый, будучи попыткой, будучи броском из бездны, устремляется к своей собственной цели. Мы можем понять друг друга; но объяснить может каждый только себя.

Глава первая

ДВА МИРА

Я начну свою историю с одного происшествия той поры, когда мне было десять лет и я ходил в гимназию нашего города.

Многое наплывает на меня оттуда, пробирая меня болью и приводя в сладостный трепет, темные улицы, светлые дома, и башни, и бой часов, и человеческие лица, и комнаты, полные уюта и милой теплоты, полные тайны и глубокого страха перед призраками. Пахнет теплой теснотой, кроликами и служанками, домашними снадобьями и сушеными фруктами. Два мира смешивались там друг с другом, от двух полюсов приходили каждый день и каждая ночь.

Одним миром был отцовский дом, но мир этот был даже еще уже, охватывал, собственно, только моих родителей. Этот мир был мне большей частью хорошо знаком, он означал мать и отца, он означал любовь и строгость, образцовое поведение и школу. Этому миру были присущи легкий блеск, ясность и опрятность. Здесь были вымытые руки, мягкая приветливая речь, чистое платье, хорошие манеры. Здесь пели утренний хорал, здесь праздновали Рождество. В этом мире существовали прямые линии и пути, которые вели в будущее, существовали долг и вина, нечистая совесть и исповедь, прощение и добрые намерения, любовь и почтение, библейское слово и мудрость. Этого мира следовало держаться, чтобы жизнь была ясной и чистой, прекрасной и упорядоченной.

Между тем другой мир начинался уже в самом нашем доме и был совсем иным; иначе пахнул, иначе говорил, другое обещал, другого требовал. В этом втором мире существовали служанки и подмастерья, истории с участием нечистой силы и скандальные слухи, существовало пестрое множество чудовищных, манящих, ужасных, загадочных вещей, таких, как бойня и тюрьма, пьяные и сквернословящие женщины, телящиеся коровы, павшие лошади, рассказы о грабежах, убийствах и самоубийствах. Все эти прекрасные и ужасные, дикие и жестокие вещи существовали вокруг, на ближайшей улице, в ближайшем доме, полицейские и бродяги расхаживали повсюду. Пьяные били своих жен, толпы девушек текли по вечерам из фабрик, старухи могли напустить на тебя порчу, в лесу жили разбойники, сыщики ловили поджигателей — везде бил ключом и благоухал этот второй, ожесточенный мир, везде, только не в наших комнатах, где были мать и отец. И это было очень хорошо. Это было чудесно, что существовало и все то другое, все то громкое и яркое, мрачное и жестокое, от чего можно было, однако, в один день укрыться у матери.

И самое странное — как оба эти мира друг с другом соприкасались, как близки они были друг к другу! Например, наша служанка Лина, когда она вечером, за молитвой, сидела в гостиной у двери и своим звонким голосом

пела вместе с другими, положив вымытые руки на выглаженный передник, тогда она была целиком с отцом и матерью, с нами, со светлым и правильным. А сразу после этого, в кухне или в дровянике, когда она рассказывала мне сказку о человечке без головы или когда она спорила с соседками в маленькой мясной лавке, она была совсем другая, принадлежала к другому миру, окружалась тайной. И так бывало со всем на свете, чаще всего со мной самим. Конечно, я принадлежал к светлому и правильному миру, я был сыном своих родителей, но куда ни направлял я свой взгляд и слух, везде присутствовало это другое, и я жил также и в нем, хотя оно часто бывало мне чуждо и жутко, хотя там обыкновенно появлялись нечистая совесть и страх. Порой мне даже милее всего было жить в этом запретном мире, и возвращение домой, к светлому — при всей своей необходимости и благотворности — часто ощущалось почти как возврат к чему-то менее прекрасному, более скучному и унылому. Иногда я знал: моя цель жизни — стать таким, как мой отец и моя мать, таким же светлым и чистым, таким же уверенным и порядочным; но до этого еще долгий путь, до этого надо отсиживать уроки в школе, быть студентом, сдавать всякие экзамены, и путь этот идет все время мимо другого, темного мира, а то и через него, и вполне возможно, что в нем-то как раз и останешься и утонешь. Сколько угодно было историй о блудных сыновьях, с которыми именно так и случилось, я читал их со страстью. Возвращение в отчий дом и на путь добра всегда бывало там замечательным избавлением, я вполне понимал, что только это правильно, хорошо и достойно желания, и все же та часть истории, что протекала среди злых и заблудших, привлекала меня гораздо больше, и если бы можно было это сказать и в этом признаться, то иногда мне бывало, в сущности, даже жаль, что блудный сын раскаялся и нашелся. Но этого ни говорить, ни думать не полагалось. Это ощущалось только подспудно, как некое предчувствие, некая возможность. Когда я представлял себе черта, я легко мог вообразить его идущим по улице, открыто или переодетым, или где-нибудь на ярмарке или в трактире, но никак не у нас дома.

Мои сестры принадлежали тоже к светлому миру. Они, как мне часто казалось, были по сути ближе к отцу и матери, они были лучше, нравственнее, непогрешимее, чем я. У них были недостатки, были дурные привычки, но мне казалось, что это заходит не очень глубоко, не так, как у меня, где соприкосновение со злом часто оказывалось мучительно-тяжким, где темный мир находился гораздо ближе. Сестер, как и родителей, надо было щадить и уважать, и если случалось поссориться с ними, ты всегда оказывался плохим перед собственной совестью, зачинщиком, который должен просить прощения. Ибо в сестрах ты обижал родителей, добро и непреложность. Были тайны, поделиться которыми с самыми скверными уличными мальчишками мне было куда легче, чем с сестрами. В хорошие дни, когда все светло и совесть в порядке, бывало просто восхитительно играть с сестрами, держаться с ними приятно и мило и видеть самого себя в славном, благоприятном свете. Так, наверно, было бы, если бы сделаться ангелом! Ничего более высокого мы не знали, и нам казалось дивным блаженством быть ангелами, окруженными сладкозвучием и благоуханием, как сочельник и счастье. О, как редко выдавались такие часы и дни! За игрой, за хорошими, невинными, разрешенными играми мною часто овладевала горячность, которая претила сестрам, вела к ссорам и бедам, и если на меня тогда находила злость, я становился ужасен, я делал и говорил вещи, делая и говоря которые в глубине души уже обжигался их мерзостью. Затем наступали скверные, мрачные часы раскаяния и самоуничижения, а затем горькая минута, когда я просил прощения, а потом снова, на какие-то часы или мгновения — луч света, тихое, благодарное счастье без разлада.

Я учился в гимназии, сын бургомистра и сын старшего лесничего были в моем классе и иногда приходили ко мне, дикие сорванцы, и все-таки частицы доброго, разрешенного мира. Тем не менее у меня были близкие отношения с соседскими мальчишками, учениками народной

школы, которых мы вообще презирали. С одного из них я и начну свой рассказ.

Как-то в свободные часы второй половины дня — мне было чуть больше десяти лет — я слонялся без дела с двумя соседскими мальчишками. Тут к нам подошел третий, постарше, сильный и грубый малый лет тринадцати, ученик народной школы, сын портного. Его отец был пьяница, и вся семья пользовалась дурной славой. Франц Кромер был мне хорошо известен, и мне не понравилось, что он присоединился к нам. У него были уже мужские манеры, он подражал походкой и оборотами речи фабричным парням. Под его предводительством мы возле моста спустились к берегу и спрятались от мира под первой мостовой аркой. Узкий берег между сводчатой стеной моста и вяло текущей водой состоял из сплошных отбросов, из черепков и рухляди, запутанных узлов ржавой проволоки и прочего мусора. Там можно было иногда найти полезные вещи; под предводительством Франца Кромера мы должны были обыскивать этот участок и показывать ему найденное. Затем он либо брал это себе, либо выбрасывал в воду. Он велел нам не пропускать предметов из свинца, меди и олова, их он все до одного забрал, как и роговую гребенку. Я чувствовал себя в его обществе очень скованно, не потому, что я знал, что мой отец запретил бы мне водиться с ним, а от страха перед самим Францем. Я был рад, что он меня взял с собой и обращался со мной, как с другими. Он приказывал, а мы повиновались, словно так заведено издавна, хотя я был впервые с ним вместе.

Наконец мы уселись на берегу. Франц плевал в воду и был похож на взрослого. Он плевал сквозь отверстие на месте выпавшего зуба и попадал куда хотел. Начался разговор, и мальчики стали бахвалиться своим геройством в школе и всяческими бесчинствами. Я молчал, боясь, однако, именно этим привлечь к себе внимание и вызвать гнев Кромера. Оба моих товарища отделились от меня и взяли его сторону, я был чужим среди них и чувствовал, что моя одежда и мое поведение бросают им вызов. Как гимназиста и барчука Франц наверняка не мог любить меня, а те оба, я это прекрасно чувствовал, в случае чего отступились бы и бросили меня на произвол судьбы.

Только от страха начал в конце концов рассказывать и я. Я выдумал великолепную разбойничью историю, героем которой сделал себя. В саду возле Угловой мельницы, рассказал я, мы с одним приятелем ночью утащили целый мешок яблок, причем не обычных, а сплошь ранет и золотой пармен, лучшие сорта. Убежал я в эту историю от опасностей той минуты, а выдумывать и рассказывать я умел. Чтобы тут же не умолкнуть и не угодить в еще худшее положение, я пустил в ход все свое искусство. Один из нас, рассказал я, стоял на страже, а другой сбрасывал яблоки с дерева, и мешок получился такой тяжелый, что под конец нам пришлось открыть его и половину отсыпать, но через полчаса мы вернулись и унесли и это.

Кончив рассказ, я надеялся на какое-то одобрение, к концу я разошелся, сочинительство опьянило меня. Оба мальчика выжидающе промолчали, а Франц Кромер, прищурившись, пронзил меня взглядом и с угрозой в голосе спросил:

— Это правда?

— Да, конечно,— сказал я.

— Значит, сущая правда?

— Да, сущая правда,— упрямо подтвердил я, а сам задыхался от страха.

— Можешь поклясться?

Я очень испугался, но сразу сказал «да».

— Ну, так скажи: «Клянусь Богом и душой».

Я сказал:

— Клянусь Богом и душой.

— Ну, что ж,— отозвался он и отвернулся.

Я думал, что тем дело и кончилось, и был рад, когда он вскоре поднялся и направился в обратный путь. Когда мы вышли на мост, я робко сказал, что мне нужно домой.

— Не надо спешить,— засмеялся Франц,— нам же по пути.

Он медленно плелся дальше, и я не осмеливался убежать, но он действительно шел в сторону нашего дома. Когда мы дошли до него, когда я увидел нашу входную дверь и толстую медную ручку, солнце на окнах и занавески в комнате матери, я глубоко вздохнул. О, возвращение домой! О, доброе, благословенное возвращение в свой дом, в светлоту, в мир!

Когда я быстро отворил дверь и прошмыгнул, готовый захлопнуть ее, Франц Кромер протиснулся вслед за мной. В прохладном, мрачном коридоре с каменным полом, куда свет проникал только со двора, он стал рядом со мной, взял меня за плечо и тихо сказал:

— Не надо так спешить, понял?

Я испуганно посмотрел на него. Он держал мое плечо мертвой хваткой. Я думал, что́ у него на уме и уж не собирается ли он поднять на меня руку. Если я сейчас закричу, думал я, закричу громко, истошно, успеет ли кто-нибудь спуститься, чтобы спасти меня? Но я не закричал.

— В чем дело? — спросил я.— Что тебе нужно?

— Не так много. Я должен только еще кое-что спросить у тебя. Другим незачем это слышать.

— Вот как? Что же мне еще сказать тебе? Мне надо наверх, пойми.

— Ты же знаешь,— тихо сказал Франц,— чей это сад возле Угловой мельницы?

— Нет, не знаю. Думаю — мельника.

Франц обхватил меня рукой и притянул вплотную к себе, так что мне пришлось глядеть ему прямо в лицо. Глаза у него были злые, улыбался он скверно, а в лице были жестокость и властность.

— Да, миленький, я-то уж могу тебе сказать, чей это сад. Я давно уже знаю, что там украдены яблоки, и знаю, что хозяин сказал, что даст две марки любому, кто укажет вора.

— Боже мой! — воскликнул я.— Но ты же не скажешь ему?

Я чувствовал, что бесполезно взывать к его чести. Он был из другого мира, для него предательство не считалось преступлением. Я чувствовал это безошибочно. В этих делах люди из «другого» мира были не такие, как мы.

— Не скажу? — засмеялся Кромер.— Ты, друг мой, думаешь, наверно, что я фальшивомонетчик, что я могу сам делать себе двухмарковые монеты? Я бедняк, у меня нет богатого отца, как у тебя, и если мне выпадает случай заработать две марки, то я должен их заработать. Может быть, он даст даже больше.

Внезапно он отпустил меня. Наша входная площадка уже не пахла покоем и безопасностью, мир вокруг меня рухнул. Кромер выдаст меня, я — преступник, об этом скажут отцу, может быть, даже придет полиция. Мне грозили все ужасы хаоса, на меня ополчилось все безобразное и опасное в мире. Что я вовсе не вор, не имело никакого значения. Кроме того, я поклялся. О боже, о боже!

Слезы навернулись у меня на глаза. Я чувствовал, что должен откупиться, и в отчаянии обшаривал свои карманы. Ни яблока, ни перочинного ножика — ничего не было. Тут я вспомнил о своих часах. Это были старые серебряные часы, и они не ходили, я носил их «так просто». Они перешли ко мне от нашей бабушки. Я быстро вытащил их.

— Кромер,— сказал я,— послушай, не выдавай меня, это будет некрасиво с твоей стороны. Я подарю тебе свои часы, вот погляди. Больше у меня, к сожалению, ничего нет. Возьми их, они серебряные, и механизм хороший, там только какая-то маленькая неполадка, их можно починить.

Он усмехнулся и взял часы в свою большую руку. Я смотрел на эту руку и чувствовал, как она груба и как глубоко враждебна мне, как она посягает на мою жизнь и на мой покой.

— Они серебряные,— сказал я робко.

— Плевать мне на твое серебро и на эти твои старые часы! — сказал он с глубоким презрением.— Сам отдавай их в починку!

— Но, Франц,— крикнул я, дрожа от страха, что он убежит,— подожди-ка! Возьми все-таки часы! Они действительно серебряные, действительно, в самом деле. Да и нет у меня ничего другого.

Он посмотрел на меня холодно и презрительно.

— Значит, ты знаешь, к кому я пойду. А могу сообщить и в полицию, их унтер-офицера я хорошо знаю.

Он повернулся, чтобы уйти. Я держал его за рукав. Этого нельзя было допустить. Мне куда легче было умереть, чем вынести все, что последует, если он так уйдет.

— Франц,— взмолился я, охрипнув от волнения,— не дури! Ведь это же просто шутка!

— Ну, конечно, шутка, но тебе она может дорого обойтись.

— Скажи, Франц, что мне сделать? Я же сделаю все!

Он осмотрел меня своими прищуренными глазами и опять засмеялся.

— Не будь дураком! — сказал он притворно-добродушно.— Ты же все понимаешь не хуже моего. Я могу заработать две марки, и я не богач, чтобы бросаться ими, ты это знаешь. А ты богатый, у тебя есть даже часы. Тебе нужно только дать мне две марки, и все в порядке.

Я понимал его логику. Но две марки! Это казалось мне таким же огромным и таким же недостижимым богатством, как десять, как сто, как тысяча марок. У меня денег не было. Была копилка, стоявшая у матери, в ней, благодаря приездам дядюшки и другим таким поводам, лежало несколько десяти- и пятипфенниговых монет. Больше у меня ничего не было. Карманных денег я в том возрасте еще не получал.

— У меня ничего нет,— сказал я грустно.— У меня нет никаких денег. А вообще я тебе все отдам. У меня есть книга про индейцев, и солдатики, и компас. Я его принесу тебе.

Кромер только искривил свой наглый злой рот и плюнул на пол.

— Не болтай! — сказал он повелительно.— Свой хлам можешь оставить себе. Компас! Лучше не зли меня сейчас, слышишь, и выкладывай деньги!

— Но у меня нет их, мне никогда не дают денег. Я же не виноват в этом!

— Ну, так принесешь мне завтра эти две марки. Я буду ждать тебя после школы внизу на рынке. И кончено. Не принесешь денег — увидишь.

— Да, но где же мне взять их? Господи, когда у меня ничего нет.

— У вас в доме денег хватает. Это твое дело. Итак, завтра после школы. И повторяю: если не принесешь...

Он метнул мне в глаза ужасный взгляд, еще раз сплюнул и исчез как тень.

Я не мог подняться в дом. Моя жизнь рухнула. Я думал о том, чтобы убежать и никогда больше не возвращаться или утопиться. Но это были неясные видения. Я сел в темноте на нижнюю ступеньку нашей лестницы, весь сжался и ушел в свое горе. Там нашла меня плачущим Лина, когда спускалась с корзиной за дровами.

Я попросил ее ничего не говорить наверху и поднялся. На вешалке возле стеклянной двери висели шляпа отца и материнский зонтик от солнца, домашность и нежность лились на меня от всех этих предметов, мое сердце приветствовало их с мольбой и благодарностью, как приветствует блудный сын вид и запахи родных покоев. Но все это теперь не принадлежало мне, все это был светлый отцовский и материнский мир, а я глубоко и преступно окунулся в чужую стихию, запутался в приключениях и грехе, пребывал под угрозой врага, в ожидании опасностей, страха и позора. Шляпа и зонтик, старый добрый каменный пол, большая картина над шкафом в прихожей, а изнутри, из гостиной, голос моей старшей сестры — все это было милее, нежнее и драгоценнее, чем когда-либо, но это уже не было утешением, надежным достоянием, а было сплошным укором. Все это не было уже моим, не могло пустить меня в свою безоблачность и тишину. На моих

ногах была грязь, которую нельзя было удалить, вытерев их о коврик, я принес с собой тени, о которых этот родной мир и не ведал. Сколько бывало у меня тайн, сколько страхов, но все это было игрой и шуткой по сравнению с тем, что я принес с собой в эти покои сегодня. Судьба гналась за мной, ко мне тянулись руки, от которых даже мать не смогла бы меня защитить, о которых она и знать не должна была. Состояло ли мое преступление в воровстве или во лжи (разве я не дал ложной клятвы, не поклялся Богом и душой?) — это было безразлично. Мой грех состоял не в чем-то определенном, а в том, что я дал руку дьяволу. Зачем я пошел с ними? Зачем послушался Кромера — покорнее, чем когда-либо отца? Зачем выдумал эту историю о воровстве? Бахвалился преступлениями, словно это геройские подвиги? Теперь дьявол не отпускает мою руку, теперь враг не отстает от меня.

На миг я ощутил уже не страх перед завтрашним днем, а прежде всего ужасную уверенность, что отныне мой путь пойдет неуклонно под гору и во мрак. Я ясно почувствовал, что за моим проступком непременно последуют новые проступки, что мое появление среди семьи, мое приветствие и поцелуи с родителями — ложь, что я ношу с собой рок и тайну, которые скрываю от них.

На миг во мне блеснула надежда, когда я глядел на отцовскую шляпу. Я все скажу отцу, приму его приговор и его кару, сделаю его своим поверенным и спасителем. Это будет всего только покаяние,— а каяться мне уже часто случалось,— тяжелый, горький час, тяжелая и полная раскаяния мольба о прощении.

Как сладостно это звучало! Как завлекающе манило! Но это было невозможно. Я знал, что не сделаю этого. Я знал, что теперь у меня есть тайна, есть вина, которую я должен расхлебывать сам, в одиночку. Может быть, я сейчас на распутье, может быть, с этого часа я всегда буду во власти дурного, всегда должен буду делить тайны со злыми, зависеть от них, слушаться их, быть таким, как они. Я строил из себя мужчину и героя, теперь надо вытерпеть все, что из этого следовало.

Мне пришлось кстати, что отец, когда я вошел, побранил меня за мокрую обувь. Это отвлекло его, он не заметил худшего, и я снес упрек, который втайне отнес к другому. При этом во мне взыграло какое-то странное новое чувство, злое, острое и колючее: я почувствовал свое превосходство над отцом! На миг я почувствовал некое презрение к его неосведомленности, его брань по поводу моих мокрых башмаков показалась мне мелочной. «Если бы ты знал!» — думал я и представлялся себе преступником, которого допрашивают из-за украденной булочки, тогда как ему следовало бы признаться в убийствах. Чувство это было скверное, гнусное, но оно было сильным, в нем была своя глубокая сладость, и оно крепче, чем всякая другая мысль, приковывало меня к моей тайне, к моей вине. Может быть, думал я, Кромер уже пошел в полицию и донес на меня, и надо мной вот-вот разразятся грозы, а на меня здесь смотрят как на малое дитя!

Во всем этом событии, как оно досюда рассказано, этот миг был самым важным и запомнился прочнее всего. Это была первая трещина в священном образе отца, первый надлом в опорах, на которых держалась моя детская жизнь и которые каждому человеку, чтобы стать самим собой, надо разрушить. Из этих событий, не доступных ничьему зрению, состоит внутренняя, существенная линия нашей судьбы. Такая трещина, такой надлом потом зарастают, они заживают и забываются, но в самой тайной глубине они продолжают жить и кровоточить.

Меня самого сразу же ужаснуло это новое чувство, я тут же готов был целовать ноги отцу, чтобы извиниться перед ним за него. Но ни за что существенное извиниться нельзя, и ребенок чувствует это и знает так же хорошо и глубоко, как всякий мудрец.

Я сознавал необходимость подумать о своем деле, поразмыслить о том, как поступить завтра; но у меня ничего не вышло. Весь вечер я был занят единственно тем, что привыкал к изменившемуся воздуху в нашей

гостиной. Стенные часы и стол, Библия и зеркало, книжная полка и картины на стене как бы прощались со мной, я с застывающим сердцем видел, как мой мир, как моя славная, счастливая жизнь уходят в прошлое, отделяются от меня, и ощущал, как сцеплен, как скреплен я новыми сосущими корнями со всем тем чужим и мрачным, чем этот мой мир окружен. Впервые отведал я смерти, а у смерти вкус горький, ибо она — это рождение, это трепет и страх перед ужасающей новизной.

Я был рад, когда наконец улегся в постель! Но прежде, как через последнее чистилище, я прошел через вечернюю молитву, когда мы пели одну песню, которая принадлежала к числу моих самых любимых. Нет, я не пел с другими, и каждый звук был для меня ядом и желчью. Я не молился с другими, когда отец произносил благословение, а когда он кончил: «...да пребудет с нами со всеми!» — какая-то судорога вырвала меня из этого круга. Милость божья была с ними со всеми, но уже не со мной. Холодный и глубоко усталый, я удалился.

В постели, когда я немного полежал, когда меня любовно объяли тепло и защищенность, сердце мое в страхе еще раз метнулось назад и тоскливо запорхало вокруг происшедшего. Мать, как всегда, пожелала мне спокойной ночи, ее шаги еще отдавались в комнате, свет ее свечи еще теплился за неплотно закрытой дверью. Сейчас, думал я, сейчас она вернется — она почувствовала, она поцелует меня и спросит ласково и многообещающе, и тогда я расплачусь, тогда растает комок у меня в горле, тогда я обниму ее и расскажу ей это, и тогда все будет хорошо, тогда я спасен! И когда щель между дверью и косяком уже потемнела, я все еще какое-то время прислушивался и думал, что так непременно, непременно случится.

Потом я вернулся к действительности и посмотрел своему врагу в лицо. Я увидел его отчетливо, один глаз он прищурил, его рот грубо смеялся, и пока я глядел на него, проникаясь неизбежным, он делался больше и безобразнее, а его злобный глаз бесовски сверкал. Он стоял вплотную ко мне, пока я не уснул, но потом сны мои были не о нем и не о сегодняшнем, нет, мне снилось, что мы катаемся на лодке, родители, сестры и я, а вокруг нас только покой и сияние дня летних каникул. Проснувшись среди ночи, еще ощущая оставшийся вкус блаженства, еще видя, как светятся на солнце белые платья сестер, я низвергнулся из всего этого рая в действительность и снова стоял напротив врага с его злобным глазом.

Утром, когда торопливо вошла мать и громко удивилась, почему я, хотя уже поздно, еще в постели, вид у меня был скверный, а когда она спросила, здоров ли я, меня стошнило.

Этим, казалось, было что-то выиграно. Я очень любил прихворнуть и все утро попивать лежа настой ромашки, слушая, как мать убирает соседнюю комнату, а Лина принимает мясника в прихожей. В утренних часах без школы было какое-то очарование, что-то сказочное, солнце заглядывало тогда в комнату и было не тем же солнцем, от которого в школе опускали зеленые занавески. Но и это сегодня не радовало и приобрело какóй-то фальшивый оттенок.

Вот если бы я умер! Но мне только немного нездоровилось, как то часто случалось, и это ничего не меняло. Это защищало меня от школы, но отнюдь не от Кромера, который в одиннадцать ждал меня на рынке. И в материнской ласке тоже не было на этот раз ничего утешительного: она тяготила и причиняла боль. Вскоре я притворился, что снова уснул, и стал думать. Ничего не помогло, в одиннадцать мне нужно было быть на рынке. Поэтому в десять я тихо встал и сказал, что чувствую себя лучше. Это значило, как обычно в таких случаях, что я должен либо снова лечь, либо пойти в школу после обеда. Я сказал, что хочу пойти в школу. Я составил себе некий план.

Без денег мне нельзя было прийти к Кромеру. Я должен был заполучить принадлежавшую мне копилку. В ней было недостаточно денег, я это знал, далеко не достаточно; но что-то там было, а чутье говорило мне, что что-то все же лучше, чем ничего, и должно Кромера хотя бы задобрить.

У меня было скверно на душе, когда я на цыпочках крался в комнату

матери и вытаскивал из ее письменного стола свою жестянку; но это было не так скверно, как вчерашнее. Сердцебиение душило меня, и лучше не стало, когда я внизу на лестнице с первого же взгляда обнаружил, что копилка заперта. Взломать ее оказалось очень легко, нужно было только порвать тонкую жестяную сеточку; но это действие далось мне с болью, лишь теперь я совершил кражу. Дотоле я только украдкой таскал сладости, конфеты, фрукты. А это была кража, хотя деньги были мои. Я чувствовал, как еще на шаг приблизился к Кромеру и его миру, как неудержимо качусь вниз, и закусил удила. Черт со мной, пути назад уже нет. Я со страхом пересчитал деньги, в жестянке они звенели так внушительно, а теперь в руке их было ничтожно мало. Там оказалось шестьдесят пять пфеннигов. Я спрятал копилку в нижней прихожей, зажал деньги в руке и вышел из дому — иначе, чем когда-либо выходил за эту дверь. Сверху кто-то позвал меня, как мне показалось; я поспешил прочь.

Было еще много времени, я крался обходными путями по улицам какого-то изменившегося города, под какими-то невиданными облаками, мимо домов, которые на меня глядели, и мимо людей, которые подозревали меня. По дороге мне вспомнилось, что один мой однокашник как-то нашел талер на скотном рынке. Я готов был помолиться, чтобы Бог совершил чудо и ниспослал мне тоже такую находку. Но у меня уже не было права молиться. Да и тогда копилка не стала бы снова целой.

Франц Кромер увидел меня издалека, но шел в мою сторону очень медленно, вовсе, казалось, не замечая меня. Приблизившись, он кивком велел мне следовать за ним и, не оглядываясь, спокойно пошел дальше, вниз по Соломенной улице и через мостик, и остановился только у последних домов перед какой-то стройкой. Там не работали, стены стояли еще голые, без дверей и без окон. Кромер оглянулся и вошел в дверной проем. Я — вслед за ним. Он зашел за стену, кивком подозвал меня и протянул руку.

— Принес? — спросил он холодно.

Я вынул из кармана сжатый кулак и вытряхнул деньги в его ладонь. Он пересчитал их еще раньше, чем отзвенел последний пятак.

— Здесь шестьдесят пять пфеннигов,— сказал он и посмотрел на меня.

— Да,— сказал я робко.— Это все, что у меня есть, слишком мало, я знаю. Но это все. Больше нет.

— Я думал, что ты умнее,— почти мягко укорил он меня.— Между людьми чести все должно быть по правилам. Я не возьму у тебя ничего, что не положено, ты это знаешь. Забирай свою мелочь! Тот — ты знаешь кто — не станет со мной торговаться. Тот заплатит.

— Но у меня же нет, нет больше! Это были мои сбережения.

— Это твое дело. Но я не хочу делать тебя несчастным. Ты должен мне еще одну марку и тридцать пять пфеннигов. Когда я их получу?

— О, ты, конечно, получишь их, Кромер! Сейчас я не знаю... возможно, скоро у меня будет больше, завтра или послезавтра. Ты же понимаешь, что я не могу сказать об этом отцу.

— Это меня не касается. Я не такой, чтобы кому-то вредить. Я ведь мог бы получить эти деньги еще до двенадцати, а я беден. Ты хорошо одет, и обед у тебя получше, чем мой. Но я ничего не скажу. Я лучше немного подожду. Послезавтра я тебе свистну, после двенадцати, и ты уладишь дело. Знаешь, как я свищу?

Он свистнул для моего сведения, я этот свист часто слышал.

— Да,— сказал я,— знаю.

Он ушел, словно я не имел к нему никакого отношения. Между нами была сделка, больше ничего.

Еще и сегодня, думаю, кромеровский свист испугал бы меня, если бы я вдруг снова услышал его. Отныне я слышал его часто, мне казалось, я слышу его всегда и непрестанно. Не было такого места, такой игры, такой работы, такой мысли, куда бы не проникал этот свист, от которого я зависел, который стал теперь моей судьбой. В мягкие, красочные дни осени я часто бывал в нашем садике, очень мною любимом, и какой-то странный

порыв заставлял меня возвращаться к детским играм прежних эпох; я как бы играл мальчика, который был младше меня, был еще благонравен и свободен, невинен и защищен. Но в эти игры всегда, как ожидалось и все-таки ужасающе внезапно, врывался откуда-то кромеровский свист, обрывал нить, разрушал фантазии. Я должен был идти, следовать за своим мучителем в скверные и мерзкие места, должен был отчитываться перед ним и выслушивать напоминания о деньгах. Все это тянулось, наверно, несколько недель, но мне они казались годами, казались вечностью. Редко бывали у меня деньги, пятак или десять пфеннигов, утащенные с кухонного стола, когда Лина оставляла там рыночную корзинку. Кромер каждый раз ругал меня и обдавал презрением; это я хотел обмануть его и посягал на его законное право, это я обкрадывал его, это я делал его несчастным! Не столь часто в жизни беда подбиралась к моему сердцу так близко, никогда не чувствовал я большей безнадежности, большей зависимости.

Копилку я наполнил фишками и поставил на место, никто о ней не спрашивал. Но и это могло на меня свалиться в любой день. Еще больше, чем грубого кромеровского свиста, я часто страшился матери, когда она тихонько подходила ко мне — не затем ли, чтобы спросить о копилке?

Поскольку я не раз являлся к своему бесу без денег, он. стал мучить и эксплуатировать меня другим способом. Я должен был на него работать. Если отец Кромера посылал его куда-то, Кромер отправлял меня туда вместо себя. Или он давал мне какое-нибудь трудное задание — проскакать десять минут на одной ноге, прилепить бумажку к одежде прохожего. Ночами я во сне продолжал испытывать эти муки и просыпался в холодном поту.

На какое-то время я заболел. Меня часто рвало и знобило, а по ночам бросало в жар и вгоняло в пот. Мать чувствовала, что что-то не в порядке, и всячески показывала мне свое участие, которое меня мучило, которому я не мог ответить доверием.

Однажды вечером, когда я уже лег, она принесла мне дольку шоколада. Это был отголосок прежних лет, когда я, если хорошо себя вел, часто получал на сон грядущий такие лакомства. И вот сейчас она стояла и протягивала мне шоколадку. Мне было так больно, что я смог только покачать головой. Она спросила, что со мной, погладила мои волосы. Я сумел только выдавить из себя: «Нет! Нет! Не хочу ничего». Она положила шоколадку на тумбочку и ушла. Когда она на следующий день стала меня об этом расспрашивать, я сделал вид, будто ничего не помню. Однажды она привела ко мне доктора, который осмотрел меня и назначил мне холодные обмовения по утрам.

Мое состояние в то время было родом безумия. Среди порядка и мира, царивших в нашем доме, я жил в страхе и муках, как призрак, не участвовал в жизни остальных, редко забывался на час. С отцом, который часто раздраженно требовал от меня объяснений, я был замкнут и холоден.

Глава вторая

КАИН

Спасение от моих мук пришло с совершенно неожиданной стороны, и одновременно с ним в мою жизнь вошло нечто новое, продолжающее действовать и поныне.

В нашу гимназию однажды поступил новичок. Он был сыном состоятельной вдовы, поселившейся в нашем городе, и носил на рукаве траурную повязку. Он учился в старшем, чем мой, классе, да и был на несколько лет старше, но и я, как все, заметил его. Этот примечательный ученик, казалось, был гораздо старше, чем выглядел, ни на кого он не производил впечатления мальчика. Среди нас, ребячливых школьников, он двигался отчужденно и свободно, как мужчина, вернее, как господин. Особой любовью он не пользовался, он не участвовал в играх, а тем более в драках, однако его

уверенный и решительный тон в обращении с учителями нравился всем. Звали его Макс Демиан.

Однажды, как то время от времени случалось в нашей школе, по каким-то причинам в нашей очень большой классной комнате усадили еще один класс. Это был класс Демиана. У нас, маленьких, был урок Закона Божьего, а большие должны были писать сочинение. Когда в нас вдалбливали историю Каина и Авеля, я часто поглядывал на Демиана, чье лицо как-то странно привлекало меня, и видел это умное, светлое, необыкновенно твердое лицо внимательно и сосредоточенно склонившимся над работой; он походил не на ученика, выполняющего задание, а на исследователя, погруженного в собственные проблемы. Приятен он мне, в сущности, не был, напротив, у меня было что-то против него, он был, на мой взгляд, слишком высокомерен и холоден, очень уж вызывающе самоуверен, и в глазах его было то выражение взрослых, которого дети никогда не любят,— немного грустное, с искорками насмешливости. Однако — с приязнью ли, с сожалением ли — я поглядывал на него непрестанно; но как только он однажды взглянул на меня, я испуганно отвел глаза. Думая сегодня о том, как выглядел он тогда в роли ученика, могу сказать: он был во всех отношениях иным, чем прочие, на нем явно лежала печать особости, самобытности, и поэтому-то он обращал на себя внимание — хотя в то же время делал все, чтобы не обращать на себя внимания, держался и вел себя как переодетый принц, находящийся среди крестьянских детей и всячески старающийся казаться таким же, как они.

По пути из школы домой он шел позади меня. Когда другие разошлись, он перегнал меня и поздоровался со мной. Его приветствие, хоть он и подражал при этом нашему школьническому тону, было тоже очень взрослым и вежливым.

— Пойдем вместе? — спросил он приветливо. Я был польщен и утвердительно кивнул. Затем я описал ему, где живу.

— Ах, там! — сказал он улыбнувшись.— Этот дом я знаю. Над вашим входом есть такая любопытная штуковина, это меня сразу заинтересовало.

Я не сразу понял, что он имел в виду, и удивился, что он знает наш дом как бы лучше, чем я. Верно, замковый камень над сводом нашей входной двери изображал собой некий герб, но за много лет он сделался плоским и не раз закрашивался, к нам и к нашей семье, насколько я знал, он не имел никакого отношения.

— Ничего об этом не знаю,— сказал я робко.— Это птица или что-то подобное, наверно, очень древнее. Дом, говорят, принадлежал когда-то монастырю.

— Вполне возможно,— кивнул он.— Рассмотри это как-нибудь хорошенько! Такие вещи часто бывают очень интересны. Думаю, что это ястреб.

Мы пошли дальше, я совсем оробел. Вдруг Демиан засмеялся, словно вспомнив что-то веселое.

— Ах, ведь я побывал на вашем уроке,— сказал он оживленно.— Эта история о Каине, который носил на себе печать, так ведь? Она тебе нравится?

Нет, мне редко что-либо нравилось из того, что нам приходилось учить. Но я не отважился это сказать, у меня было такое чувство, будто со мной говорит взрослый. Я сказал, что эта история мне нравится.

Демиан похлопал меня по плечу.

— Не надо передо мной притворяться, дорогой. Но история эта в самом деле любопытна, намного, думаю, любопытней, чем большинство других, которые учат в школе. Учитель ведь мало что об этом сказал, только обычное о Боге, грехе и так далее. Но я думаю...— он запнулся и, улыбнувшись, спросил: — А тебе это интересно?

— Так вот, я думаю,— продолжал он,— эту историю о Каине можно понимать и совсем иначе. Большинство вещей, которым нас учат, конечно, вполне правдивы и правильны, но на все можно смотреть и совсем не так, как учителя, и тогда они большей частью приобретают куда лучший смысл. Вот этим Каином, например, и печатью на нем нельзя же вполне

удовлетвориться в том виде, в каком нам его преподносят. Ты так не думаешь? Что он, поссорившись, убивает своего брата, такое, конечно, может случиться, и что потом ему становится страшно и он признает свою вину, тоже возможно. Но то, что он за свою трусость еще и награждается орденом, который его защищает и нагоняет страху на всех других, это все же довольно странно.

— Правда,— сказал я заинтересованно: это начинало меня занимать.— Но как же объяснить эту историю иначе?

Он похлопал меня по плечу.

— Очень просто! Существовала и положила начало этой истории печать. Был некий человек, и в лице у него было что-то такое, что пугало других. Они не осмеливались прикасаться к нему, он внушал им уважение, он и его дети. Но, наверно, и даже наверняка, это не была в самом деле печать на лбу, вроде почтового штемпеля, такие грубые шутки жизнь редко выкидывает. Скорей это была какая-то чуть заметная жутковатость, чуть больше, чем люди к тому привыкли, ума и отваги во взгляде. У этого человека была сила, перед этим человеком робели. На нем была «печать». Объяснить это можно было как угодно. А «угодно» всегда то, что удобно и подтверждает твою правоту. Детей Каина боялись, на них была «печать». Вот и усмотрели в печати не то, чем она была, не награду, а ее противоположность. Говорилось, что парни с этой печатью жутки, а жутки они и были. Люди мужественные и с характером всегда очень жутки другим людям. Наличие рода бесстрашных и жутких было очень неудобно, и вот к этому роду прицепили прозвище и сказку, чтобы отомстить ему, чтобы немножко вознаградить себя за все страхи, которые пришлось вытерпеть. Понимаешь?

— Да... то есть... получается, что Каин вовсе не был злым? И значит, вся эта история в Библии, в сущности, не правдива?

— И да, и нет. Такие старые-престарые истории всегда правдивы, но не всегда они так записаны и не всегда их так объясняют, как надо бы. Словом, я думаю, что Каин был замечательный малый, и только потому, что его боялись, к нему прицепили эту историю. История эта была просто слухом, чем-то таким, что люди болтают, а истинной правдой обернулась постольку, поскольку Каин и его дети и в самом деле носили на себе своего рода «печать» и были не такие, как большинство людей.

Я был изумлен.

— И ты думаешь, значит, что и эта история насчет убийства — неправда? — спросил я взволнованно.

— О нет! Это наверняка правда. Сильный убил слабого. Был ли то действительно его брат, на этот счет могут быть сомнения. Это неважно, в конце концов все люди братья. Итак, сильный убил слабого. Может быть, это был геройский поступок, а может быть, и нет. Во всяком случае, другие слабые пребывали теперь в страхе, они всячески жаловались, и если их спрашивали: «Почему же вы просто не убьете его?», они не говорили: «Потому что мы трусы», а говорили: «Нельзя. На нем печать. Бог отметил его!» Так, наверно, возник этот обман... Однако я задерживаю тебя. Прощай!

Он свернул в Старую улицу и оставил меня в одиночестве, удивленным как никогда. Как только он удалился, все, что он говорил, показалось мне совершенно невероятным! Каин — благородный человек, Авель — трус! Каинова печать — награда! Это было нелепо, это было кощунственно и гнусно. Что же тогда Господь Бог? Разве не принял он жертвы Авеля, разве не был Авель угоден ему?.. Нет, глупость! И я решил, что Демиан потешался надо мной, дурачил меня. Да, он был чертовски умный малый и говорить он умел, но такое... нет...

Как бы то ни было, никогда еще я так много не размышлял ни о какой библейской или другой истории. И ни разу за долгое время так полностью не забывал о Франце Кромере, на несколько часов, на целый вечер. Дома я еще раз прочел эту историю по Библии, она была короткая и ясная, безумием было искать тут какого-то особого, тайного смысла. Этак каж-

дый убийца может объявить себя любимцем Бога! Нет, это был вздор. Приятна только была манера Демиана говорить такие вещи, этак легко и красиво, словно само собой разумеется, да еще с этими глазами!

Что-то, однако, было ведь у меня самого не в порядке, даже в большом беспорядке. Прежде я жил в светлом и чистом мире, был своего рода Авелем, а теперь я глубоко увяз в «другом», низко пал, но так уж виноват в этом, в сущности, не был! Как же так? И тут во мне сверкнуло одно воспоминание, от которого у меня перехватило дух. В тот недобрый вечер, когда началась моя теперешняя беда, тогда-то и случилось это у меня с отцом, тогда я вдруг на миг как бы разглядел насквозь и запрезирал его и его светлый мир! Да, тогда я сам, будучи Каином и неся на себе печать, вообразил, что эта печать не позор, а награда, отличие, и что мой злой поступок и мое горе возвышают меня над отцом, возвышают над добрыми и доброчестными.

Не в такой, как сейчас, форме ясной мысли изведал я это тогда, но вся суть ее там присутствовала, то была лишь вспышка чувств, необыкновенных чувств, которые причинили мне боль и все же наполнили меня гордостью.

Если задуматься, как удивительно говорил Демиан о бесстрашных и трусах! Как необыкновенно истолковал он печать на челе Каина! Как дивно светился при этом его взгляд, его поразительный взгляд взрослого! И у меня смутно мелькнуло в уме: не сам ли он, этот Демиан, своего рода Каин? Почему он защищает его, если не чувствует себя подобным ему? Почему у него такая сила во взгляде? Почему он так насмешливо говорит о «других», о робких, которые ведь, в сущности, доброчестны и угодны Богу?

Я не приходил ни к чему с этими мыслями. В колодец упал камень, а колодцем была моя молодая душа. И долго, очень долго эта история с Каином, убийством и печатью оставалась той точкой, откуда брали начало все мои попытки познания, сомнения и критики.

Я заметил, что и других учеников сильно занимал Демиан. О каиновской истории я никому ничего не говорил, но казалось, что он вызывает интерес и у других. Во всяком случае, о «новеньком» ходило множество слухов. Если бы я их все помнил, каждый бросил бы какой-то свет на него, каждый можно было бы истолковать. Помню только, сперва говорили, что мать Демиана очень богата. Говорили также, что она никогда не ходит в церковь и ее сын тоже не ходит. Они евреи, уверял кто-то, но могли быть и тайными магометанами. Еще рассказывали всякие сказки о физической силе Макса Демиана. Точно было известно, что он ужасно унизил самого сильного своего одноклассника, который вызвал его подраться, а когда тот отказался, назвал его трусом. Те, кто при этом присутствовал, говорили, что Демиан просто взял его за затылок и крепко сжал, отчего мальчик побледнел, а потом незаметно удалился и несколько дней не мог шевельнуть рукой. В какой-то вечер прошел даже слух, что он умер. Всякое говорили одно время, всякому верили, все волновало и поражало. Потом на какой-то срок насытились. Вскоре, однако, среди нас, учеников, возникли новые слухи, сообщавшие, что Демиан путается с девушками и «все знает».

Между тем моя история с Францем Кромером шла своим неизбежным путем. Я не мог избавиться от него, ибо даже если он и оставлял меня на день-другой в покое, я был все-таки привязан к нему. В моих снах он не покидал меня, как тень, и то, чего он не делал мне в действительности, мое воображение заставляло его проделывать в этих снах, в которых я становился полностью его рабом. Я жил в этих снах — видеть сны я всегда был мастер — больше, чем в действительности, я расточал силы и жизнь на эти тени. Среди прочего мне часто снилось, что Кромер истязает меня, что он плюет на меня, становится на меня коленями и, того хуже, совращает меня на тяжкие преступления — вернее, не совращает, а просто силой своего влияния заставляет меня их совершать. В самом ужасном из этих снов, от которого я проснулся в полубезумье, я покушался на убийство отца.

Кромер наточил нож и вложил его мне в руку, мы притаились за деревьями какой-то аллеи и ждали кого-то, кого — я не знал; но когда кто-то появился и Кромер, сжав мне плечо, дал понять, что этого и нужно заколоть, оказалось, что это мой отец. Тут я проснулся.

За этими заботами я, правда, думал еще о Каине и Авеле, но уже меньше о Демиане. Впервые он снова приблизился ко мне, странным образом, тоже во сне. Мне приснились истязания и надругательства, которым я подвергался, но на этот раз вместо Кромера на меня становился коленями Демиан. И — это было ново и произвело на меня глубокое впечатление — то, что от Кромера я претерпевал с протестом и мукой, от Демиана я принимал охотно, с чувством, в котором блаженства было столько же, сколько страха. Это снилось мне дважды, потом на его место снова пришел Кромер.

Что испытывал я в этих снах, а что в действительности, точно разграничить я давно уже не могу. Во всяком случае, моя скверная связь с Кромером продолжалась, она не кончилась и тогда, когда я наконец выплатил ему требуемую сумму путем мелких краж. Нет, теперь он знал об этих кражах, ибо всегда спрашивал меня, откуда деньги, и я был в руках у него в еще большей мере, чем прежде. Он часто грозил мне, что все расскажет моему отцу, и тогда мой страх был едва ли сильнее, чем глубокое сожаление о том, что я с самого начала не сделал этого сам. Между тем, как я ни был несчастен, я раскаивался не во всем, во всяком случае не всегда, и порой у меня бывало ощущение, что все так и должно быть. Надо мной висел рок, и было бесполезно бороться с ним.

Наверно, мои родители немало страдали от этого положения. Мной овладел какой-то чужой дух, я выпадал из нашего содружества, которое было таким тесным и безумная тоска о котором, как о потерянном рае, часто на меня находила. Обращались со мной, прежде всего мать, скорее как с больным, чем как со злодеем, но как обстояло дело по сути, я мог судить лучше всего по поведению обеих моих сестер. Из этого поведения, очень щадящего и все же бесконечно меня огорчавшего, ясно видно было, что я этакий одержимый, которого из-за его состояния надо скорее жалеть, чем ругать, но в которого все-таки вселилось зло. Я чувствовал, что за меня молятся иначе, чем обычно, и чувствовал тщетность этих молитв. Я часто испытывал жгучее желание облегчения, потребность в настоящей исповеди, и в то же время предчувствовал, что ни отцу, ни матери все по-настоящему рассказать и объяснить не смогу. Я знал, что это примут доброжелательно, что меня будут очень щадить, даже жалеть, но полностью не поймут, и на все это посмотрят как на какую-то оплошность, тогда как это — судьба.

Знаю, некоторые не поверят, что ребенок неполных одиннадцати лет способен на такие чувства. Не этим людям рассказываю я свою историю. Я рассказываю ее тем, кто знает человека лучше. Научившись превращать часть своих чувств в мысли, взрослый замечает отсутствие этих мыслей у ребенка и полагает, что ничего и не пережито. А у меня редко в жизни бывали такие глубокие переживания и страдания, как тогда.

День был дождливый, мой мучитель велел мне явиться на Крепостную площадь, и вот я стоял, разгребая ногами мокрые листья каштанов, которые все еще падали с черных, промокших деревьев. Денег у меня не было, но я отложил два куска пирога и взял их с собой, чтобы хотя бы что-нибудь дать Кромеру. Я давно привык стоять где-нибудь в уголке и ждать его, иногда очень долго, и мирился с этим, как мирится человек с неотвратимым.

Наконец пришел Кромер. Он сегодня особенно не задержался. Он ущипнул меня разок-другой у ребер, усмехнулся, принял пирог, предложил мне даже мокрую папиросу, которой я, однако, не взял, и был приветливей, чем обычно.

— Да,— сказал он уходя,— чтоб не забыть... в следующий раз захвати свою сестру, старшую. Как там ее зовут?

Я ничего не понял и ничего не ответил. Я только удивленно посмотрел на него.

— Непонятно, что ли? Доставь мне сестру.

— Нет, Кромер, это — нет. Нельзя мне, да она и не пойдет со мной.

Я был готов к тому, что это лишь опять какая-то каверза, какой-то предлог. Он часто так делал, требовал чего-нибудь невозможного, нагонял на меня страху, унижал меня, а потом постепенно начинал торговаться. Я откупался от него деньгами или другими подношениями.

Но на этот раз было совсем не так. Он почти даже не разозлился на мой отказ.

— Ну,— сказал он вскользь,— ты подумай. Я хочу познакомиться с твоей сестрой. Как-нибудь представится случай. Ты просто возьмешь ее с собой на прогулку, а я потом присоединюсь. Завтра я тебе свистну, и мы поговорим об этом еще раз.

Когда он ушел, я вдруг что-то понял насчет смысла его домогательства. Я был еще совсем дитя, но понаслышке я знал, что, когда мальчики и девочки становятся немного старше, они иногда вытворяют друг с другом что-то таинственное, предосудительное и запрещенное. И вот я, значит, должен... мне вдруг стало ясно, как это чудовищно! Решение ни за что этого не делать я принял сразу. Но что будет тогда и как отомстит мне Кромер, об этом я не осмелился и думать. Начиналась новая моя пытка, прежнего было еще недостаточно.

Уныло шел я через пустую площадь, засунув руки в карманы. Новые муки, новое рабство!

Тут меня окликнул чей-то свежий, низкий голос. Я испугался и пустился бегом. Кто-то побежал за мной, чья-то рука мягко схватила меня сзади. Это был Макс Демиан.

Я сдался в плен.

— Это ты? — сказал я неуверенно.— Ты так испугал меня!

Он посмотрел на меня, и никогда взгляд его не был в большей мере, чем сейчас, взглядом взрослого, знающего свое превосходство, проницательного человека. Давно уже мы не говорили друг с другом.

— Сожалею об этом,— сказал он в своей вежливой и при этом полной определенности манере.— Но, послушай, не надо так пугаться.

— Ну, ведь со всяким случается.

— Пожалуй. Но пойми: когда ты так дрожишь перед кем-то, кто ничего не сделал тебе, этот кто-то задумывается. Это удивляет его, возбуждает его любопытство. Он думает себе: очень уж ты пуглив. И думает дальше: так бывает, только когда чего-то боятся. Трусы всегда боятся; но трусом тебя, мне кажется, нельзя назвать, не так ли? О, конечно, героем тебя тоже не назовешь. Есть вещи, которых ты боишься. А бояться не надо. Нет, людей никогда не надо бояться. Ведь меня ты не боишься? Верно?

— О нет, нисколько.

— Вот видишь. Но есть люди, которых ты боишься?

— Не знаю... Оставь меня, чего ты от меня хочешь?

Он не отставал от меня,— я ускорил шаг с мыслью убежать,— и я чувствовал его взгляд сбоку.

— Предположим,— начал он снова,— что я желаю тебе добра. Бояться тебе меня, во всяком случае, не следует. Я хочу проделать с тобой один опыт, это забавно и, может быть, научит тебя кое-чему очень полезному. Так вот, слушай... Иногда я пытаюсь заниматься искусством, которое называется чтением мыслей. Никакого колдовства тут нет, но если не знать, как это делается, то выглядит это весьма странно. Людей можно этим еще как удивить... Попробуем разок. Так вот, я расположен к тебе или интересуюсь тобой и хочу сейчас узнать, что у тебя на душе. Первый шаг к этому я уже сделал. Я испугал тебя — значит, ты пуглив. Есть, значит, вещи и люди, которых ты боишься. Откуда это идет? Бояться никого не надо. Когда кого-то боишься, то происходит это оттого, что ты допустил, чтобы этот кто-то имел власть над тобой. Ты, например, сделал что-то скверное, а другой это знает — тогда у него есть власть над тобой. Понял? Ведь это же ясно, правда?

Я беспомощно посмотрел ему в лицо, оно было серьезным и умным, как всегда, и добрым тоже, но без всякой сентиментальности, оно было, скорее, строгим. Была в нем справедливость или что-то подобное. Я не понимал, что со мной; он стоял передо мной как волшебник.

— Понял? — спросил он еще раз.

Я кивнул. Говорить я не мог.

— Я же сказал тебе, что выглядит это смешно — читать мысли, но все делается самым естественным образом. Я мог бы тебе еще, например, довольно точно сказать, что ты обо мне подумал, когда я рассказал тебе как-то историю о Каине и Авеле. Ну, да здесь это не к месту. Вполне допускаю также, что ты видел меня во сне. Однако оставим это! Ты мальчик умный, а большинство такие глупые! Мне приятно поговорить с умным мальчиком, который мне внушает доверие. Ты ведь не против?

— О нет. Я только не совсем понимаю...

— Продолжим, однако, наш забавный опыт! Итак, мы выяснили, что мальчик С. пуглив..., он кого-то боится... у него, наверно, есть с этим другим какая-то тайна, которая ему очень мешает... Так приблизительно?

Как во сне, покорился я его голосу, его влиянию. Я только кивнул. Не звучал ли это голос, который мог изойти только из меня самого? Который все знал? Который все знал лучше, яснее, чем я сам?

Демиан с силой хлопнул меня по плечу.

— Правильно, значит. Так я и думал. Теперь еще один-единственный вопрос: ты знаешь, как зовут того мальчика, который только что ушел?

Я испугался донельзя, моя тайна от прикосновения мучительно сжалась во мне, ей не хотелось выходить на свет.

— Какой мальчик? Никакого мальчика не было здесь, был только я.

Он засмеялся.

— Ну-ка скажи! — засмеялся он.— Как его зовут?

Я прошептал:

— Ты имеешь в виду Франца Кромера?

Он удовлетворенно кивнул мне.

— Браво! Ты молодец, мы с тобой еще подружимся. Но должен сказать тебе одну вещь: этот Кромер или как там его — скверный малый. Его лицо говорит мне, что он негодяй! А ты что думаешь?

— О да,— вздохнул я,— он плохой, он дьявол! Но он ничего не должен знать! Ради бога, он ничего не должен знать! Ты его знаешь? Он знает тебя?

— Успокойся! Он ушел, и он не знает меня... Еще не знает. Но я бы не прочь познакомиться с ним. Он учится в народной школе?

— Да.

— В каком классе?

— В пятом... Но не говори ему ничего! Пожалуйста, пожалуйста, ничего не говори!

— Успокойся, ничего тебе не будет. Наверно, у тебя нет желания рассказать мне об этом Кромере немного больше?

— Не могу! Оставь меня!

Он помолчал.

— Жаль,— сказал он затем,— мы могли бы продолжить наш опыт. Однако я не хочу тебя мучить. Но ты же знаешь, не правда ли, что твой страх перед ним неправилен? Такой страх нас совсем изводит, от него надо избавляться. Ты должен избавиться от него, если хочешь стать парнем что надо. Понимаешь?

— Конечно, ты прав... но не выходит. Ты же не знаешь...

— Ты же видел, что я кое-что знаю, больше, чем ты мог думать... Уж не должен ли ты ему отдать какие-то деньги?

— Да, это тоже, но это не главное. Я не могу это сказать, не могу!

— Не поможет, значит, если я дам тебе столько денег, сколько ты ему должен?.. Я бы вполне мог дать их тебе.

— Нет, нет, не в этом дело. И прошу тебя: никому об этом не говори! Ни слова! Ты сделаешь меня несчастным!

— Положись на меня, Синклер. Ваши тайны откроешь мне как-нибудь позже...

— Никогда, никогда! — воскликнул я с жаром.

— Как угодно. Я говорю только, что когда-нибудь, может быть, ты расскажешь мне больше. Только добровольно, разумеется! Ты же не думаешь, что я поступлю так же, как сам Кромер?

— О нет... но ты же ничего не знаешь об этом!

— Ровным счетом ничего. Я только размышляю об этом. И я никогда не поступлю так, как Кромер, можешь поверить. Да ты и не должен мне ничего.

Мы довольно долго молчали, и я успокоился. Но осведомленность Демиана становилась все более загадочной для меня.

— Теперь я пойду домой,— сказал он и плотнее запахнул под дождем грубошерстное непромокаемое пальто.— Хочу только еще раз сказать тебе одно — ты должен избавиться от этого малого! Если уж никак не получится по-другому, убей его! У меня ты вызвал бы уважение и одобрение, если бы это сделал. Я и помог бы тебе.

Меня опять охватил страх. Я вдруг снова вспомнил историю о Каине. Мне сделалось жутко, и я тихонько заплакал. Слишком много жуткого было вокруг меня.

— Ну, ладно,— улыбнулся Макс Демиан.— Ступай себе домой! Как-нибудь справимся. Хотя убить было бы проще всего. В таких делах чем проще, тем лучше. Ничего хорошего ты от своего друга Кромера не дождешься.

Я пришел домой, и мне показалось, что я отсутствовал здесь целый год. Все выглядело иначе. Между мной и Кромером встало какое-то будущее, какая-то надежда. Я не был больше один! И только сейчас я увидел, до чего одинок был я со своими мыслями столько недель. И мне тут же подумалось то, о чем я уже не раз размышлял: что признание перед родителями облегчило бы меня, но полного избавления мне не дало бы. А сейчас я чуть не признался, причем другому, постороннему человеку, и на меня повеяло предвестием избавления!

Однако мой страх отнюдь еще не был преодолен, и я еще ждал долгих и тяжелых объяснений с отцом. Тем удивительнее было мне, что все совершилось так тихо, тайком, без шума.

Свиста Кромера перед нашим домом не слышалось один день, два дня, три дня, неделю. Я боялся этому верить и внутренне был настороже: не явится ли он все-таки вдруг именно тогда, когда его уже перестанешь ждать. Но он так и не объявился! Не доверяясь новой свободе, я все еще не верил в это вполне. Пока наконец случайно не встретился с самим Францем Кромером. Он шел вниз по Канатной улице, прямо навстречу мне. Увидев меня, он вздрогнул, скорчил какую-то кривую гримасу и тут же повернул назад, чтобы не встретиться со мной.

Это был для меня невероятный миг! Мой враг убежал от меня! Мой дьявол меня боялся! Я был сам не свой от радости и неожиданности.

В эти дни Демиан однажды показался опять. Он ждал меня перед школой.

— Здравствуй,— сказал я.

— Доброе утро, Синклер. Хотелось услыхать, как твои дела. Кромер ведь теперь не пристает к тебе, правда?

— Это ты сделал? Но как же? Как же? Я не понимаю. Он совсем исчез.

— Это хорошо. Если он вдруг явится снова — думаю, он этого не сделает, но он ведь наглец,— скажи ему только, чтобы вспомнил про Демиана.

— Но какая тут связь? Ты затеял с ним ссору и вздул его?

— Нет, я до этого не охотник. Я просто поговорил с ним, так же, как и с тобой, и сумел объяснить ему, что ему самому выгоднее отстать от тебя.

— Но ты же, конечно, не давал ему денег?

— Нет, мальчик мой. Этот путь ты ведь уже испробовал.

Он ничего больше не открыл мне, как я его ни расспрашивал, и у меня

осталось прежнее тяжелое чувство по отношению к нему, представлявшее собой странную смесь благодарности и робости, восхищения и страха, приязни и внутреннего сопротивления.

Я решил увидеть его вскоре снова и тогда поговорить с ним обо всем подробнее, а также и насчет каиновской истории.

Не привелось.

Благодарность — это вообще не та добродетель, в которую я верю, а требовать ее от мальчика было бы, по-моему, смешно. Поэтому я не очень-то удивляюсь своей собственной полной неблагодарности, проявленной в отношении Макса Демиана. Сегодня я совершенно уверен, что я был бы искалечен и погублен на всю жизнь, если бы он не освободил меня от когтей Кромера. Это освобождение я и тогда уже ощутил как величайшее событие моей молодой жизни — но от самого освободителя я отмахнулся, как только он сотворил свое чудо.

Эта неблагодарность, повторяю, не кажется мне странной. Поражает меня только недостаточность любопытства, мною проявленная. Как мог я спокойно прожить хоть один день, не приблизившись к тайнам, в соприкосновение с которыми привел меня Демиан? Как мог я сдержать жажду больше узнать о Каине, о Кромере, о чтении мыслей?

Это трудно понять, и все-таки это так. Я вдруг увидел себя выпутавшимся из демонических сетей, снова увидел мир перед собой светлым и радостным, не испытывал больше приступов страха и удушающего сердцебиения. Чары были разрушены, я больше не был проклятым и истязаемым грешником, я снова был мальчиком-школьником, как всегда. Чтобы поскорее вновь обрести равновесие и покой, моя природа стремилась прежде всего отбросить прочь, позабыть все безобразное и угрожающее. Удивительно быстро исчезла из памяти вся эта долгая история моей вины и запуганности, не оставив с виду никаких следов и царапин.

А то, что я старался побыстрее забыть своего помощника и спасителя, это мне и сегодня понятно. Из юдоли своего проклятия, из ужасного рабства у Кромера я всеми силами своей поврежденной души устремился назад, туда, где был прежде доволен и счастлив: в потерянный рай, который снова открылся, в светлый отцовский и материнский мир, к сестрам, к благоуханию чистоты, к богоугодности Авеля.

После моего короткого разговора с Демианом, уже в тот же день, полностью убедившись наконец в своей вновь обретенной свободе и не боясь больше никаких возвратов к старому, я сделал то, чего так часто и так страстно желал,— я исповедался. Я пошел к матери, я показал ей копилку с поврежденным замком, наполненную фишками вместо денег, и рассказал ей, как по собственной вине долгое время был в путах безжалостного мучителя. Она не все поняла, но она увидела копилку, увидела мой изменившийся взгляд, услышала мой изменившийся голос, почувствовала, что я выздоровел, что возвращен ей.

И тогда я в душевном подъеме справил праздник своего возрождения, возвращения блудного сына. Мать отвела меня к отцу, вся история была рассказана снова, посыпались вопросы и возгласы удивления, родители гладили меня по голове, облегченно вздохнув наконец после долгой полосы удрученности. Все было великолепно, все было как в сказках, все растворилось в чудесной гармонии.

В эту гармонию я и убежал тогда с истинной страстью. Я никак не мог насытиться тем, что снова обрел мир и вернул себе доверие родителей, я стал домашним пай-мальчиком, играл больше, чем когда-либо, с сестрами и во время молитвы пел милые старые песни с чувством спасенного и новообращенного человека. Это делалось от души, никакой лжи тут не было.

Но что-то все-таки было не в порядке! И тут-то она и есть, та точка, которая только и может правдиво объяснить мою забывчивость в отношении Демиана. Мне следовало ему исповедаться! Исповедь получилась бы менее декоративной и трогательной, но более плодотворной для меня. Я тогда всячески цеплялся за свой прежний, райский мир, я вернулся домой

и был принят с милостью. Демиан же отнюдь не принадлежал к этому миру, не подходил к нему. Он тоже, хоть и иначе, чем Кромер, но и он-то тоже был совратителем, он тоже связывал меня с другим, злым, скверным миром, о котором я отныне ничего больше не хотел знать. Я не хотел и не мог тогда помогать поступаться Авелем и прославлять Каина, потому что сам-то я снова стал Авелем.

Так обстояло все внешне. А внутренне вот как: я вырвался из рук Кромера и дьявола, но не собственными силами. Я попытался пойти тропами мира, но они оказались для меня слишком скользкими. И вот, когда дружеская рука поддержала меня и спасла, я, не глядя больше никуда в сторону, бросился назад, к материнскому лону, в укромность ухоженной, благочестивой детскости. Я сделал себя моложе, зависимее, в большей мере ребенком, чем был в действительности. Зависимость от Кромера я должен был заменить какой-то новой зависимостью, ибо ходить самостоятельно я еще не был способен. И вот слепым своим сердцем я выбрал зависимость от отца и матери, от старого, любимого, «светлого мира», о котором я, однако, знал уже, что он не единственный. Если бы я так не поступил, я должен был взять сторону Демиана и довериться ему. То, что я этого не сделал, показалось мне тогда оправданным недоверием к его странным мыслям; на самом деле это было не что иное, как страх. Ведь Демиан потребовал бы от меня большего, чем требовали родители, куда большего, подталкиваниями и призывами, насмешками и иронией он попытался бы сделать меня более самостоятельным. О, сегодня я знаю: ничто на свете не претит человеку больше, чем идти путем, который ведет его к нему самому!

Примерно через полгода, однако, я не устоял перед искушением и как-то на прогулке спросил отца, как он относится к тому, что некоторые люди ставят Каина выше, чем Авеля.

Отец очень удивился и сказал мне, что этот взгляд новизной не отличается. Он возник уже на заре христианства и проповедовался в сектах, одна из которых даже называла себя «каиниты». Но, конечно, это нелепое учение есть не что иное, как попытка дьявола погубить нашу веру. Ведь если поверить в правоту Каина и неправоту Авеля, то нужно сделать вывод, что Бог ошибся, что, следовательно, Бог Библии не истинный и не единственный, а какой-то лже-бог. Что-то подобное каиниты и вправду утверждали и проповедовали. Однако эта ересь давно сгинула в человечестве, и он только удивляется, что кто-то из моих школьных товарищей мог что-то об этом узнать. Во всяком случае, он, отец, серьезно призывает меня отбросить эти мысли.

Глава третья

РАЗБОЙНИК

Можно было бы рассказать много прекрасного, нежного и милого о моем детстве, о моей защищенности у отца и матери, о любви к родителям и легком житье-бытье в уютном, славном, светлом окружении. Но меня интересуют только те шаги, которые я сделал в своей жизни для того, чтобы пробиться к себе самому. Все эти прелестные пристанища, островки счастья и райские уголки я оставляю в сияющей дали и не хочу возвращаться туда еще раз.

А потому, повествуя о своем отрочестве, я буду говорить только о том, что случилось у меня нового, что гнало меня вперед, что вырвало меня из привычного круга.

Всегда сыпались эти удары из «другого мира», всегда они приносили с собой страх, гнет и нечистую совесть, всегда они были революционными и угрожали покою, в котором я охотно пребывал бы и дальше.

Прошли годы, когда мне суждено было снова открыть, что во мне самом находится некий двигатель, который в дозволенном, светлом мире должен скрываться и прятаться. Как на всякого человека, так и на меня

медленно пробуждающееся чувство пола находило как враг и губитель, как нечто запретное, как соблазн и грех. То, чего искало мое любопытство, что творило мне мечты, наслаждение и страх, великая тайна возмужания,— это никак не вязалось с укромным блаженством моего детского покоя. Я поступал как все. Я вел двойную жизнь ребенка, который все-таки уже не ребенок. Мое сознание жило в родном и дозволенном, мое сознание отвергало этот забрезживший новый мир. Но одновременно я жил в мечтах, порывах, желаниях адского свойства, через которые та сознательная жизнь сооружала себе все более ненадежные мосты, ибо мир детства во мне рушился. Как почти все родители, так и мои не помогали тем пробудившимся инстинктам, о которых не говорили. Помогали они только, с беспредельной заботливостью, моим безнадежным попыткам отвергнуть реальность и по-прежнему жить в мире детства, который становился все нереальнее и лживее. Не знаю, многое ли тут способны сделать родители, и своих родителей нисколько не упрекаю. Это было мое дело — справиться с собой и найти свой путь, и делал я свое дело плохо, как большинство людей благовоспитанных.

Каждый проходит через эту трудность. Для среднего человека это та точка жизни, где веление собственной жизни вступает в наиболее жестокий спор с окружающим миром, где путь вперед отвоевывается в жесточайшей борьбе. Многие испытывают то умирание и рождение заново, каковое представляет собой наша судьба, только в этот единственный раз за всю жизнь — при обветшании и медленном разрушении детства, когда все, что мы полюбили, нас покидает и мы вдруг чувствуем одиночество и смертельный холод мирового пространства. И многие навсегда повисают на этой скале и всю жизнь мучительно цепляются за невозвратимое прошлое, за мечту о потерянном рае, самую скверную, самую убийственную на свете мечту.

Вернемся к нашей истории. Ощущения и образы, в которых мне предстал конец детства, не настолько важны, чтобы о них рассказывать. Важно было то, что «темный мир», «другой мир» снова заявил о себе. Что было некогда Францем Кромером, то находилось теперь во мне самом. А потому и с внешней стороны «другой мир» снова обрел власть надо мной.

Со времен истории с Кромером прошло много лет. Та драматическая и полная виновности полоса моей жизни была тогда очень далека от меня и казалась коротким, пустым кошмаром. Франц Кромер давно исчез из моей жизни; если он и встречался мне, я почти не замечал этого. Но другая важная фигура моей трагедии, Макс Демиан, полностью уже не исчезала из моего окружения. Однако долгое время он находился далеко на периферии, в поле зрения, но не действенно. Лишь постепенно он приблизился снова, снова излучая силу, снова влиятельно.

Я стараюсь припомнить все, что знаю о Демиане той поры. Возможно, что я год или дольше ни разу не говорил с ним. Я избегал его, а он отнюдь не навязывал своего общества. Разве что как-то кивнул мне при встрече. Мне тогда казалось порой, что в его приветливости есть нотка презрения или иронического упрека, но, может быть, мне это почудилось. История, которую я с ним пережил, и странное влияние, которое он тогда оказал на меня, были как бы забыты и им, и мною.

Я стараюсь восстановить его образ и, припоминая, вижу, что он все-таки присутствовал и что я замечал его. Вижу, как он идет в школу, один или среди других старшеклассников, вижу, как он отчужденно, одиноко и тихо, словно небесное тело, движется среди них, окруженный собственным воздухом, живущий по каким-то своим законам. Никто не любил его, никто не был с ним близок, одна только его мать, но и с ней он, казалось, обходился не как ребенок, а как взрослый. Учителя по возможности оставляли его в покое, он был хороший ученик, но он ни к кому не подлизывался, и время от времени до нас доходили слухи о каком-нибудь словце, или замечании, или возражении, брошенном им тому или иному учителю с явным вызовом или иронией.

Я сосредоточиваюсь, закрыв глаза, и передо мной вырисовывается его внешность. Где это было? Ну вот, всплыло. Это было на улице перед нашим домом. Однажды я увидел, как он стоял там с записной книжкой в руке и рисовал. Он срисовывал гербовую фигуру с птицей над нашей входной дверью. А я стоял у окна, спрятавшись за занавеской, и смотрел на него, и с изумлением видел его внимательное, холодное, светлое лицо, повернутое к гербу, лицо мужчины, исследователя или художника, высокомерное и волевое, удивительно светлое и холодное, со знающими глазами.

И опять я вижу его. Это было намного позднее, на улице; мы все столпились, возвращаясь из школы, вокруг упавшей лошади. Она лежала, еще запряженная в дышло, перед крестьянской повозкой, жалобно сопела открытыми ноздрями, чего-то ища, и истекала кровью из невидимой раны, отчего рядом с ней медленно наливалась темным белая пыль улицы. Отвернувшись с чувством тошноты от этого зрелища, я увидел лицо Демиана. Он не протискивался вперед, он стоял позади всех, в удобной и довольно изящной позе, как то было ему свойственно. Его взгляд был направлен на голову лошади, и опять в нем была эта глубокая, тихая, почти фантастическая и все же бесстрастная внимательность. Я долго смотрел на него, и тогда я, совсем еще безотчетно, почувствовал нечто очень странное. Я видел лицо Демиана, не только видел, что это лицо не мальчика, но видел, что это лицо мужчины; я видел еще больше, я, казалось мне, видел или чувствовал, что это и не лицо мужчины, а еще что-то другое. Было в нем что-то женское, а главное, на миг это лицо показалось мне не мужским или детским, не старым или молодым, а каким-то тысячелетним, каким-то вневременным, отчеканенным иными временами, чем наши. Так могли выглядеть животные, или деревья, или звезды — я этого не знал, я ощущал не совсем то, что говорю об этом сейчас, будучи взрослым, но что-то подобное. Возможно, он был красив, возможно, нравился мне, а может быть, и был мне противен, это тоже решить нельзя было. Я видел только: он был иным, чем мы, он был как животное, или как дух, или как изображение, не знаю, каков он был, но был иным, немыслимо другим, чем мы все.

Больше ничего это воспоминание не говорит мне, да и сказанное почерпнуто, может быть, отчасти уже из позднейших впечатлений.

Лишь став на много лет старше, я наконец снова соприкоснулся с ним теснее. Демиан не был, как полагалось бы, конфирмован в церкви вместе с мальчиками своего года рождения, и это тоже сразу дало повод для всяких слухов. Опять в школе говорили, что он, собственно, еврей, или нет, язычник, а иные утверждали, что они с матерью не исповедуют вообще никакой веры или состоят в какой-то особенной, нехорошей секте. В связи с этим, наверное, до меня дошло подозрение, что он живет со своей матерью как с любовницей. Вероятно, дело обстояло так, что дотоле он воспитывался без всякого вероисповедания, а теперь это заставило опасаться каких-то невыгод для него в будущем. Во всяком случае, теперь, на два года позднее, чем его ровесников, мать все-таки решила конфирмовать его. Вот и получилось, что он несколько месяцев был моим товарищем по занятиям для конфирмующихся.

Какое-то время я держался от него подальше, мне не хотелось иметь с ним дело, слишком уж много для меня было вокруг него слухов и тайн, но особенно мешало мне чувство, что я в долгу перед ним, оставшееся у меня после истории с Кромером. И как раз тогда мне хватало забот со своими собственными тайнами. У меня занятия для конфирмующихся совпали с периодом решающего просвещения в половых делах, и, несмотря на добрую волю, мой интерес к духовным наставлениям был сильно ослаблен. Вещи, о которых говорил священник, пребывали где-то далеко от меня, в тихой, святой нереальности, они были, возможно, куда как прекрасны и ценны, но они не задевали за живое, не волновали, а те, другие вещи, обладали как раз той способностью в величайшей мере.

И чем больше делало меня равнодушным мое состояние к религиозным занятием, тем больше приближали меня опять к Максу мои интересы.

Казалось, нас что-то связывало. Я должен как можно точнее проследить эту нить. Насколько мне помнится, все началось на одном уроке, рано утром, когда в классе еще горел свет. Наш духовный наставник заговорил об истории Каина и Авеля. Я был невнимателен, сонлив и почти не слушал. Священник стал, повысив голос, твердить о каиновой печати. В этот миг я почувствовал что-то вроде прикосновения или призыва и, подняв глаза, увидел в передних рядах скамеек повернутое ко мне лицо Демиана — со светлым, выразительным взглядом, в котором не было ни насмешливости, ни серьезности. Лишь на мгновение взглянул он на меня, и вдруг я стал с любопытством прислушиваться к словам священника, слушать его речь о Каине и каиновой печати, и почувствовал глубоко в себе знание, что все обстоит не так, как он уверяет, что на все можно посмотреть и иначе, что тут возможна и критика!

С этой минуты между Демианом и мною установилась какая-то связь. И поразительно: едва только чувство некоей общности появилось в душе, как оно, я увидел, словно бы магически перешло и в пространство. Я не знал, сам ли он так устроил, или то была чистая случайность — я тогда еще твердо верил в случайности,— но через несколько дней Демиан вдруг сменил свое место на уроках Закона Божьего и сидел прямо передо мной (до сих пор помню, как жадно вдыхал я, окутанный убогим приютским воздухом переполненного по утрам класса, нежно-свежее веяние мыла от его шеи!), а еще через несколько дней он снова переменил место и сидел уже рядом со мной и просидел так всю зиму и всю весну.

Утренние часы совершенно преобразились. Они уже не были сонными и скучными. Я ждал их с радостью. Иногда мы оба слушали священника с величайшим вниманием, достаточно было одного взгляда моего товарища, чтобы указать мне на какую-нибудь занятную историю, на какое-нибудь странное изречение. И другого его взгляда, вполне определенного, достаточно было, чтобы встряхнуть меня, вызвать во мне критику и сомнения.

Но очень часто мы были плохими учениками и совершенно не слушали урока. Демиан всегда вел себя вежливо с учителями и однокашниками, я никогда не видел, чтобы он по-мальчишески баловался, никогда не было слышно, чтобы он громко смеялся или болтал, никогда не получал он от учителей замечаний. Но он умел совершенно бесшумно, больше знаками, чем взглядами, чем шепотом, вовлекать меня в собственные занятия. А они были отчасти странного рода.

Он говорил мне, например, кто из учеников его интересует и каким образом он изучает их. Многих он знал очень хорошо. Он говорил мне перед лекцией: «Когда я сделаю тебе знак большим пальцем, тот-то и тот-то обернется к нам или почешет затылок» и так далее. Затем, во время урока, когда я часто уже забывал об этом, Макс вдруг заметным движением поворачивал ко мне большой палец, я быстро бросал взгляд на указанного ученика и каждый раз видел, что тот, словно его потянули за проволочку, совершал задуманное движение. Я приставал к Максу, чтобы он как-нибудь проделал это и с учителем, но он отказывался. Но когда я однажды, придя на занятие, сказал ему, что не выучил сегодня урока и очень надеюсь, что священник сегодня не спросит меня, он мне помог. Священник искал, кого бы из учеников вызвать для ответа по катехизису, и его блуждающий взгляд остановился на моем виноватом лице. Он медленно подошел, протянул в мою сторону палец, готов уже был произнести мою фамилию — и вдруг не то отвлекся, не то забеспокоился, поправил свой воротник, подошел к Демиану, который твердо смотрел ему в лицо, собрался было что-то спросить у него, но неожиданно опять отвернулся, кашлянул и вызвал другого ученика.

Очень забавляясь этими шутками, я лишь постепенно заметил, что мой друг часто ведет эту игру и со мной. Случалось, что по дороге в школу у меня вдруг возникало чувство, что Демиан идет сейчас сзади, и когда я оглядывался, он действительно там оказывался.

— Ты в самом деле можешь заставить другого думать то, что ты хочешь? — спросил я его.

Он отвечал с полной готовностью, спокойно и разумно, как взрослый.

— Нет,— сказал он,— это невозможно. Ведь свободной воли не существует, хотя священник делает вид, что она есть. Ни другой не может думать что хочет, ни я не могу заставить его думать что хочу. Но хорошенько понаблюдав за кем-нибудь, можно довольно точно сказать, что он думает или чувствует, а потому обычно можно и предвидеть, что он сделает в следующее мгновение. Это очень просто, люди только не знают этого. Конечно, нужно упражнение. Есть, например, среди бабочек определенные ночные мотыльки, у которых особи женского пола встречаются гораздо реже, чем мужского. Мотыльки эти размножаются совершенно так же, как все животные, самец оплодотворяет самку, которая потом кладет яйца. Если у тебя есть самка этих мотыльков — исследователи часто делали такой опыт,— то ночью к этой самке прилетят мотыльки мужского пола, причем с расстояния в несколько часов полета. В несколько часов, представь себе! За много километров чувствуют все эти самцы единственную в этой местности самку! Это пытаются объяснить, но объяснить это трудно. Наверно, существует какое-то обоняние или что-то подобное, вроде того как хорошие охотничьи собаки могут найти незаметный след и идти по нему. Понимаешь? Таких вещей в природе полно, и никто не может их объяснить. Но вот что я скажу: если бы у этих бабочек самки встречались так же часто, как самцы, у них не было бы такого точного нюха. У них он есть только потому, что они так натаскали себя. Если животное или человек направит все свое внимание и всю свою волю на определенную цель, то он ее и достигнет. Вот и все. И точно так же обстоит дело с тем, что ты имеешь в виду. Присмотрись к человеку достаточно внимательно, и ты будешь о нем знать больше, чем он сам.

Меня так и подмывало произнести слова «чтение мыслей» и напомнить ему ту давнюю уже сценку с Кромером. Но это было тоже странное дело: никогда, ни разу ни он, ни я не позволяли себе ни малейшего намека на то, что много лет назад он однажды так серьезно вмешался в мою жизнь. Словно ничего прежде не было между нами или словно каждый из нас твердо рассчитывал на то, что другой это забыл. Изредка случалось даже, что мы вместе встречали, идя по улице, Франца Кромера, но мы не переглядывались, не упоминали ни одним словом о нем.

— Но как же это получается со свободой воли? — спросил я.— Ты говоришь, что свободной воли нет. Но ты же говоришь, что стоит лишь твердо направить свою волю на что-то, и цель будет достигнута. Это же противоречие! Если я не хозяин своей воли, то я и не могу направить ее по желанию туда или сюда.

Он похлопал меня по плечу. Так он всегда делал, когда я его радовал.

— Хорошо, что ты спрашиваешь! — сказал он со смехом.— Всегда надо спрашивать, всегда надо сомневаться. Но все очень просто. Если бы такой мотылек, например, пожелал направить свою волю на какую-нибудь звезду или еще куда-нибудь, у него ничего не вышло бы. Только он и не пытается это сделать. Он ищет лишь то, что имеет для него смысл и ценность, что ему нужно, что требуется ему непременно. Тут-то и удается ему самое невероятное, он развивает волшебное шестое чувство, которого нет ни у одного животного, кроме него! У нас, разумеется, больше простора и больше интересов, чем у животного. Но и мы замкнуты относительно узким кругом и не можем выйти за его пределы. Я могу, конечно, придумать и то, и другое, вообразить, скажем, что мне непременно нужно попасть на Северный полюс или что-нибудь такое, но выполнить это и достаточно сильно пожелать этого я могу только в том случае, если такое желание заключено целиком во мне самом, если мое естество действительно целиком наполнено им. Когда это так, когда ты пробуешь сделать что-то, следуя своему внутреннему велению, тогда оно и получается, тогда ты можешь взнуздать свою волю как доброго коня. Если я, например, задался сейчас целью сделать так, чтобы наш батюшка перестал носить очки, то ничего не получится. Это просто баловство. Но когда я осенью почувствовал в себе твердую волю пересесть со своей передней парты сюда, все

получилось великолепно. Тут вдруг возник некто, кто шел по алфавиту впереди меня и дотоле болел, и поскольку кто-то должен был уступить ему место, сделал это, конечно, я, потому что именно моя воля была готова сразу же воспользоваться таким случаем.

— Да,— сказал я,— мне это тоже показалось тогда странным. С того момента, как мы заинтересовались друг другом, ты придвигался ко мне все ближе. Но как это было? Сначала ведь ты не сразу сел рядом со мной, ты же сперва посидел несколько раз на этой вот парте впереди меня, правда? Как это вышло?

— Это было так: я и сам толком не знал, куда стремлюсь, когда пожелал уйти с моего первого места. Я знал только, что хочу сидеть подальше сзади. То была моя воля пересесть к тебе, но я ее еще не осознавал. Одновременно твоя воля тоже тянула меня и помогала мне. Лишь когда я сел перед тобой, до меня дошло, что мое желание исполнилось лишь наполовину. Я понял, что, в сущности, не желал ничего другого, как сидеть рядом с тобой.

— Но тогда никаких новеньких не появлялось.

— Нет, но тогда я просто сделал то, чего хотел, и недолго думая сел возле тебя. Мальчик, с которым я поменялся местами, только удивился, но возражать не стал. Священник, правда, как-то заметил, что произошло какое-то изменение... вообще каждый раз, когда он имеет со мной дело, его втайне что-то мучит: он знает, что моя фамилия Демиан и что если я на «Д», то мне не надо бы сидеть так далеко сзади, с теми, кто на «С»! Но это не доходит до его сознания, потому что моя воля против этого и потому что я каждый раз мешаю ему собраться с мыслями. Он каждый раз замечает, что тут что-то не так, и глядит на меня и начинает задумываться, бедняга. А у меня средство простое. Я каждый раз смотрю ему прямо, очень прямо в глаза. Этого почти никто не переносит. Они все начинают беспокоиться. Если ты хочешь от кого-нибудь чего-то добиться и неожиданно посмотришь ему очень прямо в глаза, а он не забеспокоится, оставь надежду! Но это бывает очень редко. Я знаю, собственно, только одного человека, с которым это не помогает мне.

— Кто же это? — спросил я быстро.

Он посмотрел на меня чуть суженными глазами, как то случалось, когда он задумывался. Затем отвел взгляд и ничего не ответил, а я, несмотря на острое любопытство, не смог повторить свой вопрос.

Но думаю, что говорил он тогда о своей матери... С ней он, казалось, жил в большой близости, но мне о ней никогда не говорил и домой к себе меня никогда не звал. Едва ли я даже знал, какова его мать с виду.

Иногда я пытался подражать ему и сосредоточивать свою волю на чем-нибудь так, чтобы добиться задуманного. Были желания, казавшиеся мне достаточно настоятельными. Но все напрасно, ничего не получалось. Говорить об этом с Демианом я не решался. Признаться ему, чего я желал себе, я не мог. А он и не спрашивал.

Моя доверчивость в религиозных вопросах понесла тем временем некоторый ущерб. Однако по своему мышлению, находившемуся под влиянием Демиана, я очень отличался от тех моих однокашников, которые обнаруживали полное неверие. Было несколько таких, и от них случалось слышать, что смешно и недостойно человека верить в какого-то бога, что такие истории, как о триединстве и о непорочном рождении Иисуса, просто-напросто смехотворны и что это позор — еще сегодня распространять подобную дребедень. Так я отнюдь не думал. При всяческих своих сомнениях я по всему опыту своего детства все-таки достаточно много знал о подлинности религиозной жизни, которую вели, например, мои родители, и не находил в ней ничего недостойного и лицемерного. Нет, я по-прежнему испытывал к религии глубочайшее уважение. Только Демиан приучил меня смотреть на эти предания, на эти догматы веры иначе, толковать их свободнее, более лично, игривее, с большей фантазией; во всяком случае, толкования, которые он предлагал мне, я всегда выслушивал охотно и с на-

слаждением. Многое, правда, казалось мне слишком резким, так было и с рассказом о Каине. А однажды во время занятий для конфирмующихся он испугал меня суждением, пожалуй, еще более смелым. Учитель говорил о Голгофе. Библейский рассказ о страданиях и смерти Спасителя с давних времен оставил у меня глубокое впечатление, в раннем детстве я иногда, особенно в страстную пятницу, после того как отец прочитывал эту историю вслух, искренне, всей душой жил в этом скорбно-прекрасном, бледном, призрачном и все-таки невероятно живом мире, в Гефсиманском саду и на Голгофе, и когда я слушал баховские «Страсти по Матфею», мрачно-могучее сияние боли, исходившее от этого таинственного мира, наполняло меня мистическим благоговением. Я и сегодня еще нахожу в этой музыке и в «Actus tragicus» идеал всякой поэзии, всякого художественного выражения.

Так вот, в конце урока Демиан задумчиво сказал мне:

— Тут что-то есть, Синклер, что мне не нравится. Перечти эту историю и проверь ее на вкус, есть тут какая-то пошлость. Особенно эпизод с двумя разбойниками. Великолепная картина — три креста стоят на холме рядом! Но вот идет эта сентиментальная назидательная история с порядочным разбойником! Сначала он был преступник и творил гнусные дела, бог знает что, и вдруг — он оттаивает и празднует этакий слезливый праздник исправления и раскаяния! Какой смысл имеет такое раскаяние в двух шагах от могилы, скажи на милость? Это снова не что другое, как обычная поповская история, слащавая и нечестная;. трогательно-сентиментальная и с нравоучительной подоплекой. Если бы тебе сегодня надо было выбирать в друзья одного из двух этих разбойников или решать, кому из них ты скорее оказал бы доверие, ты ведь, конечно, не выбрал бы этого плаксивого покаянника. Нет, ты выбрал бы другого, это молодец, у него есть характер. Ему наплевать на покаяние, которое в его положении может быть только красивой болтовней, он идет своим путем до конца и не отрекается в последнее мгновение от дьявола, который до сих пор ему помогал. У него есть характер, а люди с характером в библейской истории часто оказываются в убытке. Может быть, он тоже отпрыск Каина. Ты не думаешь?

Я был ошеломлен. Уж в этом-то, в истории распятия, я считал себя сведущим и только теперь увидел, как мало личного, как мало воображения, фантазии проявлял я, когда слушал ее и читал. Однако новая мысль Демиана была мне неприятна, она грозила перевернуть представления, которые я считал для себя незыблемыми. Нет, нельзя было так обходиться со всем и всеми, даже с самым святым.

Он заметил мое сопротивление, как всегда, сразу же, прежде чем я успел что-либо сказать.

— Знаю,— сказал он примирительно,— история эта старая. Только не надо серьезничать! Но вот что я тебе скажу: здесь одна из тех точек, где очень ясно виден недостаток этой религии. Речь идет вот о чем: весь этот Бог, и Ветхого, и Нового Завета, фигура хоть и замечательная, но не то, что он должен ведь в сущности представлять. Он — это все доброе, благородное, отеческое, прекрасное, также высокое, сентиментальное, очень хорошо! Но мир состоит и из другого. А это все просто отводится дьяволу, и вся эта часть мира, вся эта половина утаивается и замалчивается. Точно так же славят Бога как отца всякой жизни, а всю половую жизнь, на которой-то жизнь и держится, просто замалчивают, а то даже объявляют дьявольщиной и грехом! Я ничего не имею против того, чтобы чтили этого Бога Иегову, решительно ничего. Но я думаю, мы должны чтить и почитать священным все, весь мир, а не только эту искусственно отделенную, официальную половину! Значит, наряду с богослужением нам нужно и служение дьяволу. Это, по-моему, было бы правильно. Или же следовало бы создать бога, который включал бы в себя и дьявола, бога, перед которым не нужно закрывать глаза, когда происходят самые естественные вещи на свете.

Он, вопреки своему обыкновению, даже разгорячился, однако тут же улыбнулся и перестал донимать меня.

А во мне эти слова задели загадку всего моего отрочества, которую

я ежечасно носил в себе, никогда никому не говоря ни слова о ней. То, что сказал тогда Демиан о Боге и дьяволе, о божественно-официальном и о замалчиваемом дьявольском мире,— это же была в точности моя собственная мысль, мой собственный миф, мысль о двух мирах или о двух половинах мира — светлой и темной. Сознание, что моя проблема — это проблема всех людей, проблема всей жизни и всякого мышления, осенило меня как священная тень, и меня охватили страх и благоговение, когда я увидел и вдруг почувствовал, как глубоко причастны моя сокровеннейшая жизнь, мои самые личные мысли к вечному потоку великих идей. Сознание это не было радостно, хотя что-то подтверждало и было чем-то приятно. Оно было сурово и грубовато, потому что в нем слышались ответственность, конец детства, начало самостоятельности.

Впервые в жизни раскрывая такую глубокую тайну, я рассказал своему товарищу о не отпускавшей меня с детства мысли о «двух мирах», и он сразу понял, что, стало быть, в глубине души я согласен с ним и признаю его правоту. Но не таков он был, чтобы этим воспользоваться. Он выслушал меня с самым глубоким вниманием, какое когда-либо мне дарил, и посмотрел мне в глаза так, что я должен был отвести их. Ибо в его взгляде я снова увидел эту странную, животную вневременность, этот невообразимый возраст.

— Мы поговорим об этом в другой раз,— сказал он щадяще.— Я вижу, ты думаешь больше, чем можешь передать. Но в таком случае тебе должно быть известно и то, что ты полностью никогда не жил своими мыслями, а это нехорошо. Ценность имеют только те мысли, которыми мы живем. Ты знал, что твой «дозволенный мир» — это лишь половина мира, и попытался спрятать от себя вторую половину, как то делают священники и учителя. Это тебе не удастся! Это не удается никому, раз уж он начал думать.

Это глубоко задело меня.

— Но есть же,— почти вскричал я,— действительно, в самом деле запрещенные и безобразные вещи, этого же ты не можешь отрицать! И они запретны, и мы должны от них отказаться. Я ведь знаю, что существуют убийство и всевозможные пороки, но разве я должен, только потому что такое существует на свете, пойти и стать преступником?

— Сегодня мы с этим не управимся,— смягчился Макс.— Конечно, ты не должен убивать, не должен совершать садистских расправ над девушками. Но ты еще не там, где видно, что такое «дозволено» и что такое «запретно». Ты почувствовал лишь какую-то часть правды. Остальное еще последует, можешь быть уверен! Сейчас, например, ты с год уже чувствуешь в себе некое влечение, которое сильнее всех других, и оно считается запретным. Греки же и многие другие народы, напротив, возвели это влечение в божество и справляли в его честь пышные праздники. Запрет, значит, не есть нечто вечное, он может меняться. Да и сегодня ведь каждый волен спать с женщиной, как только он побывал с ней у священника и женился на ней. У других народов это иначе, и ныне тоже. Поэтому каждый из нас должен определить для себя самого, что дозволено и что запретно — запретно для него. Можно никогда не делать ничего запрещенного и быть при этом большим негодяем. И точно так же наоборот... В сущности, это только вопрос любви к покою! Кто слишком любит покой, чтобы самому думать и самому быть себе судьей, тот подчиняется без разбора любым запретам. Другие сами чувствуют какие-то приказы в себе, для них запретны вещи, которые каждый порядочный человек делает ежедневно, но зато позволительны другие вещи, которые вообще осуждаются. Каждый должен отвечать за себя самого.

Он, кажется, вдруг пожалел, что сказал так много, и оборвал свою речь на полуслове. Уже тогда я в какой-то мере понимал чувством, что он при этом испытывал. Как ни приятно и словно бы невзначай излагал он приходившее ему в голову, он терпеть не мог разговоров, как он однажды выразился, «только для разговора». А во мне он, помимо подлинного интереса, почувствовал слишком много игры, слишком много радости от

умной болтовни или что-то подобное, словом, отсутствие совершенной серьезности.

Стоило мне перечесть последние написанные мною слова — «совершенная серьезность»,— как я вдруг вспомнил другую сцену, самую яркую из всех, что случались у меня с Демианом в те еще полудетские времена.

Приближалась конфирмация, и на последних уроках наших занятий речь шла о причащении. Священник придавал этому важное значение, он не жалел сил, какая-то торжественность и приподнятость явно ощущались в эти часы. Однако как раз на этих нескольких последних уроках мысли мои были прикованы к другому — к фигуре моего друга. С приближением к конфирмации, которую нам объясняли как торжественное вступление в церковное братство, я никак не мог отвязаться от мысли, что для меня ценность этих примерно полугодичных религиозных занятий состояла не в том, чему мы здесь учились, а в близости и влиянии Демиана. Не в церковь готов я был теперь вступить, а во что-то совсем другое, в орден мысли и личности, который должен был каким-то образом существовать на земле и представителем или посланцем которого я ощущал своего друга.

Я пытался оттеснить эту мысль, мне всерьез хотелось пройти через празднество конфирмации, несмотря ни на что, с определенным достоинством, а таковое с моей новой мыслью не очень вязалось. Однако сколько я ни бился, мысль эта не уходила и постепенно слилась у меня с мыслью о скором церковном празднестве, я был готов справить его не так, как другие, оно должно было означать для меня прием в мир идей, который открылся мне в Демиане.

В те дни мне опять как-то случилось вступить с ним в дискуссию; это произошло как раз перед уроком священника. Мой друг был сдержан и явно не рад моим речам, не по годам, пожалуй, благоразумным, самонадеянным.

— Мы слишком много говорим,— сказал он с необычной серьезностью.— Умные разговоры ничего не стоят, ровным счетом ничего. Уходить от самого себя грех. Надо уметь целиком забиваться в себя, как черепаха.

Сразу за тем мы вошли в класс. Урок начался, я старался внимательно слушать, и Демиан не мешал мне в этом. Через некоторое время я почувствовал с той стороны, где он сидел возле меня, что-то странное, какую-то пустоту или прохладу или что-то подобное, словно его место как-то вдруг опустело. Когда это чувство стало стеснять меня, я обернулся.

Я увидел, что мой друг сидит рядом, прямо и с хорошей осанкой, как обычно. Однако вид у него был совсем не такой, как обычно, и что-то от него исходило, что-то такое овевало его, чего я не знал. Я подумал, что он закрыл глаза, но увидел, что они открыты. Однако они не глядели, не видели, они застыли и были обращены внутрь или куда-то вдаль. Он сидел совершенно неподвижно, даже, казалось, не дышал, рот его был словно вырезан из дерева или камня. Лицо его было бледно, равномерно тускло, как камень, и живее всего в нем были каштановые волосы. Руки его лежали перед ним на парте безжизненно и тихо, как неодушевленные предметы, как камни или плоды, бледные и неподвижные, но не вялые, а как твердые, прочные оболочки какой-то скрытой сильной жизни.

От этого зрелища я содрогнулся. Он мертв! — подумал я и чуть не сказал вслух. Но я знал, что он не мертв. Я не мог оторвать взгляда от его лица, от этой бледной, каменной маски, и я чувствовал: это и есть Демиан! Тот, каким он бывал обычно, когда ходил со мной и говорил, это был только наполовину Демиан, это был кто-то, кто временно играл некую роль, приспосабливался, из любезности подыгрывал. А у истинного Демиана вид был вот какой, такой, как у этого, такой же каменный, древний, животноподобный, камнеподобный, прекрасный и холодный, мертвый и втайне полный невероятной жизни. А вокруг него эта тихая пустота, этот эфир, это звездное пространство, эта одинокая смерть!

Сейчас он совсем ушел в себя, чувствовал я трепеща. Никогда я не был так одинок. Я не был причастен к нему, он был недостижим для меня, он был дальше от меня, чем если бы находился на самом далеком на свете острове.

Я не понимал, как это никто, кроме меня, не видит этого! Все должны были смотреть сюда, все должны были широко открыть глаза. Но никто не обращал на него внимания. Он сидел неподвижно, словно статуя, словно, подумалось мне, истукан, ему на лоб села муха, медленно поползла по носу и губам — он и не вздрогнул.

Где, где был он сейчас? О чем думал, что чувствовал? Был он где-то на небе, где-то в аду?

Мне нельзя было спросить его об этом. Когда я в конце урока увидел, что он снова жив и дышит, когда его взгляд встретился с моим, он, Демиан, был таким же, как прежде. Откуда он возвратился? Где был? Он казался усталым. В лице его опять появился румянец, руки его снова зашевелились, но каштановые его волосы сейчас не блестели и как бы увяли.

В последующие дни я не раз проделывал у себя в спальне некое новое упражнение: я садился очень прямо на стул, приказывал своим глазам застыть, пребывал в полной неподвижности и ждал, долго ли я это выдержу и что при этом почувствую. Но я только уставал, и у меня начинался страшный зуд в веках.

Вскоре после этого прошла конфирмация, от которой никаких важных воспоминаний у меня не осталось.

Все стало теперь другим. Детство вокруг меня разваливалось. Родители смотрели на меня с каким-то смущением. Сестры стали мне совсем чужими. Отрезвление обесценило и обесцветило для меня привычные чувства и радости, сад не благоухал, лес не манил, мир вокруг меня походил на распродажу старых вещей, он был пресен и неинтересен, книги были бумагой, музыка была шумом. Так с осеннего дерева спадает листва, оно этого не чувствует, по нему течет дождь, или солнце, или мороз, а в нем жизнь медленно уплотняется, уходит вглубь. Оно не умирает. Оно ждет.

Было решено, что после каникул я перейду в другую школу, впервые вдали от дома. Порой мать приближалась ко мне с особой нежностью, заранее прощаясь, стараясь заронить в мое сердце любовь, тоску по дому и память. Демиан уехал. Я был один.

Глава четвертая

БЕАТРИЧЕ

Так и не увидевшись со своим другом, я в конце каникул уехал в Шт. Мои родители, вдвоем, отправились вместе со мной и со всяческой заботливостью препоручили меня опеке пансиона для мальчиков у одного гимназического учителя. Они бы остолбенели от ужаса, если бы знали, в какие обстоятельства втолкнули меня.

Все еще стоял вопрос, выйдет ли из меня со временем хороший сын и полезный гражданин, или моя природа устремится к другим путям. Последняя моя попытка быть счастливым под сенью отчего дома и духа длилась долго, временами почти удавалась, и все-таки в конце концов полностью провалилась.

Странная пустота и одинокость, которую я впервые почувствовал во время каникул после своей конфирмации (как я еще познакомился с ними позднее, с этой пустотой, с этим разреженным воздухом!), проходили не так быстро. Прощание с родиной далось мне удивительно легко, я даже стыдился, что мало грущу, сестры плакали без причины, я так не умел. Я удивлялся самому себе. Всегда я был ребенком сердечным и по сути довольно добрым. Теперь я совершенно изменился. Я проявлял полное равнодушие к внешнему миру и целыми днями был занят тем, что вслушивался в себя и прислушивался к потокам, к запретным и темным потокам,

которые подспудно шумели во мне. Я стремительно вырос за последние полгода и взирал на мир долговязым, худым и нескладным подростком. Ничего ребячески милого во мне не осталось, я сам чувствовал, что таким любить меня невозможно, и сам тоже отнюдь не любил себя. О Максе Демиане я часто сильно тосковал; но нередко я и ненавидел его, виня его за оскудение моей жизни, которую воспринимал как свалившуюся на меня гнусную болезнь.

В нашем ученическом пансионате меня поначалу не любили и не уважали, сперва надо мной подтрунивали, а потом стали меня избегать, видя во мне нелюдима, неприятного чудака. Я нравился себе в этой роли, я даже пересаливал в ней, ожесточаясь в своем одиночестве, которое внешне неизменно походило на мужественное презрение к миру, хотя втайне я часто страдал от изнурительных приступов уныния и отчаяния. В школе я должен был пробавляться знаниями, накопленными еще дома, этот класс несколько отставал от моего прежнего, и я привыкал смотреть на своих ровесников свысока, как на детей.

Так все шло год и дольше, первые поездки домой на каникулы тоже не привносили ничего нового; я с радостью уезжал обратно.

Это было в начале ноября. Я завел привычку совершать при любой погоде мыслительные прогулки, во время которых часто испытывал род блаженства: блаженство, полное грусти, презрения к миру и презрения к себе. Так бродил я однажды вечером во влажном, туманном сумраке по окрестностям города, широкая аллея публичного парка была совершенно пустынна и приглашала меня, дорога была засыпана опавшими листьями, которые я ворошил ногами с каким-то мрачным сладострастием, пахло влажным и горьким, дальние деревья выступали из тумана громадными, мутными тенями.

В конце аллеи я нерешительно остановился, глядя на черную листву и жадно дыша влажным запахом обветшания и умирания, на который что-то во мне приветственно отзывалось. О, как нехороша была на вкус жизнь!

По боковой дорожке приближался кто-то в развевающейся крылатке, я хотел пойти дальше, но он окликнул меня.

— Эй, Синклер!

Он подошел, это был Альфонс Бек, староста нашего пансиона. Я всегда рад был его видеть и ничего против него не имел, кроме того, что он держался со мной, как со всеми младшими, иронически-покровительственно. Он слыл силачом, о нем ходило много слухов среди гимназистов, говорили, что хозяин нашего пансиона его побаивается.

— Что ты здесь делаешь? — воскликнул он приветливо, таким тоном, какой бывает у старших, когда они порой снисходят до кого-то из нас.— Ну, держу пари, ты сочиняешь стихи?

— И думать не думал,— резко ответил я.

Он засмеялся, пошел рядом со мной и стал болтать, от чего я давно уже отвык.

— Не бойся, Синклер, что я этого не пойму. Тут что-то такое есть, когда вот так вечером бродишь в тумане, с осенними мыслями, хочется и впрямь сочинять стихи, я знаю. Об умирающей природе, конечно, и об ушедшей юности, которая сходна с ней. Смотри Генриха Гейне.

— Я не так сентиментален,— сказал я, обороняясь.

— Да ладно! Но в такую погоду, по-моему, человеку невредно поискать тихого местечка, где можно получить стакан вина или что-нибудь подобное. Пойдем? Я сейчас как раз совсем один... Или тебе неохота? Мне не хотелось бы совращать тебя, если тебе надо быть примерным мальчиком.

Вскоре мы сидели в каком-то захудалом кабачке, пили сомнительное вино и чокались толстыми стаканами. Сначала мне это мало нравилось, но все же это было что-то новое. Вскоре, однако, я, с непривычки к вину, стал очень разговорчив. Во мне словно бы распахнулось какое-то окно, и мир словно бы озарил меня своим светом — как давно, как ужасно давно не

изливал я душу! Я ударился в фантастические рассуждения и в ходе их щегольнул историей о Каине и Авеле!

Бек слушал меня с удовольствием — наконец кто-то, кому я что-то мог дать!.. Он хлопал меня по плечу, называл молодцом, и мое сердце наполнялось блаженством от того, что я выплеснул наболевшее, дал выход потребности высказаться, снискал признание, что-то значил для старшего. Когда он назвал меня гениальным нахалом, эти слова пролились мне в душу как сладкое, крепкое вино. Мир загорелся новыми красками, мысли нахлынули на меня из сотни дерзких источников, ум и огонь так и запылали во мне. Мы говорили об учителях и товарищах, и мне казалось, что мы великолепно понимаем друг друга. Мы говорили о греках и язычестве, и Бек всячески подбивал меня на признания насчет любовных приключений. Такой разговор я не мог поддержать. Ничего я еще не изведал, рассказывать было не о чем. А то, что я в себе чувствовал, конструировал, о чем фантазировал, это хоть и жгло меня, но этого и вино не расслабило, не сделало поддающимся передаче. О девушках Бек знал куда больше, и я пылал, слушая эти сказки. Узнал я тогда невероятные вещи, совершенно немыслимое становилось чистейшей правдой, оказывалось само собой разумеющимся. В свои восемнадцать, может быть, лет Альфонс Бек уже приобрел кое-какой опыт. Среди прочего он узнал, что девушки только и знают, что жеманятся и ждут галантностей, и это недурно, но нужно не это. Надеяться на успех можно скорее у женщин. Женщины гораздо умнее. Например, госпожа Ягельт, хозяйка лавки, где продаются тетради и карандаши, с ней можно договориться, и не перечесть всего, что случалось у нее за прилавком.

Я сидел завороженный и оглушенный. Полюбить госпожу Ягельт я, правда, вряд ли смог бы — но все-таки это было нечто неслыханное. Были, оказывается, по крайней мере для взрослых, источники, которые мне и не снились. Какая-то фальшь, правда, тут слышалась, все было мельче и обыденнее, чем, на мой взгляд, пристало любви, но все-таки это была действительность, это была жизнь, это было приключение, рядом со мной сидел кто-то, кто испытал это, кому это казалось само собой разумеющимся.

Наши разговоры немного опустились, что-то утратили. И я уже не был гениальным бесенком, а был теперь всего только мальчиком, который слушал мужчину. Но даже и так — по сравнению с тем, что много месяцев составляло мою жизнь,— это было восхитительно, это был рай. Кроме того, все это было, как я постепенно почувствовал, запретно, очень запретно, от сиденья в кабачке до того, о чем мы говорили. Я, во всяком случае, ощущал в этом вкус мысли, вкус революции.

Ту ночь я помню очень отчетливо. Когда мы оба среди мокрой, прохладной ночи шли домой мимо тускло горевших газовых фонарей, я впервые был пьян. Это не было славно, это было крайне мучительно, а все же и в этом что-то было, какое-то очарование, какая-то сладость, это был мятеж, это была оргия, жизнь, мысль. Бек храбро опекал меня, хотя и ругал на чем свет стоит за полное неумение пить, и доставил чуть ли не на себе домой, где ему удалось пролезть вместе со мной в переднюю через оказавшееся там открытым окно.

Но с отрезвлением, когда я проснулся от боли после очень короткого мертвого сна, меня охватила безумная тоска. Я сидел в постели, на мне еще была дневная рубашка, моя одежда и башмаки валялись на полу, от них пахло табаком и рвотой, и среди головной боли, тошноты и отчаянной жажды у меня в душе возникла картина, которой я давно не видел воочию. Я увидел родину и отчий дом, отца и мать, сестер и сад, я увидел свою тихую родную спальню, увидел школу и рыночную площадь, увидел Демиана и уроки священника, и все это было какое-то светлое, сияющее, чудесное, божественное и чистое, и все, все это — понимал я — еще вчера, еще несколько часов назад принадлежало мне, ждало меня, а сейчас, вот только сейчас, было загублено и поругано, перестало принадлежать мне, выбросило меня, взглянуло на меня с отвращением! Все милое и дорогое, что я вплоть до самых далеких золотых садов детства получил от родителей, каждый поцелуй матери, каждое Рождество, каждое чистое, светлое воскрес-

ное утро дома, каждый цветок в саду — все это было погублено, все это я растоптал! Если бы сейчас явились стражники, если бы они связали меня и повели как изверга рода человеческого и святотатца на эшафот, я с этим согласился бы, пошел бы с радостью, нашел бы это правильным и справедливым.

Вот, значит, каков я был внутренне! Я, который кичился и презирал мир! Я, который в душе был горд и размышлял вместе с Демианом! Вот какой я был, изверг, похабник, пьяный, грязный, мерзкий подлец, грубое животное, обуянное гадким влечением! Вот каков я был, я, пришедший из тех садов, где все сияло, все дышало чистотой, прелестью, нежностью, я, любивший музыку Баха и прекрасные стихи! С отвращением и возмущением я все еще слышал свой собственный смех, пьяный, несдержанный, гогочуще-пошлый смех. Это был я.

Но при всем при том испытывать эти муки было чуть ли не наслаждением. Так долго влачился я в слепоте и тупости, так долго молчало и прозябало в нищете мое сердце, что и эти самообвинения, этот ужас, все это омерзение были отрадны душе. Тут все-таки присутствовало чувство, пылал огонь, содрогалось сердце! Со смятением угадывал я среди горя что-то похожее на освобождение и весну.

Между тем внешне я прямо-таки катился вниз. Вскоре хмель уже не был в новинку. В нашей школе много бражничали и безобразничали, я был одним из самых молодых участников этих развлечений и вскоре превратился из малыша, которого терпят, в зачинщика и заправилу, в знаменитого и бесшабашного завсегдатая кабаков. Я опять целиком принадлежал темному миру, дьяволу и слыл в этом мире замечательным парнем.

А на сердце у меня кошки скребли. Я жил в саморазрушительном беспутстве и, считаясь у товарищей вожаком и сорвиголовой, ухарем и озорником, чувствовал глубоко в себе трепет робкой, полной страха души. Помню, как у меня навернулись слезы, когда однажды воскресным утром я, выйдя из кабака, увидел на улице играющих детей, светлых, веселых, свежепричесанных и по-воскресному принаряженных. И потешая, а то и пугая своих друзей неслыханно циничными замечаниями за залитыми пивом грязными столиками замызганных кабаков, я втайне благоговел перед всем, над чем глумился, и про себя плакал, как бы стоя на коленях перед своей душой, перед своим прошлым, перед матерью, перед отцом.

Если я никогда не был в единстве со своими спутниками, если оставался среди них одинок и потому мог так страдать, то на это имелась причина. Я был забулдыгой и зубоскалом во вкусе самых грубых своих собратьев, я выказывал остроумие и храбрость в своих мыслях и речах об учителях, школе, родителях, церкви,— я не смущался и от непристойностей и сам иной раз решался на них,— но я никогда не участвовал в походах моих собутыльников к девицам, я пребывал в одиночестве и жгучей тоске по любви, в безнадежной тоске, хотя своими речами производил впечатление прожженного бонвивана. Никто не был ранимее, никто не был стыдливей меня. И когда я поглядывал на проходящих мещаночек, красивых и опрятных, светлых и привлекательных, они представали мне чудесными, чистыми видениями, слишком прекрасными и чистыми для меня. На какое-то время я перестал даже заходить в писчебумажную лавку госпожи Ягельт, потому что краснел, взглянув на нее, и думал о том, что рассказал мне о ней Альфонс Бек.

Чем больше и в новом своем обществе чувствовал я себя теперь одиноким и не таким, как другие, тем меньше освобождался я от него. Право, не помню уж, доставляли ли мне действительно удовольствие пьянство и бахвальство, да и пить я так и не привык настолько, чтобы не чувствовать каждый раз неприятных последствий. Все шло как бы по необходимости. Я поступал, как должен был поступать, потому что иначе не знал, что мне делать с собой. Я страшился долгого одиночества, боялся всяких приступов нежности, стыдливости, искренности, к которым всегда чувствовал склонность, боялся нежно-любовных мыслей, так часто у меня появлявшихся.

Одного недоставало мне больше всего — друга. Было два-три

одноклассника, видеть которых мне было очень приятно. Но они принадлежали к числу порядочных учеников, а мои пороки давно уже не были ни для кого тайной. Они избегали меня. Я слыл у всех отпетым игроком, у которого почва уходит из-под ног. Учителя многое знали обо мне, меня не раз строго наказывали, все ждали, что меня в конце концов исключат из школы. Я и сам это знал, я давно не был хорошим учеником, а как-то изворачивался и жульничал с чувством, что долго это не может продлиться.

Есть много путей, на которых Бог способен сделать нас одинокими и привести к самим себе. Этим путем он пошел тогда со мной. Это было как дурной сон. Я вижусь себе околдованным сновидцем, затравленно ползущим без отдыха по пакостно-мерзкой дороге, через грязь, через что-то липкое, через разбитые пивные стаканы, через растрачиваемые на циничную болтовню ночи. Есть такие сны, где на пути к принцессе застреваешь в грязных лужах, в закоулках, наполненных зловонием и нечистотами. Так было со мной. Таким неизысканным образом суждено было мне стать одиноким и воздвигнуть между собой и детством запретные врата Эдема с безжалостно сияющими стражами. Это было начало, пробуждение тоски по самому себе.

Я еще испугался и даже задергался, когда в Шт. в первый раз появился и неожиданно предстал передо мной отец, встревоженный письмами хозяина моего пансиона. Когда он, в конце той зимы, явился вторично, я был уже тверд и равнодушен, снес его брань, просьбы, напоминания о матери. Под конец он очень рассердился и сказал, что, если я не изменюсь, он велит с позором выгнать меня из школы и отдаст в исправительное заведение. Ну и пусть бы! Когда он уезжал, мне было жаль его, но он ничего не достиг, он не нашел пути ко мне, и в какие-то мгновения я чувствовал, что так ему и надо.

Что из меня выйдет, было мне безразлично. Странным, не очень красивым способом, сидя в кабачках и бахвалясь, вел я спор с миром, такова была моя форма протеста. При этом я губил себя, и порой дело представлялось мне так: если миру не нужны такие люди, как я, если у него нет для них никакого лучшего места, никаких высших задач,— что же, значит, такие, как я, погибают. Пусть мир пеняет на себя.

Рождественские каникулы были в тот год довольно безрадостны. Моя мать испугалась при встрече со мной. Я еще больше вырос, и мое худое лицо казалось серым, выглядело опустошенным, вялым, веки были воспалены. Пробивавшиеся усы и очки, которые я с недавних пор носил, сделали меня для нее еще более чужим. Сестры отпрянули и захихикали. Все было неутешительно. Неутешителен и горек разговор с отцом в его кабинете, неутешительны посещения родственников, неутешителен прежде всего сочельник. Это, с тех пор как я себя помнил, был в нашем доме большой день, вечер торжественности и благодарности, обновление союза между родителями и мной. На сей раз все только угнетало и смущало. Отец, как всегда, читал из Евангелия о «пастухах, которые содержали ночную стражу у стада своего», сестры, как всегда, стояли, сияя, перед столом с подарками, но голос отца звучал угрюмо, и лицо его казалось старым и осунувшимся, а мать была печальна, и мне было все одинаково неприятно и некстати — подарки и поздравления, Евангелие и елка. Сладко пахли пряники, источая густые облака еще более сладких воспоминаний. Благоухала елка, рассказывая о вещах, которых уже не существовало. Я просто дождаться не мог конца вечера и праздников.

Так продолжалось всю зиму. Не так давно я получил настоятельное предупреждение педагогического совета с угрозой исключения. Осталось уже недолго. Ну и хорошо.

Особая злость была у меня на Макса Демиана. Все это время я не видел его. Я написал ему в начале своего учения в Шт. дважды, но ответа не получил; поэтому я и на каникулах не навещал его.

В том самом парке, где я встретил осенью Альфонса Бека, в начале весны, когда только-только зазеленели колючие изгороди, мое внимание привлекла одна девушка. Я гулял в одиночестве, полный противных мыслей

и забот, ибо здоровье мое ухудшилось, а кроме того, у меня были постоянные затруднения с деньгами, задолжав у товарищей, я придумывал всякие необходимые расходы, чтобы что-то получать из дому, а в нескольких лавках у меня накопились неоплаченные счета за сигары и подобные вещи. Не то чтобы эти заботы меня поглощали — когда мое пребывание здесь вскоре кончится и я либо утоплюсь, либо попаду в исправительное заведение, мелочи не будут иметь никакого значения. Но все-таки я постоянно соприкасался с такими неприятными делами и страдал от этого.

В тот весенний день в парке мне повстречалась молодая дама, которая очень меня привлекла. Высокого роста, стройная, элегантно одетая, с умным мальчишеским лицом. Она мне сразу понравилась, она принадлежала к любимому мною типу и взбудоражила мое воображение. Была она вряд ли намного старше, чем я, но намного увереннее, элегантная и складная, совсем уже почти дама, но с чем-то озорным и мальчишеским в лице, необычайно мне нравившимся.

Мне никогда не удавалось приблизиться к девушке, в которую я был влюблен, не удалось и сейчас. Но это впечатление было глубже всех прежних, и влияние этой влюбленности на мою жизнь было огромно.

Вдруг мне снова явился образ, высокий, высокочтимый образ — а ведь не было у меня стремления глубже и сильнее, чем желание благоговеть и поклоняться! Я дал ей имя Беатриче, ибо о ней, не читав Данте, знал из одной английской картины, репродукцию с которой хранил. Там это была английско-дорафаэлевская девическая фигура, очень длиннорукая, длинноногая, стройная, с узкой продолговатой головой, одухотворенными пальцами и лицом. Моя юная красавица не очень походила на нее, хотя тоже обладала этой стройностью, этими мальчишескими формами, любимыми мною, и какой-то одухотворенностью, окрыленностью в чертах лица.

Я не обмолвился с Беатриче ни одним словом. Тем не менее она оказала тогда на меня глубокое влияние. Она явила мне свой образ, открыла мне святилище, сделала меня богомольцем в храме. Как не бывало всех моих попоек и ночных похождений. Я вновь научился одиночеству, вновь полюбил читать, вновь полюбил прогулки.

Внезапное исправление принесло мне немало насмешек. Но я мог теперь что-то любить, чему-то поклоняться, у меня снова был идеал, жизнь снова наполнилась предчувствиями и пестро-таинственным сумраком — это делало меня нечувствительным. Я снова вернулся к себе домой, хотя лишь рабом и прислужником боготворимого образа.

О том времени я не могу думать без какой-то растроганности. Я снова искренне старался построить из развалин рухнувшей жизни некий «светлый мир», снова жил одним-единственным желанием освободиться от темного и злого в себе и целиком пребывать в светлом, преклонив колени перед богами. Этот теперешний «светлый мир» был все же в какой-то мере сотворен мною самим; это не было уже убегание к матери, в безответственную укрытость и защищенность, это было новое, выдуманное и потребованное мною самим служение, с ответственностью и самодисциплиной. Сексуальность, от которой я страдал и всегда бежал, должна была в этом священном огне преобразиться в дух и благоговение. Не должно было больше быть ничего темного, ничего безобразного, никаких ночных стонов, никакого сердцебиения перед непристойными картинами, никаких подслушиваний у запретных ворот, никакой похотливости. Вместо всего этого я воздвиг свой алтарь с образом Беатриче и, посвятив себя ей, посвятил себя и богам. Ту долю жизни, которую я отобрал у темных сил, я принес в жертву светлым. Не наслаждение было моей целью, а чистота, не счастье, а красота и духовность.

Этот культ Беатриче изменил мою жизнь целиком и полностью. Вчера еще скороспелый циник, я был теперь прислужником в храме, задавшимся целью стать святым. Я не только бросил скверную жизнь, к которой привык, я старался изменить все, старался внести во все чистоту, благородство и достоинство, стремился к этому в еде и питье, в языке и одежде. Я начинал утро с холодных омовений, к которым сперва с трудом себя принуждал. Я вел себя строго и с достоинством, держался прямо и придал

своей походке медленность и степенность. Внешне это выглядело, наверно, смешно,— а у меня в душе это было сплошным богослужением.

Из всех этих новых упражнений, в которых я старался выразить свои новые взгляды, одно сделалось для меня важным. Я стал рисовать. Началось с того, что имевшийся у меня английский портрет Беатриче был недостаточно похож на ту девушку. Я решил попробовать нарисовать ее для себя. С совершенно новой радостью и надеждой я принес в свою комнату — с недавних пор у меня была собственная комната — хорошую бумагу, краски и кисти, приготовил палитру, стекло, фарфоровые плошки, карандаши. Тонкие эмульсионные краски в тюбиках, мною купленные, приводили меня в восторг. Среди них была огненная хромовая зеленая, мне и сейчас видится, как она в первый раз вспыхнула в маленькой белой плошке.

Начал я с осторожностью. Написать лицо было трудно, я хотел попробовать сперва другое. Я писал орнаменты, цветы и маленькие пейзажи-фантазии, дерево у часовни, римский мост с кипарисами. Иногда я совсем забывался за этой игрой, был счастлив, как ребенок с коробкой красок. Но наконец я начал писать Беатриче.

Несколько листов совсем не удались и были отброшены. Чем больше пытался я представить себе лицо девушки, которую я нет-нет да встречал на улице, тем хуже шло дело. В конце концов я отказался от этого и начал просто писать лицо, подчиняясь фантазии и тем указаниям, которые из начатого, из красок и кисти возникали сами собой. Лицо, которое получилось, отвечало мечтам, и я не был им недоволен. Однако я сразу продолжил опыт, и каждый новый лист говорил чуть более ясным языком, подходил ближе к типажу, хоть и отнюдь не к действительности.

Все больше и больше привыкал я проводить линии мечтательной кистью и заполнять плоскости, для которых не было какого-то образца, которые возникали наугад из игры, из неосознанного. Наконец я однажды, почти бессознательно, написал лицо, говорившее мне больше, чем все прежние. Это не было лицо той девушки, да и задачи такой давно не ставилось. Это больше походило на лицо юноши, чем на девичье лицо, волосы были не светло-русые, как у моей красавицы, а каштановые с рыжеватостью, подбородок был сильный и твердый, а рот алый, в целом лицо получилось несколько неподвижное, похожее на маску, но было выразительно и полно тайной жизни.

Когда я сидел перед готовым листом, он производил на меня странное впечатление. Он казался мне чем-то вроде иконы или священной маски, полумужской-полуженской, без алтаря, в такой же мере исполненной воли, как и мечтательности, в такой же мере неподвижной, как и втайне живой. Это лицо что-то говорило мне, оно было частью меня, оно предъявляло мне какие-то требования. И в нем было сходство с кем-то, я не знал с кем.

Этот портрет сопровождал некоторое время все мои мысли и разделял мою жизнь. Я прятал его в выдвижном ящике, чтобы никто не обнаружил его и не высмеял меня за него. Но как только я оказывался один в своей клетушке, я извлекал картину из ящика и вступал с ней в общение. Вечером я прикалывал ее напротив себя над кроватью булавкой к обоям, смотрел на нее, прежде чем уснуть, а утром на нее падал мой первый взгляд.

Как раз в то время мне снова стали часто сниться сны, что всегда бывало со мной в детстве. Мне казалось, что у меня уже целые годы не было сновидений. Теперь они снова появились, картины совершенно нового рода, и в них часто возникало написанное мною лицо, живое, говорящее, расположенное ко мне то дружественно, то враждебно, то искаженное гримасой, то бесконечно прекрасное, гармоничное и благородное.

И однажды утром, проснувшись после таких снов, я вдруг узнал его. Оно глядело на меня удивительно знакомым взглядом, оно, казалось, выкликало мое имя. Казалось, оно знает меня как мать, казалось, оно обращено ко мне издавна. С колотящимся сердцем уставился я на этот лист, на каштановые густые волосы, на полуженский рот, на могучий лоб со странным свечением (само так высохло), и все сильнее и сильнее делалось во мне чувство, что я узнаю, обретаю вновь, знаю.

Я вскочил с постели, встал перед этим лицом и уставился в него с очень близкого расстояния, прямо в его широко раскрытые, зеленоватые, неподвижные глаза, из которых правый был расположен чуть выше другого. И вдруг этот правый глаз мигнул, мигнул слегка, чуть-чуть, но явственно, и тогда я узнал, кого я изобразил.

Как мог я понять это только так поздно! Это было лицо Демиана.

Позднее я не раз сравнивал свой лист с подлинными чертами Демиана, сохранившимися у меня в памяти. Они были не совсем такие же, хотя и похожи. Но все-таки это был Демиан.

В один из вечеров начала лета солнце косо светило красным в мое выходившее на запад окно. В комнате стало сумрачно. Тут мне вздумалось прикрепить булавкой портрет Беатриче, или Демиана, к оконному переплету и посмотреть его на просвет при вечернем солнце. Очертания лица расплылись, но глаза с красноватой каймой, свечение на лбу и алый рот зажглись, вырвались из плоскости, запылали. Я долго сидел перед портретом и когда он уже погас. И постепенно у меня возникло чувство, что это не Беатриче и не Демиан, а я сам. Портрет не был похож на меня,— да и не должен был, чувствовал я, походить,— но он был тем, что составляло мою жизнь, он был моим нутром, моей судьбой или моим демоном. Таков будет мой друг, если я снова когда-либо найду друга. Такова будет моя возлюбленная, если она у меня когда-либо появится. Такова будет моя жизнь, и такова будет моя смерть, это звук и ритм моей судьбы.

В те недели я как раз начал читать одну книгу, которая произвела на меня более глубокое впечатление, чем все, что я читал прежде. Да и позже я уже редко так отдавался книгам, разве что, может быть, Ницше. Это был том Новалиса, с письмами и сентенциями, многих из которых я не понимал, но которые меня тем не менее несказанно привлекали и очаровывали. Одно из этих изречений мне теперь вспомнилось. Я написал его пером под портретом: «Судьба и нрав суть имена одного понятия». Это я теперь понял.

Девушка, которую я назвал Беатриче, встречалась мне еще часто. Волнения я больше при этом не чувствовал, а всегда — мягкое согласие, вещую уверенность: ты со мной связана, но не ты сама, а только твой портрет, ты — часть моей судьбы.

Моя тоска по Максу Демиану опять усилилась. Я ничего не знал о нем, уже много лет — ничего. Как-то раз я повстречался с ним на каникулах. Теперь я вижу, что скрыл эту короткую встречу в своих записках, и вижу, что причиной тому стыд и тщеславие. Я должен наверстать это.

Итак, однажды на каникулах, слоняясь с надменным и всегда немного усталым лицом моей беспутной поры по родному городу, размахивая тростью и вглядываясь в старые, неизменившиеся, презираемые лица обывателей, я увидел, что навстречу мне идет мой прежний друг. Заметив его, я вздрогнул. И тут же невольно вспомнил о Франце Кромере. Хоть бы Демиан успел забыть эту историю! Так неприятно было чувствовать себя обязанным ему — в сущности, ведь глупая детская история, а все-таки обязательство...

Он, казалось, ждал, поздороваюсь ли я с ним, и когда я сделал это как можно небрежнее, он подал мне руку. То было снова его рукопожатие! Такое крепкое, теплое и все же холодное, мужское!

Он внимательно посмотрел мне в лицо и сказал:

— Ты вырос, Синклер.

Сам он, показалось мне, нисколько не изменился, был так же стар, так же молод, как всегда.

Он присоединился ко мне, мы пошли гулять и говорили только о пустяках, не упоминая ни о чем из прежнего. Мне вспомнилось, что я когда-то писал ему, но ответа так и не получил. Ах, хоть бы он и это забыл, эти глупые, глупые письма! Он ничего о них не сказал!

Тогда не было еще никакой Беатриче и никакого портрета, пора моего беспутства еще продолжалась. За городом я пригласил его зайти в кабачок.

Он согласился. Я хвастливо заказал бутылку вина, разлил по стаканам, чокнулся с ним и показал хорошее знание студенческих застольных обычаев, осушив первый стакан одним духом.

— Ты часто ходишь в кабаки? — спросил он меня.

— Ах да,— сказал я лениво,— что еще делать? Это как-никак веселее всего.

— Ты находишь? Возможно, что-то славное в этом есть — опьянение, вакхическая радость! Но я нахожу, что у большинства людей, проводящих много времени в кабаках, это пропало начисто. Мне представляется, что как раз хождение по кабакам есть нечто воистину мещанское. Да, всю ночь напролет, с горящими факелами, в настоящем ударе и угаре! Но так изо дня в день, кружку за кружкой, разве это правильно? Можешь себе представить, например, чтобы Фауст вечер за вечером сидел за столом для завсегдатаев?

Я пил и смотрел на него враждебно.

— Да, но не каждый же — Фауст,— сказал я коротко.

Он взглянул на меня немного озадаченно. Затем рассмеялся с прежней бодростью и превосходством.

— Ну, зачем спорить об этом? Во всяком случае, жизнь пьяницы и распутника, вероятно, живее, чем жизнь безупречного обывателя. И к тому же — я это где-то прочел,— жизнь распутника — лучшая подготовка для мистика. Всегда ведь есть такие люди, как святой Августин, которые становятся ясновидцами.

Я был недоверчив и вовсе не хотел, чтобы он меня поучал. Поэтому я сказал равнодушно:

— Что ж, у каждого свой вкус! У меня, честно признаться, нет ни малейшего поползновения стать ясновидцем или кем-то таким.

Демиан знающе сверкнул на меня чуть прищуренными глазами.

— Дорогой Синклер,— сказал он медленно,— у меня не было намерения говорить тебе неприятные вещи. Кстати, для чего ты сейчас осушаешь стакан за стаканом, мы ведь оба не знаем. Знает это то в тебе, что создает твою жизнь. Хорошо знать, что внутри у нас есть кто-то, кто все знает, всего желает, все делает лучше, чем мы сами... Однако прости, мне пора домой.

Мы быстро попрощались. Я мрачно остался сидеть, допивая свою бутылку до дна, а при уходе узнал, что Демиан уже за все заплатил. Это раздосадовало меня еще больше.

На этой мелочи снова остановились теперь мои мысли. Они были полны Демианом. И слова, сказанные им в том загородном кабачке, снова возникли у меня в памяти с поразительной свежестью и точностью: «Хорошо знать, что внутри у нас есть кто-то, кто все знает!»

Я смотрел на картину, висевшую на окне и совсем погасшую. Но я видел глаза еще пылающими. Это был взгляд Демиана. Или тот, что был внутри у меня. Тот, что все знал.

Как тосковал я по Демиану! Я ничего не знал о нем, он был недостижим для меня. Я знал только, что он, наверно, где-то еще учится и что, после того как он окончил гимназию, его мать покинула наш город.

Я перебирал все, что помнил о Демиане, начиная с моей истории с Кромером. Многое всплывало тут из того, что он говорил мне когда-то, и все имело смысл и поныне, было злободневно, касалось меня! И то, что он при нашей последней, такой нерадостной встрече сказал о распутнике и святом, тоже вдруг ярко вспыхнуло у меня в душе. Разве не то же в точности происходило со мной? Разве не жил я в хмелю и грязи, в отупении и потерянности, пока новый импульс жизни не пробудил во мне что-то прямо противоположное, желание чистоты, тоску по святому?

Так продолжал я ворошить воспоминания, а между тем давно наступила ночь, и за окном шел дождь. В своих воспоминаниях я тоже слышал шум дождя, это было в тот час под каштанами, когда он стал выспрашивать меня о Кромере и разгадал мои первые тайны. Одно всплывало за другим, разговоры по дороге в школу, уроки для конфирмующихся. И наконец мне вспомнилась моя самая первая встреча с Максом Демианом. О чем же шла

речь? Сразу я не мог вспомнить, но я не торопился, я целиком погрузился в это. И вот оно вернулось, это тоже. Мы стояли перед нашим домом, после того как он сообщил мне свое мнение о Каине. Он говорил тогда о старом, стершемся гербе над нашей входной дверью, на расширяющемся снизу вверх замковом камне. Он сказал, что этот герб интересует его и что на такие вещи надо обращать внимание.

Ночью мне снились Демиан и герб. Герб непрестанно видоизменялся, Демиан держал его в руках, герб становился то маленьким и серым, то громадным и многоцветным, но Демиан объяснил мне, что это всегда один и тот же герб. А под конец он заставил меня съесть герб. Проглотив его, я с неописуемым ужасом почувствовал, что проглоченная птица с герба во мне жива, что она заполняет меня и начинает пожирать изнутри. В смертельном страхе я вскочил и проснулся.

Сон ушел, была глубокая ночь, я услышал, что дождь заливает комнату. Я встал, чтобы закрыть окно, и наступил при этом на что-то светлое, лежавшее на полу. Утром я обнаружил, что это был мой лист с портретом. Он лежал в мокрости на полу и весь покоробился. Для просушки я положил его между листами промокательной бумаги в тяжелую книгу. Когда я на следующий день проверил его, он успел высохнуть. Но он изменился. Красный рот побледнел и стал немного у́же. Теперь это был совсем рот Демиана.

Я принялся писать новый лист, птицу с герба. Какого она, собственно, была вида, я помнил неясно, да и кое-что, как я помнил, нельзя было различить и с близкого расстояния, потому что изображение это было старое и неоднократно закрашивалось. Птица стояла или сидела на чем-то, не то на цветке, не то на корзинке, или гнезде, или на кроне дерева. Я об этом не беспокоился и начал с того, о чем имел ясное представление. Из какой-то смутной потребности я сразу пустил в ход яркие краски, голова птицы была на моем листе золотисто-желтой. В зависимости от настроения я продолжал эту работу и через несколько дней закончил ее.

Птица получилась хищная, с острой, отважной ястребиной головой. Туловище ее наполовину торчало в темном земном шаре, из которого она вылезала, как из гигантского яйца, на фоне синего неба. По мере того как я глядел на этот лист, мне все больше и больше казалось, что передо мной такой же цветной герб, как в моем сне.

Написать Демиану письмо я не смог бы, даже если бы знал куда. Но в том же мечтательном предчувствии, в каком я все делал тогда, я решил послать ему этот лист с ястребом, независимо от того, дойдет ли он до него или нет. Ничего не написав на листе, даже своей фамилии, я тщательно обрезал края, купил большой конверт и написал на нем прежний адрес своего друга. Так это и отправил.

Приближался какой-то экзамен, и мне приходилось больше обычного работать для школы. Учителя снова стали милостивы ко мне, с тех пор как я вдруг прекратил свои безобразия. Хорошим учеником я, правда, и теперь не был, но ни я, ни кто-либо еще уже не помнили, что полгода назад все допускали возможность моего исключения из школы.

Отец опять писал мне в прежнем тоне, без упреков и угроз. Однако я не испытывал потребности объяснять ему или кому-либо еще, как произошла во мне эта перемена. Случайно эта перемена совпала с желаниями моих родителей и учителей. Эта перемена не привела меня к другим людям, ни с кем не сблизила, сделала меня лишь еще более одиноким. Она устремлялась куда-то, к Демиану, к дальней судьбе. Я ведь и сам этого не знал, я ведь был внутри происходившего. Началось все с Беатриче, но с некоторого времени я жил со своими листами и своими мыслями в мире настолько нереальном, что потерял из виду и ее. Никому, даже если и хотел бы, я не смог бы сказать ни слова о моих снах, моих ожиданиях, моей внутренней перемене.

Но как я мог этого хотеть?

Глава пятая

ПТИЦА ВЫБИРАЕТСЯ ИЗ ГНЕЗДА

Моя нарисованная птица из сновидения находилась в пути и искала моего друга. Ответ пришел ко мне самым поразительным образом.

У себя в классе, на своем месте, я после перерыва между двумя уроками нашел вложенную в мою книгу записку. Сложена она была так, как это обычно делалось, когда однокашники тайком обменивались записочками во время занятий. Меня удивило только, что кто-то прислал мне такую записку, ибо ни с кем из учеников у меня общения не было. Я решил, что это, наверно, приглашение участвовать в какой-либо проказе, которого я, конечно, не приму, и, не прочитав записки, положил ее перед собой в книгу. Лишь во время урока она случайно опять оказалась у меня в руках.

Я поиграл с этой бумажкой, бездумно развернул ее и нашел в ней запись нескольких слов. Я взглянул на них, остановился взглядом на одном слове, испугался и прочел со сжавшимся перед судьбой, как от большого холода, сердцем:

«Птица выбирается из яйца. Яйцо — это мир. Кто хочет родиться, должен разрушить мир. Птица летит к Богу. Бога зовут Абраксас».

Много раз перечитав эти строки, я погрузился в раздумья. Не подлежало сомнению, это был ответ Демиана. Никто не мог знать о птице, кроме меня и его. Он получил мою картину. Он понял и помог мне истолковать ее. Но как все это было связано? И — это мучило меня прежде всего — что значило Абраксас? Я никогда не слышал и не читал такого слова. «Бога зовут Абраксас»!

Урок прошел, а я ничего не слышал. Начался следующий, последний предобеденный. Его давал новый сверхштатный учитель, только что покинувший университетскую скамью и нравившийся нам уже потому, что держался с нами без напускной важности.

Под руководством доктора Фоллена мы читали Геродота. Это чтение относилось к тем немногим учебным занятиям, которые интересовали меня. Но на сей раз я как бы отсутствовал. Я машинально раскрыл книгу, но за переводом не следил, по-прежнему погруженный в свои мысли. Кстати сказать, я не раз уже убеждался на опыте, как верно было то, что сказал мне тогда, на занятиях для конфирмующихся, Демиан. Чего пожелаешь достаточно сильно, то удается. Если я во время урока бывал очень сильно занят собственными мыслями, я мог быть уверен, что учитель оставит меня в покое. А если ты рассеян и сонлив, он тут как тут — это уже тоже со мной случалось. Но если ты действительно задумался, действительно ушел в свои мысли, ты был защищен. И сказанное насчет пристального взгляда я уже проверял, и все подтверждалось. Тогда, во времена Демиана, у меня это не получалось, а теперь я часто чувствовал, что взглядами и мыслями можно добиться очень многого.

И вот я сидел и был далеко-далеко от Геродота и от школы. Но вдруг до меня дошел, молнией ударил меня голос учителя, и я в страхе очнулся. Я услыхал его голос, он стоял совсем рядом со мной, я уже подумал, что он окликнул меня по фамилии. Но он и не смотрел на меня. Я облегченно вздохнул.

Тут я услыхал его голос опять. Он громко произнес слово «Абраксас».

В своем комментарии, начало которого от меня ускользнуло, доктор Фоллен продолжал:

— Не надо представлять себе взгляды этих сект и мистических объединений древности такими наивными, какими они кажутся с рационалистической точки зрения. Науки в нашем понимании древность вообще не знала. Зато очень высоко развит был интерес к философско-мистическим истинам. Отчасти отсюда возникли магия и игра, которые, бывало, вели и к обману, и к преступлению. Но и у магии было благородное происхождение и глубокие мысли. Таково и учение об Абраксасе, которое я сейчас привел в пример. Это имя называют в связи с греческими волшебными формулами,

и многие считают его именем какого-то беса-волшебника, какие и поныне есть у диких народов. Кажется, однако, что Абраксас означает гораздо больше. Мы можем считать его именем божества, символической задачей которого было соединять божественное и дьявольское.

Маленький ученый ревностно продолжал свою тонкую речь, никто не был очень внимателен, и поскольку это имя больше не упоминалось, мое внимание тоже вскоре опять переключилось на меня самого.

«Соединять божественное и дьявольское» — отдавалось во мне. От этого я мог оттолкнуться. Это было знакомо мне по разговорам с Демианом на самых первых порах нашей дружбы. Демиан сказал тогда, что у нас хоть и есть Бог, которого мы чтим, но он представляет лишь произвольно отделенную половину мира (это был официальный, дозволенный, «светлый мир»). А чтить надо уметь весь мир, поэтому нужно либо иметь Бога, который был бы также и дьяволом, либо учредить наряду с богослужением и служение дьяволу... И вот, значит, Абраксас был богом, который был и богом, и дьяволом.

Воспользовавшись этим следом, я какое-то время усердно вел поиски, но вперед не продвинулся. Я безуспешно перерыл целую библиотеку, гоняясь за Абраксасом. Но моя натура никогда особенно не стремилась к такого рода прямым и сознательным поискам, когда сперва находишь лишь истины, подобные вложенным тебе в руку — вместо хлеба — камням.

Образ Беатриче, известное время так сильно и глубоко меня занимавший, постепенно тонул, вернее, медленно отступал от меня, все больше уходя к горизонту, все больше расплываясь, отдаляясь, бледнея. Его было уже мало душе.

В той странной самопогруженности, в которой я, как сомнамбула, жил, формировалось теперь что-то новое. Во мне расцветала тоска по жизни, вернее, тоска по любви, и влечение пола, которое я какое-то время унимал поклонением Беатриче, требовало новых образов и целей. У меня все еще ничего не сбылось, и немыслимей, чем когда-либо, было для меня обмануть свою тоску и ждать чего-то от девушек, у которых искали счастья мои товарищи. Я с новой силой отдавался снам, причем больше днем, чем ночью. Видения, картины и желания поднимались во мне и уносили меня от внешнего мира до такой степени, что с этими тенями или снами у меня была более реальная и живая связь, чем с моим подлинным окружением.

Один определенный сон — его можно назвать и определенной игрой фантазии,— то и дело повторявшийся, стал для меня полным значения. Сон этот, важнейший и сквернейший в моей жизни, был примерно таков. Я возвращался в свой отчий дом — над входом светилась желтым птица на синем фоне,— в доме навстречу мне вышла мать, но когда я вошел и хотел обнять ее, это оказалась не она, а какая-то неведомая фигура, высокая и могучая, похожая на Макса Демиана и на написанный мной портрет, но другая и, несмотря на могучесть, явно женская. Эта фигура привлекла меня к себе и приняла в глубокое, трепетное любовное объятие. Блаженство и ужас смешивались, объятие было богослужением и было в такой же мере преступлением. Слишком многое напоминало мою мать, слишком многое напоминало Демиана в фигуре, которая меня обняла. Ее объятие было попранием всякой почтительности и все же было высшим счастьем. Часто пробуждался я после этого сна с глубоким чувством счастья, а часто со смертельным страхом и измученной совестью, как после ужасного греха.

Лишь постепенно и бессознательно установилась связь между этой целиком внутренней картиной и тем пришедшим ко мне извне указанием насчет искомого бога. Но потом связь эта стала теснее и глубже, и я почувствовал, что как раз в этом вещем сне я и призывал Абраксаса. Блаженство и ужас, смешение мужчины и женщины, сплетение самого святого и самого омерзительного, дрожь глубокой вины, пронимающая нежнейшую невинность,— такова была любовь в моем видении, и таков же был Абраксас. Любовь уже не была животным, темным влечением, как то страшило меня вначале, не была она уже и одухотворенным, молитвенным преклонением, какое рождал у меня образ Беатриче. Она была и тем, и другим, тем

и другим и еще гораздо большим, она была ангельским подобием и сатаной, мужчиной и женщиной одновременно, человеком и животным, величайшим благом и величайшим злом. Жить этим казалось мне моим назначением, изведать это — моей судьбой. Я стремился к такой судьбе и боялся ее, но она всегда присутствовала, всегда была надо мной.

Следующей весной я должен был покинуть гимназию и стать студентом, я еще не знал — где и на каком факультете. Над губой у меня пробилась растительность, я был взрослый человек и все же совершенно беспомощен и без каких-либо целей. Твердо было только одно: мой внутренний голос, мое видение. Я чувствовал, что моя задача — слепо подчиняться этой направляющей воле. Но удавалось мне это с трудом, и я каждый день восставал. Может быть, я сумасшедший, думал я нередко, может быть, я не такой, как другие люди? Но все, что совершали другие, выходило и у меня, при некотором старании и усилии я мог читать Платона, мог разобраться в химическом анализе. Одного только я не мог — вырвать из темноты скрытую во мне цель и нарисовать где-то перед собой, как это делали другие, которые точно знали, что они хотят стать профессором или судьей, врачом или художником, сколько на это уйдет времени и какие это сулит преимущества. Я так не мог. Может быть, я тоже стану когда-нибудь кем-то таким, но откуда мне это знать? Может быть, я тоже должен искать, искать годами и так и не стану никем, так и не приду ни к какой цели. А может быть, к какой-то и приду, но это окажется злая, опасная, ужасная цель.

Я ведь всего только хотел попытаться жить тем, что само рвалось из меня наружу. Почему же это было так трудно?

Часто я делал попытки нарисовать фигуру, в которой предстала любовь в моем сновидении. Но это ни разу не удавалось. Если бы удалось, я послал бы свой лист Демиану. Где был он? Я этого не знал. Я знал только, что он был связан со мной. Когда я увижу его снова?

Приятное спокойствие тех недель и месяцев, которые составили эпоху Беатриче, давно прошло. Тогда я думал, что достиг какого-то острова, обрел какой-то мир. Но так бывало всегда: едва только какое-то состояние становилось мне мило, едва только какая-то мечта оказывала на меня благотворное действие, как они уже увядали, тускнели. Напрасное дело — вздыхать о них! Я жил теперь в огне неутоленного желания, напряженного ожидания, который часто приводил меня в полное неистовство. Образ приснившейся возлюбленной я видел теперь часто перед собой с невероятной ясностью, гораздо яснее, чем собственную руку, я говорил с ним, плакал перед ним, клял его. Я называл его матерью и в слезах становился перед ним на колени, я называл его любимой и предугадывал его зрелый, всеисполняющий поцелуй, я называл его чертом и потаскухой, вампиром и убийцей. Он соблазнял меня на нежные любовные мечтанья и на всяческие бесстыдства, он не знал границ ни в добром и великолепном, ни в скверном и низком.

Всю ту зиму я прожил во внутренней буре, описать которую мне трудно. К одиночеству я привык давно, оно не угнетало меня, я жил с Демианом, с ястребом, с образом приснившейся мне высокой фигуры, которая была моей судьбой и моей возлюбленной. Этого было достаточно, чтобы в этом жить, ибо все дышало чем-то большим, далеким, все указывало на Абраксаса. Но ни один мой сон, ни одна моя мысль не были мне послушны, ни одной я не мог вызвать, ни одну не мог расцветить по своему желанию. Они приходили и захватывали меня, управляли мною, составляли мою жизнь.

Внешне я, правда, был защищен. Перед людьми страха я не испытывал, это усвоили и мои однокашники и относились ко мне с тайным уважением, часто вызывавшим у меня улыбку. Если я хотел, я мог разглядеть насквозь большинство из них, чем, случалось, и изумлял их. Только хотел я этого редко или вообще не хотел. Я был занят всегда собой, всегда самим собой. И я страстно желал пожить наконец-то тоже, выпустить что-то из себя в мир, вступить с ним в какие-то отношения, в борьбу. Иной раз, когда

я вечером бродил по улицам и от беспокойства не мог до полуночи вернуться домой, иной раз я думал, что вот сейчас встретится мне моя возлюбленная, пройдет мимо у следующего угла, позовет меня из ближайшего окна. А иной раз все это казалось мне невыносимо мучительным, и я бывал готов покончить с собой.

Некое своеобразное прибежище нашел я в ту пору — «случайно», как принято говорить. Но таких случайностей не бывает. Когда тот, кому что-то необходимо, находит это необходимое, причина тому не случайность, а он сам, ведет его собственная потребность, собственная неволя.

Во время моих прогулок по городу до меня уже два или три раза доносились из одной церквушки на окраине звуки органа, но я там не задерживался. Проходя мимо этой церкви в очередной раз, я снова услышал орган и узнал музыку Баха. Я подошел к входной двери, которую нашел запертой, и поскольку улица была почти безлюдна, сел возле церкви на защитную тумбу, поднял воротник пальто и стал слушать. Орган был небольшой, но хороший, а играли на нем замечательно, с необыкновенным, очень личным выражением воли и упорства, звучавшим как молитва. У меня было такое чувство: играющий знает, что в этой музыке спрятано сокровище, и домогается этого сокровища, бьется и борется за него как за собственную жизнь. В музыке, если иметь в виду технику, я мало что понимаю, но именно это выражение души я инстинктивно понимал с детства и музыкальность чувствовал в себе как нечто само собой разумеющееся.

Музыкант сыграл потом и что-то современное, возможно, Регера. В церкви было почти совсем темно, только ближайшее окно слабо светилось. Я дождался конца музыки, а потом прохаживался возле церкви, пока не увидел выходящего органиста. Это был человек еще молодой, однако старше, чем я, неуклюжий, приземистый, он быстро, энергично и как бы недовольно зашагал прочь.

С тех пор я иногда сидел в вечерние часы перед церковью или прогуливался возле нее. Однажды я застал дверь открытой и, счастливый, просидел, замерзая, полчаса на скамье, пока органист играл наверху при скудном газовом свете. В музыке, которую он играл, я слышал не только его самого. Все, что он играл, было, казалось мне, также связано каким-то родством, какой-то тайной связью. Все, что он играл, было религиозно, было истово и благочестиво, но благочестиво не как прихожане и пасторы, а благочестиво, как паломники и нищие в средние века, благочестиво со всей безоглядной полнотой того мироощущения, которое превыше всех вероисповеданий. Усердно игрались добаховские мастера и старые итальянцы. И все говорили одно и то же, все говорили то, что было и у музыканта в душе: тоска, проникновенное приятие мира и буйный разрыв с ним, жгучая напряженность вслушивающегося в собственную душу, опьянение отдающегося и глубокое любопытство к чудесному.

Тайком преследуя однажды органиста после его ухода из церкви, я увидел, как на самом краю города он зашел в маленький кабачок. Я не удержался и последовал за ним. Здесь я впервые как следует его рассмотрел. Он сидел за столиком в углу небольшой комнаты, не сняв черной фетровой шляпы, за кружкой вина, и лицо его было таким, как я ожидал. Оно было некрасиво и диковато, пытливо и упрямо, своенравно и полно воли, хотя вокруг рта виделось что-то мягкое и детское. Все мужское и сильное сосредоточилось в глазах и во лбу, нижняя часть лица была нежная и незрелая, несобранная и отчасти рыхловатая, полный нерешительности подбородок как бы противоречил своим мальчишеским видом лбу и выражению взгляда. Мне были приятны его темно-карие глаза, полные гордости и враждебности.

Я молча сел напротив него, никого больше в кабачке не было. Он сверкнул на меня глазами, словно хотел прогнать меня. Я, однако, не поддался и не отрывал от него взгляда, пока он грубовато не пробурчал:

— Что вы уставились? Вам что-то от меня нужно?

— Ничего мне от вас не нужно,— сказал я.— Но я уже многое от вас получил.

Он нахмурился.

— Вы меломан? По-моему, это отвратительно — быть меломаном.

Я не дал ему отпугнуть себя.

— Я вас уже не раз слушал, там, в церкви,— сказал я.— Впрочем, не хочу докучать вам. Я думал, что, может быть, найду у вас что-то, что-то особое, сам не знаю что. Но лучше вообще не обращайте на меня внимания! Я ведь могу слушать вас в церкви.

— Я же всегда запираюсь.

— Недавно вы забыли запереть дверь, и я сидел внутри. Обычно я стою снаружи или сижу на тумбе.

— Вот как? В другой раз входите, там теплее. Просто надо постучать в дверь. Но посильнее, и не во время игры. Теперь выкладывайте — что вы хотели сказать? Вы человек совсем еще молодой, наверно, школьник или студент. Вы музыкант?

— Нет. Я люблю слушать музыку, только такую, как вы играете, совершенно безусловную музыку, при которой чувствуешь, что тут человек потрясает небо и ад. Музыку я очень люблю, думаю, потому, что в ней так мало нравственности. Все другое нравственно, а я ищу чего-то иного. От нравственности я всегда только страдал. Я не умею хорошо выражать свои мысли... Знаете ли вы, что должен существовать бог, который одновременно и бог, и дьявол? Такой бог будто бы был, я слышал об этом.

Музыкант немного сдвинул назад свою широкополую шляпу и смахнул с большого лба темные волосы. При этом он бросил на меня проницательный взгляд и склонился ко мне над столом.

Он тихо и с любопытством спросил:

— Как зовут бога, о котором вы говорите?

— К сожалению, я почти ничего не знаю о нем, только, собственно, имя и знаю. Его зовут Абраксас.

Музыкант как бы недоверчиво огляделся вокруг, словно нас мог кто-то подслушивать. Затем он придвинулся ко мне и шепотом сказал:

— Так я и думал. Кто вы такой?

— Я гимназист.

— Откуда вы узнали об Абраксасе?

— Случайно.

Он так стукнул по столу, что вино выплеснулось у него из кружки.

— Случайно! Не крутите мне... не морочьте мне голову, молодой человек! Об Абраксасе случайно нельзя узнать, запомните это. Я расскажу вам о нем еще кое-что. Я немного знаю о нем.

Он умолк и отодвинул свой стул назад. Когда я с ожиданием взглянул на него, он скорчил гримасу.

— Не здесь! В другой раз... Вот возьмите!

При этом он полез в карман своего пальто, которого не снял, и, вытащив оттуда несколько жареных каштанов, бросил их мне.

Я ничего не сказал, взял каштаны, принялся их есть и был очень доволен.

— Итак? — прошептал он через некоторое время.— Откуда вы знаете о... нем?

Я не стал медлить с ответом.

— Я был очень одинок и растерян,— рассказал я.— Тут мне вспомнился один мой друг прежних лет, который, как я считаю, очень много знает. Я что-то нарисовал, какую-то птицу, вылезающую из земного шара, и послал рисунок ему. Через некоторое время, когда я уже не ждал этого, у меня в руках оказался клочок бумаги, на котором было написано: «Птица выбирается из яйца. Яйцо — это мир. Кто хочет родиться, должен разрушить мир. Птица летит к богу. Бога зовут Абраксас».

Он ничего не ответил, мы чистили каштаны и ели их, запивая вином.

— Возьмем еще по кружке? — спросил он.

— Спасибо, нет. Я не люблю пить.

Он засмеялся, несколько разочарованный.

— Как хотите! Со мной дело обстоит иначе. Я еще посижу здесь. А вы ступайте!

Когда я в следующий раз пошел с ним после его игры на органе, он был не очень общителен. На одной старой улице он провел меня через какое-то очень старое импозантное здание вверх, в большую, мрачноватую и запущенную комнату, где кроме рояля ничего не говорило о музыке, а было что-то от кабинета ученого благодаря большому книжному шкафу и письменному столу.

— Сколько у вас книг! — сказал я с похвалой.

— Часть их — из библиотеки моего отца, у которого я живу. Да, молодой человек, я живу у отца и матери, но я не могу представить вас им, мое общество не пользуется в этом доме большим уважением. Я, знаете ли, блудный сын. Мой отец — человек на диво достопочтенный, он — выдающийся в этом городе священник и проповедник. А я, чтобы вы сразу были в курсе дела, его способный и многообещающий сынок, который, однако, сбился с пути и некоторым образом сошел с ума. Я был богословом и незадолго до государственного экзамена бросил этот добропорядочный факультет. Хотя, собственно, все еще занимаюсь этим предметом — имея в виду мои частные изыскания. Каких богов придумывали себе люди в разные времена, это мне все еще очень важно и интересно. А вообще я теперь музыкант и, кажется, скоро получу скромное место органиста. Тогда я снова буду при церкви.

Я оглядывал корешки книг, находил греческие, латинские, древнееврейские заглавия, насколько это можно было различить при слабом свете маленькой настольной лампы. Между тем мой знакомый лег в темноте у стены на пол и с чем-то там возился.

— Идите сюда,— позвал он вскоре,— мы сейчас немного пофилософствуем, то есть помолчим, полежим на полу и подумаем.

Он чиркнул спичкой и поджег в камине, перед которым лежал, бумагу и поленья. Пламя высоко поднималось, он разгребал угольев и раздувал огонь с изысканной осмотрительностью. Я лег рядом с ним на потертый ковер. Он посмотрел на огонь, который притягивал и меня, и мы пролежали, наверно, час на животе перед колышущимся пламенем, глядя, как оно вспыхивает и бушует, опадает и корчится, угасает и вздрагивает и наконец оседает тихо пылающим жаром.

— Огнепоклонство — не самое глупое изобретение,— пробормотал он однажды себе под нос. Вообще же ни один из нас не произносил ни слова. Не сводя глаз с огня, я погружался в мечты и тишину, видел какие-то фигуры в дыме, какие-то картины в золе. Один раз я вздрогнул от неожиданности. Мой товарищ бросил в жар кусочек смолы, взметнулось небольшое удлиненное пламя, я увидел в нем свою птицу с желтой ястребиной головой. В угасающем жаре пылающие золотом нити сплетались в сети, возникали буквы и картины, воспоминания о лицах, о животных, о растениях, о червях и змеях. Когда я, очнувшись, посмотрел на своего соседа, он неподвижно, самозабвенно и исступленно, подперев кулаками подбородок, глядел в золу.

— Мне пора идти,— сказал я тихо.

— Что ж, ступайте. До свидания!

Он не встал, и поскольку лампа была погашена, мне пришлось на ощупь, через темные комнаты и темные коридоры, выбираться из этого заколдованного старого дома. На улице я остановился и пробежал взглядом вверх по старому зданию. Свет не горел ни в одном окне. Отсвет газового фонаря поблескивал на медной дощечке у двери.

«Писториус, главный священник» — прочел я на ней.

Лишь дома, когда я один сидел за ужином в своей комнатушке, мне подумалось, что ни об Абраксасе, ни еще чего-либо я от Писториуса так и не узнал, что мы вообще и десятью словами не обменялись. Но своим посещением его дома я был очень доволен. И на следующий раз он обещал мне совсем редкостное произведение старинной органной музыки — пассакалью Букстехуде.

Я и не знал, что органист Писториус преподал мне первый урок, когда я лежал с ним перед камином на полу его мрачной уединенной комнаты. Созерцание огня подействовало на меня благотворно, оно укрепило и утвердило во мне склонности, которые у меня всегда были, хотя я никогда не давал им воли. Постепенно это стало мне более или менее ясно.

Уже в раннем детстве меня иногда тянуло разглядывать причудливые формы природы — не как сторонний наблюдатель, а отдаваясь их волшебству, их мудреному глубокому языку. Длинные, одеревеневшие корни деревьев, цветные прожилки в камне, нефтяные пятна на воде, трещины в стекле — все подобные вещи обладали для меня порой великим волшебством, а также прежде всего вода и огонь, дым, облака, пыль и особенно кружащиеся цветные пятна, которые я видел, когда закрывал глаза. В дни после моего первого прихода к Писториусу мне это опять вспомнилось. Ибо я заметил, что каким-то подкреплением, какой-то радостью, каким-то усилением чувства самого себя, мною с тех пор ощущаемыми, я был обязан только долгому глядению на открытый огонь. Это было удивительно благотворное и обогащающее занятие!

К немногим открытиям, сделанным мною дотоле на пути к моей истинной цели жизни, прибавилось это новое: созерцание таких структур, самозабвенное погружение в иррациональные, мудреные, странные формы природы создает в нас чувство согласия нашей души с волей, сотворившей эти структуры; мы вскоре испытываем искушение считать их нашими собственными капризами, нашими собственными созданиями; мы видим, как граница между нами и природой дрожит и расплывается, и приходим в то состояние, когда нам невдомек, от внешних ли впечатлений ведут свое начало картины на нашей сетчатке или от внутренних. Нигде так просто и легко, как при этом упражнении, не обнаружить нам, в какой огромной мере мы сами — творцы, в какой огромной мере участвует всегда в непрестанном сотворении мира наша душа. Более того, в нас и в природе действует одно и то же неделимое божество, и если бы внешний мир погиб, кто-то из нас сумел бы создать его заново, ибо гора и река, дерево и лист, корень и цветок — все выстроенное в природе уже наперед выстроено в нас, ведет свое начало от души, чья суть — вечность, чья суть неведома нам, но ощущается нами большей частью как сила любви и сила творчества.

Лишь много лет спустя я нашел подтверждение этого наблюдения в одной книге, а именно — у Леонардо да Винчи, который где-то говорит о том, как хорошо и интересно смотреть на стену, заплеванную множеством людей. Перед каждым пятном на влажной стене он чувствовал то же, что Писториус и я — перед огнем.

При следующей нашей встрече органист дал мне некое объяснение.

— Мы всегда слишком сужаем границы своей личности! Мы причисляем к своей личности всегда только то, в чем усматриваем какую-то индивидуальную, какую-то отличительную особенность. Но состоим-то мы из всего, что есть в мире, каждый из нас; и точно так же как наше тело носит в себе всю родословную развития до рыб и еще дальше назад, так и в душе у нас содержится все, чем когда-либо жили души людей. Все боги и черти, которые были когда-либо, будь то у греков, китайцев или у зулусских кафров, все они в нас, все налицо как возможности, как желания, как выходы из положения. Если бы вымерло все человечество и остался один-единственный, сколько-нибудь способный ребенок, которого ничему не учили, то этот ребенок снова обрел бы весь ход вещей, снова смог бы создать богов, демонов, рай, заповеди и запреты, ветхие и новые заветы — решительно все.

— Ну, хорошо,— возразил я,— но в чем же тогда состоит ценность индивидуума? Почему мы еще стремимся к чему-то, если в нас все уже есть в готовом виде?

— Стоп! — с жаром воскликнул Писториус.— Это большая разница, только ли вы носите мир в себе или еще и знаете это! Безумец может родить мысли, которые напомнят Платона, а какой-нибудь смирный ученичок гернгутерской школы творчески осмысляет глубокие мифологические рас-

суждения, которые встречаются у гностиков или у Зороастра. Но он ничего об этом не знает! Он — дерево или камень, в лучшем случае животное, пока он не знает этого. Но как только забрезжит первая искра такого знания, он становится человеком. Вы же, наверно, не считаете всех двуногих, которых встречаете на улице, людьми только потому, что они ходят прямо и вынашивают своих детенышей девять месяцев? Вы же видите, что многие из них — рыбы или овцы, черви или ежи, многие — муравьи, многие — пчелы! Так вот, в каждом из них заложены возможности очеловечения, но принадлежат ему эти возможности только тогда, когда он о них догадается, когда частично даже их осознает.

Такого примерно рода были наши разговоры. Редко приносили они мне что-то совсем новое, совсем уж неожиданное. Но все, даже самый банальный, упорно и тихо били в одну точку во мне, все помогали моему становлению, все помогали мне сбрасывать с себя кожу за кожей, пробивать скорлупу за скорлупой, и после каждого я чуть выше, чуть вольнее поднимал голову, пока моя желтая птица не вытолкнула свою прекрасную хищную голову из разбитой оболочки миропорядка.

Часто также рассказывали мы друг другу свои сны. Писториус умел толковать их. Один поразительный пример мне как раз помнится. Мне приснилось, что я летал, но был как бы с размаха брошен в воздух, запущен с такой силой, что не мог с ней совладать. Чувство полета было возвышенным, но вскоре превратилось в страх, когда я увидел себя безвольно закинутым в рискованные высоты. Тут я сделал спасительное открытие, что могу регулировать подъем и падение задержкой и глубиной дыхания.

По этому поводу Писториус сказал:

— То, что заставило вас взлететь,— это великое достояние рода человеческого, которое у каждого из нас есть. Это чувство связи с истоками всякой силы, но от него нам вскоре становится страшно! Оно чертовски опасно! Поэтому большинство охотно отказывается от полета и предпочитает передвигаться по тротуару, как то предписывают законы. А вы — нет. Вы летите себе дальше, как и подобает дельному малому. И тут делаете поразительное открытие — что постепенно вы овладели полетом, что к большой всеобщей силе, которая вас уносит, прибавляется какая-то тонкая, маленькая, собственная сила, какой-то орган, какой-то руль! Это чудесно. Без этого безвольно залетишь неведомо куда, так оно и бывает, например, с сумасшедшими. Вам даны более глубокие предчувствия, чем людям с улицы, но, не имея нужного ключа, нужного руля, вы несетесь в бездну. Но вы, Синклер, вы справляетесь с положением! А как, скажите? Вы этого, наверно, еще не знаете? С помощью нового органа, регулятора дыхания. Вот вы и видите, насколько не «лична» ваша душа в своей глубине. Она же не изобретает этот регулятор! Он не нов! Он позаимствован, он существует тысячи лет. Он — это орган равновесия у рыб, плавательный пузырь. И в самом деле, есть и сегодня еще несколько странных и архаичных пород рыб, у которых плавательный пузырь — это одновременно и легкие и при случае действительно служит им для дыхания. То есть в точности так, как легкие, которыми вы во сне пользовались как летательным пузырем!

Он принес мне даже учебник зоологии и показал названия и изображения этих древних рыб. И с ужасом я почувствовал, что во мне жива некая функция, оставшаяся от ранних эпох развития.

Глава шестая

БОРЕНИЕ ИАКОВА

То, что я узнал об Абраксасе от этого странного музыканта Писториуса, передать коротко нельзя. Но самым важным, чему я у него научился, стал следующий шаг на пути к самому себе. Тогда, лет в восемнадцать, я был необычным молодым человеком, во многих отношениях рано созревшим, а во многих других очень отсталым и беспомощным. Сравнивая себя

с другими, я часто бывал горд и много о себе мнил, но столь же часто бывал подавлен и унижен. То я считал себя гением, то полусумасшедшим. Мне не удавалось участвовать в радостях и быте сверстников, и я часто мучился и корил себя так, словно был безнадежно от них отделен, словно жизнь для меня закрыта.

Писториус, который сам был большим оригиналом, учил меня сохранять мужество и уважение к себе самому. Тем, что он всегда находил в моих фантазиях и мыслях что-то ценное, принимал их всерьез и со всей серьезностью обсуждал, он подавал мне пример.

— Вы сказали мне,— говорил он,— что любите музыку, потому что она не нравственна. Ну, что ж. Но и вы-то сами не должны быть моралистом! Вы не должны сравнивать себя с другими, и если природа создала вас летучей мышью, вы не должны пытаться стать птицей страусом. Вы иногда считаете себя странным, вы корите себя за то, что идете иными путями, чем большинство. От этого вам следует отучиться. Смотрите на огонь, смотрите на облака, и когда у вас возникнут видения и в вашей душе заговорят голоса, положитесь на них и не спрашивайте, угодно ли, понравится ли это господину учителю, или господину папе, или какому-нибудь боженьке! Так губят себя. Так сливаются с толпой и становятся окаменелостью. Дорогой Синклер, нашего бога зовут Абраксас, и он и бог, и сатана, он включает в себя и светлый, и темный мир. Абраксас не возразит ни против одной вашей мысли, ни против одного вашего сна. Не забывайте этого. Но он покинет вас, если вы станете безупречны и нормальны. Тогда он покинет вас и найдет себе новый горшок, чтобы варить в нем свои мысли.

Из всех моих снов самым неотвязным был темный любовный сон. Часто, очень часто я видел его, входил под нашей геральдической птицей в наш старый дом, хотел привлечь к себе мать и обнимал вместо нее ту крупную, полумужского-полуматеринского вида женщину, которой я боялся и к которой меня все же тянуло пламенное желание. И этого сна я никак не мог рассказать своему другу. Его я утаил, когда уже открыл ему все другое. Этот сон был моим укрытием, моей тайной, моим прибежищем.

Когда я бывал угнетен, я просил Писториуса сыграть мне пассакалью старого Букстехуде. Я сидел тогда в вечерней, темной церкви, отдаваясь этой странной, искренней, погруженной в саму себя, вслушивающейся в саму себя музыке, которая каждый раз действовала на меня благотворно и повышала мою готовность признавать правоту голосов души.

Иногда мы на некоторое время оставались в церкви и после того, как умолкал орган, и смотрели, как слабый свет просачивался через высокие стрельчатые окна и затем исчезал.

— Кажется смешным,— сказал Писториус,— что когда-то я был богословом и чуть не стал священником. Но ошибался я тогда только в форме. Быть священником — мое призвание и моя цель. Только я слишком рано удовольствовался и отдал себя в распоряжение Иеговы, еще не зная Абраксаса. Ах, любая религия прекрасна. Религия — это душа, независимо от того, принимаешь ли по-христиански причастие или совершаешь паломничество в Мекку.

— Но тогда,— заметил я,— вы могли бы, собственно, стать священником.

— Нет, Синклер, нет. Мне ведь пришлось бы лгать. Наша религия исповедуется так, словно она не религия. Она делает вид, будто она — творение разума. Католиком я бы мог на худой конец стать, но протестантским священником — нет! Немногие истинно верующие — я знаю таких — держатся за буквальный смысл, им я не мог бы сказать, что Христос, например, был для меня не подлинное лицо, а герой, миф, огромный силуэт, в котором человечество запечатлело себя само на стене вечности. А другие, которые приходят в церковь, чтобы услышать умное слово, чтобы исполнить долг, чтобы ничего не пропустить и так далее — да, что должен был бы я сказать им? Обратить их в веру, по-вашему? Но этого я вовсе не хочу. Священник не хочет обращать в веру, он хочет жить только среди верующих, среди таких, как он, хочет быть носителем и выразителем чувства, из которого мы создаем своих богов.

Он остановился. Затем продолжал:

— Наша новая вера, для которой мы сейчас выбираем имя Абраксаса, прекрасна, дорогой друг. Она — самое лучшее, что у нас есть. Но она еще младенец! Крылья у нее еще не выросли. Ах, одинокая религия — это еще не то, что нужно. Она должна стать общей, ей нужен культ и восторг, праздники и таинства...

Он задумался и ушел в себя.

— Разве нельзя справлять таинства и в одиночестве или в небольшом кругу? — спросил я нерешительно.

— Можно,— кивнул он.— Я давно уже их справляю. Я справлял такие культы, за которые мне пришлось бы просидеть годы в тюрьме, если бы об этом узнали. Но я знаю, это еще не то, что нужно.

Внезапно он хлопнул меня по плечу, я даже вздрогнул.

— Дружище,— сказал он проникновенно,— у вас тоже есть таинства. Я знаю, что вам должны сниться сны, о которых вы мне не говорите. Я не хочу знать их. Но я скажу вам: живите ими, этими снами, играйте в них, воздвигайте им алтари! Это еще не совершенство, но это некий путь. Обновим ли мы, вы, я и еще кто-то когда-нибудь мир, это еще видно будет. Но внутри себя мы должны обновлять его каждый день, иначе из нас ничего не выйдет. Подумайте об этом! В восемнадцать лет, Синклер, вы не ходите к уличным девкам, у вас должны быть любовные сны, любовные желания. Может быть, они таковы, что вы их боитесь. Не бойтесь их! Они — лучшее, что у вас есть! Можете мне поверить. Я многое потерял на том, что в ваши годы насиловал свои любовные сны. Этого делать не следует. Зная об Абраксасе, делать это уже нельзя. Не надо бояться и не надо считать запретным ничего, чего желает наша душа.

Я испуганно возразил:

— Но нельзя же делать все, что тебе заблагорассудится! Нельзя же убивать человека, потому что он противен тебе.

Он придвинулся поближе ко мне.

— При каких-то обстоятельствах можно и это. Только обычно это ошибка. Да я и не хочу сказать, что надо просто делать все, что вам придет в голову. Нет, но эти фантазии, в которых есть свой смысл, вы не должны делать вредными, отмахиваясь от них и морализируя по их поводу. Вместо того чтобы распинать на кресте себя или другого, можно с торжественными мыслями пить из чаши вино и представлять при этом таинство жертвоприношения. Можно и без таких действий относиться к своим порывам с уважением и любовью. Тогда они обнаружат свой смысл, а смысл в них во всех есть... Когда вам снова взбредет в голову что-нибудь совсем безумное и греховное, Синклер, если вы захотите убить кого-то или совершить какое-нибудь гигантское непотребство, подумайте на миг, что это в вас Абраксас так фантазирует! Человек, которого вы хотите убить, это же вовсе не господин такой-то, он, конечно, только его личина. Когда мы ненавидим кого-то, мы ненавидим в его образе то, что сидит в нас самих. То, чего нет в нас самих, нас не трогает.

Никогда Писториус не говорил ничего, что бы меня втайне так глубоко задело. Я не смог ответить. Но что меня больше всего взволновало и поразило, так это созвучие его совета со словами Демиана, которые я долгие годы носил в себе. Они ничего не знали друг о друге, и оба сказали мне одно и то же.

— Вещи, которые мы видим,— тихо говорил Писториус,— это те же вещи, которые в нас. Нет реальности, кроме той, которую мы носим в себе. Большинство людей потому и живут такой нереальной жизнью, что они принимают за реальность внешние картины, а собственному внутреннему миру не дают слова сказать. При этом можно быть счастливым. Но если ты знаешь другое, у тебя уже нет выбора, ты уже не можешь идти путем большинства. Синклер, путь большинства легок, а наш труден... Поймите.

Несколько дней спустя, два раза напрасно прождав его, я встретил Писториуса поздно вечером на улице, когда он в одиночестве выплыл из-за угла, вынесенный холодным ночным ветром, спотыкающийся, совсем

пьяный. Я не стал его окликать. Он прошел мимо, не видя меня, уставясь вперед горящим, отчужденным взглядом, как бы повинуясь какому-то темному зову из неизвестности. Я прошел вслед за ним одну улицу, он двигался так, будто его тянули за невидимую проволоку, исступленно и в то же время расслабленно, словно призрак. Я печально пошел домой к своим безвыходным снам.

«Вот как обновляет он мир в себе!» — подумал я и уже в тот же миг почувствовал, что подуманное мною низко и нравственно. Что я знал о его снах? В своем опьянении он шел, может быть, более верным путем, чем я в своей тоске.

На школьных переменах я иногда замечал, что моей близости ищет один одноклассник, на которого я обычно не обращал внимания. Это был невысокого роста, тщедушный, тощий юнец с рыжевато-светлыми, жидкими волосами и чем-то необычным во взгляде и поведении. Как-то вечером, когда я возвращался домой, он подстерег меня на улице, дал мне пройти мимо себя, затем побежал за мной и остановился перед нашей входной дверью.

— Тебе что-то от меня нужно? — спросил я.

— Мне хочется только как-нибудь поговорить с тобой,— сказал он робко.— Будь добр, пройдемся немного.

Я последовал за ним, чувствуя, что он глубоко взволнован и полон ожидания. Его руки дрожали.

— Ты спирит? — спросил он внезапно.

— Нет, Кнауэр,— сказал я со смехом.— Ничего похожего. Как это тебе пришло в голову?

— Но ты теософ?

— Тоже нет.

— Ах, не будь таким скрытным! Я же ясно чувствую, что в тебе есть что-то особенное. У тебя это в глазах. Я твердо уверен, что ты общаешься с духами... Я спрашиваю не из любопытства, Синклер, нет! Я сам в поисках, знаешь, и я очень одинок.

— Рассказывай! — подбодрил я его.— О духах я, правда, ничего не знаю, я живу в своих мечтах, ты это почувствовал. Другие люди тоже живут в мечтах, но не в собственных, вот в чем разница.

— Да, так, наверно, и есть,— прошептал он.— Все дело в том, какого они рода, мечты, в которых живешь... Ты уже слышал о белой магии?

Я должен был ответить отрицательно.

— Это когда учатся владеть собой. Можно стать бессмертным, да и волшебником сделаться. Ты никогда не проделывал таких упражнений?

В ответ на мое любопытство к этим упражнениям он сперва напустил на себя таинственность, но как только я повернулся, чтобы уйти, выложил:

— Например, когда я хочу уснуть или сосредоточиться, я проделываю такое упражнение. Я придумываю что-нибудь, например, какое-нибудь слово, или имя, или геометрическую фигуру. Ее я затем мысленно вбиваю в себя изо всех сил, пытаясь представить себе ее у себя в голове, пока не почувствую, что она там. Потом я мысленно вбиваю ее себе в шею, и так далее, пока целиком не заполнюсь ею. И уж тогда я становлюсь совсем тверд, тогда ничто уже не может вывести меня из состояния покоя.

Я до некоторой степени понял, что он имеет в виду. Однако я чувствовал, что у него на сердце есть что-то еще, он был страшно взволнован и тороплив. Я постарался разговорить его, и вскоре он поделился истинной своей заботой.

— Ты ведь тоже воздерживаешься? — спросил он меня боязливо.

— Что ты имеешь в виду? Половые дела?

— Да, да. Я уже два года воздерживаюсь — с тех пор как узнал об этом учении. Прежде я предавался одному пороку, ты догадываешься... Ты, значит, никогда не был с женщиной?

— Нет,— сказал я,— не нашел подходящей.

— А если бы ты нашел такую, которую счел бы подходящей, ты бы спал с ней?

— Да, конечно... Если она не против,— сказал я чуть насмешливо.

— О, ты, значит, на ложном пути! Внутренние силы можно развить, только соблюдая полное воздержание. Я соблюдал его, целых два года. Два года и чуть больше месяца! Это так трудно! Иногда я еще выдерживаю.

— Знаешь, Кнауэр, я не думаю, что воздержание страшно важно.

— Я знаю,— не согласился он,— так все говорят. Но от тебя я этого не ожидал. Кто хочет идти высоким духовным путем, тот должен оставаться чистым, непременно!

— Ну, так и оставайся! Но я не понимаю, почему тот, кто подавляет в себе половое начало, «чище», чем кто-либо другой. Или тебе удается исключить сексуальность также из всех мыслей и снов?

Он посмотрел на меня с отчаянием.

— Нет, то-то и оно! Боже мой, и все-таки это необходимо. Ночью мне снятся такие сны, которые я и себе-то самому не могу рассказать. Ужасные сны, знаешь!

Я вспомнил то, что мне говорил Писториус. Но и признавая всю справедливость его слов, я не мог передать их дальше, не мог дать совет, который из моего собственного опыта не вытекал и следовать которому я и сам еще не умел. Я умолк, чувствуя себя посрамленным тем, что вот кто-то обратился ко мне за советом, а я ему посоветовать ничего не могу.

— Я все перепробовал! — жаловался рядом со мной Кнауэр.— Я и холодной водой, и снегом, и гимнастику делал, и бегал — ничего не помогает. Каждую ночь я просыпаюсь от снов, о которых мне и думать нельзя. И самое ужасное — постепенно я теряю все знания, которые приобрел. Мне уже почти не удается ни сосредоточиться, ни уснуть, я часто лежу без сна всю ночь напролет. Долго я так не выдерживаю. Когда я наконец прекращаю борьбу, сдаюсь и опять оскверняюсь, я становлюсь хуже всех прочих, которые вообще не боролись. Тебе ведь это понятно?

Я кивнул, но никаких слов не нашел. Он нагонял на меня скуку, и я испугался самого себя, оттого что его горе, его явное отчаяние не произвело на меня такого уж глубокого впечатления. Я чувствовал только: помочь я тебе не могу.

— Значит, ты ничего не можешь мне посоветовать? — сказал он наконец устало и грустно.— Ничего? Ведь должен же быть какой-то путь! Ты-то как с этим справляешься?

— Ничего не могу тебе сказать, Кнауэр. Тут друг другу помочь нельзя. Мне тоже никто не помогал. Ты должен сам вдуматься в себя, а потом поступать так, как того действительно требует твоя сущность. Ничего другого не может быть. Если ты не найдешь самого себя, то и никаких способов, думаю, не найдешь.

Внезапно умолкнув, этот паренек разочарованно взглянул на меня. Затем его взгляд загорелся внезапной ненавистью, он скорчил гримасу и злобно крикнул:

— Ах ты святоша! У тебя тоже есть свой порок, я знаю! Ты строишь из себя мудреца, а втайне погрязаешь в такой же мерзости, как я и все прочие! Ты свинья, такая же свинья, как я сам. Все мы свиньи!

Я ушел, оставив его на месте.

Он сделал два-три шага вслед за мной, затем отстал, повернулся и умчался прочь. Мне стало тошно от чувства сострадания и отвращения, и я не мог избавиться от этого чувства, пока не расставил дома у себя в каморке вокруг себя свои картинки и целиком не ушел в собственные видения. И тут сразу же мне снова привиделся сон о двери дома и гербе, о матери и незнакомке, и черты лица незнакомки предстали мне так донельзя отчетливо, что я уже в тот же вечер начал рисовать ее портрет.

Когда этот рисунок, набросанный во время таких наплывов мечтательности словно бы в забытьи, был через несколько дней готов, я повесил его вечером на стену, придвинул к нему настольную лампу и стал перед ним, как перед каким-то духом, с которым мне нужно бороться до решительного конца. Это было лицо, похожее на прежнее, похожее на моего друга Демиана, а некоторыми чертами похожее и на меня самого. Один глаз был

заметно выше другого, взгляд уходил надо мной вдаль в своей отрешенной, дышавшей судьбой пристальности.

Я стоял перед рисунком, и от внутреннего напряжения грудь мою пробирал холод. Я вопрошал портрет, обвинял его, ласкал его, молился ему; я называл его матерью, называл любимой, называл шлюхой и девкой, называл Абраксасом. При этом мне приходили на ум слова Писториуса — или Демиана? Я не мог вспомнить, когда они были сказаны, но мне казалось, что я слышу их снова. Это были слова о борьбе Иакова с ангелом Бога и фраза «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня».

Освещенное лампой лицо преображалось от каждого моего зова. Оно светлело и начинало светиться, чернело и мрачнело, смыкало мертвенные веки над погасшими глазами, вновь раскрывало их и сверкало жаркими взглядами, было женщиной, было мужчиной, было девушкой, было ребенком, было животным, расплывалось пятном, снова становилось большим и отчетливым. Под конец, повинуясь могучему внутреннему голосу, я закрыл глаза и увидел этот портрет внутри себя, в нем было еще больше силы и мощи. Я хотел упасть перед ним на колени, но он был настолько внутри меня, что я уже не мог отделить его от себя, он словно бы стал мною.

Тут я услышал глухой, тяжелый шум, как при весенней буре, и затрепетал от неописуемого чувства страха и великого события. Звезды мерцали передо мной и гасли, воспоминания, уносясь к первой, самой забытой поре детства и еще дальше, к прабытию, к первым ступеням моего становления, теснясь, проносились мимо меня. Но эти воспоминания, повторявшие, казалось мне, всю мою жизнь до самых сокровенных тайн, не останавливались на вчерашнем и сегодняшнем дне, они шли дальше, отражали будущее, отрывали от меня нынешнего, уносили к новым формам жизни, картины которых были невероятно ярки и ослепительны, хотя позднее я ни одной из них не мог по-настоящему вспомнить.

Ночью я проснулся после глубокого сна, я был в одежде и лежал поперек кровати. Я зажег свет, чувствуя, что должен вспомнить что-то важное, но совсем забыв предшествующие сну часы. Я зажег свет, память постепенно заработала. Я стал искать портрет, на стене он уже не висел, на столе его тоже не оказалось. Тут мне смутно подумалось, что я его сжег. Или это мне померещилось, что я сжег его у себя в ладонях и съел пепел?

Великое, судорожное беспокойство погнало меня куда-то. Я надел шляпу, прошел через дом и улицу, как по чьему-то велению, я бежал по улицам и площадям, словно меня нес вихрь, я прислушивался перед темной церковью моего друга, я искал и искал чего-то в темном порыве, чего — и сам не знал. Я прошел через предместье, где располагались дома терпимости, там кое-где еще горел свет. Дальше начинались стройки и лежали груды кирпича, отчасти присыпанные серым снегом. Когда меня, как сомнамбулу, что-то гнало по этой пустыне, мне вспомнилась та стройка в моем родном городе, куда мой мучитель Кромер затащил меня когда-то для нашего первого с ним расчета. Здесь передо мной стояло в серой ночи похожее здание, зияя черным дверным проемом. Оно тянуло меня внутрь, я уклонялся, спотыкаясь в песке и мусоре; тяга оказалась сильнее, мне пришлось войти.

Через доски и битый кирпич я пробрался внутрь, в это запустение с унылым запахом сырого холода и камней.

Тут меня окликнул чей-то полный ужаса голос:

— Боже мой, Синклер, откуда ты взялся?

И рядом со мной из темноты, как призрак, возник какой-то человек, какой-то худой паренек, и прежде чем опали мои вставшие дыбом волосы, я узнал своего школьного товарища Кнауэра.

— Как ты попал сюда? — спросил он, совсем обезумев от волнения.— Как смог ты найти меня?

Я не понял.

— Я не искал тебя,— сказал я оцепенело; каждое слово давалось мне с трудом и тяжело слетало с моих мертвых, тяжелых, словно замерзших, губ.

Он вытаращил на меня глаза.

— Не искал?

— Нет. Меня потянуло сюда. Ты меня звал? Наверно, ты звал меня. Что ты здесь делаешь? Сейчас ведь ночь.

Он судорожно обнял меня своими тонкими руками.

— Да, ночь. Скоро, наверно, утро. О Синклер, подумать только, ты не забыл меня! Можешь простить меня?

— За что?

— Ах, я ведь был так отвратителен!

Только теперь мне вспомнился наш разговор. Неужели это было четыре или пять дней назад? Мне казалось, что с тех пор прошла целая жизнь. Но теперь я вдруг понял все. Не только то, что произошло между нами, но и почему я пришел сюда и что собирался сделать здесь Кнауэр.

— Ты, значит, хотел покончить с собой, Кнауэр?

Он дрожал от холода и страха.

— Да, хотел. Не знаю, сумел ли бы. Я хотел дождаться утра.

Я вытащил его на воздух. Первые горизонтальные полосы зари рдели в сером воздухе невыразимо холодно и безрадостно. Я повел его под руку. Из меня вылетали слова:

— Теперь ты пойдешь домой и никому ничего не скажешь! Ты пошел неверным путем, неверным путем! И мы не свиньи, как ты думаешь. Мы люди. Мы творим богов и боремся с ними, и они благословляют нас.

Мы молча прошли дальше и разошлись. Когда я пришел домой, было уже светло.

Самым лучшим из того, что мне еще подарило то время в Шт., были часы с Писториусом у органа или перед огнем камина. Мы вместе читали один греческий текст об Абраксасе, он читал мне отрывки из перевода Вед и учил меня произносить священное «ом». Внутренне, однако, двигала меня вперед не эта ученость, а скорее ее противоположность. Благотворны были для меня продвижение к себе самому, растущее доверие к собственным своим снам, мыслям, догадкам и растущее знание о силе, которую я носил в себе.

С Писториусом я объяснялся всякими способами. Стоило мне только хорошенько подумать о нем, как я мог быть уверен, что он или привет от него не замедлит прийти. Так же, как Демиана, я мог спросить его о чем-нибудь и в его отсутствие: мне достаточно было только твердо представить себе его и обратить к нему в виде сгустка мыслей свои вопросы. Тогда вся вложенная в вопрос духовная сила возвращалась в меня в виде ответа. Только представлял я себе не лично Писториуса и не лично Макса Демиана, а вызывал примерещившийся мне и запечатленный мной образ, мужеско-женское видение моего демона. Он жил теперь уже не в моих снах и не в виде изображения на бумаге, а во мне, как картина желаемого, как более высокая степень меня самого.

Своеобразным и порой смешным было положение, в каковом оказался по отношению ко мне незадачливый самоубийца Кнауэр. С той ночи, когда я был послан ему, он привязался ко мне как верный слуга или пес, старался подчинить свою жизнь моей и слепо за мной следовал. Он приходил ко мне с самыми дикими вопросами и желаниями, хотел увидеть духов, хотел изучить каббалу и не верил мне, когда я уверял его, что ничего во всех этих вещах не смыслю. Он не сомневался в моем беспредельном могуществе. Но странно было то, что со своими дикими и глупыми вопросами он часто приходил ко мне именно тогда, когда требовалось развязать какой-то узел во мне, и то, что его причудливые идеи и просьбы часто подводили, подталкивали меня к решению этой задачи. Часто он докучал мне и бывал прогнан прочь, но все-таки я чувствовал: и он был послан мне, и от него возвращалось в меня то, что я давал ему, в двойном размере, и он был для меня вожатым или, во всяком случае, путем. Безумные книги и сочинения, которые он мне приносил и в которых искал для себя блага, учили меня больше, чем я в тот миг понимал.

Этот Кнауэр позднее неприметно исчез с моей дороги. С ним никаких

объяснений не требовалось. Чего нельзя сказать о Писториусе. С этим другом я к концу своего учения в Шт. приобрел еще некий особый опыт.

И самому невинному человеку случается раз-другой в жизни вступать в конфликт с такими прекрасными добродетелями, как почтительность и благодарность. Каждому суждено сделать когда-то шаг, отделяющий его от его отца, от его учителей, каждому суждено как-то почувствовать суровость одиночества, хотя большинство людей не выносит ее и вскоре снова прячется за чью-то спину... От своих родителей, от их мира я не оторвался в жестокой борьбе, а отдалялся и отчуждался от них медленно и почти незаметно. Я сожалел об этом, это часто доставляло мне горькие часы при поездках на родину; но до самого сердца это не доходило, выдержать это можно было.

Но там, где мы выказывали любовь и уважение не по привычке, а по собственной воле, там, где мы были учениками и друзьями по зову сердца, там горек и ужасен тот миг, когда мы вдруг догадываемся, что главная струя нашего естества хочет увести нас от того, кого мы любили. Тогда каждая мысль, отвергающая прежнего друга и учителя, направляет свое ядовитое жало в наше собственное сердце, тогда каждый наш оборонительный удар попадает нам же в лицо. Тогда на ум тому, кто не сомневался в своей нравственности, приходят, клеймя его позором, слова «вероломство» и «неблагодарность», тогда испуганная душа боязливо бежит назад, в милые долы добродетелей детства, и никак не может поверить, что и этот разлом должен произойти, что и эта связь должна быть оборвана.

Мало-помалу какое-то чувство во мне восстало против того, чтобы обязательно признавать руководство за моим другом Писториусом. Дружба с ним, его советы, его утешения, его близость были событиями важнейших месяцев моей юности. Через него со мной говорил Бог. Из его уст мои сны возвращались ко мне проясненными, истолкованными. Он даровал мне мужество быть самим собой... И вот я, увы, ощутил в себе медленно нарастающее сопротивление Писториусу. Я слышал слишком много поучений в его словах, я чувствовал, что он вполне понимает лишь какую-то часть меня.

Никаких споров, никаких сцен, никакого разрыва, даже никакого сведения счетов с ним не было. Я сказал ему только одно-единственное, безобидное, в сущности, слово — но это как раз и был тот миг, когда некая иллюзия рассыпалась между нами цветными осколками.

Такое предчувствие угнетало меня уже некоторое время, но отчетливым чувством оно стало однажды в воскресенье в его старинном кабинете ученого. Мы лежали на полу перед огнем, и он говорил о таинствах и религиях, которые изучал, о которых думал, возможное будущее которых его занимало. А мне все это казалось больше любопытным и занятным, чем жизненно важным, мне слышалась тут ученость, слышалось усталое копание в развалинах прежних миров. И вдруг меня охватило отвращение ко всей этой манере, к этому культу мифологий, к этой игре, к этой мозаике из вероучений, известных нам по преданиям.

— Писториус,— сказал я вдруг с какой-то испугавшей меня самого неожиданно вырвавшейся злостью,— рассказали бы вы мне лучше опять какой-нибудь сон, подлинный сон, который приснился вам ночью. То, что вы сейчас говорите, это... это чертовски антикварно!

Ничего подобного он никогда от меня не слышал, и я сам в тот же миг со стыдом и страхом почувствовал, что стрела, пущенная мною в него и попавшая ему в сердце, взята из его собственного арсенала, что я сейчас насмешливо, в более острой форме упрекнул его в том же, в чем он при мне сам иногда упрекал себя ироническим тоном.

Он мгновенно это уловил и сразу умолк. Я посмотрел на него со страхом в сердце и увидел, как он страшно бледнеет.

После долгой тяжелой паузы он подложил дров в огонь и тихо сказал:

— Вы совершенно правы, Синклер, вы умный малый. Я избавлю вас от антикварщины.

У меня навернулись слезы, я хотел сказать ему что-то сердечное,

попросить у него прощения, заверить его в своей любви, в своей искренней благодарности. Мне приходили на ум трогательные слова — но выговорить их я не мог. Я продолжал лежать, глядел в огонь и молчал. И он тоже молчал, и вот так мы лежали, и огонь догорал и опадал, и с каждым выстрелом пламени я чувствовал, как потухает и улетает что-то прекрасное и глубокое, что не может вернуться.

— Боюсь, вы поняли меня неверно,— сказал я наконец очень сдавленным, сухим, хриплым голосом. Эти глупые, бессмысленные слова слетели с языка машинально, словно я прочел вслух какую-то фразу из какого-то газетного романа.

— Я понял вас совершенно верно,— тихо сказал Писториус.— Вы ведь правы.— Он подождал. Затем медленно добавил: — Насколько вообще кто-то может быть прав перед другим.

Нет, нет, кричало во мне, я не прав! — но сказать я ничего не смог. Я знал, что единственным своим словцом указал ему на очень существенную слабость, на его рану и беду. Я коснулся того пункта, в котором он сам себе не мог доверять. Его идеал был «антикварен», в своих исканиях он смотрел назад, он был романтик. И вдруг я глубоко почувствовал: именно тем, чем Писториус был для меня, он не мог быть для самого себя, именно того, что он дал мне, он не мог дать себе самому. Он повел меня по пути, который и его, ведущего, должен был обогнать и покинуть.

Бог весть, как возникает такое слово! Я вовсе не хотел сказать ничего плохого, никакого предчувствия катастрофы у меня не было. Я произнес что-то, чего в тот миг, когда это произносил, сам не знал, я поддался маленькой, немножко юмористической, немножко ехидной прихоти, и из этого вышла судьба.

О, как мне хотелось тогда, чтобы он рассердился, стал защищаться, накричал на меня! Ничего подобного не случилось, все это должен был проделать в душе я сам. Он усмехнулся бы, если бы смог. То, что он не смог улыбнуться, яснее всего показало мне, как глубоко я его задел.

И тем, что Писториус так безропотно принял удар от меня, своего наглого и неблагодарного ученика, тем, что он промолчал и признал мою правоту, он сделал меня ненавистным себе самому, сделал мою неосторожность в тысячу раз большей. Нанося удар, я метил в человека сильного, обороноспособного, а оказался передо мной тихий, страдающий, беззащитный человек, который молча сдался.

Долго лежали мы перед угасавшим пламенем, где каждая огненная фигура, каждая скрюченная головешка вызывали у меня в памяти счастливые, прекрасные, богатые часы и все больше умножали мой долг, мою вину перед Писториусом. Наконец я не выдержал. Я встал и ушел. Я долго стоял перед его дверью, долго — на темной лестнице, долго еще — на улице перед домом, ожидая, что вдруг он выйдет за мной. Затем я пошел дальше и много часов бродил по городу и предместьям, по парку и лесу, до самого вечера. И тогда я впервые почувствовал Каинову печать у себя на лбу.

Задумываться я начал лишь постепенно. Все мои мысли стремились обвинить меня и защитить Писториуса. И все кончались противоположным. Тысячи раз я был готов пожалеть о своем опрометчивом слове и взять его обратно — но правдой оно все-таки было. Лишь теперь удалось мне понять Писториуса, выстроить перед собой всю его мечту. Мечта эта была — стать проповедником, провозгласить новую религию, дать новые формы возвышения, любви и поклонения, воздвигнуть новые символы. Но не такова была его сила, не такова его должность. Он слишком уютно устроился в прошлом, слишком хорошо разбирался в минувшем, слишком много знал о Египте, об Индии, о Митре, об Абраксасе. Его любовь была привязана к картинам, которые земля уже видела, а в глубине души он, наверно, сам знал, что новое должно быть новым и другим, что оно бьет ключом из свежей почвы, а не черпается из коллекций и библиотек. Должность его состояла, возможно, в том, чтобы помогать людям, ведя их к самим себе, как это он сделал со мной. Но не в том, чтобы давать им неслыханное, давать новых богов.

И тут меня вдруг обожгло озарение — для каждого есть своя «должность», но ни для кого нет такой, которую он мог бы сам выбрать, описать и исполнять, как ему вздумается. Неверно желать новых богов, совершенно неверно желать что-то дать миру! Никакой, никакой, никакой обязанности не существует для пробудившихся людей, кроме одной: искать себя, укрепляться внутри себя, нащупывать свой собственный путь вперед, куда бы он ни привел... Это глубоко потрясло меня, и таков был для меня итог пережитого. Прежде я часто играл с образами будущего, мечтал о ролях, которые могли быть уготовлены мне,— поэта, может быть, или пророка, или мага, или еще кого-нибудь. Все это был вздор. Я не для того пришел в мир, чтобы сочинять стихи, чтобы проповедовать, чтобы писать картины, ни я, ни кто-либо другой не приходил в мир для этого. Все получалось лишь попутно. Истинное призвание каждого состоит только в одном — прийти к самому себе. Кем бы он под конец ни стал — поэтом, безумцем или пророком,— это не его дело и в конечном счете неважно. Его дело — найти собственную, а не любую судьбу, и отдаться ей внутренне, безраздельно и непоколебимо. Все прочее — это половинчатость, это попытка улизнуть, это уход назад, в идеалы толпы, это приспособленчество и страх перед собственной сутью. Во всей своей ужасности и священности вставала передо мной эта новая картина, о которой я не раз догадывался, которую, может быть, часто уже облекал в слова, но которую действительно увидел только теперь. Я — это бросок природы, бросок в неизвестность, может быть, в новое, может быть, в никуда, и сделать этот бросок из бездны действенным, почувствовать в себе его волю и полностью претворить ее в собственную — только в этом мое призвание. Только в этом!

Много одиночества я уже вкусил. Теперь я почувствовал, что есть более глубокое одиночество и что оно неизбежно.

Я не пытался умиротворить Писториуса. Мы остались друзьями, но отношения изменились. Лишь один-единственный раз мы говорили об этом, вернее, говорил только он. Он сказал:

— У меня есть желание стать священнослужителем, вы это знаете. Больше всего мне хотелось стать служителем той новой религии, которую мы предчувствуем. Я не смогу им стать — я это знаю и знал, полностью не признаваясь в этом себе, уже давно. Совершать я буду другие священнодействия, может быть, на органе, может быть, еще как-нибудь. Но я всегда должен быть окружен чем-то, что в моем ощущении прекрасно и священно: органная музыка и таинство, символ и миф — мне это нужно, и я от этого не отступлюсь. В этом моя слабость. Было бы выше, было бы правильнее просто отдаться на волю судьбы без всяких притязаний. Но я так не могу; это — единственное, чего я не могу сделать. Может быть, вы когда-нибудь сможете. Это трудно, это единственная на свете действительно трудная вещь, мой мальчик. Я часто об этом мечтал, но я не могу быть таким нагим и одиноким, я тоже бедная жалкая тварь, которой нужно немного тепла и пищи, а иногда и почувствовать близость себе подобных. Кто действительно не хочет ничего, кроме своей судьбы, тому подобных нет, тот совершенно один, и вокруг него только холодное космическое пространство. Это, знаете ли, Иисус в Гефсиманском саду. Бывали на свете мученики, которые с радостью шли на крест, но даже они не были героями, не были освобождены, даже они хотели чего-то привычного им и родного, у них были образцы, у них были идеалы. Кто хочет только судьбы, у того уже нет ни образцов, ни идеалов, ничего дорогого, ничего утешительного у него нет! И этим путем надо было бы, в сущности, идти. Такие люди, как я и вы, довольно одиноки, но у каждого из нас есть еще другой, у нас есть тайное удовлетворение, оттого что мы иные, что восстаем, что хотим необыкновенного. Это тоже должно отпасть, если человек хочет пройти весь путь целиком. Он еще и не должен хотеть быть революционером, быть образцом, быть мучеником. Это и представить себе нельзя...

Да, представить это себе нельзя было. Но можно было об этом мечтать, это предчувствовать, об этом догадываться. Иной раз, когда выпадали совсем тихие часы, я что-то из этого ощущал. Тогда я заглядывал

в себя и глядел своей судьбе в открытые настежь глаза. Они могли быть полны мудрости, они могли быть полны безумия, они могли излучать любовь или глубокую злобу, это не имело значения. Ничего из этого нельзя было выбирать, ничего нельзя было хотеть. Хотеть можно было только себя, только своей судьбы. На каком-то отрезке пути туда Писториус послужил мне вожатым.

В те дни я метался как слепой, во мне бушевала буря, каждый шаг был опасностью. Я не видел впереди ничего, кроме бездонного мрака, в котором терялись и тонули все пути, какими я шел до сих пор. И в душе я видел образ вожатого, он был похож на Демиана, и в глазах его читалась моя судьба.

Я написал на листке бумаги: «Вожатый покинул меня. Я в потемках. Я не могу сделать ни шагу один. Помоги мне!»

Я хотел послать это Демиану. Но не послал; каждый раз, когда я хотел так поступить, это казалось пошлым и нелепым. Но свою маленькую молитву я запомнил наизусть и часто твердил ее про себя. Она сопровождала меня постоянно. Я начал догадываться, что такое молитва.

Мое учение в школе кончилось. На каникулах мне надо было совершить путешествие, как то задумал отец, а потом надо было поступить в университет. На какой факультет, я не знал. Мне разрешили заниматься один семестр философией. Все другое меня бы тоже устроило.

Глава седьмая

ГОСПОЖА ЕВА

На каникулах я однажды подошел к дому, где несколько лет назад жил Макс Демиан с матерью. В саду гуляла старуха, я заговорил с ней и узнал, что дом принадлежит ей. Я спросил о семье Демиан. Она хорошо ее помнила. Однако не знала, где они живут теперь. Заметив мой интерес, она повела меня в дом, достала кожаный альбом и показала мне фотографию матери Демиана. Я не помнил ее. Но когда я взглянул на маленький портрет, сердце у меня замерло... Это было мое видение! Это была она, высокого, почти мужского роста женщина, похожая на своего сына, в лице которой было что-то материнское, что-то строгое, что-то глубоко страстное, красивая и соблазнительная, красивая и неприступная, демон и мать, судьба и возлюбленная. Это была она!

Меня словно громом поразило, когда я узнал, что мое видение живет на земле! Существовала женщина, обладавшая такой внешностью, носившая черты моей судьбы! Где она? Где?.. И она мать Демиана.

Вскоре после этого я отправился в свое путешествие. Странное путешествие! Я без передышки переезжал из одного места в другое, как вздумается, всё в поисках этой женщины. Бывали дни, когда я встречал сплошь фигуры, которые напоминали ее, походили на нее и заманивали меня в улицы чужих городов, в вокзалы, в поезда, как в запутанных снах. Бывали другие дни, когда я понимал, как бесполезны мои поиски; тогда я бездеятельно сидел где-нибудь в парке, в гостиничном саду, в зале ожидания и, вглядываясь в себя, пытался оживить в себе этот образ. Но он стал теперь робким и мимолетным. Я потерял сон, только в поездах, проезжая через незнакомые места, я, случалось, задремывал минут на пятнадцать. Однажды в Цюрихе ко мне привязалась какая-то женщина, смазливая, нагловатая бабенка. Я старался не смотреть на нее и пошел дальше, словно ее вообще не было. Скорей бы я умер на месте, чем хотя бы на час уделил внимание другой женщине.

Я чувствовал, что моя судьба тянет меня, что свершение близко, и сходил с ума от нетерпения, от неспособности что-то предпринять. Однажды на вокзале, кажется, это было в Инсбруке, я увидел в окне отходящего поезда фигуру, напомнившую мне ее, и был несчастен

несколько дней. И вдруг фигура эта снова явилась мне ночью во сне, я проснулся с постыдным и удручающим чувством бессмысленности моей погони и поехал прямым путем назад, домой.

Через несколько дней я был зачислен в Г-ский университет. Все разочаровало меня. Курс по истории философии, который я слушал, был так же бессодержателен и банален, как поведение юнцов-студентов. Все делалось по шаблону, один подражал другому, и веселое возбужденье на мальчишеских лицах выглядело огорчительно пустым и напускным! Но я был свободен, весь мой день принадлежал мне, я жил тихо и славно в старых каменных стенах предместья, и на столе у меня лежало несколько томиков Ницше. С ним я и жил, чувствуя одиночество его души, догадываясь о судьбе, которая безостановочно двигала им, страдал с ним и был счастлив, что существовал человек, который так непреклонно шел своим путем.

Как-то поздно вечером я слонялся по городу при осеннем ветре, слушая, как поют в кабачках студенческие товарищества. Из открытых окон вылетали клубы табачного дыма и мощным потоком неслось пенье, громкое и стройное, но бескрылое и безжизненно-однозвучное.

Я стоял на углу и слушал, из двух пивных лилось в ночь добросовестно заученное веселье молодости. Везде совместность, везде скученность, везде отлынивание от судьбы и бегство в теплую стадность!

Сзади меня медленно прошли двое. Я услышал отрывок из их разговора.

— Разве это не похоже на сборище мужской молодежи в какой-нибудь негритянской деревне? — сказал один из них.— Всё точь-в-точь, даже татуировка еще в моде. Вот вам молодая Европа.

Голос звучал поразительно знакомо, кого-то напоминая. Я пошел за обоими в темную улицу. Один был японец, маленький и изящный, я увидел, как блеснуло под фонарем его желтое улыбающееся лицо.

Другой заговорил снова.

— Впрочем, у вас в Японии тоже будет не лучше. Люди, которые не бегут за стадом, везде редки. Есть такие и здесь.

От каждого слова меня пробирал радостный ужас. Я знал говорившего: это был Демиан.

Сквозь ветреную ночь я следовал за ним и японцем по темным улицам, слушал их разговоры и наслаждался звучанием Демианова голоса. У него была прежняя интонация, в нем были прежние, прекрасные уверенность и спокойствие, и у него была власть надо мной. Теперь все было хорошо. Я нашел его.

В конце одной из улиц предместья японец попрощался и отпер входную дверь. Демиан пошел обратно, я остановился и стал ждать его посреди улицы. С бьющимся сердцем смотрел я, как он идет ко мне прямой, упругой походкой, в коричневом прорезиненном плаще, с висящей у локтя тросточкой. Он подошел ко мне, не ускоряя своего равномерного шага, снял шляпу и показал мне свое прежнее светлое лицо с решительным ртом и особым свечением широкого лба.

— Демиан! — воскликнул я.

Он протянул мне руку.

— Значит, ты здесь, Синклер! Я ждал тебя.

— Ты знал, что я здесь?

— Не то чтобы знал, но надеялся безусловно. Увидел я тебя только сегодня вечером, ты же все время шел за нами.

— Значит, ты сразу узнал меня?

— Конечно. Ты, правда, изменился. Но ведь печать на тебе есть.

— Печать? Что за печать?

— Мы называли ее раньше Каиновой печатью, если ты еще помнишь. Это наша печать. На тебе она всегда была, потому я и стал твоим другом. Но теперь она стала яснее.

— Я этого не знал. Или все-таки знал. Я как-то нарисовал твой портрет, Демиан, и удивился, что он похож и на меня. Это из-за печати?

— Конечно. Хорошо, что ты здесь! Моя мать тоже обрадуется.

Я испугался.

— Твоя мать? Она здесь? Она же совсем не знает меня.

— О, она наслышана о тебе. Она узнает тебя, даже если я не скажу, кто ты... Ты долго не давал знать о себе.

— О, мне часто хотелось написать тебе, но не получалось. С некоторых пор я чувствовал, что скоро найду тебя. Я ждал этого каждый день.

Он взял меня под руку и пошел со мной. От него исходил покой, который переходил в меня. Вскоре мы болтали как прежде. Мы вспоминали школьную пору, занятия для конфирмующихся, даже ту неудачную встречу на каникулах — только о самой ранней и тесной связи между нами, об истории с Францем Кромером, не упоминалось и теперь.

Незаметно мы втянулись в странный и пророческий разговор. Как бы в продолжение беседы Демиана с японцем мы поговорили о студенческой жизни, а от этой темы перешли к другой, казалось, далекой от нее; но в словах Демиана все связалось воедино.

Он говорил о духе Европы и о примете этой эпохи. Повсюду, сказал он, царят сплоченность и стадность, но не свобода и не любовь. Вся эта объединенность, от студенческой корпорации, от певческого кружка до государств, вынужденна, вызвана страхом, робостью, растерянностью, внутри она прогнила, устарела, близка к распаду.

— Единство,— сказал Демиан,— прекрасная вещь. Но то, что цветет сейчас пышным цветом, вовсе не единство. Оно возникнет заново, возникнет из знания друг о друге отдельных людей и на какое-то время преобразует мир. Сейчас единство сводится к стадности. Люди бегут друг к другу, потому что боятся друг друга,— господа к господам, рабочие к рабочим, ученые к ученым! А почему они боятся? Боится только тот, у кого нет согласия с самим собой. Они боятся, потому что никогда не признавали самих себя. Это единство сплошь тех, кто боится неведомого в себе самом! Они все чувствуют, что законы их жизни уже неверны, что они живут по старым скрижалям, что ни их религии, ни их нравственность — ничто не соответствует тому, что нам нужно. Сто и больше лет Европа только изучала науки и строила фабрики! Они точно знают, сколько граммов пороху нужно, чтобы убить человека, но они не знают, как молиться Богу, не знают даже, как повеселиться хотя бы час. Посмотри на такой студенческий кабачок! Или на увеселительное заведение, куда приходят богатые! Безнадежно!.. Дорогой Синклер, из всего этого ничего радостного не может выйти. Эти люди, которые так боязливо объединяются, полны страха и полны злобы, ни один не доверяет другому. Они цепляются за идеалы, переставшие быть таковыми, и побьют камнями всякого, кто провозгласит какой-нибудь новый идеал. Я чувствую, что будут столкновения. Они начнутся, поверь мне, они скоро начнутся! Конечно, они не «улучшат» мир. Убьют ли рабочие своих фабрикантов, будут ли Россия и Германия стрелять друг в друга — поменяются только собственники. Но все-таки это будет не напрасно. Это покажет негодность нынешних идеалов, сметет богов каменного века. Этот мир в его теперешнем виде хочет умереть, хочет погибнуть, и так и будет.

— А что станет при этом с нами? — спросил я.

— С нами? О, может быть, мы тоже погибнем. Убить можно ведь и нашего брата. Только с нами так не покончить. Вокруг того, что от нас останется, или вокруг тех из нас, кто выживет, сосредоточится воля будущего. Проявится воля человечества, которую перекрикивала своей ярмаркой техники и науки наша Европа. И тогда окажется, что воля человечества ни в чем не совпадает с волей нынешних объединений, волей государств и народов, кружков и церквей. Нет, то, чего хочет от человека природа, записано в отдельных людях, в тебе и мне. Это было записано в Иисусе, было записано в Ницше. Для этих единственно важных течений — которые, конечно, каждый день могут видоизменяться,— найдется место, когда нынешние объединения рухнут.

Было поздно, когда мы остановились перед каким-то садом у реки.

— Здесь мы живем,— сказал Демиан.— Приходи к нам! Мы очень ждем тебя.

Радостно шел я сквозь ночь, которая стала прохладной, к своему дому. По всему городу шумели и, пошатываясь, расходились студенты. Я часто замечал несходство между их смешной веселостью и моей одинокой жизнью, то с чувством своей обделенности, то с иронией. Но никогда еще не чувствовал я так, как сегодня, спокойно и с тайной силой, сколь мало это меня касается, сколь далек от меня этот мир, до чего он мне чужд. Я вспоминал чиновников своего родного города, старых, почтенных людей, которые носились с воспоминаниями о своих забулдыжных семестрах как с памятью о райском блаженстве и превозносили ушедшую «вольность» своих студенческих лет примерно так же, как поэты или другие романтики боготворят детство. Везде одно и то же! Везде искали они «вольность» и «счастье» где-то позади — только от страха, что им могут напомнить об их собственной ответственности и призвать их идти собственным путем. Несколько лет пили и веселились, а потом поджали хвост и стали серьезными деятелями на государственной службе. Да, дела наши никуда, никуда не годились, и эта студенческая глупость была менее глупой и менее скверной, чем сотни других.

Когда я, однако, добрался до своего далекого дома и лег в постель, все эти мысли рассеялись, и все мои помыслы ожидающе сосредоточились на великом обещании, которое дал мне минувший день. Как только я захочу, хоть завтра, я увижу мать Демиана. Пусть студенты бражничают, пусть мир никуда не годится и ждет своей гибели — какое мне до этого дело? Я жду лишь одного — что моя судьба выйдет мне навстречу в новом облике.

Я крепко спал до позднего утра. Новый день наступил для меня как праздник, таких торжественных дней не было у меня с рождественских праздников моего детства. Я был полон внутреннего беспокойства, но никакого страха не испытывал. Я чувствовал, что наступил важный для меня день, я видел и ощущал мир вокруг себя преображенным, ожидающим, полным значений, торжественным, даже накрапывавший осенний дождь был прекрасен, тих и по-праздничному полон серьезно-радостной музыки. Впервые внешний мир звучал в лад моему внутреннему миру — а тогда наступает праздник души, тогда стоит жить. Ни один дом, ни одна витрина, ни одно лицо на улице мне не мешали, все было так, как оно должно быть, но не носило пустого облика обыденности и привычности, а было ожидающей природой, с благоговейной готовностью принимало свою судьбу. Так видел я мир ребенком в утро большого праздника, Рождества или Пасхи. Я не знал, что этот мир может быть еще так прекрасен. Я привык жить собой и мириться с тем, что вкус ко всему внешнему у меня пропал, что утрата блестящих красок неизбежна с утратой детства и что за свободу и мужество души надо как бы платить отказом от этого прелестного блеска. Теперь я с восхищением увидел, что все это было только засыпано и затемнено и что обретший свободу и отказавшийся от детского счастья тоже может видеть сияние мира и с трепетом глядеть на него глазами ребенка.

Наступил час, когда я снова нашел тот сад в предместье, где простился с Демианом прошедшей ночью. За высокими, серыми от дождя деревьями скрывался небольшой дом, светлый и уютный, с высокими кустами цветов за большой стеклянной стеной, с темными стенами комнат, с картинами и рядами книг за блестящими окнами. Входная дверь вела прямо в обогретое зальце, молчаливая старая служанка, черная, в белом переднике, впустила меня и сняла с меня плащ.

Она оставила меня в зальце одного. Я огляделся и сразу же окунулся в свои видения. Вверху, на темной деревянной стене, над дверью, висела застекленная, в черной раме, хорошо знакомая мне картина, моя птица с золотисто-желтой ястребиной головой, выбирающаяся из скорлупы мира. Пораженный, я остановился на месте — на сердце у меня стало так радостно и так тяжело, словно всё, что я когда-либо делал или испытывал,

вернулось ко мне в этот миг как ответ и исполнение желаний. С быстротой молнии промелькнуло у меня в душе множество картин — я увидел родной отцовский дом со старинным каменным гербом над аркой, мальчика Демиана, рисующего этот герб, себя самого мальчиком, попавшим в паутину своего врага Кромера, себя самого подростком, чья душа запуталась в сети собственных нитей, рисующим в тишине школьнической каморки птицу моей тоски,— и всё, и всё вплоть до этого мига снова зазвучало во мне, получило во мне подтверждение, ответ, одобрение.

Увлажнившимися глазами смотрел я на эту картину и читал у себя в душе. Но вдруг мой взгляд опустился: под картиной в открытых дверях стояла рослая женщина в темном платье. То была она.

Я не мог выговорить ни слова. Эта красивая, почтенная женщина, чье лицо, подобно лицу ее сына, было лишено примет времени и возраста и полно одухотворенной воли, приветливо улыбнулась мне. Ее взгляд был исполнением желаний, ее приветствие означало возвращение домой. Я молча протянул ей руки. Она схватила обе твердыми, теплыми руками.

— Вы Синклер. Я вас сразу узнала. Добро пожаловать!

Голос у нее был низкий и теплый, я пил его как сладкое вино. И тут я взглянул вверх, посмотрел в ее тихое лицо, в черные загадочные глаза, на свободный, царственный лоб, отмеченный той печатью.

— Как я рад! — сказал я ей и поцеловал ее руки.— Мне кажется, я всю жизнь был в пути — и вот я пришел домой.

Она улыбнулась по-матерински.

— Прийти домой не дано,— сказала она приветливо.— Но там, где дружественные пути сходятся, весь мир на какой-то час уподобляется дому.

Она высказала то, что я чувствовал на пути к ней. Ее голос, да и ее слова походили на голос и слова сына, и все-таки были совсем другими. Все было более зрелым, более теплым, более естественным. Но так же, как Макс когда-то ни на кого не производил впечатления мальчика, так и мать его совсем не походила на мать взрослого сына, так много молодого и милого было в дыхании ее лица и волос, такой тугой и гладкой была ее золотистая кожа, таким цветущим был ее рот. Еще царственнее, чем в моих видениях, стояла она передо мной, и ее близость была счастьем любви, ее взгляд был исполнением желаний.

Такой, значит, был новый облик, в котором мне предстала моя судьба, от нее веяло уже не суровостью, не одиночеством, а зрелостью и радостью! Я не принимал никаких решений, не давал никаких обетов — я достиг цели, достиг на своем пути такой возвышенности, откуда далеко и великолепно открылся дальнейший путь, устремленный к обетованным землям, осененный кронами близкого счастья, освеженный близкими садами всяческих радостей. Что бы со мной ни случилось, я был счастлив знать, что в мире есть эта женщина, счастлив пить ее голос и дышать ее близостью. Пусть будет мне кем угодно — матерью, возлюбленной, богиней,— только бы была, только бы мой путь был близок ее пути!

Она указала на мою картину с ястребом.

— Ничем не могли вы обрадовать нашего Макса больше, чем этой картиной,— сказала она задумчиво.— И меня тоже. Мы ждали вас и, когда пришла картина, поняли, что вы находитесь на пути к нам. Когда вы еще были маленьким мальчиком, Синклер, мой сын как-то, придя из школы, сказал: «Есть у нас один мальчик с печатью на лбу, он должен стать моим другом». Это были вы. Вам было нелегко, но мы в вас верили. Однажды, приехав домой на каникулы, вы встретились с Максом. Вам было тогда лет шестнадцать. Макс рассказал мне об этом...

Я прервал ее:

— Подумать, он сказал вам об этом! То было самое несчастное для меня время!

— Да, Макс сказал мне: «Теперь у Синклера впереди самое трудное. Он делает еще одну попытку убежать в объединенность, он даже захаживает в кабаки; но ему это не удастся. Его печать закутана, но втайне она горит». Разве не так оно было?

— О да, так оно было, в точности так. Затем я нашел Беатриче, а потом наконец у меня опять появился вожатый. Только тогда мне стало ясно, почему мое детство было так связано с Максом, почему я не мог освободиться от него. Милая госпожа... милая мать, я тогда часто думал, что нужно покончить с собой. Неужели для каждого этот путь так труден?

Она провела ладонью по моим волосам, легко, воздушно.

— Родиться всегда трудно. Вы знаете, птица с трудом выбирается из яйца. Вспомните прошлое и спросите себя: так уж ли труден был ваш путь? Только труден? Не был ли он и прекрасен? Вы могли бы назвать более прекрасный, более легкий?

Я покачал головой.

— Было трудно,— сказал я как во сне,— было трудно, пока не пришла мечта.

Она кивнула и проницательно взглянула на меня.

— Да, надо найти свою мечту, тогда путь становится легким. Но не существует мечты вековечной, каждую сменяет какая-то новая, и задерживать нельзя ни одну.

Я сильно испугался. Уж не предостережение ли это? Уж не отпор ли? Но все равно я был готов идти, куда она поведет меня, и о цели не спрашивать.

— Не знаю,— сказал я,— как долго проживет моя мечта. Я хотел бы, чтобы она была вечной. Под изображением птицы моя судьба приняла меня как мать и как возлюбленная. Я принадлежу ей, и никому больше.

— До тех пор, пока эта мечта — ваша судьба, вы должны быть верны ей,— подтвердила она серьезно.

Печаль охватила меня и страстное желание умереть в этот зачарованный час. Я чувствовал, что у меня неудержимо навертываются и одолевают меня слезы — как бесконечно давно я не плакал! Я резко отвернулся от нее, подошел к окну и невидящими глазами посмотрел вдаль поверх цветов в горшках.

Позади себя я слышал ее голос, он звучал спокойно, но был полон нежности, как до краев наполненная вином чаша.

— Синклер, вы дитя! Ведь ваша судьба вас любит. Когда-нибудь она будет принадлежать вам целиком, как вы мечтаете, если вы останетесь ей верны.

Я сделал над собой усилие и снова повернул к ней лицо. Она подала мне руку.

— У меня есть несколько друзей,— сказала она, улыбаясь,— очень немного совсем близких друзей, они называют меня «госпожа Ева». Вы тоже можете называть меня так, если хотите.

Она подвела меня к двери, открыла ее и указала на сад.

— Там вы найдете Макса.

Я стоял под высокими деревьями, оглушенный и потрясенный, не зная, больше ли во мне трезвости, чем когда-либо, или мечтательности. С веток тихо капало. Я медленно вошел в сад, далеко растянувшийся вдоль реки. Наконец я нашел Демиана. Он стоял в открытой беседке, обнаженный по пояс, и упражнялся в боксе с помощью подвешенного мешочка с песком.

Я с удивлением остановился. Демиан выглядел великолепно: широкая грудь, крепкая, мужественная голова, поднятые руки с напряженными мышцами были сильны и хороши, из бедер, плеч, плечевых суставов движения били ключом.

— Демиан!— крикнул я.— Что это ты делаешь?

Он весело засмеялся.

— Упражняюсь. Я обещал бой этому маленькому японцу. Малый ловок, как кошка, и, конечно, так же коварен. Но со мной он не справится. Этим маленьким унижением я должен ему отплатить.

Он надел рубашку и пиджак.

— Ты уже был у матери? — спросил он.

— Да. Демиан, какая у тебя замечательная мать! Госпожа Ева. Это имя очень подходит ей, она как всеобщая мать.

Он задумчиво посмотрел мне в лицо.

— Ты уже знаешь ее имя? Можешь гордиться, мальчик! Ты первый, кому она сказала его в первый же час.

С этого дня я ходил к ним в дом как сын и брат, но и как любящий. Когда я закрывал за собой калитку, уже даже когда я издали видел высокие деревья сада, я был богат и счастлив. По ту сторону была «действительность», снаружи были улицы и дома, люди и учреждения, библиотеки и аудитории — а здесь были любовь и душа, здесь жили сказка и мечта. Однако мы вовсе не отгораживались от мира, в своих мыслях и разговорах мы часто жили в самой его гуще, только на другом поле, от большинства людей нас отделяли не границы, а только другой способ видеть. Наша задача состояла в том, чтобы служить в мире неким островом, неким, может быть, образцом, но во всяком случае возвещением другой возможности жить. Я, давно одинокий, узнал общность, которая возможна между людьми, изведавшими полное одиночество. Никогда больше меня не влекло назад, к застольям счастливых, к праздникам веселых, никогда больше я не испытывал ни зависти, ни тоски по родному, видя объединенность других. И постепенно я был посвящен в тайну тех, кто носит «печать».

Нас, отмеченных печатью, мир мог по праву считать странными, даже сумасшедшими и опасными. Мы были пробудившимися или пробуждающимися, и наши стремления сводились ко все более совершенному бодрствованию, тогда как стремления других, их поиски счастья сводились к тому, чтобы потеснее связать свои мнения, свои идеалы и обязанности, свою жизнь и свое счастье со счастьем стада. Там тоже были стремления, там тоже были сила и величие. Но в то время как мы, отмеченные печатью, представляли, по нашему мнению, волю природы к новому, к единичному и будущему, другие жили с волей к неизменности. Для них человечество (которое они любили, как и мы) было чем-то готовым, что надо сохранять и защищать. Для нас человечество было далеким будущим, на пути к которому мы все находимся, облик которого никому не известен, законы которого нигде не записаны.

Кроме госпожи Евы, Макса и меня, к нашему кружку, в большей или меньшей близости к нему, принадлежали еще некоторые ищущие самого разного рода. Иные из них шли особыми тропами, ставили перед собой особенные цели, держались особых мнений и особенных понятий о долге, среди них были астрологи и каббалисты, был приверженец графа Толстого, были всякие тонкие, робкие, ранимые люди, сторонники новых сект, поборники индийских упражнений, вегетарианцы и прочие. С ними всеми у нас не было в духовном отношении по сути ничего общего, кроме уважения, которое питал каждый к тайной мечте другого. Ближе были нам другие, интересовавшиеся человеческими поисками богов и идеалов в прежние времена и напоминавшие мне своими интересами моего Писториуса. Они приносили с собой книги, переводили нам с древних языков тексты, показывали нам изображения древних символов и обрядов, учили нас пониманию того, что весь имевшийся до сих пор у человечества набор идеалов состоял из видений бессознательной души, видений, в которых человечество на ощупь и наугад пробивалось к возможностям своего будущего. Так прошли мы через поразительный, тысячеголовый сонм богов древнего мира к заре христианства. Нам стали известны признания одиноких праведников и перемены в религиях при их переходе от народа к народу. И из всего собранного нами рождалась у нас критика нашей эпохи и нынешней Европы, которая ценой огромных усилий создала новое оружие человечества, но в итоге пришла к глубокому, а под конец и вопиющему духовному запустению. Ибо она приобрела весь мир, чтобы потерять из-за этого свою душу.

Тут тоже были приверженцы и поборники определенных надежд и учений. Были буддисты, желавшие обратить в свою веру Европу, были толстовцы, были другие вероисповедания. Мы в своем узком кругу слушали всех, и все эти учения принимали только как символы. На нас, отмеченных печатью, не лежала забота о будущем. Нам каждое вероисповедание, каждое вероучение уже заранее казались мертвыми и бесполезными. Свой

долг и свою судьбу мы видели в одном-единственном: каждый из нас должен был настолько стать самим собой, настолько соответствовать и подчиняться пробивающемуся в нем естеству, чтобы неведомое будущее нашло нас готовыми ко всему, что бы оно ни вздумало принести.

Ведь все мы, высказываясь или не высказываясь, ясно чувствовали, что уже на пороге обновление, уже близок крах нынешнего. Демиан иногда говорил мне:

— Что будет, вообразить невозможно. Душа Европы — зверь, который бесконечно долго был связан. Когда он освободится, первые его порывы будут не самыми приятными. Но пути и окольные пути не имеют значения, лишь бы вышла наружу та истинная нужда души, которую так давно и упорно замалчивали и заглушали. Тогда настанет наш день, тогда мы понадобимся, но не как вожди и новые законодатели, до новых законов нам не дожить,— а как согласные, как готовые подняться и стать там, куда зовет судьба. Понимаешь, все люди готовы совершить невероятное, когда под угрозой оказываются их идеалы. Но никто не отзовется, когда новый идеал, новый, может быть, опасный и жуткий порыв только начнет подавать голос. Теми немногими, кто отзовется тогда и поднимется, будем мы. Ибо нам это на роду написано — как было на роду написано Каину вызывать страх и ненависть и гнать тогдашнее человечество из идиллического мирка в опасные дали. Все люди, оказавшие воздействие на поступь человечества, все без различия были способны к такому воздействию лишь потому, что с готовностью принимали свою судьбу. Это можно сказать о Моисее и Будде, это можно сказать о Наполеоне и Бисмарке. Какой волне человек служит, с какого полюса им управляют, это ему выбирать не дано. Если бы Бисмарк понимал социал-демократов и на них ориентировался, он был бы умным господином, но не был бы человеком судьбы. Так же обстояло дело с Наполеоном, с Цезарем, с Лойолой, со всеми! Это всегда надо представлять себе биологически и исторически! Когда перевороты на земной поверхности бросили водяных животных на сушу, а наземных в воду, совершить эту новую, неслыханную перемену, приспособиться к новому и спасти свой вид смогли только готовые принять свою судьбу особи. Были ли это те же особи, что прежде выделялись в своем виде как консерваторы и охранители, или, напротив, оригиналы и революционеры, мы не знаем. Они проявили готовность и потому смогли спасти свой вид для нового развития. Это мы знаем. Поэтому и проявим готовность.

При таких разговорах госпожа Ева часто присутствовала, но сама в подобном роде не говорила. Она была для каждого из нас, кто выражал свои мысли, слушателем и отголоском, полным доверия, полным понимания, казалось, все эти мысли идут от нее и возвращаются к ней назад. Сидеть близ нее, порой слышать ее голос и разделять окружавшую ее атмосферу зрелости и душевности было для меня счастьем.

Она сразу это чувствовала, когда во мне происходила какая-нибудь перемена, какое-то омрачение или обновление. Мне казалось, что мои сны внушены ею. Я ей часто рассказывал их, и они были для нее понятны и естественны, не существовало странностей, которых она не могла бы понять верным чутьем. Одно время я видел сны, как бы воспроизводившие наши дневные разговоры. Мне снилось, что весь мир в смятении, а я, один или с Демианом, напряженно жду великой судьбы. Судьба оставалась скрытой, но каким-то образом носила черты госпожи Евы: быть избранным ею или отвергнутым — в этом состояла судьба.

Иногда она говорила с улыбкой:

— Ваш сон неполон, Синклер, вы забыли самое лучшее...

И бывало, я тогда всё вспоминал и не понимал, как я мог это забыть.

Порой меня охватывало недовольство и мучило желание. Я думал, что у меня больше не хватит сил видеть ее рядом с собой и не заключить в объятье. И это тоже она замечала сразу. Когда я однажды несколько дней не приходил, а потом смущенно явился, она отвела меня в сторону и сказала:

— Не надо держаться за желания, в которые вы не верите. Я знаю, чего

вы желаете. Вы должны научиться отказываться от этих желаний или желать вполне и по-настоящему. Если вы сумеете попросить так, что в душе будете вполне уверены в исполнении своего желания, то оно и исполнится. А вы желаете и тут же в этом раскаиваетесь, и потому боитесь. Все это надо преодолевать. Я расскажу вам одну сказку.

И она рассказала мне о юноше, влюбленном в звезду. Он стоял у моря, простирал руки и взывал к звезде, он мечтал о ней и обращал к ней свои мысли. Но он знал или полагал, что знает: человек не может обнять звезду. Он считал, что это его судьба — любить светило без надежды на исполнение желания, и на этой мысли построил всю свою жизнь как поэму о покорности судьбе и немом, непрестанном страдании, которое сделает его лучше и чище. Но все его помыслы были направлены на звезду. Однажды он снова стоял ночью у моря, на высоком утесе, и смотрел на звезду, и сгорал от любви к ней. И в миг величайшей тоски он сделал прыжок и ринулся в пустоту, навстречу звезде. Но в самый миг прыжка он подумал с быстротой молнии: это же невозможно! И тут он упал на берег и разбился. Он не умел любить. Если бы в тот миг, когда он прыгнул, у него нашлась душевная сила твердо и непреклонно поверить в исполнение желания, он бы взлетел и соединился со звездой.

— Любовь не должна просить,— сказала она,— и не должна требовать, любовь должна иметь силу увериться в самой себе. Тогда не ее что-то притягивает, а притягивает она сама. Синклер, вашу любовь притягиваю я. Если она когда-нибудь притянет меня, я приду. Я не хочу делать подарки, я хочу, чтобы меня обретали.

А в другой раз она рассказала мне другую сказку. Жил-был человек, который любил без надежды. Он совсем ушел в свою душу и думал, что сгорает от любви. Мир был для него потерян, он не видел ни синего неба, ни зеленого леса, ручей для него не журчал, арфа не звучала, всё потонуло, и он стал несчастен и беден. Но любовь его росла, и он предпочел бы умереть и совсем опуститься, чем отказаться от обладания красавицей, которую он любил. Он чувствовал, как его любовь сжигала в нем все другое, а она становилась мощнее, она притягивала, и красавице пришлось повиноваться, она пришла, он стоял с распростертыми руками, чтобы привлечь ее к себе. Но став перед ним, она вся преобразилась, и он, содрогаясь, почувствовал и увидел, что привлек к себе весь потерянный мир. Она стояла перед ним и отдавалась ему; небо, лес и ручей — все великолепно заиграло новыми, свежими красками, бросилось к нему, принадлежало ему, говорило его языком. И вместо того чтобы обрести только женщину, он обнял весь мир, и каждая звезда на небе горела в нем и сверкала радостью в его душе... Он любил и при этом нашел себя. А большинство любит, чтобы при этом себя потерять.

Моя любовь к госпоже Еве казалась мне единственным содержанием моей жизни. Но каждый день эта любовь выглядела иначе. Иногда я уверенно чувствовал, что тянет меня не к ней лично, а что она — лишь символ моего естества и хочет только глубже ввести меня в мою суть. Порой я слышал от нее слова, которые звучали как ответы моего подсознания на жгучие вопросы, меня волновавшие. А бывали минуты, когда я сгорал рядом с ней от вожделения и целовал предметы, к которым она прикоснулась. И постепенно чувственная и нечувственная любовь, действительность и символы смешивались. Тогда я, бывало, спокойно и проникновенно думая о ней у себя в комнате, одновременно мнил, что рука ее лежит в моей руке, а ее губы прижаты к моим губам. Или я находился у нее, глядел ей в лицо, говорил с ней, слышал ее голос и все же не знал, вижу ли я ее наяву или во сне. Я начал понимать, как может стать любовь прочной, бессмертной. При чтении книги я узнавал что-то новое, и это было такое же чувство, как от поцелуя госпожи Евы. Она гладила меня по волосам и улыбалась мне своей зрелой, благоуханной теплотой, и я испытывал такое же чувство, как тогда, когда продвигался вперед внутри себя. Всё это было важно, все, что было судьбой для меня, могло принять ее облик. Она могла превратиться в любую мою мысль, и любая моя мысль — в нее.

Рождественских праздников, на которые я должен был поехать к родителям, я боялся, полагая, что это будет мука — прожить две недели вдали от госпожи Евы. Но это оказалось не мукой, это оказалось великолепно — быть дома и думать о ней. Вернувшись в Г., я еще два дня не ходил в ее дом, чтобы насладиться этой уверенностью, этой независимостью от ее чувственного присутствия. Были у меня и сны, где мое соединение с ней совершалось новыми, аллегорическими способами. Она была морем, в которое я втекал. Она была звездой, и я сам, в виде звезды, двигался к ней, и мы чувствовали, как нас тянет друг к другу, встречались, оставались вместе и в вечном блаженстве кружили друг возле друга близкими, звонкими кругами.

Этот сон я и рассказал ей, в первый раз явившись к ней снова.

— Прекрасный сон,— сказала она тихо.— Сделайте так, чтобы он исполнился.

В предвесеннюю пору случился день, которого мне не забыть. Я вошел в зальце, одно окно было открыто, и теплый поток воздуха разносил тяжелый запах гиацинтов. Поскольку никого не было видно, я поднялся по лестнице в кабинет Демиана. Я слегка постучал в дверь и вошел, не дожидаясь, по привычке, ответа.

В комнате было темно, все занавески были задернуты. Открыта была дверь в маленькое соседнее помещение, где Макс устроил химическую лабораторию. Оттуда шли светлые, белые лучи весеннего солнца, пробивавшегося сквозь тучи. Решив, что здесь никого нет, я отдернул одну занавеску.

Тут я увидел Макса Демиана — он сидел на скамеечке у завешенного окна, весь сжавшийся и странно изменившийся, и меня молнией пронзило чувство: это ты уже видел однажды! Руки его неподвижно свисали к животу, его чуть склоненное вперед лицо было невидяще-безжизненно, в зрачке мертвенно, как в стекляшке, блестело пятнышко отраженного света. Бледное лицо было погружено в себя и не выражало ничего, кроме полного оцепенения, оно походило на древнюю-предревнюю маску животного на портале храма. Казалось, он не дышал.

Воспоминание захлестнуло меня — таким, точно таким я уже видел его однажды, много лет назад, когда я был еще мальчиком. Так же глядели куда-то внутрь глаза, так же безжизненно лежали рядом руки, муха еще ползла по его лицу. И тогда, шесть, может быть, лет назад, он был на вид точно такого же возраста, так же не связан ни с каким временем, ни одна черточка в его лице не была сегодня иной.

Испуганный, я тихо вышел из комнаты и сошел по лестнице вниз. В зальце я встретил госпожу Еву. Она была бледна и казалась усталой, чего я за ней прежде не замечал, тень влетела в окно, большое, белое солнце внезапно исчезло.

— Я был у Макса,— прошептал я быстро.— Что случилось? Он спит или погружен в себя, не знаю, однажды я уже видел его таким.

— Вы ведь не разбудили его? — спросила она быстро.

— Нет. Он не слышал меня. Я сразу же вышел. Госпожа Ева, скажите мне, что с ним?

Она провела по лбу тыльной стороной ладони.

— Не беспокойтесь, Синклер, ничего с ним не случится. Он удалился. Это продлится недолго.

Она встала и вышла в сад, хотя уже закапал дождь. Я чувствовал, что мне не следует идти за ней. Я ходил по зальцу, нюхал одуряюще пахнувшие гиацинты, глядел на свой рисунок с птицей над дверью и подавленно дышал странной тенью, которая наполнила дом в это утро. Что это было такое? Что случилось?

Госпожа Ева вскоре вернулась. В ее темных волосах висели капли дождя. Она села в свое кресло. Усталость овевала ее. Я подошел к ней, склонился над ней и губами снял капли с ее волос. Глаза ее были светлы и тихи, но капли были на вкус как слезы.

— Посмотреть, что с ним? — спросил я шепотом.

— Не будьте ребенком, Синклер! — приказала она громко, словно чтобы разрушить чары в себе самой. Ступайте теперь и приходите позднее, я сейчас не могу говорить с вами.

Я ушел и побежал от домов и города к горам, мелкий косой дождь летел навстречу мне, придавленные тяжестью тучи низко неслись мимо, как в страхе. Внизу не было почти ни дуновения, а вверху, казалось, бушевала буря, из стальной серости туч несколько раз на миг вырывалось солнце, бледное и резкое.

Вдруг по небу проплыла неплотная желтая туча, она уперлась в серую стену, и ветер за несколько секунд составил из желтого и синего некую картину, огромную птицу, которая вырывалась из синей неразберихи и широкими взмахами крыльев улетала в небо. Теперь буря стала слышна, и ударил дождь, смешанный с градом. Короткий, неправдоподобный и страшный гром пророкотал над исхлестанной землей, затем снова прорвалось солнце, и на близких горах над бурым лесом тускло и призрачно засветился бледный снег.

Когда я через несколько часов, промокший и продрогший, вернулся, Демиан сам отпер мне дверь.

Он повел меня наверх, в свою комнату, в лаборатории горело газовое пламя, были разбросаны бумаги, он, по-видимому, работал.

— Садись,— пригласил он,— ты, наверно, устал — была ужасная погода, видимо, ты долго гулял. Сейчас будет чай.

— Сегодня что-то происходит,— начал я нерешительно,— едва ли дело только в какой-то грозе.

Он испытующе посмотрел на меня.

— Ты что-то увидел?

— Да. Я на секунду ясно увидел в тучах некую картину.

— Какую картину?

— Это была птица.

— Ястреб? Неужели? Птица из твоего видения?

— Да, это был мой ястреб. Он был желтый, огромный и улетел в сине-черное небо.

Демиан глубоко вздохнул с облегчением.

В дверь постучали. Старая служанка принесла чай.

— Пей, Синклер, пожалуйста... Думаю, ты увидел эту птицу не случайно.

— Случайно? Разве такие вещи можно увидеть случайно?

— Верно, нельзя. Это что-то означает. Ты знаешь — что?

— Нет. Я только чувствую, что это означает какое-то потрясение, какой-то шаг в судьбе. Думаю, дело касается всех.

Он взволнованно прошелся по комнате.

— Шаг в судьбе? — воскликнул он громко.— То же самое мне снилось сегодня ночью, и у моей матери было вчера предчувствие, говорившее о том же... Мне снилось, что я взбираюсь по приставной лестнице на дерево или на башню. Взобравшись наверх, я увидел всю местность, это была большая равнина с горящими городами и деревнями. Я еще не могу рассказать все, мне еще не все ясно.

— Ты относишь этот сон к себе? — спросил я.

— К себе? Конечно. Никому не снится то, что его не касается. Но это касается не одного меня, тут ты прав. Я довольно точно различаю сны, указывающие мне движения моей собственной души, и другие, очень редкие, где есть намек на человеческую судьбу вообще. Такие сны у меня редко бывали, и никогда не было сна, о котором я мог бы сказать, что он был пророческим и исполнился. Толкования тут слишком неопределенны. Но я точно знаю, что мне снилось что-то, касающееся не одного меня. Этот сон принадлежит ведь к числу тех, других, что снились мне прежде, он их продолжает. Это те сны, Синклер, откуда у меня возникают предчувствия, о которых я уже говорил. Что наш мир довольно скверен, мы знаем, это еще не дает основания предвещать ему гибель или что-то подобное. Но мне уже много лет снятся сны, по которым я заключаю — или чувствую, или как тебе угодно,— из которых, стало быть, я заключаю, что близится крушение старого мира. Сперва это были совсем слабые, отдаленные предчувствия, но они становились все отчетливей и сильнее. Пока я не знаю

ничего, кроме того, что надвигается что-то большое и ужасное, касающееся и меня. Синклер, мы увидим то, о чем иногда говорили! Мир хочет обновиться. Пахнет смертью. Новое никогда не приходит без смерти... Это страшнее, чем я думал.

Я испуганно уставился на него.

— Ты не можешь рассказать мне окончание твоего сна? — спросил я робко.

— Нет.

Дверь открылась, и вошла госпожа Ева.

— Вот вы где! Дети, вы, надеюсь, не грустите?

У нее был свежий, уже совсем не усталый вид. Демиан улыбнулся ей, она пришла к нам, как мать к напуганным детям.

— Грустить мы не грустим, мать, мы просто немного погадали насчет этих новых предзнаменований. Но ведь толку в том нет. Внезапно придет то, что хочет прийти, и тогда мы уж узнаем то, что нам надо знать.

Но у меня было скверно на душе, и когда я, попрощавшись, проходил один через зальце, запах гиацинтов показался мне вялым, неживым, трупным. Над нами нависла тень.

Глава восьмая

НАЧАЛО КОНЦА

Я устроил так, чтобы еще и на летний семестр остаться в Г. Теперь мы почти всегда были не дома, а в саду у реки. Японец, и в самом деле, кстати сказать, потерпевший поражение в схватке, уехал, толстовец тоже отсутствовал. Демиан завел лошадь и изо дня в день упорно ездил верхом.

Порой я удивлялся мирному течению моей жизни. Я так давно привык быть один, не давать себе воли, биться со своими бедами, что эти месяцы в Г. были для меня каким-то островом блаженства, на котором можно было уютно и отрешенно жить в мире только прекрасных, приятных вещей и чувств. Мне казалось, что это предвестие той новой высокой общности, о которой мы думали. И время от времени меня охватывала от этого счастья глубокая грусть, ибо я знал, что долго оно длиться не может. Мне не было суждено дышать легко и вольно, мне нужны были мука и гонка. Я чувствовал: однажды я очнусь от этих прекрасных видений любви и буду один, совсем один в холодном мире иных, где мой удел — только одиночество и борьба, но не мир, не общая с кем-то жизнь.

Тогда я с удвоенной нежностью стремился быть поближе к госпоже Еве, радуясь, что моя судьба все еще носит эти прекрасные, тихие черты.

Летние недели прошли быстро и легко, семестр уже кончался. Предстояло вскоре проститься, я об этом думать не мог, да и не думал, упиваясь прекрасными днями, как мотылек медоносным цветком. Это ведь мое счастливое время, первое в жизни исполнение желаний, вступление в союз... Что потом? Я снова буду биться, изнывать от тоски, мечтать, жить в одиночестве.

В один из тех дней это предчувствие охватило меня с такой силой, что моя любовь к госпоже Еве вдруг мучительно вспыхнула. Боже, как скоро, и я никогда больше ее не увижу, никогда больше не услышу ее твердых, добрых шагов по дому, никогда больше не найду ее цветов у себя на столе! А чего я достиг? Я мечтал и убаюкивал себя, вместо того чтобы завоевать ее, бороться за нее и навсегда завладеть ею! Мне вспомнилось все, что она говорила мне о настоящей любви, сотни тонких увещаний, сотни тихих приманок, может быть, обещаний — что я из этого сделал? Ничего! Ничего!

Я встал посреди своей комнаты, сосредоточил весь свой ум и задумался о Еве. Я хотел собрать силы своей души, чтобы заставить ее почувствовать мою любовь, чтобы притянуть ее ко мне. Она должна была прийти и взалкать моего объятия, мой поцелуй должен был ненасытно метаться в ее зрелых любовных губах.

Я стоял, напрягшись так, что от кончиков рук и ног ко мне потек холод. Я чувствовал, что от меня исходит сила. На несколько мгновений во мне что-то плотно и тесно сжалось, что-то светлое и прохладное; на миг мне почудилось, что у меня какой-то кристалл в сердце, и я знал, что это мое «я». Холод поднялся до самой груди.

Когда я очнулся от этого ужасного напряжения, я почувствовал, что что-то будет. Я смертельно устал, но я был готов увидеть, как Ева войдет в мою комнату, пылающая, восхищенная.

Тут ударил, приближаясь по длинной улице, конский топот, простучал близко и твердо, вдруг оборвался. Я бросился к окну. Внизу слезал с лошади Демиан. Я сбежал вниз.

— Что стряслось, Демиан? Надеюсь, у твоей матери все благополучно?

Он не слушал моих слов. Он был очень бледен, и пот стекал у него со лба по обеим щекам. Он привязал свою разгоряченную лошадь к ограде сада, взял меня под руку и пошел со мной вниз по улице.

— Ты уже что-то знаешь?

Я ничего не знал.

Демиан сжал мою руку и повернул ко мне лицо, с каким-то темным, сострадательным, странным взглядом.

— Да, мой мальчик, теперь начнется. Ты ведь знал о трениях с Россией...

— Что? Неужели война? Я никогда в это не верил.

Он говорил тихо, хотя поблизости не было ни души.

— Она еще не объявлена. Но война будет. Можешь не сомневаться. Я тебе с тех пор этим не докучал, но с того раза я уже трижды видел новые знаки. Ни конца света, ни землетрясения, ни революции не будет, стало быть. Будет война. Увидишь, какой будет взрыв! Люди будут в восторге, уже сейчас каждый рад ударить. Такой дрянной стала наша жизнь... Но увидишь, Синклер, это только начало. Война будет, возможно, большая, очень большая война. Но и это только начало. Начинается что-то новое, и для тех, кто цепляется за старое, это новое будет ужасно. Ты что будешь делать?

Я был ошеломлен, все это звучало для меня еще дико и неправдоподобно.

— Не знаю... а ты?

Он пожал плечами.

— Как только объявят мобилизацию, я пойду. Я лейтенант.

— Ты? Об этом я ничего не знал.

— Да, это была одна из моих попыток приспособиться. Ты знаешь, я не люблю выделяться внешне и всегда, чересчур даже, старался быть корректным. Через неделю, наверно, я буду уже на фронте...

— Боже мой...

— Не надо, мой мальчик, смотреть на это сентиментально. Мне ведь не очень-то приятно командовать стрельбой по живым людям, но это будет несущественно. Каждого из нас закрутит великое колесо. Тебя тоже. Тебя наверняка призовут.

— А что будет с твоей матерью, Демиан?

Только теперь я вспомнил о том, что было четверть часа назад. Как изменился мир! Я напрягал все силы, чтобы вызвать милый образ, а судьба вдруг по-новому уставилась на меня грозной, ужасной маской.

— С моей матерью? Ах, о ней нам нечего беспокоиться. Она в большей безопасности, чем кто-либо на свете сегодня... Ты так сильно любишь ее.

— Ты знал это, Демиан?

Он засмеялся звонко и совсем облегченно.

— Ребенок! Конечно, знал. Никто еще не называл мою мать «госпожа Ева», не любя ее. Кстати, как это было? Ты звал сегодня ее или меня, так ведь?

— Да, я звал... Я звал госпожу Еву.

— Она это почувствовала. Она вдруг послала меня к тебе. Я как раз рассказывал ей новости о России.

Повернув назад, мы еще немного поговорили, затем он отвязал лошадь и сел в седло.

Лишь наверху, у себя в комнате, я почувствовал, как я изнурен и сообщением Демиана, и, еще больше, предшествовавшим напряжением. Но госпожа Ева меня услышала! Я достиг ее сердца своими мыслями. Она пришла бы сама... если бы не... Как странно все это было и как в сущности прекрасно! Теперь разразится война, теперь начнется то, о чем мы столько раз говорили. И так много об этом Демиан знал наперед. Как странно, что мировой поток пробегает уже не где-то мимо нас, что теперь он вдруг проходит через наши сердца, что нас зовут приключения и дикие судьбы и что сейчас или вскоре настанет тот миг, когда мы понадобимся миру, когда мир начнет изменяться. Удивительно только, что такое одинокое дело, как «судьба», я должен проделать вместе со столькими людьми, сообща со всем миром. Ну и хорошо!

Я был готов. Вечером, когда я шел через город, везде все бурлило от великого волнения. Везде слышалось слово «война»!

Я пришел в дом госпожи Евы, мы ужинали в садовом домике. Я был единственным гостем. Никто не упомянул о войне ни одним словом. Только позднее, уже перед самым уходом, госпожа Ева сказала:

— Дорогой Синклер, вы меня сегодня позвали. Вы знаете, почему я не пришла сама. Но не забывайте: теперь вам известно, как можно позвать, и когда вам понадобится кто-то, кто носит печать, позовите снова!

Она поднялась и пошла впереди меня через сумрак сада. Величаво и царственно шествовала эта таинственная женщина между молчащими деревьями, и над ее головой, маленькие и хрупкие, светились звезды.

Я подхожу к концу. События разворачивались быстро. Вскоре началась война, и Демиан, поразительно незнакомый в серебристо-серой шинели, уехал. Я проводил его мать назад домой. Вскоре я простился с ней, она поцеловала меня в губы и на миг прижала к груди, и ее большие глаза прожгли мои вплотную и твердо.

И все люди словно бы побратались. Они имели в виду отечество и честь. Но все они один миг смотрели в открывшееся лицо судьбы. Молодые люди приходили из казарм, садились в поезда, и на многих лицах я видел печать — не нашу,— прекрасную и полную достоинства печать, означавшую любовь и смерть. Меня тоже обнимали люди, которых я никогда прежде не видел, и я понимал это, и с радостью отвечал тем же. Поступали они так в порыве, а не по велению судьбы, но порыв этот был священный, он возникал оттого, что все они изведали этот короткий, будоражащий взгляд в глаза судьбы.

Уже почти наступила зима, когда я попал на фронт.

Сначала я, несмотря на новые ощущения от перестрелки, был разочарован всем. Раньше я много размышлял о том, почему так крайне редко человек способен жить ради какого-то идеала. Теперь я увидел, что многие, даже все, способны за идеал умереть. Только надо, чтобы идеал этот был не личным, не свободным, не выбранным, а общим и у кого-то заимствованным.

Но со временем я увидел, что я людей недооценивал. Как бы ни унифицировали их служба и общая опасность, я видел многих, и живых, и умиравших, которые великолепно приближались к велению судьбы. У многих, очень многих, не только при наступлении, но и в любое время, был этот твердый, далекий, как бы бесноватый взгляд, который знать не знает о целях и означает полную отданность чудовищному. Что бы они ни думали и во что бы ни верили, они были готовы, они были нужны, из них строилось будущее. И чем упрямее настаивал мир на войне, на героизме, чести и на других старых идеалах, чем отдаленнее и неправдоподобнее звучал всякий голос кажущейся человечности, тем более поверхностным все это становилось, точно так же, как вопрос о внешних и политических целях войны оставался лишь на поверхности. А в глубине происходило становление чего-то. Чего-то вроде новой человечности. Ибо я видел многих — иные

из них умерли рядом со мной,— кто понял чувством, что ненависть и злоба, убийство и уничтожение не привязаны ни к каким объектам. Нет, объекты, точно так же, как цели, были совершенно случайны. Глубинные чувства, даже самые дикие, не относились к врагу, их кровавое дело было лишь излучением внутреннего мира, расколовшейся души, которая хотела буйствовать и убивать, уничтожать и убивать, чтобы родиться заново. Гигантская птица выбиралась из яйца, и яйцо было миром, и мир должен был развалиться.

Возле усадьбы, которую мы заняли, я стоял на часах предвесенней ночью. Прихотливыми порывами дул ветерок, по высокому небу Фландрии неслись полчища туч, где-то за ними угадывалась луна. Уже весь день я был неспокоен, меня донимала какая-то забота. Сейчас, на своем темном посту, я проникновенно вспоминал картины прежней жизни, госпожу Еву, Демиана. Я стоял, прислонившись к тополю, и глядел в беспокойное небо, просветы в котором, украдкой вздрагивая, превращались вскоре в большие, текучие вереницы картин. По странной вялости пульса, по нечувствительности кожи к дождю и ветру, по искрящейся внутренней свежести я чувствовал, что меня объяло чье-то водительство.

В тучах был виден большой город, из него выливались миллионы людей, которые толпами растекались по широким просторам. В их гуще возникла какая-то могучая, божественно-величественная фигура, со сверкающими звездами в волосах, громадная, как гора, с чертами госпожи Евы. В нее, как в исполинскую пещеру, стали вплывать, исчезая, людские толпы. Богиня села наземь, печать на ее челе светилась. Казалось, ею овладел сон, она закрыла глаза, и ее большое лицо исказилось болью. Вдруг она громко вскрикнула, и из ее чела посыпались звезды, тысячи горящих звезд, которые разлетались по черному небу великолепными извивами и полукругами.

Одна из звезд, звеня, метнулась ко мне, она, казалось, искала меня... И вдруг она с треском рассыпалась на тысячи искр, меня рвануло вверх и швырнуло снова на землю, мир надо мной с грохотом рухнул.

Меня нашли близ тополя, засыпанным землей и со множеством ран.

Я лежал в подвале, надо мной грохотали орудия. Я лежал на повозке и трясся в пустынных полях. Большей частью я спал или был без сознания. Но чем крепче я спал, тем сильнее я чувствовал, что что-то тянет меня, что я повинуюсь какой-то силе, которой подвластен.

Я лежал в сарае на соломе, было темно, кто-то наступил мне на руку. Но моя душа рвалась куда-то, меня сильнее тянуло прочь. Снова я лежал на повозке, а позднее на носилках или на переносной лестнице, все сильнее чувствуя веление куда-то двигаться, ничего не чувствуя, кроме стремления прибыть наконец туда.

И вот я добрался до цели. Была ночь, я был в полном сознании, еще только что я чувствовал всю мощь этой своей внутренней тяги. Лежал я в каком-то зале, уложенный на полу, и вдруг почувствовал, что нахожусь там, куда меня звали. Я огляделся, рядом с моим тюфяком лежал другой, а на нем кто-то, который наклонился вперед и смотрел на меня. У него была печать на лбу. Это был Макс Демиан.

Я не мог говорить, и он тоже не мог или не хотел. Он только смотрел на меня. На его лицо падал свет от висевшего на стене фонаря. Он улыбался мне.

Бесконечно долго глядел он мне прямо в глаза. Медленно приблизился он лицом ко мне почти вплотную.

— Синклер! — сказал он шепотом.

Я показал глазами, что понял его.

Он улыбнулся опять, почти с состраданием.

— Малыш,— сказал он, улыбаясь.

Его рот был совсем рядом с моим. Он тихо продолжал говорить.

— Ты еще помнишь Франца Кромера? — спросил он.

Я мигнул ему и тоже смог улыбнуться.

— Малыш Синклер, слушай! Мне придется уйти. Я тебе, может быть, когда-нибудь снова понадоблюсь, для защиты от Кромера или еще для

чего-нибудь. Если ты меня тогда позовешь, я уже не прибуду так грубо, верхом или по железной дороге. Тогда тебе придется вслушаться в себя, и ты увидишь, что я у тебя внутри. Понимаешь?.. И еще одно. Госпожа Ева велела мне, если тебе когда-нибудь придется худо, передать тебе поцелуй от нее... Закрой глаза, Синклер!

Я послушно закрыл глаза, я почувствовал его легкий поцелуй на своих постоянно кровоточивших губах. А потом я уснул.

Утром меня разбудили для перевязки. Вполне наконец проснувшись, я быстро повернулся к соседнему тюфяку. Там лежал незнакомый человек, которого я никогда не видел.

Перевязка причиняла мне боль. Все, что с тех пор происходило со мной, причиняло мне боль. Но когда я порой нахожу ключ и целиком погружаюсь в себя, туда, где в темном зеркале дремлют образы судьбы, тогда мне достаточно склониться над этим черным зеркалом, и я уже вижу свой собственный образ, который теперь совсем похож на Него, на Него, моего друга и вожатого.

Послесловие переводчика

«История юности, написанная Эмилем Синклером» вышла в свет в июне 1919 года тиражом в 3 300 экземпляров. Никакого другого имени на титульной странице не значилось, и понять этот подзаголовок предлагалось так, что Синклер и есть автор повести «Демиан». Многие так и поняли.

«Поразительно было,— вспоминал Гессе через много лет,— что именно самые искушенные литераторы, Томас Манн, Корроди и т. д. и т. д., не узнали меня за псевдонимом, а совсем наивные читатели, но читавшие сердцем, узнали меня с первой же страницы».

Насчет недогадливости «именно самых искушенных» Гессе, правда, немного преувеличил — как и в своем противопоставлении им «читающих сердцем». Прочитав поступившую к нему рукопись, редактор издательства «С. Фишер», поэт Оскар Лёрке, чья литературная искушенность несомненна, отозвался о «Демиане» так: «Замечательная книга! У нее только один недостаток: очень уж она напоминает Гессе». А Томас Манн, хоть он сразу и не узнал Гессе за псевдонимом, и через тридцать лет говорил о «незабываемом, электризующем воздействии» «Демиана» после первой мировой войны, о том, что эта книга «таинственного Синклера до жути точно попала в нерв времени», и сопоставлял ее в этом смысле со «Страданиями молодого Вертера».

Псевдоним нужен был Гессе по разным причинам. В случае «Демиана» он не только давал автору отстраненность от материала, внутреннюю свободу, не только сыграл ту расковывающую перо роль, которая сходна с ролью третьего лица в автобиографическом повествовании, но и выполнил одну чисто практическую задачу. Во время первой мировой войны Гессе, которого не взяли в германскую армию из-за плохого зрения, работал, живя в Швейцарии, в организации, оказывавшей помощь немецким военнопленным, и германское консульство в Берне потребовало, чтобы он воздерживался от каких-либо печатных выступлений на актуальные политические темы. Псевдоним имел, таким образом, еще и, как теперь говорят, «протокольное» назначение. Надо также заметить, что псевдоним «Синклер», совпадавший с именем друга и покровителя поэта Фридриха Гёльдерлина (1770 — 1843), не мог не вызвать, во всяком случае у читателей «искушенных», соответствующих ассоциаций. В этом имени слышался намек на связь «Демиана» с гуманистическими традициями немецкой литературы.

Гессе — писатель вообще автобиографический. Даже когда действие его произведений происходит в далеком прошлом или в фантастическом будущем, в экзотических или выдуманных местах земли, он пишет о том, что пережил, продумал, прочувствовал сам. «Демиан» автобиографичен в особенно большой мере. Родной город Синклера, берег реки, опоры моста, рыночная площадь, отцовский дом героя, любящая мать, сестры, неприятности в учебных заведениях, несогласие с отцом — все это, можно сказать, списано с натуры, во всем этом узнаются швабский городок Кальв, река Нагольд, кальвская Марктплац, кальвская гимназия, а в бореньях Синклера — «страдания молодого Гессе», доведшие его до бегства из семинарии, попытки самоубийства и лечения в клинике нервных болезней.

Когда четырнадцатилетний Гессе в письме к отцу несколько преувеличенно изложил свои сомнения в авторстве Евангелия от Луки, отец назидательно ответил сыну, что сам он никогда подобных сомнений не испытывал. А когда в другом письме домой Гессе с живым интересом рассказал, как гимназисты гипнотизируют друг друга, отец снова ответил ему поучением: «Мне все эти темные вещи ужасны. Наше тело должно быть храмом святого духа, наша душа — орудием Бога».

Сопоставляя эти документально засвидетельствованные подробности биографии Гессе с идейно-сюжетными деталями «Демиана», легко предположить, что и другие, не имеющие такого документального «подтверждения» эпизоды, например, вложенный в уста второ-

степенного персонажа рассказ о муках полового созревания, столь же точно соответствуют пережитому и испытанному самим Гессе. Действительно, фигура Писториуса, например, его беседы — это довольно точный портрет психоаналитика доктора Ланга и довольно точная запись его бесед с автором-пациентом. И всякий, конечно, кто мало-мальски знаком с биографией Гессе, кто знает о тысячах его акварелей и рисунков, о его страсти к живописи и постоянной тесной дружбе с художниками, только узнающе кивнет головой, читая о вещих рисунках Синклера.

Но самое «гессевское» в «Демиане» — это все-таки не материал, не «фактура», а тот общий смысл повести, который связывает ее с глубинным стержнем, с центральным, так сказать, нервным стволом всего творчества этого автора, тема, которой Гессе был верен всю жизнь, от начальной поры писательства до «Степного Волка» и «Игры в бисер». Пользуясь его собственной терминологией, тему эту можно определить как «путь внутрь», «путь к самому себе», «своеволие» (впрочем, последняя калька нехороша, немецкому Eigensinn в данном случае ближе русское слово «самобытность»).

Путь человека к самому себе, к независимости от расхожих мнений, к самостоятельности в мыслях и поступках начинается уже с раннего детства и с пустяков, а длится очень долго. Есть «детские» препятствия на этом пути, а есть и серьезные. Восьмилетний Эмиль Синклер, например, потерял свой «светлый мир», подчинившись тирании скверного мальчишки, от которой его довольно просто освободил Демиан. А двадцатилетний Гессе, к примеру, потерял «закон, который в себе», попав в идейный плен тюбингенского кружка друзей, и ему, Гессе, нужно было претерпеть тяжелую духовную ломку, чтобы вырваться оттуда и вспомнить об этом своем отходе от «себя» саркастическими стихами: «Нас считали декадентами и современными, /И мы с удовольствием в это верили. /А на самом деле мы были молодые господа /В высшей степени приличного поведения».

Выражаясь символическим языком «Демиана», птица выбирается из яйца очень долго и очень мучительно, а бывает, она так и не воспаряет к небу.

В письме от 2 февраля 1922 г. Гессе разъяснял «Демиана» так: «Эта книга делает акцент на индивидуализации, на становлении личности, без которого нет высшей жизни. И при этом процессе, где нужна лишь верность себе самому, существует, собственно, только один большой враг — условность, косность, мещанство. Лучше биться со всякими бесами и демонами, чем принять лживого бога условности».

Эта формула мысли, эта конструкция фразы — «лучше то-то, чем то-то» — была, видимо, вообще по душе Гессе, когда он, определяя самое важное для себя на новом витке жизни, вслушивался в свой внутренний голос. Во времена «Демиана» неприемлемое носило название «условность», «мещанство», «стадность» как антоним самобытности, достоинства индивидуума, личной добросовестности; в этом ряду в текстах Гессе появились слово «коллектив» и производные от него. В тридцатые—сороковые годы в гессевских текстах можно было найти словосочетание «оргии коллективизма». Что он понимал под ними, явствует из сочиненных в те годы однажды во время бессонницы строк: «Лучше фашистами быть убитым, /Чем фашистом быть. /Лучше коммунистами быть убитым, /Чем коммунистом быть». Самим внешним оформлением мысли (и здесь «лучше то-то, чем то-то») напоминают эти строки процитированное письмо о «Демиане». Но связь тут не только внешняя.

«Путь внутрь», «путь к самому себе» возможен лишь при постоянном сопротивлении самым распространенным, господствующим над массой идеям, лишь в постоянной борьбе «со всякими бесами и демонами». В том, кто идет этим путем, как мальчик Синклер, как юноша Синклер, пытливо и добросовестно, вырабатывается стойкий иммунитет к антигуманным и псевдогуманным поветриям.

* * *

От редакции

Вслед за публикацией «Демиана» мы печатаем несколько ответов Г. Гессе своим читателям, писем от которых он получал немало, особенно после присуждения ему Нобелевской премии. Поскольку поток писем был очень велик, Гессе пришлось прибегнуть к особому эпистолярному жанру — «письмам по кругу», печатая их в прессе. Это позволило ему отвечать сразу нескольким корреспондентам, обобщая их наиболее типичные вопросы, а также собственные размышления о природе творчества, писательском призвании, о культуре, вере и религии, обнаруживая при этом поистине «гессевскую» серьезность, глубину и высокую нравственность.

Письма к друзьям

Молодому коллеге из Японии

Дорогой коллега! Ваше длинное январское письмо, которое дошло до меня ко времени цветения вишен, было действительно первым приветом из Вашей страны, нашедшим дорогу ко мне после стольких лет молчания. И по некоторым признакам я могу судить, что Ваш привет и призыв поистине идет, как Вы говорите, из основательно потрясенного мира — из мира, как бы повергнутого в хаос. Оно предполагает и ищет во мне и моей стране, «завидном мирном острове», еще не разрушенный мир разума, признанную и действующую иерархию ценностей и сил. И в некотором отношении Вы правы. Ваше страстное, полное одновременно веры и страха письмо написано среди руин разрушенного большого города, где трудно было найти даже бумагу и конверт, и вот оно здесь, его принесла приветливая местная почтальонша в покой неразрушенного дома и деревни, где цвет вишни затопляет зелень долины и целый день можно слушать кукушку. А так как Ваше письмо — это письмо юноши к старику, то и в душе оно застало не хаос, а определенный порядок и здоровье,— правда, это не тот стабильный порядок, который поддерживается общим положением западного мира, более или менее хорошо сохранившимся наследием веры и добрых обычаев в духовной жизни, но одинокое существование на острове, где среди хаоса продолжает жить традиция, оставшаяся неразрушенной. Таких одиночек, таких духовно благовоспитанных старых людей здесь в стране много, в общем-то их, пожалуй, не презирают, не высмеивают и уж тем более не преследуют,— напротив, их ценят, им рады, их держат во время падения ценностей, как заботливо содержат в резервациях вымирающих животных, при случае ими даже гордятся и хвастают как чисто западным наследием, каким не может похвастать ни возвышающаяся Россия, ни возвышающаяся Америка. Но мы, старые писатели, мыслители и благочестивые люди, не являемся больше ни душой, ни разумом западного мира, мы — остатки вымирающей расы, строго говоря, мы становимся таковыми по крайней мере сами, последователей нет.

Но вернемся к Вашему письму. Вы беспокоитесь о том, что кажется мне ненужным. Вы немного горячитесь из-за того, что студенты, с которыми Вы учитесь, видят во мне лишь мелкого сентиментального лирика из Южной Германии, а не героя и мученика правды, как это делаете Вы. Обе стороны правы и не правы, не стоит принимать всерьез эту формулировку. Или, скорее, так: не стоит исправлять суждение Ваших товарищей обо мне, потому что суждение, правильно оно или нет, никому не повредит. Напротив, то, как Вы судите и оцениваете меня, дорогой коллега, явно нуждается в исправлении и контроле, ибо здесь мог бы возникнуть вред. Ведь Вы не только молодой читатель, в руки которого в период особой восприимчивости ко всему попали некоторые книги, полюбившиеся ему, которым он благодарен, которые он ценит и переоценивает. На это имеет право любой читатель, он может по велению сердца сделать книгу объектом поклонения или презрения, не причиняя всем этим никакого вреда. Но Вы ведь не только вдохновенный молодой читатель. Вы являетесь, как Вы пишете, моим молодым коллегой, литератором в самом начале своего пути, юношей, любящим прекрасное и истинное, который чувствует себя призванным нести людям свет и правду. А то, что позволительно наивному читателю, непозволительно, по моему мнению, начинающему литератору, человеку, который сам будет писать и издавать книги; он не смеет без критики поклоняться или же делать для себя образцами именно те книги и тех авторов, которые произвели на него впечатление. Ваша любовь к моим

книгам, конечно, не грех, но ей не хватает критики и меры, и, таким образом, Вас как литератора она сможет мало продвинуть. Вы видите во мне того, кем желаете стать сами, цель, к которой нужно стремиться, и считаете меня достойным подражания; Вы видите во мне борца за правду, героя и боговдохновенного носителя света, даже почти сам свет. А это, как Вы скоро поймете, не только преувеличение и мальчишеская идеализация, это — принципиальное заблуждение и ошибка. Пусть наивный читатель, для которого книги не столь важны, представляет себе писателя как хочет, нам это безразлично; это все равно как если бы человек, который никогда в жизни не построит и маленького домика, судит и рядит об архитектуре — пустая болтовня. Но страстно влюбленный в своих авторов молодой писатель, полный идеализма, а бессознательно, вероятно, и честолюбия, у которого неправильные представления о книгах и литературе, небезобиден, он является опасностью, он может причинить вред и повредить прежде всего себе самому. Поэтому я отвечаю на Ваше такое милое и трогательное письмо не дружеской видовой открыткой, а этими строками. Как будущий литератор, Вы должны нести ответственность перед собой и перед своими будущими читателями.

Герой и носитель света, за которого Вы почитаете своего любимого автора и кем сами намерены стать, является фигурой, которая мне не нравится. Она кажется мне слишком красивой, слишком пустой, слишком патетичной, а главное, она представляется мне чересчур западной, чтобы вырасти на Вашей собственной восточной почве.

Писатель, которому Вы обязаны познанием и пробуждением, не является ни светом, ни носителем света, он в лучшем случае — окно, через которое может проникнуть свет к читателю, и его заслуга не имеет ничего общего с геройством, благородными пожеланиями и идеальными программами, его заслуга может состоять лишь в том, что он, являясь окном, не препятствует свету, не закрывается для него. Если у него есть пылкое желание стать в высшей степени благородным человеком и благодетелем человечества, то очень даже возможно, что именно это желание совратит его и помешает пропускать свет. То, что им руководит и движет, не должно быть ни высокомерием, ни напряженным стремлением к смирению, но единственно любовью к свету, открытостью для действительности, способностью проникаться истинным.

Пожалуй, нет необходимости напоминать Вам об этом, Вы ведь не дикарь и не испорченный образованием человек, а последователь дзэн-буддизма, следовательно, имеете веру и понятие о духовной дисциплине, которые воспитывают в человеке способность пропускать свет, смиряться перед истиной, как мало что другое. Руководствуясь этим, Вы продвинетесь дальше, чем благодаря всем нашим западным книгам, некоторыми из которых Вы сейчас так очарованы. Я с большим уважением отношусь к дзэн, с гораздо большим, чем к Вашим несколько по-европейски расцвеченным идеалам. Дзэн является одной из самых замечательных школ для ума и для сердца, это Вы знаете лучше меня, здесь, на Западе, у нас есть лишь совсем немного традиций, которые можно было бы сравнить с ним, и они у нас менее сохранились. И вот мы оба, Вы — молодой японец, и я — старый европеец, смотрим издалека друг на друга как на некую диковинку, каждый с симпатией по отношению к другому, каждый немного задетый также экзотическим очарованием, которое испытывает по отношению к другому, и каждый предполагает в другом нечто, что никогда не было вполне достижимо для него самого. Ваш дзэн защитит Вас, я полагаю, от устремления к чужеземному и от фальшивого идеализма, а меня добрая школа антиков и христианства защитит от того, чтобы не кинуться в объятия индийской или другой системы йоги, если я, отчаявшись в нашей духовной ситуации, откажусь от своих прежних опор. Ибо в настоящее время есть такое искушение, этого нельзя отрицать. Но мое европейское воспитание учит меня не доверять именно той не понятой мной или понятой лишь наполовину части азиатского учения, несмотря на все очарование, а придерживаться в нем того, что мне стало действительно понятно.

И именно это вполне родственно учениям и опыту моей собственной духовной родины.

Буддизм в знакомой Вам форме дзэн останется Вашим руководителем и Вашей опорой на всю жизнь. Он поможет Вам выжить в том хаосе, который вторгся в Ваш мир. Но когда-нибудь он, возможно, вступит в конфликт с Вашими литературными планами. Для того, кто имеет хорошее религиозное воспитание, литература — опасная профессия. Литератор должен верить в свет, он должен знать о нем по неопровержимому опыту и быть открытым ему как можно чаще и шире, но он не должен считать себя носителем света или самим светом. Иначе оконце закроется, а свет, который ни в коей мере не зависит от нас, пойдет другими путями.

Приписка несколько дней спустя

Посылочка с печатными материалами, которая была отправлена Вам, а также оригинал этого письма были только что возвращены почтой как недозволенные. Мир сегодня выглядит странно. Вы, житель побежденной и занятой победителями страны, могли послать мне письмо в полтора десятка страниц; я же, житель всего лишь нейтральной маленькой страны, не смею ответить Вам. Но, может быть, этот привет Вы получите когда-нибудь через газету.

1947 г.

Вычеркнутое слово

Странная просьба задала нам с женой вчера работы почти на час. Пришло письмо из Америки, написанное старым господином, благочестивым немецким евреем из тех старинных еврейских домов области Рейна и Майна, которые вплоть до недружелюбного сегодняшнего дня принадлежали к древнейшим и наиболее сохранившимся культурным очагам Германии, к одной из тех рейнских еврейских семей, памятником которой является прекрасный роман Вильгельма Шпейера [1] «Счастье Андернахов», встретивший у публики достойный прием. Этот старый господин из Нью-Йорка, эмигрант, образованный и благочестивый еврей, безымянный в той армии весьма ценных людей, которых Германия оттолкнула от себя в угоду крикунам и злодеям, написал мне с тем, чтобы разрешить вопрос совести, мучивший его; а просьба, высказать которую он считает своим долгом, состоит в следующем: не соглашусь ли я при последующих изданиях одной из моих книг опустить одно-единственное слово. Недавно, читая «Курортника» [2], он нашел место, где я цитирую изречение «Люби своего ближнего, как самого себя». Курортник называет это изречение «самым мудрым, которое когда-либо высказывалось», и прибавляет: «Поразительно, что изречение записано уже в Ветхом Завете». Так вот, для читателя, написавшего письмо из Америки, для благочестивого еврея и читателя Библии, слово «поразительно» — неприемлемо, он считает, что это слово оскорбляет и ставит под сомнение иудаизм и Тору, и в самых серьезных выражениях просит меня вычеркнуть это слово.

Сначала из-за слабости моего зрения жене пришлось просмотреть «Курортника» до того места, чтобы определить контекст и дословный текст предложения. Затем я тщательно перечитал спорную страницу своей книги, написанной 25 лет тому назад. Разумеется, написавший письмо был прав, разумеется, это было ошибкой, а для еврейского читателя почти кощунством, ведь автор, которого он до сих пор принимал всерьез, считал «поразительным», что такое благородное и возвышенное изречение было записано «уже» в Ветхом Завете, то есть задолго до Иисуса и христианского учения. Он был прав, в этом не приходилось сомневаться: мое выражение «поразительно», как и слово «уже» (которое мой корреспондент, однако, не

---

[1] Вильгельм Шпейер (1887—1952) — немецкий писатель, во время разгула фашизма эмигрировал в США, после войны вернулся в Европу и поселился в Швейцарии. Автор нескольких романов, но в основном писал рассказы и пьесы. Роман «Счастье Андернахов» вышел в Цюрихе в 1947 г.

[2] «Курортник» — повесть Г. Гессе (1925 г.).

оспаривал), объективно было неправильным, оно было опрометчивым и глупым, отражало какую-то одновременно стеснительную и высокомерную манеру, в какой во времена моего детства нам, маленьким протестантским детям, говорилось о Библии и иудаизме в популярной протестантской теологии, и сводилось это к тому, что хотя иудаизм и Ветхий Завет высоко чтятся и уважаются, но все-таки в них нет последнего слова, венца, Ветхий Завет преимущественно книга строгого закона, в то время как только Новый Завет дал истинное и полное понятие любви и милости, и т. д. Когда я 25 лет тому назад написал ту строчку в «Курортнике», я еще не был, по крайней мере именно в тот момент, знающим и размышляющим, и когда я цитировал то замечательное изречение о любви к ближнему, мне действительно казалось «поразительным», что такое изречение, которое спокойно можно назвать квинтэссенцией христианской морали, «уже» написано в Ветхом Завете. Прав был он, милый озабоченный человек из Америки.

И все-таки! Разве «Курортник» и все мои книги писались для того, чтобы распространять в народе знания и объективные истины? Конечно, я хотел в них прежде всего служить истине, но совершенно искренне, всячески воздерживаясь от авторитарного привкуса в изложении мыслей; закону искренности, который вынуждает в значительной мере отказываться от своей личности, а нередко заниматься саморазоблачением, а этой жертвы читатель еще никогда не понимал вполне. Разве я хотел поделиться со своими читателями чем-либо иным, кроме результатов собственных переживаний и размышлений, а порой показать этап на пути к личности, приведший к этим результатам? Разве я разыгрывал когда-нибудь из себя диктатора, абсолютного всезнайку, проповедника и учителя, с ведомственной авторитетностью провозглашающего свои истины, но тщательно замалчивающего свои недостатки и сомнения? Разве не считал своей ролью и задачей делиться с читателями не только своими мыслями и убеждениями, но и сомнениями, не выступать перед ними авторитетом и посвященным, а показать только самого себя, ищущего и заблуждающегося собрата?

Я не мог объяснить все это человеку из Америки. Коль он не заметил этого, читая мои книги, которые знают почти все, в письме, каким бы длинным оно ни было, мне не удалось бы научить его читать и понимать по-другому. Он потребовал от меня вычеркнуть единственное слово в книге и тем самым солгать во имя истины, потому что я должен был сделать так, как будто тогда, 25 лет тому назад, когда я писал «Курортника», я был не способен на заблуждение или легкомыслие, на незнание Библии и теологии, как будто тогда, как и сегодня, надо мной не тяготели во всем издержки моего происхождения и воспитания. Может быть, от меня потребовали все-таки слишком многого?

Казалось бы, дело пустячное. От меня потребовали сделать что-то противоречащее моему существу и вкусу, моим литературным привычкам, чтобы не сказать «основным принципам», и на это, собственно, был один ответ — отказ. Но обстоятельства выглядят всегда проще, чем они есть, а моральные — в большей степени, чем все прочие. Если бы я был на двадцать лет моложе! Я не стал бы тогда утруждать жену поисками нужного места в книге, не мучился бы сомнениями, нашел бы время все объяснить своему читателю в письме на нескольких страницах, расчувствовался бы в этом письме, польщенный уверенностью, что теперь-то действительно убедил и успокоил партнера. Слово «поразительно» осталось бы в моей книге, продолжая с благородной искренностью свидетельствовать о моей наивности и глупости в 1923 году.

Но теперь я стал несколько старше и несколько опасливее, а возможно, и несколько неуверенное, и человек, пожелавший, чтобы я вычеркнул слово, тоже не молодой читатель, которого можно успокоить добрым письмом, поколебав его убеждения, а старый господин, письмо которого и скромно, и достойно. Кроме того, он благочестивый поклонник Библии, человек, лучше меня разбирающийся в Ветхом Завете, которому одно мое несколько необдуманное слово причинило боль и неприятность. И еще кое-что: он

был еврей. Он принадлежал к народу, который дал миру Библию и Спасителя, а за это получил ненависть и жестокую враждебность почти всех других народов, был представителем древнего избранного народа, который в наше безбожное время вытерпел немыслимое и показал себя при этом лучше, нежели какой-либо другой, более молодой народ при подобных гонениях: евреи не только показали (и это относится еще и к сегодняшнему дню, ведь преследования продолжаются) бесподобный пример солидарности, братской помощи и жертвенности, еще совершенно не осознанный миром, больше того, в бесчисленных случаях они проявляли геройство в терпении, смелость перед лицом смерти, достоинство в нужде и гибели, перед лицом которых мы, неевреи, можем только стыдиться.

И вот этому доброжелательному и достойному старому еврею я должен был ответить отказом на его благородно выраженную просьбу, должен был противопоставить его вере и сверхличной благочестивой мудрости свое право писателя, представителя психологической специальности, свой пафос исповедника; и, отказав и разочаровав его, еще и поучать?

Это было выше моих сил. Для этого нужен был бы такой запас уверенности, веры в себя и в смысл и ценность своего труда, какого на сегодня у меня нет. Я написал читателю в Нью-Йорк короткое письмо, что исполнил его пожелание, а своего издателя уведомил, что при новом издании «Курортника» слово «поразительно» на странице 154 следует опустить.

1948 г.

Инь и Ян

Письмо студента и ответ на него

Безумство молодости преуспеет.
Не я ищу молодого безумца,
Молодой безумец ищет меня.
В первом же слове даю я ответ.
Спросит не раз он, это — докука.
Если ж докучлив, не дам никакого ответа.
Поддержит упорство.

Глубокоуважаемый и дорогой господин Гессе!

Хотя я стою под знаком «монг», мне хочется поблагодарить Вас за бесчисленные полные содержания часы, которые подарили мне Ваши творения, и заверить Вас, что и для нашего сегодняшнего молодого поколения Ваше творчество значит много, очень много. Для нас, живущих в хаосе, в этом бесформенном настоящем, у которого нет содержания, центра и цели, Ваша жизнь и творчество, как путь через все пропасти этого хаоса, означают призыв и стимул к его преодолению.

Разве Ваша одинокая, но столь богатая жизнь являлась чем-либо иным, кроме постоянного спора с хаосом, чью гибельность и плодоносность Вы познали до самой глубины? Если же хаос только «зиянье», всеуничтожающая прабездна и прадракон, бездонность всего сущего — одновременно он бесформенный, на все способный мир первоначала, из которого всегда по-новому рождается юное создание: так, прелестный и отвратительный одновременно, он — плодоносное материнское лоно всего сущего. Египтяне имели более содержательное и более глубокое представление о хаосе, нежели греки, их хаос был Грядущим, мировым океаном, отцом всех богов, из которого победоносно является миру творение, из которого исходит Нил и оплодотворяет всю землю, в который погружается спящий, мечтающий и умирающий. Так хаос вмещает все богатство и все потенции бытия, о чем возвещает плеск реки в «Сиддхарте».

Ему противостоит Касталия, твердый структурный порядок и иерархия. Но этот порядок слишком узок и неподвижен, всего лишь провинция, а не мир, так что в ней Кнехт не может претворить в жизнь свою сущность, он возвращается в хаос, чтобы пронизать его порядком. Ведь само-

осуществление человека возможно только в упорядочении. Однако любой порядок и любая форма непременно преходящи и когда-нибудь опять будут преданы хаосу, погибнут в волнах, подобно Кнехту. Вечен лишь хаос, и в нем — все идеи и символы этого неисчерпаемого мира, все элементы, что когда-либо соединялись в произведение искусства или в развитой миропорядок, каков миропорядок Древнего Востока, или христианского средневековья, или конфуцианского Китая (которые являлись более чем провинциями — мирами).

Однако я утомляю Вас афоризмами, давно известными Вам, гроссмейстеру столь нерушимо спаянного братства магов. Разве не были Вы уже с раннего детства, со времен танцующего Шивы Вашего дедушки и «маленького мужчины», теснейшим образом связаны с магией, этим самым чистым в своей переливающейся двусмысленности символом хаотической первоосновы? Вы всегда были настоящим магом (кроме тех мгновений, когда видели только разрушающие и гибельные силы магически-хаотического), не как Фауст, этот трогательно-трагикомический чернокнижник, который не разглядел Мефистофеля в его маске и которому было неведомо, что любой путь к бессмертию и всесилию ведет в хаос как единственно вечное и всемогущее. Он не хотел понять, что внутренняя красота и величие любого порядка заключены именно в бренности. Только это знание и исповедание этой истины, только ясное видение волшебной игры перемен хаоса и порядка в истории и во всем вечно пронизанном инь и ян бытии дает нам ясную уверенность мудреца и мага, самоотверженность пробужденного. Так и в хаосе нашего времени, внешне преисполненном лишь отчаяния, мы видим его всеоплодотворяющую действенность, безграничную способность к новому творению и упорядочению бытия. И радостно созерцает маг душу мира, пребывающую вечно юной, щедрой и неисчерпаемой.

К ней указали нам путь Вы, глубокоуважаемый господин Гессе, к ней и к становлению человека, которое стоит выше стремления стать богом фаустовской современности. Древнейшим языком магии, посредством творчества вели Вы нас через все высоты и глубины хаотического мира, во всем, что Вы создаете, рокочет исполненный магии поток, творящий и разрушающий, музыка вселенной. Вы стали тем, кем стать было Ваше страстное желание,— чародеем, магом, знающим светлую глубину мира и китайскую улыбку бессмертных.

Да простит великодушно мастер и старший брат молодого ученика, если он приблизился к нему безумно близко, рискуя преступить магичееки-запретный круг одиночества. Примите нижайший поклон и благодарность человека, для которого Вы — путь в будущее и надежда на новый, удивительный порядок бытия.

Ваш глубокопреданный Э. Х.

Ответ

Младший брат порадовал старшего, подтвердив ему единство противоположностей и гармонию противоречий. Оказывается, младший брат знает многое, что ускользнуло от старшего или же, если он и знал когда-то, снова забыл. Хотя именно в этом, в забывании и отсутствии сожаления о забытом, старший, пожалуй, опять на один шаг опередил младшего. Как инь и ян определяют ткань жизни, так чередование приятия и отдачи определяет отношение между учителем и учеником, между якобы мудрым и якобы еще безрассудным. Один дает другому, один у другого берет. Это ведет к знанию и приводит к способности забывать знание. Поддерживает радость.

Искренне Г. Гессе (1954 г.)

Перевод с немецкого Г. БАРЫШНИКОВОЙ

МИК ДЖЭГГЕР И КИЙТ РИЧАРД

Перевод с английского Г. АГАФОНОВА

«РОЛЛИНГ СТОУНЗ» В ШЕСТИДЕСЯТЫЕ (субъективные заметки)

Первую маленькую пластинку с двумя вещами, причем не ими написанными, группа «Роллинг стоунз» [1] выпустила в 1963 году. На их первом альбоме «Роллинг стоунз» (апрель, 1964 г.) была всего одна их собственная композиция. Но уже в июне того же года участникам группы пришлось отсиживаться в отеле, спасаясь от остервенелых американских девчонок-поклонниц,— вооружившись маникюрными ножницами, те ожидали возможности отхватить «на память» по локону от уже прославленных шевелюр своих кумиров...

Тогда, в 1960-е годы, все, казалось, разворачивалось в ускоренном темпе. Как в кинокомедии 1910-х годов.

Вот и «Битлз» выпустили первый сингл с двумя песнями собственного сочинения в октябре 1962 года, а первый альбом, на котором их композиции (8) уже превалируют над чужими (6),— в апреле 63-го. Через три месяца с небольшим в Англии началась битломания...

«Битлз» проложили дорогу легендарным английским группам 1960-х годов, и первой в их ряду — во всех смыслах, а не только по времени появления — была «Роллинг стоунз». У Леннона и Маккартни («Битлз») и Джэггера и Ричарда («Роллинги») были сходные музыкальные антипатии — английская эстрадная и легкая музыка — и сходные увлечения — американский рок-н-ролл и ритм-н-блюз. Были во многом похожие, «разночинные», как сказали бы мы, биографии в начале жизненного пути. Участники двух групп были почти ровесники — в среднем год разницы, но этот год решил очень многое. Когда пришли «Роллинг стоунз», «Битлз» уже царили во вкусах и умах молодого поколения. «Роллингам» пришлось искать не свой голос — он был найден изначально, как и манера исполнения, по которой их сразу отличишь в общем хоре,— а свою «нишу», свою интонацию, своих поклонников. Во всем этом они преуспели.

«Битлз» начинали с того, что заявили права на владение огромным многокрасочным миром. «Роллинг стоунз» подытожили пафос своих песен в названии композиции «Нельзя получить все, что ждешь» (альбом «Пусть кровоточит», 1969 г.). Знаменитому «Yeah! Yeah!» («Да! Да!») «Битлз» они противопоставили свое столь же знаменитое и безоглядное «No! No!» («Нет! Нет!»):

Это все не... О нет, нет, нет!
Это все не то, что нужно!
Я ищу, я ищу, я ищу, я ищу...
Только нету! Только нету!

Их поэзия — поэзия не-имения, обделенности, одиночества, грубых гримас жизни. Лирический герой песен М. Джэггера и К. Ричарда существует не в мире чувств и даже не в вымышленной полусказочной вселенной, а на весьма грешной земле. Это молодой человек, рабочий или мелкий служащий в большом городе, часто явно люмпен, мод или рокер без определенных занятий; он, как выразились бы сегодня, непременный участник какой-нибудь тусовки, притом что внутренне одинок. Он хорошо знаком с изнанкой бытия и быта, не находит в жизни места и цели, не в ладах с окружением. Его равно не устраивают и социальные мифы, и каноны респектабельного общества, и образ жизни демократических слоев — в первую очередь потому, что и то, и другое, и третье ему пытаются навязать. Требования общежития и модус вивенди большого индустриального города (а «Роллинг стоунз» состоялись в Лондоне и ему принадлежали) их герой воспринимает как покушение на личную свободу, насилие над его волей. Поэтому в песнях ансамбля так резко, воспаленно передано это ощущение скованности, несвободы, невидимых пут. И столь же резко — до крика, до боли, до нервного срыва — прокламирован отказ мириться с таким ощущением: «(Это все не) то, что нужно», «19-й нервный срыв», «Исчезни как дым», «Приютите»...

Вырваться, выпутаться, освободиться — такова постоянная интонация их песен. Даже многократно апробированный в подобных положениях выход — любовь — для их лиричес-

---

[1] Написание названия группы дается в соответствии со сложившейся в журнале традицией.

кого героя уже не выход. Бравируя эдакой мужской брутальностью, он, герой, только и делает, что отшивает, ставит на место, приручает и т. п. некстати влюбляющихся в него представительниц слабого пола — «Сердце — камень», «Подруга про запас», «В последний раз», «Приручил», «Вчерашние газеты» и другие. И в то же время требует в своей неприкаянности от Провидения положенный ему «кусочек романтики», которая в его представлении связана с образом женщины идеальной,— композиции «Она как радуга», «Светильник», «В другой стране», «Алый Вторник». Действительность вносит, однако, поправки в эту мечту, поэтому для лирического героя «Роллинг стоунз» даже взаимное чувство приземлено, сопряжено с сором жизни, бегом времени, о чем недвусмысленно сказано в песнях «Еще раз», «Не легко», «Девушка с фабрики», «Одуванчик» и других. В максимализме своих требований к жизни он уязвлен опошленной бытом любовью. Впрочем, не только, а еще и необратимостью уходящего времени, уводящего с собой молодость («Маленький помощник мамы», «На ограде я сижу»), бездушным бытом современного метрополиса, нивелирующим личность («Цитадель», «Человек 2000 года», «Исчезни как дым»), жестокостью бытия как такового («Загородная шлюха», «2000 световых лет от дома», «Джампинг Джек флэш», «Пусть кровоточит» — полемика с позицией «Битлз», сформулированной через три месяца в песне «Пусть пребудет», что отчетливо выступает в названиях композиций на английском языке: «Let it Bleed» — «Let it Be»).

Твердое «нет», брошенное героем «Роллингов» миру неправедному, точнее, всему мироустройству, которое, с его точки зрения, в принципе несправедливо к человеку, было закреплено не только в тексте песен. Мик Джэггер как-то обронил в одном интервью: «Не думаю, что слова так уж важны». При этом он сослался на мастера американского негритянского рока «Толстяка» Домино, рекомендовавшего при исполнении по возможности сглатывать слова, петь неразборчиво, чтобы внимание слушателей не отвлекалось от музыки и инструментала. Справедливости ради нужно сказать, что тексты песен Мика Джэггера и Кийта Ричарда не менее продуманны, акценты расставлены не менее четко и выразительно, чем у «Битлз»; в композициях «Роллингов» мы находим столь же образцовое согласование музыки и текста. Но всякий, кто слышал записи «Роллинг стоунз», согласится с тем, что Мик Джэггер следует, за редкими исключениями, совету Домино. Пафос отрицания «Роллинги» доводят до слушателей не столько посредством текста, слова, сколько самой манерой исполнения — агрессивной, забойной, обрушивающейся как шквал. Музыка и инструментовка их композиций, быть может, доносит до слушателя это «нет» успешней, чем нередко тонущие в громе динамиков и воплях «заведенной» публики слова. В связи с чем американский критик Эл Ароновиц вспоминал: «Впервые послушать их в «Карнеги-холл» — то же самое, как если б на тебя вылили целое ведро музыки. Тогда «Роллинги» не концерты давали — они учиняли бунты» [1].

И верно. Эмоциональный вызов обществу, его установлениям и законам, открытый бунт против официально насаждаемых норм и добродетелей и, шире, против всего миропорядка выражен в композициях «Роллинг стоунз» стихийно-непосредственно, напористо и громко. Такие их сочинения, как «Твоя мамочка стояла, прячась за кустами», «Черной краской», «Маленький помощник мамы», «Уличный драчун», «Посочувствуйте Сатане», «Доклад Тернера» и многие другие, воспринимались — а отчасти продолжают восприниматься — как эпатаж, «пощечина общественному вкусу».

Носило ли это политическую окраску? На вопрос интервьюера: «Многие понимают ваши песни как политические или социальные манифесты. Что вы на это скажете?» — Мик Джэггер ответил: «Любопытно. Но наши песни — всего лишь непричесанные свидетельства того, как ощущают жизнь «Роллинг стоунз» [2].

Участники группы заявляли о своих политических и общественных позициях впрямую и открыто, но она, эта позиция, непримиримая и бунтарская по духу, недвусмысленно окрашивала собой их композиции, манеру исполнения, поведение, выбор нарядов и даже причесок. Это бунтарство, мне кажется, и обеспечило группе тогда, в шестидесятые, с одной стороны, безоглядную любовь фанатов, а с другой — настороженное отношение не только официальных лиц, но старшего поколения по преимуществу. Дело доходило до анекдотов. Так, директор одной английской школы распорядился, чтобы учеников, подстриженных под «Битлз», допускали к занятиям, а с прическами, точнее, колтунами, под «Роллингов» — ни в коем случае.

Сегодня я склонен считать, что молодежь больше всего привлекало, а старшее поколение отталкивало от «Роллинг стоунз» их стремление сформулировать для себя и других определенную систему «отрицательных» ценностей. Они ведь не просто отметали сложившиеся представления и стереотипы — они задумывались над ними, поверяли опытом повседневного существования и приходили к малоутешительным выводам, как в песне-балладе «Соль земли». Здесь Мик Джэггер и Кийт Ричард, бесспорно демократы по «корням» и мироощущению, люди толпы, хоть и высоко над толпой вознесенные, расписываются в своей верности сословию простых людей — и однако же отказываются числить себя среди «безликих черно-бело-серых масс» «молчаливого большинства». Похоже, они еще тогда решили: если традиционные ценности, искаженные современным миропорядком, не срабатывают, их следует заместить другими — отрицательными, но по отношению не к исконным общечеловеческим, а к искусственному новомодному заменителю последних.

Такой мне видится нравственная установка группы тех лет.

В этом смысле следует толковать композицию «Посочувствуйте Сатане» — метафору изысканную, многомерную, разворачивающуюся на одном поэтическом и музыкальном «дыхании». Между прочим, эта песня в свое время служила основанием приписывать группе некий демонизм и чуть ли не эстетизацию человекоубийства. А между тем здесь, как и во

---

[1] «Rolling Stones: An Unauthorized Biography...» — N. Y., Amsco Musik P. C., 1972, p. 132.
[2] Ibid., p. 104.

многих других случаях, предполагается счет от обратного: «отрицательные» ценности «Роллинг стоунз» суть всего лишь неприятие сатанинских ценностей, выдаваемых за положительные.

В чем только их не обвиняли — в воспевании порока, наркотиков, проституции, хулиганства, сексуальной распущенности и т. п., но почему-то упускали главное — иронию, которой проникнуты их песни, которая в первую очередь распространяется на самого лирического героя и «проявляется» в соотнесенности того, о чем они поют, с моральными установками, никогда и ни при каких обстоятельствах нормальным сознанием не пересмотренными. Эта ирония уберегает самые эпатажные сочинения Мика Джэггера и Кийта Ричарда от пошлости, сенсационности и цинизма.

«Роллинг стоунз» — единственная из знаменитых групп 1960-х годов, сохранившая себя как музыкально-исполнительский коллектив до настоящего времени. Ей уже тридцать лет; она, понятно, не могла все эти годы оставаться одной и той же. Мне кажется, изменения наметились после выхода из состава группы и трагической гибели Брайена Джонса (лето 1969) и четко обозначились в записях, составивших альбом «Блудливые ручонки» (1971). В 1970—1980-е годы у группы были удачи и неудачи, открытия, блестящие новые записи, вошедшие в классику жанра. Но это уже тема для другого разговора. Здесь же мы возвращаемся к золотому десятилетию английских вокально-инструментальных ансамблей — шестидесятым — и к «Роллинг стоунз», какими я их тогда слушал, слышал и любил.

В заключение хочу повторить сказанное ранее в связи с публикацией журналом «Иностранная литература» (1991, № 8) лирики Джона Леннона — Пола Маккартни: точный перевод текстов песен — дело малопродуктивное, ибо ничего, помимо косноязычного буквализма, тут, за редким исключением, не получается. Однако вольное переложение, привязанное к ритмической структуре и интонации оригинала, способно, кажется мне, дать представление о том, как писали и о чем пели группы. Поэтому я с удовольствием ознакомился с переложениями, сделанными поэтом и рок-музыкантом Григорием Агафоновым, и надеюсь, что его вариант прочтения лирики Мика Джэггера и Кийта Ричарда вызовет интерес.

В. СКОРОДЕНКО

(Это все не) то, что нужно

([I Can't Get No] Satisfaction)

Это все не
то, что нужно!
Это все не
то, что нужно!
Я ищу, я ищу, я ищу, я ищу...
Только нету! Только нету!

И когда я за рулем
Слышу диктора по радио
И он вкручивает мне
Целую кучу всякой чуши
И вешает лапшу на уши —

Это все не... О нет, нет, нет!
Эй! эй! эй! Слушай скорей!
Это все не
то, что нужно!
Это все не
то, что нужно!
Я ищу, я ищу, я ищу, я ищу...
Только нету! Только нету!

И когда, включив ти-ви,
Я вижу все того же типа,
Он говорит, как нужно жить,
А мне на это наплевать,
Мне просто хочется курить —

Это все не...

И когда, объехав мир
И сделав уйму нужных дел,
Я хочу подругу снять,
А она мне говорит: «Потом!
Ты видишь, мне сегодня в лом!» —

Это все не...

Исчезни как дым

(Get Off of My Cloud)

Я живу высоко, на девяносто девятом этаже;
Я смотрю в окно и представляю, будто мира нет уже.
И тут входит дядя, разодетый словно попугай,
Сует мне пачку порошка и говорит: «Скорее покупай!»
А я: «Эй, ты! Исчезни как дым!
Эй, ты! Исчезни как дым!
Эй, ты! Исчезни как дым!
На облачке тесном
Не хватит места
Двоим».

Тут мне звонят по телефону, я говорю: «Алло, вам кого?»
Мне говорят: «Привет, как жизнь?» Я отвечаю: «Так, ничего».
Мне говорят: «Три часа ночи! Хватит шуметь! Ложитесь спать!
И то, что вам там хорошо,— совсем не повод, чтобы мне мешать!»
А я: «Эй, ты! Исчезни как дым!
Эй, ты! Исчезни как дым!
Эй, ты! Исчезни как дым!
На облачке тесно,
На нем нет места
Двоим».

Меня достали, утомили, я решил прокатиться один.
Кругом покой и тишина. Меня не тронет ни один кретин!
И я лег спать прямо в машине и долго витал в облаках...
А утром — все стекло в квитанциях на штраф, как в праздничных флажках!
А я им: «Эй, вы! Рассейтесь как дым!
Эй, вы! Рассейтесь как дым!
Эй, вы! Рассейтесь как дым!
На облачке тесно,
И вам нет места
На нем».

Подруга про запас

(Back Street Girl)

Я не хочу глубины,
Я не хочу высоты.
Будем друг с другом честны:
Я очень рад, что есть ты.
Слушай, чего я хочу,
Сделай, как я научу, вот и все:

Спрячься подальше от глаз,
Ты мне нужна про запас.

Только не лезь в мою жизнь
И помолчи про свою.
Очень прошу, воздержись
Напоминать про семью.
В сани мои не садись,
Не за свое не берись и вообще —
Спрячься подальше от глаз,
Ты мне нужна про запас.

И у дверей не топчись,
Не обрывай телефон,
Ночью в окно не стучись —
Это совсем моветон.
И, как великую честь,
Скромно прими все как есть от меня:
Спрячься подальше от глаз,
Ты мне нужна про запас.

Маленький помощник мамы

(Mother's Little Helper)

Дети скверные пошли, вон как маму довели —
Маму может успокоить лишь одно:
Что у мамы есть дружок — желтый крошечный кружок,
Самый лучший, верный самый маленький помощник мамы,
Он указывает путь, как до ночи дотянуть.

Ну и времена пошли! Вон как маму довели —
Надоело каждый день варить обед.
Купит черствый пирожок, стейк мороженый сожжет —
И вперед, там верный самый маленький помощник мамы
Ей указывает путь, как до ночи дотянуть.

«Доктор, ну! еще одну!» —
Чуть за порог — еще пяток!
До чего противно стареть!

Мужики не те пошли, круто маму обошли,
Не въезжают, что она устала жить.
Всех не удовлетворишь, а от транков — гладь и тишь.
Самый лучший, верный самый маленький помощник мамы
Помогает ей заснуть, чтоб до завтра дотянуть.

«Доктор, ну! еще одну!» —
Чуть за порог — еще пяток!
До чего противно стареть!

Жизнь нелегкая пошла, мама полностью дошла.
Счастья нет — и маме лень его искать.
А как примешь все зараз, доза будет — высший класс!
Мамы больше нету с нами, маленький помощник мамин
Указал ей верный путь, как забыться и заснуть.

«Доктор, ну! еще одну!» —

Чуть за порог — еще пяток!
До чего противно стареть!

Человек 2000 года

(2000 Man)

У меня вместо имени порядковый номер,
И цветы из пластмассы растут в моем доме.
Наступает двухтысячный год,
Мои дети — совсем непонятный народ.

У меня есть жена, я по-прежнему ей нужен.
А зачем мне она? Мне с компьютером не хуже.
Наступает двухтысячный год,
Мои дети — совсем непонятный народ.

«Эй, папа! Будь горд за планету!
Эй, мама! Солнцем гордись!»

«Эй, папа! Ты все так же светел?
Вспомни, каким ты был!
А может, ты просто сбрендил,
Принял удар судьбы
И соскочил с резьбы?»

«Эй, папа! Будь горд за планету!
Эй, мама! Солнцем гордись!»

Вот тебе и двухтысячный год.
Наши дети — совсем непонятный народ.

2000 световых лет от дома

(2000 Light Years from Home)

Солнце, сделав круг, простилось с нами.
Мы летим, чтоб встретиться с мирами,
Где, как океан, бушует пламя...
О, как одиноко
В сотне световых лет от дома!

Мертвая багровая пустыня —
Энергия стынет...
О, как одиноко
В сотнях световых лет от дома!
О, как одиноко
В тысячелетии от дома!

Порт дает «добро». Ну что ж, пора нам.
Встретимся в тиши Альдебарана,
Там, где изумрудные барханы...
О, как одиноко
В двух тысячелетиях от дома!

Посочувствуйте Сатане
(Sympathy for the Devil)

Разрешите представиться: я изыскан и очень богат.
Я так давно живу среди вас, вашу жизнь превращая в ад.

Я стоял рядом, когда Иисус не хотел принимать свой крест;
Я сделал так, что Пилат умыл руки и в дела евреев не лез.

Рад вас видеть! Я вам всем знаком!
Не пугайтесь так! Я всегда был игроком.

Как-то, слоняясь по Санкт-Петербургу, я заметил — момент назрел.
Хлопнул царя, разогнал министров, а детей послал на расстрел...

В бронемашине, в маршальском чине
Я вел блицкриг — и мы всех мочили!

Рад вас видеть! Я вам всем знаком!
Не пугайтесь так! Я всегда был игроком.

Мне помогли ваши короли истребить врагов своих лживых богов.
Ну-ка, кто убил братьев Кеннеди? С моей помощью их убили вы!

Так вот, разрешите представиться: я богат и полон идей.
Я ставлю капканы на музыкантов — ни один не доедет в Бомбей!

Рад вас видеть! Я вам всем знаком!
Не пугайтесь так! Я всегда был игроком!

И как все стражи порядка — преступники и каждый грешник — свят,
Как рога — это хвост, так и я — Люцифер,— пусть зовут меня как хотят!

Но, встретив меня, будьте внимательны! Обязательно посочувствуйте мне!
Будьте тактичны и вежливы, а иначе — гореть вам в огне!

Рад вас видеть! Я вам всем знаком!
Не пугайтесь так! Я всегда был игроком!

Девушка с фабрики
(Factory Girl)

Жду мою кудрявую возле проходной,
Жду, а у нее нет ни пенни за душой,
На автобус — и домой...
Девушку с фабрики жду.

Жду мою хорошую, крепкую, как лось,
Жду, чтобы увидеть платок поверх волос,
Платье сзади порвалось...
Девушку с фабрики жду.

Жду, чтобы опять с кем-то драться за нее,
Жду, чтобы опять нам надраться с ней вдвоем,
Скоро мы глаза зальем...
Девушку с фабрики жду.

Жду, чтобы увидеть одежду всю в грязи,
Жду — и все сильнее колотится в груди:
Поскорее выходи!
Девушку с фабрики жду.

Соль земли

(The Salt of the Earth)

Мы выпьем за чернорабочих,
За тех, кто родился в пыли,
За добрых, а также всех прочих,
Мы выпьем за соль всей Земли!

Помолимся за рядового,
Несущего мир на плечах,—
Пусть в доме трудяги простого
Вовек не погаснет очаг!

Но стоит мне попасть в толпу
Безликих черно-бело-серых масс,
Я вижу: это бред.
Точнее, это фарс.

Поднимем бокал за рабочих,
За несчетное море голов,
За толпу, что бурлит и клокочет,
На щит поднимая плутов.

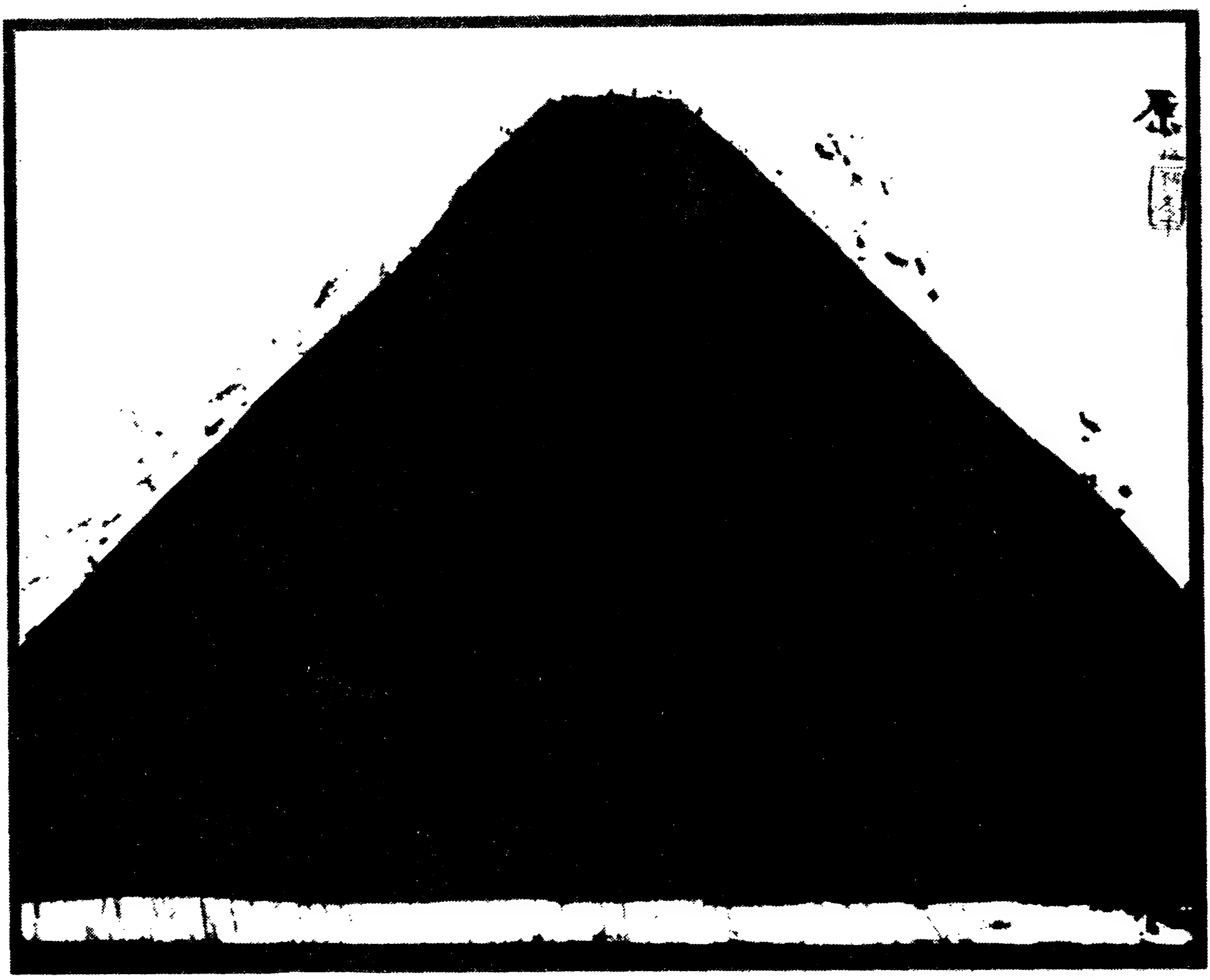
И вспомним о всех безразличных,
Кто смотрит в экран, как дурак,
И о ворах в костюмах приличных,
Пусть их хватит инфаркт или рак!

Но стоит мне попасть в толпу
Безликих черно-бело-серых масс,
Я вижу: это бред.
Точнее, это фарс.

Так выпьем же все за рабочих,
За тех, кто родился в пыли,
За добрых, за злых и всех прочих,
За соль нашей грешной Земли!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

КУЛЬТУРА И ЛИТЕРАТУРА СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ



АКИРА КУРОСАВА

Жабий жир

(Нечто вроде автобиографии)

ФРАГМЕНТЫ

Перевод Л. ЕРМАКОВОЙ

Предисловие

В довоенные времена, когда по стране еще бродили странствующие торговцы, продававшие разные знахарские зелья, была у них традиционная зазывная побасенка, помогавшая сбыть некое снадобье под названием «жабий жир», якобы особенно эффективное при лечении ожогов и порезов. Будто бы жабу с четырьмя ногами спереди и шестью сзади сажают в шкатулку, вдоль всех четырех стенок уставленную зеркалами. Жаба, потрясенная собственным появлением из каждого угла, начинает обливаться маслянистым потом. Этот пот надо собрать и варить на слабом огне 3 721 день, помешивая ивовой веткой. В результате получится чудесное целебное средство.

И вот, когда я пишу о себе, я чувствую себя этой жабой в шкатулке. Мне приходится смотреть на себя под разными углами зрения, в разные годы жизни, независимо от того, нравится мне это или не нравится. Пусть я не десятиногая жаба, но то, что предстает передо мною в зеркале, и в самом деле вызывает у меня нечто вроде жабьего маслянистого пота.

Благодаря заговору обстоятельств я достиг в этом году семидесяти одного года, сам того не заметив. Что я могу сказать, оглядываясь назад, кроме того, что произошло очень многое? Разные люди советовали мне написать автобиографию, но я никогда особенно не был склонен к этой идее. В частности, я полагал, что вещи, относящиеся ко мне лично, недостаточно интересны для того, чтобы записывать их и оставлять потомкам. Еще более существенным было мое убеждение, что если мне и случится что-нибудь написать, то это будет рассказом о кино. Иными словами, возьмите мое «я», вычтите кино и получите ноль.

И все же некоторое время назад я перестал противиться этой идее. Думаю, моя капитуляция связана с тем, что недавно я прочел автобиографию французского режиссера Жана Ренуара. В прошлом мне представился случай познакомиться с ним, и я был даже приглашен к нему на обед, за которым мы говорили на самые разные темы. По моим впечатлениям, это был совсем не такой человек, который сядет и будет писать собственную биографию. Поэтому, когда я услышал, что он решился на это рискованное предприятие, мне показалось, будто у меня под ногами грохнул взрыв.

В предисловии к своей книге Жан Ренуар пишет: «Многие мои друзья уговаривали меня писать автобиографию... Им уже недостаточно того обстоятельства, что художник свободно выразил себя с помощью камеры и микрофона. Они хотят знать, кто он такой».

И далее: «Истина заключается в том, что этот самый индивидуум, которым мы так гордимся, состоит из столь разнородных элементов, как: мальчишка,

© Akira Kurosawa, 1984

с которым он дружил в детском саду, герой первой прочитанной им сказки и даже песик его двоюродного брата Эжена. Мы существуем не сами по себе, но через окружение, сформировавшее нас... И я стремился припомнить тех людей и те события, которые, как мне кажется, сделали меня тем, что я есть».

Мое собственное решение написать эти главы, которые в несколько ином виде были вначале опубликованы в журнале «Сюкан ёмиури», было навеяно вышеприведенными словами, а также тем потрясающим впечатлением, которое произвел на меня Жан Ренуар,— я понял, что хочу стареть так же, как стареет он.

Есть и еще один человек, на которого мне хотелось бы походить по мере моего старения,— покойный американский кинорежиссер Джон Форд. Я сожалею о том, что он не оставил нам своего жизнеописания, и это сожаление тоже сыграло свою роль. Разумеется, по сравнению со столь прославленными мастерами я просто неоперившийся птенец. Но если многие люди, по их утверждению, хотят знать, что я за человек, наверно, мой долг — написать для них что-нибудь. Я вовсе не уверен, что написанное мной будет читаться с интересом, и, кроме того, я должен объяснить, что решил довести свое повествование лишь до 1950 года, когда я сделал свой фильм «Расёмон» (причины этого я впоследствии объясню). Но я взялся за эти заметки с ощущением, что не должен бояться осрамиться и мне надлежит высказать самому себе все то, что я постоянно твержу тем, кто моложе меня.

Младенчество

Я, голый, сижу в тазике.

Комната плохо освещена, я барахтаюсь в горячей воде и, ухватившись за край тазика, раскачиваюсь.

Тазик слегка покачивается в углублении покатого деревянного пола, вода плещется через край.

Наверно, это меня забавляло.

Я раскачал таз изо всей силы.

И тут же перевернулся.

Я и сейчас живо помню свою растерянность и испуг, прикосновение влажных досок, на которые я вывалился голый, и какую-то жуткую яркую штуку, нависшую надо мной.

Позже, когда я уже начал понимать, что к чему, я порой вспоминал об этом происшествии, но, пока не повзрослел, не говорил о нем, не придавая ему особого значения.

И вот когда мне уже было за двадцать, я в какой-то связи вновь припомнил этот случай и спросил о нем у матери.

Мать с явным изумлением воззрилась на меня и сказала, что это произошло, когда мне был год и мы поехали в Акита, на родину отца, чтобы присутствовать на поминальной службе по деду.

Мать рассказала, что эта темная пристройка служила в доме одновременно кухней и банькой, и она, прежде чем поместить меня в офуро [1], сначала посадила в таз с горячей водой, а сама вышла в соседнюю комнату, чтобы снять кимоно. И тут услышала мой внезапный вопль. Она бросилась обратно и увидела, что я вывалился на пол и плачу.

А та жуткая штука, светившаяся надо мной, оказалась подвешенной к потолку керосиновой лампой, которой освещалась кухня. Все это мать рассказывала, не сводя с меня пристального удивленного взгляда, а я тогда уже вымахал под метр восемьдесят и весил килограммов шестьдесят.

Это событие, когда я голый сидел в тазу, самое раннее, что я помню в жизни.

Само собой, у меня не удержалось в памяти, как я родился. Однако самая старшая из моих сестер, ныне уже покойная, говорила: «Ты был странный младенец». Из чрева матери я вышел молча, не издав ни звука, крепко сжав

---

[1] Офуро — бочка с горячей водой, традиционное приспособление для мытья в японском доме. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

кулачки, которые никак не удавалось разжать. Когда пальцы наконец разняли, то на обеих ладошках обнаружились родинки. Хотя, может, это и выдумка. Сочиненная, чтобы поддразнивать меня, маленького.

Если бы я и вправду был от рождения таким жадиной, то, наверно, теперь бы разбогател и ездил в «роллс-ройсе». (Кстати, моя старшая сестра, которая дразнила меня той историей, незадолго до смерти увидела в телепрограмме звезд знаменитого певца Акиру Куросаву, решила, что это я, и приговаривала: «Вот у нас Акира какой молодец». И хотя дочь и сын убеждали ее, что это вовсе не дядя Акира, она упрямо настаивала на своем. В детстве старшие сестры частенько заставляли меня петь перед ними. И теперь я должен быть благодарен тому Акире Куросаве, что он за меня спел моей сестре в ее последние дни.)

Все остальные события младенчества, кроме того случая в годовалом возрасте, вспоминаются мне как хаотичные обрывки киноленты, не наведенной на резкость. И все это — воспоминания о том, что я видел, вися за няниной спиной. Например, я смотрю через металлическую сетку, как одетые в белое люди размахивают дощечками, бьют по мячу, потом догоняют мяч, который, танцуя, взмывает в воздух или катится по земле, хватают и уносятся с ним. Много позже я сообразил, что это я сквозь сетку видел бейсбольную площадку на уроке физкультуры в школе, где работал мой отец. Выходит, с раннего детства я наблюдал, как играют в бейсбол, так что, ничего не скажешь, моя привязанность к этой игре имеет глубокие корни.

Еще одно детское воспоминание — пожар где-то вдалеке, тоже увиденный из-за няниной спины.

Между пожаром и нами было темное море. Дом наш был в Оомори, у побережья, а пожар, видневшийся издали, случился, вероятно, где-то поблизости от Ханэда. И все же я испугался этого дальнего пожара и заплакал. Пожаров я и сейчас не выношу. Особенно потрясает меня красное зарево в ночном небе.

И еще воспоминание — как няня, неся меня за спиной, входит в темную тесную комнатушку. Что это было? Впоследствии я время от времени принимался раздумывать над этим. И вот однажды меня вдруг, словно Шерлока Холмса, осенила догадка. Это нянька, не снимая меня со спины, ходила в уборную. Надо же — какая беспардонная нахалка!

Но когда через годы она пришла навестить меня, доросшего до ста восьмидесяти сантиметров, посмотрела снизу вверх и, обняв мои колени, сказала со слезами: «Как же ты вырос, мальчуган!» — у меня не хватило духу упрекнуть ее в прошлых грехах. Я был растроган обликом этой старушки, внезапно явившейся пред мои очи и уже мне незнакомой, и только растерянно взирал на нее с высоты своего роста.

Детство

Не знаю почему, но я очень плохо помню те несколько лет между временем, когда я научился ходить и когда пошел в детский сад. Отчетливо и в ярких красках вспоминается только одна сцена. Это железнодорожный переезд. По ту сторону, за опущенным шлагбаумом, стоят отец с матерью, братья и сестры, а я один — на этой стороне. Через рельсы между ними и мной то туда, то сюда перебегает белая собака, помахивая хвостом. Так повторяется несколько раз, и вот, когда она снова направляется в мою сторону, внезапно проносится поезд.

Перед моими глазами лежит разрезанная надвое собака. Ее рассеченное пополам тело — как ярко-красная тушка распотрошенного тунца. Я совершенно не помню, что последовало за этим чудовищным зрелищем. Наверно, у меня начались судороги, и я потерял сознание.

Я смутно помню, как потом нескольких белых собачек приносили в дом в корзинке или на руках, вели на поводке, подводили ко мне, а потом уводили. Наверно, родители разыскивали для меня белых собак, похожих на ту, погибшую.

По рассказам сестер, я упорствовал и вел себя как дурачок и, увидев белую собачку, начинал рыдать и кричать, как невменяемый: «Не хочу, не хочу!»

Может быть, лучше было привести мне черную собаку вместо белой?

Белые собаки лишь напоминали мне о том ужасном ощущении.

Лет тридцать с той поры я не мог есть сасими и суси из красной рыбы.

Наверно, шок обостряет память до мельчайших деталей. Следующее мое воспоминание о том, как какие-то люди принесли домой брата с окровавленными бинтами на голове.

Брат был на четыре года старше меня, значит, учился тогда в первом или втором классе. На уроке физкультуры он шел по высокой перекладине, и его снесло оттуда сильным ветром. Похоже, что жизнь его была тогда в опасности.

Я помню, как младшая из моих старших сестер, увидев его в крови, вдруг закричала: «Я хочу вместо него умереть!»

Пожалуй, в нашей семье слишком много эмоций и недостает рациональности, люди мы чувствительные, добросердечные, но сентиментальные и взбалмошные.

Итак, пришла пора детского сада. Точно знаю, что я поступил в детский сад при школе Моримура в Синагава, но почти не помню, чем там занимался. Вспоминаю только, что мы должны были разводить огород, и я посадил нанкинские бобы. Я их тогда очень любил, но желудок у меня был довольно слабый, и мне их дозволяли есть совсем понемногу, так что я решил посадить их в большом количестве.

Но вот не помню, удалось мне вырастить много нанкинских бобов или нет.

И кажется, именно тогда я впервые увидел «движущиеся картинки». Если от нашего дома в Оомори дойти до станции Татиаигава, сесть на поезд, идущий в Синагава, и сойти на станции Аомоноёкотё, там и будет кинотеатр. Там в середине второго яруса была одна секция, устланная ковриком, и мы всей семьей смотрели оттуда «движущиеся картинки». Что я тогда смотрел — когда еще ходил в детский сад или в первые классы школы,— понятия не имею. Помню, была какая-то потешная комедия, очень мне понравилась. И еще сцена — наверно, из «Зигомара»,— как человек, сбежавший из тюрьмы, забирается на крышу высокого здания, выходит на край и прыгает оттуда в темный канал.

Еще сцена: юноша и девушка подружились на корабле. Корабль потерпел крушение и тонет, юноша, собираясь войти в переполненную лодку, видит оставшуюся на палубе девушку, сажает ее в лодку вместо себя и машет ей рукой (это, наверно, фильм «Куоре»).

А однажды в этом кинотеатре не показали обещанную комедию, и я капризничал и плакал. Помню, как сестра пугала меня, что раз я такой глупый, то вот за мной придет полицейский, и прочие ужасы в том же духе.

Однако мне трудно связать кинопросмотры той поры с моим вхождением в мир кино в более поздние годы. Тогда я лишь искренне радовался приятному разнообразию, волнениям и переживаниям, которые вносило кино в мою монотонную повседневную жизнь, заставляя меня смеяться, негодовать, печалиться и проливать слезы над движущимися картинками.

Когда я окидываю взглядом прошлое, то понимаю: путь ко мне сегодняшнему открыл мой отец — человек строгих взглядов, выходец из военной семьи, в те времена, когда считалось, что кино не слишком-то благоприятно воздействует на подрастающее поколение, он упрямо водил семью в кино, да и потом не изменил своему убеждению, что кино приносит пользу делу воспитания.

И еще одно, о чем я хочу здесь рассказать,— об отношении отца к спорту. С тех пор как он вышел в отставку, он работал учителем физкультуры. Помимо старинных японских видов физических упражнений, таких, как дзюдо и кэндо, он организовал еще занятия по другим видам атлетики с разными гимнастическими снарядами, выстроил первый в Японии плавательный бассейн, способствовал распространению бейсбола, энергично развивал все формы спорта. Его идеи живы для меня и сегодня.

Я люблю и сам заниматься спортом и смотреть, как это делают другие. И это, разумеется, отцовское влияние.

В детстве я был довольно хилым. Отец частенько ворчал: «Ведь я тебя еще ребенком носил к чемпиону сумо Умэгатани, хотел, чтобы ты рос здоровым...» Что касается сумо, то помню, как я с галереи смотрел на отца, выступавшего на арене в прежнем Национальном дворце спорта. Интересно, сколько мне тогда было лет? Помню, что я сидел тогда на коленях у матери — значит, был еще совсем малец.

Кэндо

В школах эпохи Тайсё (1912—1925) с пятого класса обязательным предметом было кэндо. Занятия проводили два раза в неделю. Сначала мы учились размахивать бамбуковыми мечами, затем отражать удары, а потом дело доходило до обычного снаряжения кэндо, которое передавалось в школе от одних учеников к другим, и мы начинали фехтование в три раунда.

Обычно кэндо преподавали учителя, более или менее в этом разбиравшиеся, но временами приходил мастер фехтования с помощником и исправлял заново наши движения.

Они отбирали способных ребят, тренировали их, иногда фехтовали на настоящих мечах и показывали стиль своей школы. Имя этого мастера кэндо было Магосабуро Отиаи (а может быть, Матасабуро, и то и другое похоже на имя мастера кэндо, и сейчас мне трудно вспомнить точно). Это был огромный, могучий человек, и когда они с помощником демонстрировали свой стиль, то обрушивали на противника удары отчаянной силы. Ученики, затаив дыхание, не отрывали от них глаз.

Этот мастер признал меня способным, решил отдельно заниматься со мной, и я преисполнился воодушевления.

Придя на занятия, я высоко взмахнул бамбуковым мечом, крикнул: «В лицо!» — подпрыгнул, и тут мне показалось, что я взлетаю. Я суетливо переступил с ноги на ногу, и вдруг ноги оказались в воздухе, пол куда-то исчез, и я почувствовал, как сильная рука Магосабуро Отиаи без усилия приподнимает меня. Я был потрясен, мое уважение к мастеру, разумеется, перешло в преклонение.

Вскоре я заявил отцу, что хочу поступить в обучение к Отиаи. Отец обрадовался. Может, от моих слов в нем взыграла его самурайская кровь или вспомнился офицерский дух его молодости, во всяком случае, результат моего заявления превзошел все ожидания.

Как мне кажется, это было тогда, когда мой старший брат, от которого столь многого ждали, сбился с пути. И все надежды, связанные с ним, были теперь, как видно, возложены на меня, до тех пор баловня в семье. С того времени отец стал обращаться со мной требовательно и сурово. Он горячо поддержал намерение заниматься кэндо, но объявил, что я должен еще взяться за каллиграфию, а после возвращения с утренних занятий в школе Отиаи ходить на поклонение в синтоистский храм бога Хатимана.

Школа Отиаи была расположена далековато. От нашего дома даже до своей школы Курода я, еще ребенок, тащился довольно долго. А теперь дорога была раз в пять длинней. К счастью, храм Хатимана, куда отец велел мне являться каждое утро, находился недалеко от школы Курода, по дороге от фехтовального зала Отиаи. И все же мне приходилось, следуя отцовскому приказу, утром отправляться в зал Отиаи, потом посещать храм Хатимана, потом, забежав домой на завтрак, той же дорогой идти в школу Курода и вновь тем же путем из школы домой, потом — к учителю каллиграфии, потом — к моему любимому учителю Татикаве.

Учитель Татикава вскоре уволился из школы Курода, но мы с моим приятелем Уэкусой ходили к нему в гости и проводили много времени в его доме с радостью и пользой для себя: учитель придерживался принципов свободного воспитания, уважал в ученике личность, а супруга его принимала нас с истинным добросердечием. И я, что бы ни происходило, не мог отказаться от этих драгоценных часов.

Однако из-за всего этого я уходил из дома еще затемно и возвращался после захода солнца. Я подумывал было пренебречь посещением храма, но отец вручил мне небольшой дневничок, чтобы священник каждое утро ставил мне туда печать — на память о моих визитах.

Выхода не было. Я сам запустил этот волчок, с моих слов закрутилась вся эта жизнь, и делать было нечего.

Я поступил в фехтовальную школу Отиаи, пошел по одному пути с отцом, и этот мой тяжкий труд, с перерывом на воскресенья и летние каникулы, продолжался до тех пор, пока я не окончил школу.

Отец теперь даже зимой не позволял мне носить носки таби под деревянные гэта. От постоянных обморожений и трещин мои руки и ноги приобрели вид достаточно плачевный.

А мать отогревала мне руки и ноги в горячей воде и залечивала раны. Она была типичной дамой эпохи Мэйдзи. И женой военного. (Позже я читал «Заметки о Пути японской женщины» Сюгоро Ямамото и встретил там описание женщины, как две капли воды похожей на мою мать. Помню, как меня это тронуло.) И все-таки она старалась спрятать и защитить меня от отца и выслушивала мои жалобы.

Мне бы не хотелось, чтобы мой рассказ о матери выглядел как назидательная притча, дело вовсе не в этом. Но все, что я пишу,— чистая правда. Мать всегда вела себя абсолютно естественно. Кроме того, я думаю, как раз мой отец и был на самом деле сентиментален, хотя его поведение скорее говорило об обратном, а матери был свойствен рациональный взгляд на вещи.

Помню, это было позже, в разгар войны, я навестил родителей в деревне в Акита, где они нашли приют, и уже должен был возвращаться в Токио. Я подумал, что, может быть, больше их не увижу, и все оборачивался и смотрел на отца с матерью, вышедших меня провожать. Мать вскоре вернулась в дом, а отец, уже казавшийся мне издалека величиной с горошину, все стоял и смотрел мне вслед.

Во время войны была песня: «Отец, ты сильным был!» Я же, скорее, сказал бы: «Мать, ты сильной была!»

Однажды я был потрясен ее стойкостью.

Она тогда готовила на кухне еду, и масло в кастрюле загорелось. Тогда мать взяла кастрюлю обеими руками. Руки жгло, огонь опалил ее брови и волосы, но она хладнокровно прошла гостиную, всунула ноги в сандалии-гэта и вынесла кастрюлю на середину двора.

Потом прибежал доктор, снимал пинцетом обожженную до черноты кожу с рук, прикладывал лекарство. На это было невозможно смотреть.

Однако лицо матери даже не дрогнуло. И через месяц после этого, бывало, она прижимала к груди перебинтованные руки, словно держа некий предмет, но ни разу не пожаловалась, что ей больно или тяжко, лишь сидела, неподвижно застыв.

Мне такое было бы не под силу.

Кажется, я отклонился от темы — расскажу еще о школе Отиаи, кэндо и о себе. Посещая фехтовальный зал, я приобрел замашки заправского маленького кэндоиста. Это и понятно, я же был тогда совсем мальчишкой. А сколько книг я прочел из домашней библиотеки учителя Татикавы о разных мастерах кэндо — от Бокудэна Цукахары до Матаэмона Араки!

Я тогда не носил школьной формы, а ходил в кимоно из ткани с набивным узором, в хлопчатобумажных штанах хакама, в тяжелых деревянных гэта — ну чистый монах.

Забегаю вперед, но облик мой той поры, когда я ходил в школу Отиаи, должен напомнить Сусуму Фудзиту в роли Сансиро Сугаты, если его сделать втрое короче в длину, вдвое уже в ширину и еще добавить бамбуковый меч за поясом поверх костюма для кэндо.

Каждое утро, когда небо на востоке еще не начинало светлеть, я шел по освещенной фонарями улице вдоль набережной реки Эдогава, грохоча своими тяжелыми гэта. Я проходил мост Кодзакурабаси, потом Исикирибаси и выходил на трамвайную линию. Когда я добирался до моста Хатторибаси, мимо меня проезжал в обратном направлении первый трамвай, а я шагал к мосту Эдогавабаси.

Туда было минут тридцать ходьбы. Потом я шел минут пятнадцать до Отова, поворачивал влево и с трудом поднимался по склону в направлении Мэдзиро. После этого пройдешь еще минут двадцать, и уже слышишь, как бьет барабан, объявляя о начале утренних занятий в школе Отиаи. Его стук заставлял ступать быстрее, еще пятнадцать минут — и вот она слева, фехтовальная школа Отиаи.

С момента выхода из дома дорога занимала один час двадцать минут быстрой ходьбы.

Занятия в фехтовальном зале начинались с того, что все ученики мастера Магосабуро Отиаи садились в позу медитации перед синтоистским алтарем камудана с зажженными фонариками, концентрировали внутри себя силу, изгоняли мирские мысли. Дощатый пол, на котором мы сидели, был твердым и холодным, и, чтобы выдержать этот холод, особенно зимой, и в самом деле нужно было много сил, а у нас, одетых лишь в фехтовальный костюм, зуб на зуб не попадал, так что ни одна мирская мысль нам в голову не приходила.

По окончании медитации начиналась тренировка по отражению ударов. Зимой мы думали только о том, как бы поскорее согреться, а вот в хорошую погоду приходилось тратить массу энергии, чтобы «изгнать» сонливость.

Потом мы делились на группы по уровню подготовки и в течение 30 минут, договорившись друг с другом, вели схватки. Потом снова садились для медитации, кланялись наставнику, и на этом утренние занятия кончались, но даже в холодные зимние дни от наших разгоряченных тел шел пар.

Как тяжело бывало передвигать ноги, когда, выйдя из школы Отиаи, я направлялся к храму! Я спешил в храм с одним желанием — скорее попасть домой и позавтракать. В погожие дни как раз в это время солнце уже освещало верхушки деревьев гингко, росших во дворике храма. У входа в молельный зал я ударял в гонг «крокодилья пасть» (металлический гонг, плоский и круглый, полый внутри, с продолговатым отверстием внизу,— в него ударяли, раскачивая сплетенную из материи веревку), затем хлопал в ладоши и совершал поклон, после чего шел к дому священнослужителя, стоявшему в углу храмовой территории. Войдя в прихожую, я громко возглашал: «Доброе утро». Выходил священник, у которого белым было все: и кимоно, и хакама, и волосы,— перелистывал протянутый мной дневничок и рядом с датой молча ставил печать. У этого священника всякий раз, когда я его видел, непрестанно двигались челюсти — должно быть, я всегда заставал его за завтраком.

После этого я спускался по каменным ступеням и шел домой на завтрак мимо школы Курода, куда должен был вскоре отправиться.

Когда я выходил к подножию моста Исикирибаси и начинал приближаться по набережной Эдогава к дому, солнце уже стояло высоко и светило мне прямо в лицо.

Всякий раз при этом я невольно думал о том, что для обычных детей день только начинается. Однако это меня вовсе не уязвляло, скорее я испытывал чувство удовлетворения и гордости.

А после этого мой день проходил как у других детей.

Позавтракав и отучившись, я возвращался домой. Но занятия в этой школе, с тех пор как оттуда ушел учитель Татикава, стали для меня неинтересными, пустыми и томительными.

Слабак и трус

В 3-м году эры Сёва (1928) я начал ходить в Институт пролетарского искусства, находившийся в районе Тосима, квартал Сиина, и выставил на тамошней выставке свои картины и плакаты. Однако тот реализм, который преобладал в Союзе пролетарских художников, тяготел, скорее, к натурализму и казался мне довольно далеким от сурового реализма Курбе. Там были и высокоодаренные художники, однако это движение отличалось не столько интересом к основам и сути живописи, сколько тенденциозностью, с которой художники перелагали на полотна плохо усвоенные политические идеи. Я, относившийся к этому с определенным сомнением, начал даже утрачивать прежний энтузиазм, с которым предавался писанию картин.

И вот однажды на перроне станции Ёёги я случайно встретил Кэйноскэ Уэкусу. Сейчас уж не помню, о чем мы тогда разговаривали. Я терзался своими проблемами и, должно быть, рассуждал на отвлеченные темы. Даже когда Уэкуса сказал, что тоже участвует в движении пролетарского искусства и вступил в Союз пролетарских писателей, я слушал его довольно безучастно.

После этого я окончательно разочаровался в такой живописи и занялся нелегальной деятельностью. В те времена коммунистическая газета тоже ушла

в подполье, ее заголовки стали писать латиницей и прятать среди виньеток. Я стал членом одного из низших звеньев этой организации. В любой момент за нелегальную деятельность я мог быть арестован. У меня уже был опыт сидения в кутузке в качестве члена Института пролетарского искусства, и если бы меня схватили еще раз, я бы уже так легко не отделался.

Мне становилось тошно, стоило лишь представить лицо отца, когда меня арестовывают. Я ушел из дома под предлогом, что меня попросили пожить некоторое время в доме старшего брата. Я все время менял место жительства, иногда находил приют в домах людей, сочувствующих движению.

Сначала я исполнял роль связного и передавал информацию на улице. Однако карающая рука закона была столь грозной, что частенько связной, которому я должен был передать сведения, не являлся на встречу. Его арестовывали по дороге, и он исчезал.

Помню один день, когда был сильный снегопад. Я открыл дверь кафе, где была назначена встреча, и застыл. В кафе было человек пять-шесть, которые, завидев меня, разом поднялись. Я сразу понял, что это спецотряд полиции. В их лицах было что-то змеиное, странно, до чего они все были похожи. Как только они вскочили, я тут же бросился бежать. Каждый раз я, когда шел на встречу, на всякий случай разрабатывал себе маршрут побега, и вот теперь это пригодилось.

Бегаю я не слишком быстро, но я был молод и мчался по заранее намеченному пути, так что оставил этих типов позади.

Было и другое. Однажды меня задержал жандарм, но он оказался человеком добродушным и даже не обыскал. Я объявил, что хочу в уборную, и он тут же повел меня туда. И даже дверь за мной закрыл. Я поспешно заглотал важные документы, бывшие при мне, и вскоре меня выпустили.

Подобные острые ощущения доставляли мне удовольствие. Я часто менял одежду, бывало, носил очки, и весь этот маскарад был вполне забавен. Число арестованных все росло, в редакции пролетарской газеты стало не хватать людей, и я, хотя был еще зеленый, в мгновение ока оказался помощником редактора. Человек, который тогда возглавлял газету, сказал мне: «Ты ведь не коммунист, правда же?» Да, это была правда.

Я читал «Капитал» и книги по историческому материализму, но многого не понимал и не был в состоянии анализировать японское общество с этой точки зрения. И все же я чувствовал острую неудовлетворенность японским обществом и враждебность к нему, поэтому, чтобы бороться с ним, я и присоединился к самой радикальной части движения протеста.

Когда я теперь думаю об этом, то нахожу свое поведение легкомысленным и безрассудным.

Но как бы там ни было, до 7-го года эры Сёва (1932) я шел по этому пути.

В тот год была особенно холодная осень. Иногда средства, которыми меня ссужала организация, были чрезвычайно скудны, вот-вот могли и вовсе прекратиться, и частенько мне приходилось есть всего раз в день, а бывало, что за весь день у меня не было во рту ни крошки.

Разумеется, в моем жилье не было никакого отопления, и я обходился тем, что перед сном шел в баню и согревался там. Один связной, из рабочих, с которым я часто встречался по заданию, рассказал мне, что он считает дни до той даты, когда ему должны достаться очередные деньги от организации, делит имеющиеся на число дней и тратит ежедневно на еду соответствующую сумму.

Однако у меня так не получалось, и, чтобы утолить голод, я тратил деньги быстрее. И когда они кончались, а выходить на улицу не было надобности, я залезал под одеяло и пытался превозмочь голод и холод. Выпускать газету стало трудно, и такие дни выпадали все чаще.

Я, разумеется, мог пойти к брату за помощью, но самолюбие не позволяло мне отправиться к человеку, сказавшему когда-то: «Твой пыл обычно быстро угасает».

Я жил тогда в темной комнатушке размером в четыре циновки татами, где никогда не бывало солнца. Она находилась на втором этаже дома, над залом для игры в маджонг, недалеко от моста Суйдобаси. Однажды я простудился, у меня поднялась температура, и я совсем слег. Лежал в жару, уткнув голову в подушку, слышал, как внизу стучат фишками игроки, и стук этот казался то очень громким

и близким, то отдаленным и тихим. Я провел в бреду два дня, прислушиваясь к этим звукам. Хозяин дома, заподозрив неладное, пришел посмотреть, что со мной такое. Испугавшись запаха пота и моего изнуренного болезнью лица, с которого пот стекал крупными горошинами, он сразу сказал, что надо вызвать врача.

«У меня ничего серьезного нет»,— категорически заявил я. Я не знал, серьезно обстоит дело или нет, но уж если придет врач, то дела будут совсем плохи. У меня не было денег, чтобы заплатить ему.

Выслушав мои слова, хозяин молча вышел. Через некоторое время его дочь принесла мне жидкую рисовую кашу. И пока я не поправился, они приносили мне ее три раза в день.

Сейчас я не могу вспомнить лица и имени этой девушки. Но никогда не забуду ее доброты.

Пока я болел, моя связь с парнями из пролетарской газеты оборвалась. Мы тогда боялись арестов по цепочке и поэтому не знали домашних адресов друг друга, место следующего свидания определялось во время конспиративной встречи, так что я ничего сделать не мог.

Может быть, если бы я захотел установить связь, то нашел бы способ. Однако после болезни я был настолько измучен и слаб, что на это у меня вовсе не было сил.

А если говорить честно, то невозможность восстановить связь была для меня лишь предлогом — я просто ускользнул от тяжелой нелегальной работы. Накал левого движения не угас — видно, мой пыл с самого начала был не таким уж горячим.

Ослабший от болезни, неуверенно ступая, я совершал прогулки по дороге от Суйдобаси до Отяномидзу, которой часто ходил в школьные годы. Пройдя Отяномидзу, я выходил к мосту Хидзирибаси. От моста я спускался по склону налево, поворачивал к кварталу Судатё. Там стоял кинотеатр «Синема палас».

В газетных рекламах этого кинотеатра мне попадалось имя старшего брата. Подняться на крутой склон, а за ним, на спуске, его дом.

Я дописал до этого места, и мне вдруг вспомнились строчки Кусадао:

Приятен голос плаксы-теленка,
бегущего вниз по петляющей дорожке...

Дорожка в бренный мир

Если обогнуть квартал Кагурадзака в Усигомэ по направлению к ограде храма, выйдешь к переулку, который не изменился со времен Эдо. Только дома в нем обзавелись стеклянными дверями, а в остальном, как прежде, вдоль него тянулись три длинных строения, разделенных на секции. Старший брат жил в одной из этих секций вместе с некоей женщиной и ее мамашей. Туда я и перебрался после болезни.

Придя к брату за кулисы «Синема палас», я застал его врасплох, и он уставился на меня с откровенным изумлением.

— Акира, что с тобой? Заболел?

Я покачал головой.

— Просто устал немного.

Брат пожал плечами.

— Похоже, что не так уж немного. Пойдем-ка ко мне.

И вот я оказался на его попечении. Через месяц я снял жилье неподалеку, но там лишь ночевал, а весь день проводил в доме брата.

Когда я покидал родительский дом, то сказал отцу, что буду жить у брата, так что моя ложь теперь стала правдой. И этот дом, и этот переулок хранили атмосферу эдоских времен. Там не было водопровода, зато имелся старый колодец со скамейками вокруг него, и жившие там люди сплошь были как чудом сохранившиеся эдосцы прежнего времени. Среди этих людей брат казался бродячим самураем, эдаким Ясухэем Хорибэ из преданий, и его там уважали.

Каждый отсек такого дома состоял из прихожей размером в две циновки, гостиной в шесть циновок, а также кухни и уборной, то есть было очень тесно.

Сначала я удивлялся, что брат с его доходами живет в таком месте, но время шло, и я начал постигать особую прелесть здешней жизни.

Среди обитателей переулка были люди с определенной профессией — строительные рабочие, плотники, штукатуры, но много жило и такого народу, про который никак нельзя было понять, чем он занимается. Однако все они старались поддерживать друг друга, и, хотя жизнь у них была явно несладкой, они казались на удивление жизнерадостными и при случае любили пошутить. Шутили даже маленькие дети.

— Папочка, куда это ты вчера вечером запропастился? Мама уж ревновать начала.

Разговоры взрослых были в том же духе.

— Сижу это сегодня утром у дверей, на солнышке греюсь. И вдруг из соседней двери вышвыривают свернутое одеяло. А из него вываливается сам хозяин. Горячая там хозяйка, уж как начнет уборку...

— Да нет, слушай, она как раз все продумала! Она его закатала в одеяло и выбросила на улицу, чтобы при уборке не попортить.

Хотя теснота в домах была ужасная, кое-кто умудрялся еще устроить комнатенку под крышей, и находились желающие ее снять. Был один парень, снявший каморку на чердаке, он занимался мелкой торговлей рыбой, и каждый день на рассвете, раздобыв жестяную банку, ходил на берег покупать у рыбаков улов. Смысл его жизни был в том, чтобы, проработав усердно месяц, облачиться в лучшую свою одежду и идти к проститутке.

Для меня эта жизнь была в диковинку, и я ей удивлялся и радовался, словно читал старинные комические истории Сикитэй Самба и Санто Кёдэн. И в то же время все это было весьма поучительно. Старики, жившие в этих бараках, по большей части служили гардеробщиками, присматривавшими за обувью посетителей в залах рассказчиков или в кинотеатре «Кагурадзака», им легко доставались абонементы в эти залы, и потом они их за небольшие деньги продавали соседям.

Я пользовался этим и, пока жил у брата, каждый вечер ходил или слушать рассказчиков, или в кино.

В те времена там было два кинотеатра — «Усигомэкан», где показывали западные фильмы, и «Буммэйкан» — для японских, был зал для рассказчиков «Кагурадзака энбудзё» и еще два, названия которых я забыл.

Кино я смотрел не только в этих двух кинотеатрах, но, пользуясь знакомствами брата, везде где хотел. А вот шанс познакомиться с традиционным искусством рассказчиков — это уже был дар старинного квартала Кагурадзака. Когда я наслаждался простонародным искусством — комическими рассказами ракуго, лирическими историями, пением под сямисэн, выступлениями сказителей нанива-буси,— мне и во сне бы не приснилось, что в будущем все это так пригодится, я этим просто и бесхитростно упивался. Смог я соприкоснуться и с искусством балаганных шутов, иногда снимавших зал рассказчиков и громко оповещавших о своем выступлении.

Я и сейчас помню одну пантомиму под названием «Закат дурака». Там изображалось лишь, как дурак на закате солнца стоит и, разинув рот, смотрит, как вечереет небо и как вороны летят домой на свой насест. Я был потрясен искусством этого мима, выразившего столь точно состояние души дурака, и сделавшего это и смешно, и отчасти грустно.

Кинематограф тогда вступил в эпоху звуковых фильмов, и я перечислю те, что остались в памяти. Это — «На западном фронте без перемен» (Майлстон), «Западный фронт» (1918, Пабст), «Последний батальон» (Бернхардт), «Духи пустыни» (Уайлер), «Под крышами Парижа» (Клер), «Грустный ангел» (Стернберг), «Преступный город» (Майлстон), «Уличная сценка» (Видор), «Марокко» и «Секретный агент X № 27» (Стернберг), «Огни большого города» (Чаплин), «Трехгрошовая опера» (Пабст), «Парламент танцует» (Шарель).

Развитие звукового кинематографа положило конец эпохе немого кино и стало угрозой для существования комментаторов немых фильмов. Это оказало серьезнейшее влияние на жизнь моего старшего брата, одного из лучших комментаторов тех лет, но поскольку он получил назначение в перворазрядный кинотеатр «Тайкацукан» в Асакуса и на первый взгляд казалось, что все у него в порядке, я продолжал радоваться атмосфере квартала.

А тем временем я начал замечать, что в жизни обитателей длинных бараков, кроме их жизнерадостности, бодрости и шуток, есть и темная, страшная сторона.

Наверно, она есть везде, составляя половину человеческого существования, но тогда я проник в эту сторону вещей впервые и, несмотря на свою беззаботность, невольно призадумался.

Там происходило разное: рассказывали о человеке, изнасиловавшем свою малолетнюю внучку, о женщине, которая каждый вечер, как в фарсе кёгэн, поднимала переполох в доме, угрожая покончить с собой. Однажды вечером она попыталась повеситься на стропилах, но неудачно, все подняли ее на смех, и тогда она бросилась в колодец и утонула. Много было историй, подобных старинным сказкам о том, как мучают приемышей. Все они весьма печальны, я здесь приведу только одну, точь-в-точь повторяющую старинный сюжет, а об остальных вы уж догадаетесь сами.

Итак, это история о том, как приемной дочери велели купить побольше моксы, травы для прижиганий.

Она очень похожа на сказку Янаги Фурукавы, где злая мачеха истязает ни в чем не повинную падчерицу, прижигая ее моксой; автор описывает лицо девочки, когда ее за этой моксой посылают. Янаги Фурукава живописует жестокость женщины, издевающейся над ребенком.

И почему мачехи мучают падчериц? Не потому ведь, что ненавидят прежнюю жену своего мужа, мать этого ребенка. Мне кажется, это от невежества. А невежество — один из видов сумасшествия. Человек, который истязает беззащитных детей и животных,— сумасшедший. Однако хуже всего то, что эти сумасшедшие имеют самый обычный вид.

Однажды, когда я был у брата, ко мне в комнату влетела, рыдая, женщина, жившая в том же длинном доме. «Я не могу больше этого выносить!» — кричала она, прижимая руки к груди, плакала и тряслась. Из ее объяснений следовало, что по соседству с ней мучают ребенка. Она услыхала, как какая-то девочка надрывно кричит, и заглянула в окно соседней кухни. Там новая жена хозяина дома привязала падчерицу к балке и ставит ей на живот огромные пучки моксы. Женщина хотела что-то прибавить, но тут, бросив взгляд на улицу, словно язык прикусила. Мимо шла слегка накрашенная дама, она приветливо поклонилась нам и прошла. Проводив ее взглядом, соседка сказала с сердцем: «Вот мерзавка! Только что у нее было лицо как маска ведьмы из театра. Но, и вот уже преобразилась!» Миновавшая нас женщина и была той мачехой, которая истязала ребенка. Поверить в это было никак невозможно, но соседка стала просить: «Акира, пожалуйста, помоги ребенку», и я, поскольку брат был на работе, наполовину веря, наполовину сомневаясь, поплелся за соседкой. Заглянув в соседское окошко, я и в самом деле увидел девочку, привязанную мужским поясом к балке. Окно было открыто, и я залез в него с чувством воришки, забирающегося в чужой дом. Торопясь, я развязал пояс и освободил девочку. Однако она не только не обрадовалась, но, наоборот, взглянула на меня с бешенством.

— Что это вы делаете? Вас никто об этом не просил!

Я оторопело взирал на нее.

— Если она увидит, что я не привязана, то будет мучить еще больше.

У меня было такое чувство, словно меня ударили в лицо. Даже развязанная, эта девочка не могла высвободиться из своих пут.

Чужое сочувствие не приносило ей никакой пользы. Напротив, это умильное сострадание доставляло новые хлопоты.

— Ну, привязывайте скорей,— огрызнулась девочка, и я снова завязал пояс вокруг балки.

История, о которой я не хочу писать

Я только что изложил неприятную историю и заодно решил написать о том, о чем писать не хочу.

То есть о смерти старшего брата.

Мне тяжело писать об этом, но иначе я не продвинусь дальше, так что ничего не поделаешь.

Вскоре после того как я соприкоснулся с темными сторонами жизни переулка, мне вдруг захотелось вернуться в родительский дом.

В то время в европейском кинематографе уже царило звуковое кино, и в кинотеатрах, где показывали европейские фильмы, комментаторы стали не нужны, их всех собирались уволить, и все они начали забастовку, а брат возглавил забастовочный комитет, и у него было множество неприятностей. Я стал еще больше мучиться тем, что обременяю его своим присутствием в доме. И вскоре вернулся к родителям.

Они ничего не знали о том, как я жил все это время, и встретили меня так, словно я возвратился с экскурсии на натурные зарисовки.

Отец все спрашивал о том, каким видам живописи я учился, поэтому мне приходилось помалкивать или выдавать соответствующую случаю ложь. Видя, что отец жаждет, чтобы я стал художником, я подумал — не заняться ли мне опять живописью, и снова начал делать всякие наброски.

Мне хотелось писать маслом, но весь семейный бюджет держался на старшей сестре, вышедшей замуж за учителя из школы Моримура, так что у меня не хватало духу попросить, чтобы мне купили краски и холсты.

И тут случилось мрачное событие — неудавшаяся попытка самоубийства брата. Думаю, что причиной было его тяжелое положение главы комитета провалившейся забастовки. Он, мне кажется, понимал, что по мере развития техники звукового кино кинокомментаторы станут не нужны. Легко представить себе его положение: с одной стороны, он сознавал поражение наперед, с другой — не мог отказаться, когда его попросили возглавить забастовку. Я ждал какого-нибудь радостного события, чтобы отвлечь брата от его тягот, а все семейство — от этого происшествия, бросившего черную тень на нашу жизнь. И я придумал, что надо по всем правилам женить брата на той женщине, с которой он вместе поселился.

Я почти год жил у них постояльцем, она относилась ко мне безупречно, да и я привязался к ней, как к свояченице, поэтому считал естественным, что я и должен все это устроить. Ни у родителей, ни у сестры эта идея не вызвала возражений.

Только вот неожиданность — брат на все это отвечал уклончиво. Я же в простоте своей связывал его уклончивость с тем обстоятельством, что он остался без работы.

И вот однажды мать говорит мне.

— Слушай, а с Хэйго (имя моего брата) все в порядке?

— А в чем дело?

— Да вот... Он ведь всегда говорил, помнишь, что умрет до тридцати...

Он и в самом деле так говорил.

«Я умру до того, как мне исполнится тридцать. После тридцати люди делаются уродливыми и злобными»,— такова была его излюбленная фраза. Я всегда полагал, что причина была в его юношеском литературном увлечении — он был страстным поклонником русской литературы, считал «У последней черты» Арцыбашева высшим достижением мировой словесности, всегда носил эту книгу с собой. И фраза, предвещавшая его собственное самоубийство, как мне думалось, была навеяна чарами евангелия внезапной смерти, которое проповедовал Наумов — главный герой книги «У последней черты». Поэтому я с легкой улыбкой ответил на опасения матери:

— Люди, которые говорят о смерти, обычно не умирают.— И ответ мой был до крайности легковесным и небрежным.

Через несколько месяцев после того, как я произнес эти слова, брата не стало.

Как он всегда и говорил, он умер до тридцати. Когда он покончил с собой, ему было двадцать семь.

За три дня до этого он угощал меня в кафе. Странно, но я никак не могу вспомнить, где мы сидели. Наверно, шок от его гибели был настолько силен, что я остро помню эту встречу, ставшую для нас последней и прощальной, но никакие подробности не удержались в памяти. Расставались мы на станции Синъокубо. Я сел в машину. Брат сказал, чтобы я ехал домой, и стал подниматься по лестнице. В тот момент, когда машина тронулась, он сбежал по лестнице и остановил шофера. Я вылез и, подойдя к нему, спросил:

— Что такое?

Брат некоторое время пристально смотрел на меня.

— Ничего. Можешь ехать.

И он снова пошел вверх по лестнице.

Когда я увидел его в следующий раз, голова его была завернута в окровавленную простыню.

Он покончил с собой в номере гостиницы на горячих источниках в Идзу. Увидев тело, я застыл на пороге комнаты, не в силах пошевелиться.

Один наш родственник, приехавший вместе с отцом, чтобы забрать тело брата, словно сердясь, спросил:

— Акира-сан, вы что?

«Что» я? Я смотрел на тело мертвого брата. Моего родного брата, в чьих жилах текла та же кровь, что у меня, брата, пролившего эту кровь, моего драгоценного брата, которого мне ничто не могло заменить. «Что» я? Негодяй какой!

— Акира! Помоги-ка,— тихо сказал отец. Покряхтывая, он начал заворачивать тело брата в простыню. Я был поражен отцовским обликом.

Когда мы грузили труп в машину, которую наняли в Токио, раздался слабый стон. Наверно, согнутые ноги нажали на грудь, и оттуда через рот вышли остатки воздуха.

Шофера трясло, он гнал машину как бешеный сначала до крематория, потом обратно в Токио, заезжая бог весть в какие проулки.

Мать и это вытерпела молча, не проронив ни слезинки. Когда я смотрел на нее, мне все время невольно казалось, что она винит в происшедшем меня, хотя понимал, что этого не может быть. И я попросил у нее прощения за то, что говорил безответственные и вздорные слова, когда она тревожилась о брате и советовалась со мной.

Она же сказала мне только:

— О чем ты, Акира?

Какое я имею право сердиться на того родственника, который сказал мне: «Вы что?»

Что я сам говорил тогда матери?

Больше того, а что я сказал брату?

Какой же я безнадежный дурак...

Негатив и позитив

А что было бы, если...

Я и сейчас порой думаю об этом. Если бы брат не покончил с собой, вошел бы он, подобно мне, в мир кино? Знаний о кино и способностей у него было с лихвой, хватало и хороших друзей в кинематографических кругах, да он еще был достаточно молод, так что, будь на то его воля, он мог бы составить себе имя.

Но волю его, видимо, нельзя было поколебать, кто бы что ему ни сказал.

С тех пор как он, с его выдающимися способностями, потерпел поражение на школьных экзаменах, пессимистическая философия, угнездившаяся в его умной голове, наложилась на образ Наумова из романа «У последней черты», проповедовавшего, что все усилия человека тщетны, подобны пляске на могиле, и убежденность брата стала неколебимой. Кроме того, брат, педантичный во всем, не мог, провозгласив нечто, сделать вид, будто этого не было.

И разве он не увидел, как сам, погрязая в мирских делах, становится уродливым и злобным?

Впоследствии, когда я уже попал в мир кино и работал первым помощником режиссера на съемках фильма «Уроки по написанию сочинений» (режиссер Кадзиро Ямамото), Мусэй Токугава, игравший в нем главную роль, присмотрелся ко мне и сказал:

— Вы с братом похожи как две капли воды. Только он как негатив, а ты — позитив.

Сначала я понял его слова в том смысле, что мы с братом — прямо одно

лицо, но из дальнейших его объяснений я вывел, что он имел в виду другое: хоть мы с братом очень похожи внешне, однако на его лице словно лежала некая темная тень, ее можно было усмотреть и в некоторых проявлениях его характера. У меня же и выражение лица, и характер тяготеют к свету, обращены к солнцу.

И Кэйноскэ Уэкуса говорил мне, что я как подсолнух — все поворачиваюсь к солнцу. Так что, может, это и правда во мне есть.

Но я думаю, что позитивное во мне проявилось благодаря тому, что у меня был негатив — брат.

Опасный поворот

Когда брат погиб, мне исполнилось двадцать три года. Когда же я стал заниматься кино, мне было двадцать шесть.

За эти три года никаких особых событий не произошло. Примерно в то же время, когда брат совершил самоубийство, пришло известие о смерти от болезни самого старшего из моих братьев, от которого давно не было никаких вестей. Старшим сыном в доме остался я и чувствовал ответственность за родителей. Мое безделье начинало меня тяготить.

Однако в те годы художнику было еще труднее проложить себе дорогу, чем теперь, и я даже начал сомневаться в собственных способностях.

Насмотревшись работ Сезанна, я выходил из дома, и дома, улицы, аллеи — все казалось мне картиной Сезанна. Смотрел Ван Гога и Утрилло — то же самое, лишь их картины стояли перед глазами. И это было совсем не похоже на то, что я видел обычно. В общем, собственными глазами я смотреть не мог.

Сейчас-то мне кажется, что все это было вполне естественно — так быстро собственного зрения обрести нельзя. Однако я, по молодости лет, терзался этим и тревожился. Я был словно в горячке, тщась выработать индивидуальное видение мира. Смотрел разные альбомы, мне казалось, что у каждого японского художника есть своя собственная манера, и я подстегивал себя, торопясь обрести свой взгляд на вещи.

Сейчас мне понятно и то обстоятельство, что художников, на самом деле наделенных даром особого видения и имеющих индивидуальный стиль, было до чрезвычайности мало, а остальные занимались техническими изысками и пустым щегольством.

Не помню, чья это песня — о человеке, который всю жизнь не мог назвать красное просто красным, а когда смог, то это был уже закат его жизни. Вот точно так же в молодости так сильно желание выразить себя, что часто из-за этого себя теряют.

Я не стал исключением из этого правила, тоже разрабатывал технические приемы и в этой тщеславной погоне начал ощущать ненависть к себе, утрачивать веру в свой дар, и сама работа над картиной стала для меня мучением.

К тому же, чтобы покупать краски и холст, мне приходилось зарабатывать на стороне и заниматься совсем неинтересными вещами. Например, я делал кое-какие иллюстрации для журналов, изображал, как резать редьку в пособии для кулинарного училища, рисовал карикатуры в бейсбольный журнал. Необходимость браться за кисть ради денег довела меня до того, что желание заниматься живописью стало во мне угасать. Я начал подумывать о том, чтобы подыскать себе какое-нибудь другое занятие. Конечно, мне было очень важно угодить родителям, и ради их спокойствия я был согласен на все. Когда не стало брата, лихорадочное стремление бросить все это еще усилилось; я, следовавший во всем брату, теперь был похож на раскрученный волчок. Думаю, что это был очень опасный период в моей жизни. Однако отец держал меня в узде. «Не горячись, не горячись,— говорил он мне.— Если сохранишь самообладание и выждешь, дорога сама тебе откроется». Не знаю, на чем он основывался, говоря это. Может быть, исходил из собственного трудного жизненного опыта. И вот его слова, как это ни удивительно, сбылись.

В один из дней 11-го года эры Сёва (1936) я читал газету, и в глаза мне бросилось объявление о том, что киностудии «PCL» требуются помощники режиссера.

До тех пор у меня и в мыслях не было заниматься кино, но этим объявлением я невольно заинтересовался. Там было написано, что сначала в качестве испытания надо написать сочинение. Тема его была — указать фундаментальные изъяны японского кино и предложить способы их преодоления. Мне это показалось интересным.

В объявлении чувствовался юношеский энтузиазм киностудии, ее упорство. Это объявление возбудило во мне, с моим всегдашним духом противоречия, игровое начало. Расскажите, значит, о коренных недостатках и о том, как их исправить, но ведь коренные-то и исправить нельзя, говорил я себе.

С этими озорными мыслями я начал писать свое сочинение. Сейчас уж я его толком не помню, но под влиянием брата я посмотрел много западных фильмов и научился разбираться в них, а будучи любителем кино, видел массу недостатков в японском кинематографе, так что наверняка написал то, что мне приходило в голову и раньше.

В объявлении говорилось также, что к сочинению надо приложить автобиографию и выписку из семейной регистрационной книги, а так как я тогда готовился искать работу, то эти документы уже лежали у меня в столе.

Все это вместе с сочинением я и отослал на адрес киностудии.

Через несколько месяцев проводилось второе испытание, и я получил письмо, уведомляющее, что я должен явиться в студию в такой-то день и час.

Стало быть, сочинение принято. С таким чувством, словно меня околдовала лиса-оборотень, в назначенный день я отправился в киностудию.

Как-то я видел фотографию этой студии в одном журнале — перед зданием росли пальмы, и я решил почему-то, что она находится на морском побережье в Тиба.

Однако в извещении о втором экзамене было написано, что надо пересесть в Синдзюку на линию Одакю и сойти на станции Сэйдзёгакуэн. Глупо, конечно, но я, пересев на линию Одакю, все думал: может, ехать в Тиба? Совсем я не знал тогда японских кинокругов, да мне прежде и во сне не снилось, что я там буду работать.

В общем, добрался я до киностудии «PCL» и встретил там лучшего наставника в моей жизни Яма-сан (режиссер Кадзиро Ямамото).

Перевал

Я дописал до этого места и остановился, охваченный странным чувством. Мне пришла в голову мысль, что дорога, приведшая меня в студию «PCL» и вообще кинематограф, была слишком уж хитроумна; это не может объясняться случайным стечением обстоятельств. Я мог бы догадаться, что в кино сочетаются в единстве живопись, литература, театр, музыка — то есть все то, что я издавна поглощал с такой жадностью. Однако тогда я этого не понимал.

Не знаю почему, но этот путь был мне словно уготован. И при этом я шел по нему совершенно бессознательно.

Двор киностудии был полон народу.

Как я узнал потом, на эти вакансии претендовало более пятисот человек. На сочинении две трети отсеялось, но и в тот день собралось не меньше ста тридцати соискателей.

Я знал, что вакансий всего пять, и увидев толпу народу, как-то сразу расхотел проходить второй экзамен.

Во мне преобладало желание понять, что это за место — киностудия, а вовсе не интерес к экзамену, так что я стал с любопытством осматриваться. Съемок в этот день, как видно, не было, никаких артистов я не углядел, а вот один из претендентов на должность был в визитке.

Странно, что такая деталь запала мне в память, но я и теперь иногда об этом вспоминаю. Зачем этот человек пришел на студию в визитке? — думаю я и качаю головой.

Короче говоря, перед экзаменом нас поделили на несколько групп, и каждой группе дали отдельную тему для написания сценария, после чего предполагалось собеседование, но сначала сценарий.

Исходным материалом для него в моей группе служила заметка с третьей полосы газеты — уголовная хроника о рабочем из Кототи, совершившем преступление из-за одной танцовщицы.

Я понятия не имел о том, как пишутся сценарии, и в полном недоумении покосился на соседа. Тот строчил что-то с видом человека бывалого.

Не собираясь плутовать, я просто посмотрел, что он пишет и понял: сначала надо указать место действия, а потом уж писать дальше. Так я и сделал. Как начинающий художник, я решил применить прием живописи: изобразить попеременно мрачный заводской квартал и артистическую уборную в кабаре, блистающую всякой мишурой, дабы обозначить контраст между жизнью рабочего и танцовщицы, противопоставить черному розовое. Но какое там у меня вышло повествование — не помню.

Я сдал свой сценарий и долго еще после этого ожидал устного экзамена.

Пока я писал сценарий, прошло добрых полдня, и со времени завтрака я сильно проголодался.

Там, в студии, была столовая, но я не знал, можно ли нашему брату туда ходить. Спросил у парня, стоявшего рядом, тот оказался человеком приветливым, и так как у него тут был знакомый, он попросил пустить нас. Этот знакомый угостил меня рисом с карри, а потом опять я долго ждал, и уже наступали сумерки, когда меня наконец позвали в комнату для собеседования.

Тогда я и встретился впервые с Яма-сан. Разумеется, в то время я не знал, кто передо мной.

Мы просто прекрасно с ним поговорили — о картинах, о музыке, ну и, поскольку это была кинофирма, о кино тоже. Сейчас я не помню подробностей, но впоследствии Яма-сан, когда представлял меня в каком-то журнале, написал, что Куросава любит картины Тэссай, Содацу и Ван Гога, а также музыку Гайдна. Может быть, об этом мы тогда и говорили. В общем, мы обсуждали все на свете.

Увидев, что за окном темнеет, я сказал ему, что там, снаружи, еще томится в ожидании много народу. «Ну что ж, тогда спасибо,— улыбаясь, простился со мной мой собеседник.— Если ты едешь в сторону Сибуя, то садись на автобус у ворот». И действительно, я подождал какое-то время, и пришел автобус на Сибуя. Я все ехал и смотрел в окно, но море так и не показалось.

Через месяц после этого я получил приглашение на третий тур экзаменов.

На этот раз изучались анкетные данные, надо было знакомиться с директором и управляющим студии. Секретарь подробно расспрашивал меня о семье, и я, вдруг выйдя из себя, вскричал:

— Это что, допрос?

Тут вошел директор студии (в то время им был Ивао Мори), стал успокаивать меня, и я решил, что все пропало.

Неожиданно через неделю меня известили о том, что я принят.

Однако в день последнего экзамена мне стал ненавистен этот их секретарь, к тому же я увидел актрис, и мне совсем не понравились их размалеванные лица, одним словом, когда я показал извещение о приеме отцу, то добавил, что вообще-то у меня душа к этому не лежит.

«Не понравится, бросишь в любой момент,— сказал отец.— Однако для опыта все полезно. Может, попробуешь все-таки — пусть даже месяц или хотя бы неделю?» Я согласился с ним. И поступил на студию «PCL».

В этот день вместе со мной приняли не пятерых, а человек двадцать. Удивившись, я навел справки и узнал, что, кроме пятерых помощников режиссера, взяли пять кинооператоров, пять звукооператоров и пять человек в контору студии, и все они сдавали экзамены в другие дни.

Зарплату всем нам назначили 28 иен, а служащим конторы — 30. Секретарь объяснил, что они получают на две иены больше потому, что в отличие от людей творческих профессий у них меньше надежд на будущие успехи. Этот секретарь впоследствии стал главным управляющим. Однажды на моего коллегу-режиссера упал прожектор и сломал ему шесть ребер. От шока у него начались кишечные спазмы и развился аппендицит. Так вот, этот господин заявил, что за сломанные ребра студия несет ответственность, а за аппендицит — нет.

А после войны во время голосования на профсобрании в студии он собрал максимальное число «черных шаров» как самый неприятный человек.

И вот не успел я приступить к работе на студии, как тут же решил оттуда уходить. Отец говорил, что любой опыт полезен, но такой опыт меня совершенно не устраивал.

Помощники режиссера, уже давно работавшие там, всячески удерживали меня, уговаривая, что и фильмы бывают разные, и режиссеры тоже.

И правда, когда первую картину закончили, я попал в группу к Яма-сан и узнал на деле, что мои старые товарищи правы: и фильмы, и режиссер оказались совсем другими.

Работать в группе Ямамото было радостью. И я ни за что не хотел бы оттуда уйти. К счастью, и Яма-сан решил меня не отпускать.

В моей жизни задул ветер перемен. Словно ты одолел долгий, мучительный путь вверх по горной дороге и, приближаясь к перевалу, почуял свежее дыхание ветра, дующего с той стороны.

Когда такой ветер обвевает лицо, понимаешь, что перевал совсем рядом. И, добравшись до него, можешь увидеть сверху все то, что открывается взгляду.

Меня переполняло ощущение, что я наконец добрался до перевала, стоя рядом с кинокамерой за стулом, на котором сидел Яма-сан.

Яма-сан делал именно то, чем мне хотелось заниматься. Я дошел до своего перевала. За перевалом открылась распахнутая взору дорога.

«PCL»

— Вы из компании, где делают дирижабли? — спросила меня глуповатая девица из бара, увидев мой значок. Значок студии был сделан в виде кинообъектива с буквами PCL. При определенном ракурсе его можно было принять за дирижабль. «PCL» было сокращением от «Photo Chemical Laboratory». Так назывался научно-исследовательский институт фотографии. Этот институт вначале занимался исследованиями в области звукового кино, потом при нем создали студию и начали выпускать кинопродукцию.

«PCL» не была изначально кинофирмой, поэтому в ней чувствовалась атмосфера новизны и молодой дух. Режиссеров там работало немного, но зато большинство из них были прогрессивными и энергичными.

Кадзиро Ямамото, Микио Нарусэ, Сотодзи Кимура, Сю Фусимидзу — все они были молоды, лишены деляческого духа, и их фильмы, отличавшиеся от остальной японской кинопродукции тех лет, можно сравнить с весенними циклами хайку: «молодые побеги», «крепкий ветер», «дуновение ароматов».

В их фильмах чувствовалось здоровье молодости, вспомним картины Нарусэ-сан «Жена! Будь как роза», Яма-сан «Ваш покорный слуга — кот», Кимура-сан «Брат и сестра», Фудсимидзу-сан «Отряд трубадуров».

Правда, в этих работах ощущалась некоторая оторванность от времени и японской действительности, а ведь над страной уже собирались грозовые тучи. Япония вышла из Лиги Наций, произошел февральский путч 1936 года, был заключен японо-германский антикоминтерновский пакт, а фильмы выпускались такие, словно все гуляют в парке Хибия, распевая песни о поре цветения фиалок.

Как раз после февральского путча я и поступил в «PCL» и помню, что в тени здания студии лежал снег, оставшийся после обильного снегопада.

Теперь мне кажется поразительным, что в PCL можно было так легко дышать. Мозговой трест студии тоже состоял из молодежи, рвущейся к новому и пробивающей все запруды. Работники студии были еще новичками, делали первые, не очень уверенные шаги, но в их наивных прямолинейных работах, несмотря на безыскусность, чувствовались доброта и подкупающая искренность, особенно по сравнению с нынешними сумбурными фильмами.

Наверно, «PCL» была чем-то вроде фабрики грез. Среди новопринятых помощников режиссера был один выпускник Токийского университета, один — из Киотского, один — из Кэйо, один из Васэда и еще один со странной биографией (это я), и все мы резвились, как выпущенные в воду мальки.

В те годы в «PCL» на помощников режиссера смотрели как на кандидатов в руководители (будущих директоров фильма и режиссеров), поэтому нам поручали выполнять самые разные виды работ. Мы помогали проявлять пленки,

таскали мешки с гвоздями, носили при себе молоток и отвес, участвовали в написании сценариев и редактировании текстов, заменяли актеров в эпизодических ролях и даже составляли смету выездных съемок.

Кроме того, наш директор, познакомившись с американскими киностудиями, пришел в восхищение от важности роли, которая отведена там главному помощнику режиссера, а также четкостью его работы. Когда он вернулся, то повесил в центре студии объявление о том, что распоряжение главного помощника режиссера равносильно приказу директора.

Это объявление вызвало сопротивление во всех отделах студии, и нам, помощникам, приходилось буквально сбиваться с ног, чтобы преодолеть его.

«Если у вас есть жалобы, приходите ко мне в монтажную»,— тогда главному помощнику режиссера доводилось частенько повторять эти слова, и на задах монтажной он вел долгие споры с операторами, осветителями, бутафорами, декораторами.

И все же, несмотря на разные крайности и перегибы, как мне кажется, основная линия была верна — упор на то, что помощники режиссера станут в будущем руководителями, и вся их деятельность была подготовкой к этому будущему.

Нынешние помрежи, став режиссерами, наверняка поначалу испытывают массу трудностей. Пока не пройдешь все виды занятий, связанных с кинопроизводством, настоящим режиссером не станешь. Ведь режиссер — он как командир на линии огня. Мало владеть военным искусством, надо еще досконально знать все рода войск, иметь связь со всеми подразделениями.

Мне повезло, что я прошел школу в «PCL». Там умели растить кадры. Если уж взяли человека — его надо готовить, воспитывать. Воспитать работника — это значит взрастить его талант, лишь потом получишь отдачу.

Чтобы построить хороший дом, сначала надо вырастить деревья — кипарисы и криптомерии. А если собирать по палочке да по досочке, получится что-то вроде мусорного ящика.

Я и сейчас иногда словно окунаюсь в атмосферу «PCL» и размышляю о коренных изъянах современного японского кино.

Самая красивая

Энциклопедию моей жизни с той поры, как я стал режиссером, лучше всего строить по названиям фильмов.

«Сансиро Сугата», 1943 год, мне тридцать три.

«Самая красивая», 1944, мне тридцать четыре,— и так далее.

Однако датировать фильмы правильнее не годом их выхода на экран, а предыдущим.

Над фильмом «Самая красивая» я начал работать в 1943 году.

Перед тем как я к нему приступил, меня вызвали в отдел информации военно-морского флота и посоветовали снять сцену большого сражения с японскими штурмовыми самолетами «Зеро». Эти «Зеро» в американской авиации называли «черными монстрами», их боялись, поэтому и было решено, что подобные съемки помогут поднять боевой дух.

Я ответил, что подумаю. Было очевидно, что мы уже близки к поражению. Силы армии и флота истощены, лишних самолетов «Зеро» для фильма нет. Больше этот разговор не поднимался.

Вместо этого фильм «Самая красивая» стал рассказом о батальоне девушек-добровольцев. Действие происходило на японском оптическом заводе в Хирацука, героями повествования были девушки, занятые на производстве линз для военных нужд.

Я решил придать фильму полудокументальный характер. Мне не хотелось устраивать на заводе игровую сцену, я задумал снять группу девушек, в самом деле там работающих, сделать фильм-документ.

Начал я с того, что стал выбивать из молодых актрис весь актерский профессионализм, которого они успели набраться.

Расправившись с гримом, аффектацией, театральностью, актерским само-

мнением, я хотел вернуть к жизни тех девочек, которыми эти актрисы были прежде. Поэтому я начал с тренировок по бегу, потом заставил их играть в волейбол, затем организовал среди них оркестр из барабанчиков и флейт, и они должны были маршировать по городу.

Актрисы не особенно возражали против бега и волейбола, но были определенно против маршировки с оркестром, поскольку стеснялись толпы зевак.

Однако мало-помалу и это вошло в привычку, их косметика становилась все более безыскусной, и они уже смотрелись как группа здоровых, веселых девиц, каких встречаешь повсюду.

Тогда я и привел их в общежитие оптического завода, распределил по цехам, и им дали такое же дневное занятие, как и работницам.

Как я сейчас понимаю, им со мной как с режиссером было трудно. Все молча исполняли мои распоряжения. В обстановке военного времени приказы воспринимались как нечто вполне естественное. Я же, требуя от них всего этого, не имел в виду, что они будут работать из патриотического самоотвержения, просто иначе не удался бы этот фильм, главной темой которого было именно патриотическое самоотвержение. Получились бы вырезанные из картона силуэты, лишенные всякого сходства с реальностью.

Роль начальницы женского общежития я поручил актрисе Такако Ириэ. Ириэ-сан от природы была по-матерински заботлива к людям, молодые актрисы ее обожали, и это очень помогало мне.

Одновременно с актрисами я привел в заводские общежития и остальных членов съемочной группы. Утро в мужском общежитии начиналось с пения флейт и стука барабанов, слышных издалека.

Заслышав эти звуки, мы все срывались с постелей, второпях одевались и бежали к переезду Хирацука. По белоснежной, покрытой инеем улице шествовали наши оркестрантки с повязками на голове, исполняя простую, но мужественную и бодрую мелодию. Они проходили мимо, поглядывая на сотрудников группы и продолжая играть, проходили через переезд и вступали в ворота завода.

Проводив их взглядом, мы возвращались в общежитие, завтракали и шли на завод снимать фильм. По приемам и по ощущению это было очень похоже на съемку документального кино.

Актрисы, работавшие в цехах, играли роли в соответствии со сценарием, однако не столько обращали внимания на камеру, сколько были заняты выполнением своего задания и работой станков. В их взглядах и движениях почти не ощущалось, что они сознательно играют роль, зато в них была живая энергия и удивительная красота занятого делом человека. Лучше всего это видно в сценах, смонтированных из множества крупных планов, когда я снимал актрис за работой.

Крупные планы шли под боевой стук полевых барабанов из фильма «Марш верных» Сузы, что сообщало этим кадрам атмосферу мужества и отваги, словно на экране шагали ряды сражающихся полков. (Странное дело, в цензурном отделе министерства внутренних дел не обратили внимания на марш Сузы, и никто не сказал, что эта сцена отдает чем-то англо-американским.)

В те времена еда в заводских столовых была просто ужасной — дробленый рис с кукурузой или куриным просом, в качестве приправы — разве что те водоросли, которые прибивает к берегу.

Мы, сотрудники съемочной группы, горячо сочувствовали актрисам, которые этим питались и работали на заводе больше восьми часов в день. Мы покупали в складчину картошку, варили ее в котле, стоявшем у нас в общежитии под ванной, и относили девушкам.

Командир отряда девушек-добровольцев Ёко Ягути, впоследствии ставшая моей женой, часто приходила тогда спорить со мной от имени всего отряда. Она была решительна и упряма, я тоже, и у нас доходило до открытых столкновений. Тут обычно появлялась Ириэ-сан и изо всех сил старалась нас утихомирить.

Наверно, фильм «Самая красивая» был в некотором смысле самым трудным. Думаю, это потому, что наиболее тяжелая работа выпала не мне, не моим сотрудникам по съемочной группе, а актрисам.

Может быть, этим объясняется то, что почти все актрисы, занятые в фильме,

по окончании съемок покинули кино и вышли замуж. Поскольку среди них было много одаренных актрис с большим будущим, то я не знал, радоваться этому или печалиться. И мне не хотелось думать, что они бросили актерскую работу оттого, что я был слишком крут. Впоследствии, расспросив девушек, вышедших тогда замуж и бросивших кино, я услышал, что у всех причина была иной. Они сказали, что когда они сбросили всю эту приставшую к ним актерскую мишуру, то вновь стали обычными людьми, зажили обычной женской жизнью, которая и привела к замужеству.

Но, может, они просто меня успокаивали. Наверно, все же моя неистовость послужила одной из причин их расставания с актерским ремеслом.

Однако команда эта в самом деле держалась отлично. Настоящий отряд девушек-добровольцев.

Фильм «Самая красивая» — отнюдь не великое произведение искусства, но это самый дорогой для меня фильм.

Японцы

После войны моя работа вошла в колею, но прежде чем писать об этом, я хочу еще раз оглянуться на себя в военные годы.

Во время войны я не был борцом с милитаризмом. К сожалению, я вынужден сказать, что у меня недостало мужества для активного сопротивления, я или подлаживался под требования, или пытался увильнуть. Говорить об этом постыдно, однако приходится признать правду.

Поэтому я не имею права осуждать кого-либо и с напускной важностью обрушиваться на события военного времени.

Послевоенная либерализация и демократизация были тоже даны мне извне, они не были завоеваны моими собственными руками, поэтому я должен был, как я считал, прилежно изучать их и склонять себя к смирению и скромности.

Однако послевоенное японское общество, жадно ухватившись за идеи свободы и демократии, как чайка хватает добычу, принялось ими размахивать во все стороны без особого смысла.

15 августа 1945 года меня вызвали в студию слушать по радио повеление императора, и я никогда не забуду, что́ я видел, идя пешком до студии. От Сосигая до студии в Кинута торговый квартал явно пребывал в полной готовности к тому, чтобы «сто миллионов людей разбились вдребезги, подобно яшме»; в воздухе ощущалось смятение, некоторые владельцы лавок достали свои мечи, вынули их из ножен и пристально уставились на лезвие.

Я, решивший, что указ императора означает конец войны, увидев все это, задумался о том, что станется теперь с Японией.

Однако после обнародования акта о капитуляции все изменилось.

Помню, когда я в тот день возвращался домой, люди в торговом квартале уже весело хлопотали и суетились, как в канун праздника.

Что это — японская гибкость или японская глупость? Приходится думать, что в японском характере есть и то, и другое. Живут оба эти качества и во мне.

А если бы не было указа императора об окончании войны, вернее, если бы он призвал «сто миллионов разбиться вдребезги, подобно яшме», то все эти люди, наверно, умерли бы в соответствии с приказом.

И я бы, наверно, тоже.

Мы, японцы, считали, что дорожить собой — дурно, а пренебрегать — правильно, привыкли к этому учению и даже не подвергали его сомнению.

Я полагал, что, пока характер японского народа не определится, невозможны ни свобода, ни демократия.

В моем первом послевоенном фильме «О нашей юности не надо жалеть» главная тема — именно самоощущение нации.

Однако прежде я хочу еще рассказать о себе в те годы.

Во время войны мы были словно глухонемые.

Мы ничего не могли сказать, а если говорили, то лишь повторяли, как попугаи, милитаристские речения. Поэтому, чтобы выразить себя, надо было искать пути, далекие от общественных проблем.

Вот почему в моде были трехстишия хайку. Стиль «поэзии цветов и птиц»

Кёси Такахамы был защищен от когтей цензуры. На киностудии «Тохо» тоже возник кружок хайку, иногда мы снимали помещение какого-нибудь храма в окрестностях Токио и проводили там заседание. Делали мы это, не только чтобы получать удовольствие от сложения стихов, но еще и потому, что вне Токио ситуация с едой была получше.

Однако, когда собирается голодная братия и начинает напрягать мозги на пустой желудок, приличного стихотворения не получится. Ничего не выйдет, пока не вложишь всего себя, всю свою душу.

Я тогда тоже написал множество разных хайку, но ни одно не стоит того, чтобы привести его здесь. Все мои стихи — пустое позерство. В то время в книжке Кёси Такахамы я прочел хайку, которое хочу процитировать. Стихотворение написано на тему «водопад».

На самом верху водопада
вода, едва появившись,
падает вниз.

Я был поражен этим стихотворением. Можно подумать, что его написал непрофессионал, так оно безыскусно и непосредственно, но эта простота и подлинность выразительных средств меня совершенно потрясли. Я понял, что в моих собственных хайку не хватает жара души. И еще я осознал искусственность своего образования, свою некомпетентность, и мне стало стыдно.

Я думал, что разбираюсь в разных видах искусства, но оказалось, что я не понимаю множества вещей.

И я решил вновь изучать традиционную культуру. До тех пор я не имел никакого понятия о керамике и фарфоре, да и о других видах художественных ремесел знал только понаслышке. Я не умел судить о красоте произведений искусства, если не считать живописи. А что касается такого специфического для Японии явления, как театр Но, то я его просто ни разу не видел.

Прежде всего я пошел к одному своему товарищу, знатоку старинной японской утвари, и попросил его рассказать мне о керамике и фарфоре. Раньше я в своем невежестве относился с пренебрежением к его увлечению стариной, но, слушая его объяснения, понял, что о старине нельзя судить огульно, здесь тоже есть свои высоты и низины. Можно быть пенсионером-любителем, а можно двигаться по пути науки, глубокого исследования японской истории, можно постигать древнюю японскую культуру с помощью искусствоведения.

Возьмешь какую-нибудь старинную миску — и через нее проникаешь в дух ее времени, жизнь ее современников; слушая пояснения своего товарища о керамике и фарфоре, я понимал, сколькому мне еще надо учиться, сколько усвоить.

Кроме того, после войны я чувствовал, как изголодался по красоте, и тут мне как раз открылся мир традиционной японской красоты. Может быть, это было и средством ухода от тогдашней действительности, но благодаря этому я многому выучился и много усвоил.

Тогда же я впервые увидел представление театра Но. Стал с жадностью читать эстетическое наследие драматурга XVII в. Сэами, литературу о нем, разные книги о театре Но.

Меня в Но привлекала его самобытность, но не исключено, что причина моего увлечения старинным театром заключалась в отдаленности его выразительных средств от кино. Во всяком случае, я очень приблизился тогда к искусству Но, и мне выпало счастье видеть в спектаклях таких актеров, как Роппэйта Кита, Мандзабуро Умэвака, Кинтаро Сакурама.

Пьесы с их участием незабываемы, особенно запомнилась мне драма «Короткий навес» («Хадзитоми») с Мандзабуро. На улице в это время бушевала жуткая гроза, но пока на сцене был Мандзабуро, я ничего больше не слышал. И помню, когда Мандзабуро вышел из-под навеса и исполнил танец дзё, его силуэт внезапно осветили лучи вечернего солнца.

«Расцвел цветок югао, «вечерний лик»,— подумал я в упоении. Бывает у японцев такой особый дар.

Во время войны японские традиции и эстетику прославляла милитаристская пропаганда, но и без этих самовосхвалений в мире ценят красоту и самобытность нашей культуры.

Осознание этого помогало мне обрести веру в себя.

«Скандал»

После войны была объявлена свобода слова, и полился поток этой свободы без всяких сдерживающих начал. Некоторые журналы, стремясь удовлетворить любопытство читателей, охотились за разными сплетнями и, ничуть не стыдясь, печатали самые вульгарные материалы. Однажды в трамвае я прочитал рекламу одного такого журнала и был шокирован. Там был заголовок крупными иероглифами: «Кто лишил девственности NN?». Заметка была написана как бы в интересах этой NN, однако на деле оскорбляла ее. Кроме того, сквозь бесстыдный текст сквозил холодный расчет — эта девушка не могла особенно протестовать, поскольку ее жизненная ситуация была уязвимой и зависящей от популярности.

Я не был знаком с этой дамой, знал только ее имя и профессию, и, думая о ней, ставшей героиней заметки с броским заголовком, я почувствовал, что молчать невтерпеж, словно речь шла обо мне самом.

Такого терпеть было нельзя.

Это не свобода слова, а насилие над словом, считал я.

Если эту тенденцию не пресечь в самом начале, она наберет силу. Должен найтись мужественный человек, который вступит в борьбу с этим насилием, иначе все пропало. Так сложился мой фильм «Скандал».

Мои страхи подтвердились, и теперь в мире никто уже не удивляется таким вещам. Иными словами, фильм «Скандал», выступивший против этой тенденции, оказался бессилен, но это вовсе не значит, что я смирился. Я и сейчас продолжаю ждать человека, который сразится с этой разбойной, антигуманной, жестокой распущенностью. Да я и сам намереваюсь сделать еще один такой фильм.

«Скандал» не достиг цели — ладно, я сниму еще один, посильнее. Думаю, что тот мой фильм был слишком мягок.

Пока я писал к нему сценарий, один герой неожиданно оказался чрезвычайно живым и активным, больше даже, чем главные герои, и вертел мной как хотел.

Это был продажный адвокат по имени Хирута. Начиная с того места, когда Хирута вступает в сговор за спиной своего клиента, всерьез собирающегося прибегнуть к помощи закона для борьбы с клеветой, сценарий помимо моей воли стал развиваться по-своему.

Все персонажи фильма действовали как живые люди, не желая подчиняться произволу автора. А тот из них, кто подчинился моей воле и двигался как марионетка, утрачивал всяческое обаяние.

Когда в сюжете появился Хирута, мое перо ожило и стало летать по бумаге, чтобы успеть записать действия и реплики проходимца. Мне даже стало жутковато.

Сценариев я написал в своей жизни достаточно, но такое было со мной впервые. И окружение Хируты я описывал не задумываясь, история писалась буквально сама собой.

И вот внезапно Хирута выпихнул главного героя из фильма и сам оказался на переднем плане.

Ну уж этому не бывать, думал я, но ничего не мог с ним поделать.

А через полгода после выхода фильма произошло следующее.

Я был в кино в Сибуя, возвращался домой по линии Инокасира и вдруг чуть не вскрикнул.

Ведь я встречался с человеком по имени Хирута! В кафе «Комагатая» на переезде Камиидзуми я пил сакэ, сидя с ним рядом. Удивительно, как я не вспомнил этого раньше. Интересные штуки играет с человеком память. Этот Хирута прятался где-то в моих мозговых извилинах. И теперь, непонятно почему, вылез оттуда.

В кафе «Комагатая» я наведывался частенько во время работы помрежем. Там служила хорошенькая официантка по имени Осигэ-тян, прекрасно знавшая финансовые возможности каждого из нас и позволявшая угощаться в кредит.

Обычно я ходил туда с коллегами, также помощниками режиссера.

Однако в тот день почему-то пришел один. Мы всегда поднимались на второй этаж, в отдельный кабинет, грязноватый, но уютный. А тогда я сидел один у стойки и пил сакэ. И рядом сидел Хирута.

Это был человек лет около пятидесяти. Уже изрядно набравшийся и пристававший ко мне с разговорами.

Отец Осигэ-тян, стоявший за стойкой, решив, что он мне докучает, хотел было пресечь его назойливость, но я, качнув головой, показал ему, что мне это безразлично, и сидел дальше, прислушиваясь к рассказам соседа.

По его речам и лицу было понятно, что его что-то точит и на душе у него тяжело, поэтому я не мог резко оборвать его, как обычного пьяного, который лезет с откровениями.

Интересно, сколько раз он уже рассказывал свою историю до меня? Он говорил быстро и легко, словно произносил заученные наизусть слова роли, но от этой легкости в сочетании с печальным смыслом его повествования становилось еще горше.

Рассказывал он о своей дочери. У нее был туберкулез, она была прикована к постели, и он вновь и вновь принимался говорить о том, какая она замечательная. Он называл ее ангелом, лучезарной звездой и прочими тошнотворными именами и все говорил только о ней, но я расчувствовался и слушал его с открытой душой. И вдруг этот человек заговорил о том, какое он сам ничтожество по сравнению с собственной дочерью, и стал приводить тому разные примеры. Тогда отец Осигэ-тян, видно не выдержав, поставил перед ним стеклянное блюдо под крышкой.

— Ну, довольно вам. Идите-ка домой. Вас дочка ждет.

Человек вдруг замолчал, уставился на блюдо и некоторое время сидел неподвижно. На блюде лежала еда, которую дают больным с высокой температурой. Он внезапно вскочил, схватил блюдо, словно обняв его, и выскочил за дверь.

— И что с ним делать... Каждый божий день он всем твердит об этом... Как выпьет...

Отец Сигэ-тян сказал мне это, словно извиняясь. А я все смотрел вслед ушедшему. И думал, что тот скажет, вернувшись домой, своей дочери, прикованной к постели.

Думая о том, что у него на сердце, я тоже ощутил душевную тяжесть. И сколько в тот день ни пил, захмелеть мне не удалось. Я думал, что никогда не забуду этого человека. Однако вот забыл.

А когда писал сценарий «Скандала», он помимо моего сознания явился откуда-то из глубин памяти и стал с поразительной энергией водить моим пером.

Это человек, которого я повстречал в кафе «Комагатая», написал историю адвоката Хируты.

Это не я написал.

«Ворота Расёмон»

Эти ворота в моем представлении росли день ото дня.

Вот что было тогда, когда я отправился в Киото, чтобы снимать фильм «Ворота Расёмон» на Киотоской студии «Дайэй». Администрация приняла план фильма, но высказалась в том смысле, что содержание его не очень вразумительно, а название непонятно и лишено обаяния, и всячески тормозила начало съемок.

Тем временем я ежедневно обходил всевозможные старые ворота Киото и Нара, и размер ворот, по сравнению с первоначальным наброском, все увеличивался.

Сначала имелись в виду ворота вроде тех, что ведут в храм Тодзи в Киото, потом они доросли до ворот Тэнгаймон и Нара и наконец стали размером с ворота храмов Ниннадзи и Тодайдзи в Нара.

Произошло это не только потому, что я обошел пешком и осмотрел все старые ворота, а также прочитал немало книг о Расёмон, а также изучил их руины.

В названии Расёмон средний иероглиф «сё» был изменен для пьесы Но, написанной Нобумицу Кандзэ. Первоначальный иероглиф означал, что это главные ворота, ведущие к замку.

Ворота, подразумеваемые в фильме, были главным входом на территорию столицы Хэйан, от них шел прямой главный проспект, ведущий к северной границе города, к воротам Судзакумон, а на востоке и на западе от проспекта стояли Восточный и Западный храмы, Тодзи и Сайдзи. Если принять такой расклад, то нелепо было бы предполагать, что эти замковые ворота, ведущие в столицу, были меньше, чем в храме Тодзи, находящемся в городской черте. Кроме того, судя по сохранившимся синим кускам черепицы, это строение и впрямь было огромным.

Однако, сколько я ни изучал разную литературу, архитектура Расёмон оставалась неясной. Поэтому я построил их по образцу двустворчатых храмовых ворот Тодзи, и, вероятно, они все же отличались от подлинных.

К тому же для павильонных съемок они были великоваты. Если бы мы возвели верхнюю часть вместе с крышей в натуральную величину, не выдержали бы опорные столбы,— поэтому под предлогом того, что ворота должны выглядеть заброшенными и полуразрушенными, мы их наполовину разломали. Теперь о размере постройки можно было только догадываться.

Кроме того, напротив должны были виднеться императорский дворец и ворота Судзакумон, но на территории открытых павильонов студии «Дайэй» для этого не хватило бы места, да и мы тогда ужасающим образом превысили бы смету, поэтому напротив ворот мы возвели громадные декорации, изображающие горы.

Павильон все равно потребовался очень большой. Когда я понес в «Дайэй» план этого фильма, я сказал, что мне понадобится только один павильон с воротами и еще стена здания управы по охране порядка, а в остальном будут натурные съемки. В «Дайэй» возрадовались и сразу приняли план.

Позже Мокутаро Кавагути, тогдашний директор «Дайэй», жаловался: здорово Куро-сан нас провел, всего один, дескать, павильон, да ведь такой пришлось отгрохать павильонище, что лучше бы сделать сто обыкновенных. Но я и в самом деле не собирался возводить что-либо столь грандиозное. Просто, как я писал выше, меня вызвали в Киото раньше времени, мне пришлось ждать, и тогда мои представления о воротах стали меняться, а в результате я пришел к решению строить их в таком большом масштабе.

План фильма «Ворота Расёмон» я начал обдумывать после того, как сделал «Скандал» на студии «Сётику» и «Дайэй» предложила мне сделать еще одну картину.

Размышляя, что́ бы мне снять, я и вспомнил об одном сценарии. Он был основан на рассказе Акутагавы «В чаще», написал его Хасимото, ученик режиссера Мансаку Ито. Сценарий был очень хорошо сделан, но для полнометражного фильма коротковат. Хасимото потом приходил ко мне домой, и мы проговорили несколько часов. Он оказался интересным человеком, в котором чувствовался стержень, и мне понравился. Это тот самый Синобу Хасимото, с которым мы делали сценарий к фильму «Жить», «Семь самураев» и другим, а тогда мне вспомнился его сценарий «Женское — мужское».

Просто отказаться от этого сценария было бы жалко, и я, наверно почти бессознательно, все прикидывал, как бы его использовать. И вот эти мысли всплыли в памяти — пора было их как-нибудь реализовать.

Рассказ «В чаще» на самом деле состоит из трех повествований, и если к ним присоединить еще одно, новосочиненное, будет в самый раз, подумалось мне.

И еще я вспоминал новеллу Акутагавы «Ворота Расёмон». Это тоже повествование из хэйанских времен, как и рассказ «В чаще».

Вот так фильм «Ворота Расёмон» постепенно складывался в моей голове, обретая форму.

Давно наступила эра звукового кино, и казалось, что очарование немых фильмов, их особая кинематографическая красота совсем утрачены — и это не давало мне покоя. Я чувствовал потребность еще раз возвратиться к стилистике немого кино, к истокам киноискусства. Особенно важно, думал я, перенять дух французского авангарда.

В те времена не было фильмотек, и я отыскивал, где мог, литературу по авангардному кино, припоминал композицию виденных прежде фильмов, усваивал их специфическую кинематографическую красоту.

Фильм «Ворота Расёмон» был подходящим материалом для реализации моих мыслей и желаний.

Я хотел поместить действие рассказа Акутагавы «В чаще» в символический контекст. Этот рассказ изображает причудливые изгибы и таинственные теневые стороны души, вскрывает острым скальпелем суть человеческую до самых глубин. Я хотел передать странные движения души этих людей, отверженных обществом, с помощью затейливой игры света и тени.

А поскольку в фильме передвижения людей по роще требовали довольно обширной территории, то действие было перенесено в большой лес.

Я выбрал естественную рощу в горах неподалеку от Нара и лес вокруг храма Комёдзи в окрестностях Киото.

Персонажей в картине было всего восемь. Сложным было содержание фильма, сценарий же стал, насколько это было возможно, прямолинейным и кратким, так что появилась возможность в процессе съемок свободно строить кинематографический образ.

Оператором был Кадзуо Миягава, с которым мне непременно хотелось поработать хотя бы раз, композитор — Хаясака, художник — Мацуяма. Играли: Тосиро Мифунэ, Масаюки Мори, Матико Кё, Такаси Симура, Минору Тиаки, Китидзиро Уэда, Дайскэ Като и Фумико Хомма, их артистические индивидуальности были мне известны, и лучшего состава нельзя было пожелать.

Действие рассказа происходит летом, съемки тоже шли летом, и мы были в Киото и Нара в разгар жары. Все сложилось настолько благоприятно, что грех было бы жаловаться. Оставалось приступить к съемкам.

Однако накануне начала съемок ко мне домой пришли трое помощников режиссера, прикрепленных от студии «Дайэй».

В чем дело, подумал я. Спрашиваю, что такое,— оказывается, они совершенно не могут понять сценария и пришли за объяснениями.

Я сказал им, что если хорошенько прочесть сценарий, то все будет понятно, и мне кажется, что он написан так, чтобы все было ясно, так что, мол, прочтите еще разок. Но они все не успокаивались и утверждали, что сценарий они прочли очень хорошо и пришли ко мне потому, что ничего не поняли и ждут моих разъяснений.

Я им вкратце объяснил что к чему.

Человек не говорит о себе правды. Он не может говорить о себе без позерства. Сценарий изображает людей, не способных жить без этого. Более того, в нем показана глубокая вина человека, не оставившего своего позерства и после смерти. Это как причудливый свиток, который разворачивается и являет картину врожденной человеку вины, непереносимой черты характера — эгоизма. Вот вы говорите, что вам непонятен сценарий, но это как раз потому, что душа человеческая непостижима. Если вы будете читать, помня об этой непостижимости, вы непременно всё поймете.

Двое из слушавших мои объяснения помощников режиссера согласились со мной и встали, сказав, что попробуют прочесть сценарий еще раз, но третий (главный из них) явно не принял моих слов и вышел рассерженный.

Не ладились у нас отношения и потом, и дошло дело до того, что мне пришлось попросить его уйти из картины, о чем я до сих пор думаю с сожалением.

В остальном наша работа двигалась бодро.

На репетициях перед съемками я был просто ошеломлен энтузиазмом Матико Кё.

Еще когда я спал, она, бывало, присаживалась у моего изголовья со сценарием в руках.

— Сэнсэй, объясните, пожалуйста...— говорила она, и я в испуге просыпался.

Остальные актеры тоже были полностью захвачены фильмом и самозабвенно работали, а также не менее самозабвенно ели и пили.

Они придумали блюдо под названием «горный разбойник» и часто его готовили. Делалось оно из мяса, жаренного в растительном масле, с соусом, составленным из порошка карри с растопленным сливочным маслом. При этом в другой руке надо было держать луковицу и самым разбойным образом от нее время от времени откусывать.

Работу мы начали с натурных съемок в Нара, и там, в естественном лесу, оказалось много горных пиявок. Они падали на нас с деревьев, заползали с земли и присасывались. Их было очень трудно отодрать, а когда пиявку все же удавалось извлечь из тела, невозможно было унять кровь.

В прихожей дома, где мы жили, мы поставили бочонок с солью и, прежде чем выходить на съемки, натирали шею, руки, носки и шли, облепленные солью. Пиявки, как и слизняки, ее боятся.

В те времена в лесах под Нара росли огромные криптомерии и кипарисы, плющи обвивали их, протягиваясь от одного дерева к другому, как питоны,— в общем, создавалось впечатление густой чащи в горах.

Каждое утро я бродил по этому лесу, подыскивая место для съемок и одновременно восхищаясь пейзажами. Бывало, передо мной промелькнет темная тень. Дикий олень. Вдруг в безветренный день падает ветка. Посмотришь вверх, а там на ветвях высокого дерева устроилась стайка обезьян.

Наша гостиница стояла у подножия горы Вакакуса. Однажды на крыше появилась огромная обезьяна и внимательно разглядывала нас на протяжении всего нашего оживленного ужина.

А еще было такое: над горой Вакакуса встала луна, и в ее сиянии мы увидели отчетливый силуэт оленя.

Частенько после ужина мы поднимались на эту гору и, став в круг, танцевали при свете луны.

Я тогда был молод, актеры, еще более молодые, чем я, были полны энтузиазма, и мы работали как одержимые.

Когда мы перенесли натурные съемки из горных лесов Нара в Киото, в храм Комёдзи, наступил праздник Гион, а с ним и адская жара, и хотя некоторые члены нашей съемочной группы доработались до солнечного удара, активность наша нисколько не спала.

До вечера все бодро работали, не отвлекаясь даже на то, чтобы глотнуть воды, потом шли в гостиницу, а по дороге заворачивали в пивной бар и единым духом осушали кружки по четыре свежего пива.

Ужины у нас были безалкогольные, затем мы расходились, а к десяти вечера собирались вновь и тут уж воздавали должное виски.

А наутро как ни в чем не бывало приступали к своей изнурительной работе.

Лес вокруг храма Комёдзи экранировал солнечные лучи, и мы без особой деликатности рубили мешавшие нам деревья.

Настоятель храма сначала наблюдал за этим с некоторым испугом, а через несколько дней взял инициативу в свои руки и даже стал руководить нами — какие деревья рубить в первую очередь.

В день окончания съемок я пошел попрощаться с настоятелем. Он говорил со мной весьма торжественно.

Откровенно говоря, сказал он, сначала мы просто ужаснули его тем, как рубили храмовые деревья, будто они наша собственность. Но потом его восхитила наша увлеченность работой. Видно было, что ради дела мы готовы на все. Так фанатически и самозабвенно мы работали. Он и не подозревал, что требуется столько усилий, чтобы сделать фильм. Он просто потрясен.

Сказав это, настоятель развернул передо мной веер.

На том веере, который он подарил мне на память, было написано по-китайски: «Пусть живет род людской». Я не находил слов, чтобы выразить благодарность. Теперь потрясен был я.

Натурные съемки в храме Комёдзи мы вели одновременно с павильонными съемками ворот Расёмон. В ясные дни — в Комёдзи, в пасмурные — снимали ворота Расёмон под дождем.

Так как макет ворот был очень велик, нам пришлось отдельно позаботиться о дожде. Мы наняли пожарную машину и на всю мощь использовали насосы. Струи дождя были плохо различимы на фоне хмурого неба, поэтому нам даже пришлось подкрашивать воду черной тушью.

День за днем столбик в термометре зашкаливал за 30 градусов жары, в открытых створках гигантских ворот гуляли сквозняки, а когда мы устраивали ливень, ветер остывал и даже холодил кожу.

Первостепенной задачей для меня было найти способ подчеркнуть громад-

ность этих ворот. Я взял за образец здание храма Большого Будды в Нара, и тут мне пригодилось все то, что я так долго изучал.

Еще одной важной проблемой было снять солнце как таковое, творящее свет и тень, потому что в основе всего фильма лежало соотношение света и тени в лесу.

Поэтому я хотел попросту снять солнце.

Теперь-то, конечно, направить камеру на солнце — никакое не диво, но тогда это было одно из табу, наложенных на кинокамеру. Тогда считали, что, поскольку, проходя линзы, свет фокусируется на пленке, солнечные лучи могут даже зажечь пленку.

И все же мой оператор, Миягава-кун, отважно решился на этот эксперимент и снял потрясающие кадры. Особенно хороша была начальная, вводная сцена, когда камера проникает в мир лесного света и тени, в самую суть заблуждений человеческого сердца. Это была превосходная операторская работа.

Сцена, о которой я говорю, когда камера впервые входит в гущу леса, была отмечена на кинофестивале в Венеции, и я думаю, что это был не просто шедевр Миягавы, но и один из шедевров мирового черно-белого кино.

Но почему-то я всегда забывал похвалить Миягаву. Замечательно, думал я, и мне казалось, что я сказал это и ему самому. Как-то его давний приятель Симура (игравший в фильме) сказал мне, что Миягава беспокоится — нравится ли мне его работа, и только тогда я отдал себе отчет в том, что ни разу не похвалил оператора. Осознав происшедшее, я страшно разволновался:

— Сто очков! Его работа — сто очков! Да нет, больше!

Воспоминаний о работе над «Воротами Расёмон» у меня хоть отбавляй. Когда уж пишешь, то остановиться трудно, запишу еще одно, сильнейшее впечатление и на этом прекращу рассказ о фильме.

Эта история связана с музыкой.

Когда я еще только писал в сценарии эпизод, связанный с главным женским персонажем, в ушах у меня звучал ритм болеро.

Поэтому я попросил Хаясаку написать к этой сцене болеро.

Когда Хаясака озвучивал эту сцену, он сидел рядом со мной. «Что ж, попробуем с музыкой»,— сказал он. В его лице и позе чувствовались тревога и напряжение. Меня мучили те же чувства.

На экране началась эта сцена, прорезался ритм болеро. Сцена продолжалась, болеро набрало полный голос, но образ и музыка расходились и никак не могли совпасть.

Пустой номер, решил я. Я ошибся в расчете, изобразительный ряд не ложится на эту музыку.

И вот тогда это произошло.

Болеро зазвучало еще громче, и вдруг образ и музыка полностью совпали, вмиг изменилась атмосфера происходящего.

Ощущая, как по спине пробегает холодок, я невольно взглянул на Хаясаку. Он смотрел на меня. По его побледневшему лицу я понял, что он тоже потрясен. И вот изображение и музыка, с утысячеренной силой, превосходя все мои ожидания, сплелись в единый могучий образ.

Вот так был снят фильм «Ворота Расёмон». За это время на студии «Дайэй» дважды случались пожары, но поскольку мы наняли пожарную машину для съемок дождя, падающего на ворота, она была в полной готовности, так что ущерб удалось свести к минимуму.

После «Ворот Расёмон» я делал на студии «Сётику» фильм по роману Достоевского «Идиот». Эта картина далась мне очень тяжело.

Я ссорился с руководством «Сётику», а критика на фильм была словно отражением всех тех возражений, которые я выслушивал на «Сётику», и состояла из жестокой брани.

Затем мои предложения по дальнейшей работе на студии «Дайэй» были отвергнуты.

Выслушав этот холодный отказ, я помрачнел и вышел из дверей. Мне не хотелось ехать трамваем, и я, погруженный в невеселые мысли, потащился домой пешком до Комаэ.

Ну что ж, придется теперь есть холодный рис, решил я, ведь как ни бейся,

ничего не поделаешь. И я, покорившись своей участи, отправился на рыбалку на реку Тамагава.

Забросил было удочку, но леска тут же за что-то зацепилась и оборвалась.

Запасной у меня с собой не было. Я быстро собрал рыболовные принадлежности и, размышляя о том, что если уж не везет, так не везет во всем, отправился домой.

Угрюмо, едва передвигая ноги, я открыл входную дверь. Мне навстречу выбежала горничная:

— Поздравляю вас!

— С чем это? — раздраженно спросил я.

— «Расёмон» получил Гран-при.

Гран-при на кинофестивале в Венеции! Значит, мне не придется есть холодный рис. Вновь вовремя подоспел родовой бог-охранитель.

А я даже не знал, что «Расёмон» был выдвинут на Венецианский фестиваль. Оказывается, фильм рекомендовала видевшая его Джулиана Страмджоли, представительница «Италия-фильм» в Японии. Для японского мира кино это было как гром среди ясного неба.

Потом «Расёмон» получил еще «Оскара» как лучший зарубежный фильм года. Но японская критика утверждала, что обе эти премии объясняются попросту любопытством Запада к восточной экзотике.

Ну что тут поделаешь!

Почему это японцы не верят в ценность Японии? Почему почитают все иностранное и принижают свое? Даже знаменитые японские художники Утамаро, Хокусай и Сяраку впервые обрели признание в Японии, только когда мода на них пришла с Запада. Почему же у самих японцев на это не хватает понимания?

Такой уж у нас несчастный национальный характер.

А в связи с фильмом «Ворота Расёмон» мне открылась еще одна прискорбная сторона человеческой личности. Это было, когда «Расёмон» показывали по телевидению. Показ сопровождался интервью президента кинофирмы, где был сделан фильм, и, слушая его, я пришел попросту в ужас.

Несмотря на то что этот человек чинил всякие препятствия картине, утверждал, когда фильм был готов, что он совершенно непонятен, понизил в должности продвигавших «Расёмон» исполнительного директора и продюсера, теперь в телеинтервью он важно объявлял, что все заслуги принадлежат исключительно ему. Он разливался соловьем на тему о том, что раньше всегда снимали, становясь к солнцу спиной, а в этом фильме камера впервые была направлена прямо на солнце, но так ни разу и не упомянул ни обо мне, ни о Миягаве, операторе фильма.

Я слушал и думал: это и есть «Ворота Расёмон».

Трудно говорить о себе всю правду. Я вновь убедился, что человеку свойственно инстинктивно приукрашивать себя.

Однако и у меня нет права смеяться над этим президентом фирмы.

Вот я заканчиваю свою автобиографию или нечто вроде нее, а писал ли я о себе одну лишь правду?

Уж наверно, я не касался безобразных сторон своей натуры и более или менее приукрашивал собственную персону.

Работая над главой о фильме «Ворота Расёмон», я не мог не предаваться самоанализу. И теперь уже не в состоянии писать дальше.

Нежданно-негаданно «Ворота Расёмон» стали воротами в мир кино для меня как режиссера, но как человек, пишущий собственную биографию, я почувствовал, что не могу выйти за эти ворота и двинуться дальше.

Но может, это и к лучшему.

Если кто-нибудь захочет узнать о том, что я представлял собой после этой работы, пусть всмотрится в героев моих последних фильмов, это самый естественный и наилучший способ.

Человек не способен честно сказать о себе: «Вот это я», но от имени своих героев я часто говорил правду о себе самом.

Ничто не скажет о художнике больше, чем его работы.

Современная поэзия танка

Перевод и предисловие Т. СОКОЛОВОЙ-ДЕЛЮСИНОЙ

«Песни Ямато! Вы вырастаете из одного семени — сердца и разрастаетесь в мириады лепестков речи — в мириады слов.

Люди, что живут в этом мире, опутаны густой зарослью мирских дел; и все, что лежит у них на сердце, все это высказывают они, передавая то, что слышат и видят». Так в начале X века знаменитый японский поэт Ки-но Цураюки писал о своей национальной поэзии. Десять веков прошло с тех пор, а «японская» или, как принято ее называть в наши дни, «короткая песня» — «танка» осталась одной из любимейших в Японии поэтических форм. Танка — пятистишие в 31 слог с чередованием пяти- и семисложных стихов — переживала периоды расцвета и упадка, видоизменялась, приноравливаясь к требованиям той или иной эпохи, но никогда не исчезала вовсе. И пусть в наши дни изменился ее язык, суть танка осталась прежней — поэт изливает в ней сердце, высказывает свои мысли и чувства, «передавая то, что слышит и видит».

В японской поэзии, как в никакой другой, всегда сильна была женская линия. История сохранила имена прославленных поэтесс древности — Оно-но Комати, Идзуми Сикибу, Акадзомэ Эмон. Эта традиция жива и в современной Японии. Среди современных японских поэтов, пишущих танка, много женщин. С творчеством трех из них мы хотим познакомить наших читателей. Мотоко Митиура, Мати Тавара [1], Амари Хаяси сделали свои первые шаги на поэтическом поприще в восьмидесятые годы. Первый сборник Мотоко Митиуры (за который она получила Премию Общества современной поэзии танка) вышел в 1980 году. Мати Тавара дебютировала в 1987 году, а Амари Хаяси — в 1985-м. В стихах этих молодых японских поэтесс звучат голоса наших современниц, живущих в сложном мире конца XX века и, несмотря на свою опутанность «зарослью мирских дел», старающихся этот мир поэтически осмыслить.

МОТОКО МИТИУРА

*

Дождик с утра.
Осенний дождь моросит.
Светлая влага
В поры проникнет, и тело
Таким легким вдруг станет.

*

Космея
Тянет с клумбы нежно-прозрачные
Лепестки.
Так похожи ее цветы
На ладошки младенца.

*

Не отличаю
Наивности от сумасбродства.
Еще не умею
И не люблю терпеть.
Такой уж я уродилась.

*

Объятая сном,
Куда-то на самое дно
Падаю, падаю.
Тело мое растворяется
В запахах летнего луга.

© Motoko Michiura, 1991

[1] Подборка стихов Мати Тавары была опубликована в «ИЛ», 1991, № 9.

*

Все позади,
Все миновало, все кончено.
Настала пора
Вернуться назад к тишине
И полевым цветам.

*

Кристалл,
Отшлифованный до прозрачности
Почти немыслимой,
Отражает прилежно, до мелочей
Мое лицо — такое несчастное.

*

Даже та ночь,
Когда свою жизнь так бездумно
В прах обратила,
Теперь видится мне,
Будто в театре теней.

*

Мое лицо,
Лицо одинокой женщины,
А когда-то жены,
Молча глядит на меня
Из темной реки Кандзаки.

*

Река Итати.
Тихонько зову свою бабушку,
Которой не знала.
И вдруг блеснет светлячок
Светом умершей души.

*

Изысканно алые
Огни зажигает сегодня
Эта лавчонка,
Начиная продажу цветов
С осенних лугов и гор.

*

Засыпая,
Руку вытяну, словно весло,
И отважно нырну
В светящийся полумрак,
В поток сновидений.

*

Спрошу у себя:
«Хорошо ли живется тебе
С твоими стихами?
Ведь когда-то и ты мечтала
Стать второй Вивьен Ли».

*

Гостьей издалека
Вступаю на пляж Кудзюкури.
Песок под рукой —
Нежный и теплый, словно
Человеческая кожа.

*

«Single again» [1]
И еще — «alone again» [2] —
В пустой
Бутылке из-под лимонада
Одинокий цветок космеи.

*

Мне уж за сорок.
Что ждет впереди, не знаю.
Ветер к земле
Пригибает тонкие стебли
Космеи, расцветшей в саду.

*

«Вот, сейчас...» —
Оборачиваюсь поспешно.
Увы, никого.
И сразу, будто иглою,
Душу пронзает тоска.

---

[1] Опять одинока *(англ.)*.
[2] Снова одна *(англ.)*.

*

Вечер.
По теням от лиственниц
Тихо ступаю.
Словно по осколкам
Прошедшей жизни своей.

*

Тайную грусть
Из сердца выплесну песней.
Волны ее
Отнесут куда-то в сторону,
Чтобы снова вернуть ко мне.

МАТИ ТАВАРА

*

По реке Симанто,
Рассыпая щедро горстями
Капельки света,
Ветер широкой ладонью
Гладит лицо реки.

*

Лениво с отцом
Перебрасываюсь словами
О том и о сем.
Чаинки в чацке всплывут —
Немного и о чаинках.

*

Мне объясняя,
Каких видов бывают
Речные креветки,
Вдруг о своей дочери
Заговорил рыбак.

*

Водя утюгом
По платку носовому бездумно,
Вдруг обнаружу:
Какой-то новый узор
Возникает в сплетении клеток.

*

Настороженно
В линию горизонта вглядывается
Прибрежный маяк.
Вспыхивая, тут же гаснут
Мысли — одна за одной.

*

Все уже решено
Было меж нами в тот вечер.
И как же умело
Ты солгал, заявив: «Что ж, тогда
Пусть все будет по-твоему».

*

Тополь-верзила
Шелестит тихонько листвою.
Над его головой
Такое синее небо, но мне
Его никогда не увидеть.

*

Даже пустые
Оправданья готова я слушать,
Только бы их
Произносил твой голос. Я стану
Слушать, слушать их, без конца.

*

Четыре открытки
Написала. Из них одну
Прячу украдкой.
Быть может, когда-нибудь
Отправлю ее тебе.

*

Машинально
Продолжаю пережевывать пищу
За завтраком.
Только что ты мне сказал:
«На тебе не смогу жениться».

© Machi Tawara, 1991

*

Что тебе принесет
Следующий миг? — Не знаю.
Что мне принесет
Следующий миг? — Не знаю.
Аллея в столичном парке.

*

Старый билет.
Летом какую-то пьесу смешную
Смотрели с тобой.
Теперь он мне служит закладкой
Для любимой книги стихов.

*

Прислушиваюсь:
Шаги твои — вверх по лестнице —
Вот-вот зазвучат.
А пока стучит по ступеням
Дождь — будто бы увертюра.

*

Ведь для того
Родились, чтоб играть в игру
Под названьем «любовь»,
А сами играем в салочки,
А сами играем в прятки.

*

На руки мои,
Склонив головки, опасливо
Поглядывают нарциссы.
Из стеклянной вазы, стоящей
На моем рабочем столе.

*

С пальцев твоих
На пальцы мои переходит,
Шагая уверенно,
Тихой размеренной поступью
Маленькая божья коровка.

*

Старуха
По пляжу идет, собирая
Розовые ракушки,
Как будто поймать пытается
Розовые капельки времени.

АМАРИ ХАЯСИ

*

Ночью теперь
Никак заснуть не могу.
Но даже за это
Я себе не позволю
Тебя упрекнуть.

*

Запертых
Я не терплю дверей
И в два часа ночи
Выхожу нарочно, чтоб вынести
По крохам собранный мусор.

*

Вечер.
Глаза слипаются, но упрямо
В книгу гляжу.
По странице разливается темнота.
Спускается ночь.

*

Внезапно запахло
Дождем — вот-вот хлынет.
Словно очнувшись,
Поняла: сегодня меня
Ты целуешь в последний раз.

© Amari Hayashi, 1991

*

Цинниям в вазе
Регулярно меняю воду —
Один раз, другой...
Так я теперь научилась
Отсчитывать время.

*

На рассвете
Внезапно просыпаюсь в слезах.
Предчувствие
Многих грядущих потерь.
Дождь стучит по стеклу.

*

«Все-таки надо
Хоть что-нибудь съесть»,—
К реальности
Только в такие минуты
И возвращаюсь.

*

Песок
С неожиданной силой
Смывает волна.
Лишь мои голые ступни
Остаются на берегу.

*

В парикмахерской
Долго расхваливали форму
Моего затылка.
Посмотрела в зеркало — что же?
Круглый-прекруглый шар.

*

Бесповоротно
Начинается новый день.
Подставляю лицо
Под струи холодной воды,
Бьющей из крана.

*

Когда засыпаешь,
Взяв меня за руку,
На мгновенье
Пальцы твои сжимаются
С бессознательной силой.

*

В комнату,
Где вчера встречалась с любимым,
Привела сегодня
Друга, страдающего от любви.
Утешаю, как младшего брата.

*

«Ну и сколько уже
Ты здесь стоишь?» —
вдруг спросили меня.
Задумалась:
«И вправду, сколько?»
Но так и не вспомнила.

*

Сестрёнка,
Расшалившись, духами брызнула
Мне на шею.—
Будто лезвие ножа
Внезапно коснулось кожи.

*

Скатерть
На своем рабочем столе
Расстелив аккуратно,
Обедать садится одна
Работающая женщина.

*

«Замуж я не хочу».
«Я тоже».— На том порешив,
Подружки
Друг другу кивнули довольные:
«Ну что же, до завтра».

*

Нет ничего
Печальнее этого джаза.
Поцелуй на прощанье.
У него ведь есть дом, куда
Он должен всегда возвращаться.

КЭНДЗИ НАКАГАМИ

Поклон издалека

Перевод Т. СОКОЛОВОЙ-ДЕЛЮСИНОЙ

В пьесе «Сэйгандзи» [1] рассказывается о монахе Иппэне [2], утверждавшем, что учение, коего проповедником он является, было передано ему во сне богами Кумано. Увидев в Кумано вещий сон, в котором ему указано было распространить шестьсот тысяч амулетов последнего перерождения, он прежде всего устремляется в столицу и, встав перед могилой Идзуми Сикибу [3] в храме Сэйгандзи, возносит молитвы за упокой ее души. В Кумано сложено немало легенд об этой Идзуми Сикибу. В одной из них рассказывается о так называемом «поклоне издалека», она связана с местом, находящемся неподалеку от главного святилища Кумано, по дороге к реке Тоцугава. То ли заболела Идзуми Сикибу какой-то болезнью, посланной ей в наказание за грехи, то ли просто подумала, что пришло ее месячное загрязнение, но только стала она творить поклоны главному святилищу, отойдя от него на некоторое расстояние.

Эта женщина сказала, что она Идзуми Сикибу. У нее была чистая белая кожа. На груди просвечивали голубые жилки, и, когда он дотрагивался до ее груди, ему казалось, что он дотрагивается прямо до этих жилок. Прижавшись к мужчине и положив его руки себе на грудь, женщина спрашивала снова и снова: «Неужели вы действительно пришли сюда из дальнего далека, миновав столько гор?» Мужчина же молча теребил твердые, напрягшиеся соски. Для него эта женщина была просто женщиной, не более. Он прижимался лицом к ее телу. Он давно уже не был с женщиной. Да и вообще с людьми. Сюда, в горы Кумано, он забрался, чтобы не видеть людей, чтобы укрыться от их взглядов. Когда впереди показалась деревня, он свернул в сторону и, войдя под сень криптомерий, пошел по тропе, проложенной между корнями. Звукам его шагов вторили голоса цикад, их мерное стрекотанье волнами накатывало на него из чащи. Внезапно он почувствовал, что ноги, тело, лицо — все его существо растворяется в этом неумолчном звоне. Скоро криптомериевая роща кончилась, и он опустился, привалившись спиной к стволу, совершенно не ощущая своего тела, невесомый, словно испарения, поднимающиеся над иссушаемыми солнцем травами. Его тело пылало. В глазах темнело, но он все смотрел и смотрел на белую

© Kenji Nakagami, 1981

[1] «Сэйгандзи» — одна из пьес театра Но. Сэйгандзи — монастырь секты Дзёдо (Чистая земля) — находится в горах Кумано. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] Иппэн-сёнин (1239—1289) — монах, основатель секты Дзисю. Согласно легенде, однажды во сне ему явился бог святилища Кумано в образе бодхисаттвы и повелел ходить по стране, раздавая всем — и верующим и неверующим — амулеты с надписью «нэмбуцу» (возношу хвалу будде Амиде), которые должны были обеспечить им перерождение в Чистой земле (буддийском раю). С того дня Иппэн ходил по стране, раздавая амулеты и призывая людей верить в будду Амиду. Он собирал легенды и использовал их в поучениях. Им же был создан танец «нэмбуцу-одори», который тоже должен был привлекать людей к вере в будду Амиду. Один из последних патриархов средневекового необуддизма.

[3] Идзуми Сикибу — придворная дама и известная поэтесса конца X века. Автор дневника «Идзуми Сикибу никки». В средние века было создано немало легенд об Идзуми Сикибу. В эпоху Муромати (1392—1573) возник цикл сказаний «Идзуми Сикибу», повествующий о похождениях куртизанки, которая жила в конце X — начале XI века и называла себя Идзуми Сикибу.

деревню вдали. Ему казалось, что он сидит, прислонившись к стволу, на самом же деле он просто упал, не сумев удержаться на ногах. Не пытаясь подняться, он прислушивался к стрекотанью цикад, невнятному, словно звон в ушах. Здесь, у дерева, его и обнаружила девочка лет пяти или шести, с головой, обвязанной куском материи.

— Что это с вами? — спросила она.

Сначала мужчина различил лишь неясный силуэт. Когда же он поднялся, ему прежде всего бросились в глаза бинты, обвивавшие тельце девочки. Все ее лицо было покрыто сыпью. Черты ее были довольно правильны, поэтому желтоватая гнойная сыпь производила какое-то особенно нелепое, болезненное впечатление. Взяв мужчину за руку, девочка привела его в эту хижину. Сколько дней прошло с тех пор, он не знал. Рядом с ним все время была женщина, которая говорила, что она Идзуми Сикибу. Она не отходила от него ни на шаг. Мужчина спал, потом просыпался. До конца не очнувшись, он позволял женщине палочками класть себе в рот то, что она для него варила, потом снова погружался в сон, и тогда совершенно нагая женщина прижималась к нему всем телом и вкладывала свои груди в его онемевшие руки. Она настойчиво ласкала мужчину, и он, не в силах противостоять наслаждению, которое испытывал, ощущая тяжесть женской плоти, чувствуя, как что-то звериное вскипает в недрах его тела, постепенно заполняет его, в конце концов окончательно превратился в зверя, познавшего вкус наслаждений. Ему постоянно казалось, что внутри у него — звенящая пустота. Он потерял власть над собственным телом. Потом женщина заботливо протирала его теплой водой. Каждый раз, когда она это делала, у него возникало чувство, будто постепенно смывается грязь, прилипшая к коже и пропитанная запахом его тела, а вслед за нею слой за слоем сдирается и сама кожа, которую эта грязь защищала. Женщина говорила: «Вот какой вы у меня теперь чистый». Ее голос отдавался в ушах, как ветер, шелестящий в кронах криптомерий.

Мужчина не знал, что это за деревня, не понимал, зачем он все это делает. Но память подсказывала, что еще тогда, когда он брел по горной тропе, ему не раз чудилось, будто женские руки протирают его тело, ласкают его, добираясь до самых сокровенных уголков. Он думал, что, наверное, это ему снится. Он не мог пошевелиться, словно его сковали железом. Там, в горах, его будоражили запахи свежей листвы, влажной земли; яркие цветы, расцветшие на теле утесов, воспламеняли его воображение, и, представляя, как, откинув полы нарядного женского кимоно, он властно врывается в белизну женских ног и, навалившись яростным зверем, приводит в движение чресла, он, не в силах сдержаться, доводил себя до семяизвержения. Таким образом он мысленно изнасиловал многих деревенских женщин. Однажды он снял комнату. Его хозяевами была супружеская чета, не очень молодая, но далеко еще не старая. Вечером он изнасиловал одновременно и мужа и жену. Жену на глазах у мужа, а потом и бледного, мелко дрожащего мужа на глазах у жены. Женщин, которых он изнасиловал взглядом, в воображении, и сосчитать было невозможно.

В стену хижины время от времени ударялись камни, снаружи доносились звонкие детские голоса. Часто в дом вбегала та девочка с забинтованной головой, устраивалась рядом с лежащим мужчиной и некоторое время сидела, что-то напевая вполголоса, потом снова убегала. Слышно было, как она присоединялась к играющим детям. Женщина и тогда не отходила от мужчины. Приподняв, она усаживала его и, прислушиваясь к детским голосам, посмеивалась: «А ведь она вырастет красоткой, небось от парней отбоя не будет. Верно?» — и заглядывала мужчине в глаза. Тело женщины источало слабый аромат мускуса. Двери хижины были закрыты, но сквозь щели в стенах пробивался дневной свет, выхватывая из полумрака окружающие предметы. Одна часть хижины была с дощатым полом, другая — с земляным, там находился неболь-

шой очаг, в котором разводили огонь. У деревянной стены за спиной у мужчины стояла огромная, явно не для женских рук, корзина, на нее был наброшен принадлежащий мужчине белый наряд. «Сколько же дней, сколько долгих дней бродил я между сном и явью?» — подумал мужчина. Однажды, ведомый девочкой, он пришел в эту хижину на краю деревни, женщина омыла его бессильно поникшее тело, обняла его, он вдохнул ее запах и теперь не помнил ничего, кроме ее тепла и запаха. За стеной снова послышался громкий плач, наверное, плакала та девочка с обезображенным сыпью лицом. «Чтобы женщина вечно терпела насмешки и плакала из-за того, что тело ее в струпьях? Погоди, придет черед плакать мужчинам»,— низким глухим голосом проговорила женщина, заглушая плач. Затем она встала, открыла прикрытую платьем корзину и показала несколько листков с картинками. Женщина сказала, что ее занесло сюда из столицы. Это же она говорила и девочке. Подбросив в очаг несколько щепок, женщина развела огонь. В дырявом котелке она вскипятила какое-то снадобье и, смочив тряпку, принялась втирать его в обнаженное тело ребенка. «Придет время, и мы уедем в столицу. Тогда у тебя будет совершенно чистая кожа и никто не будет швырять в тебя камнями»,— приговаривала она, развязывая бинт на голове девочки. Женщина втерла снадобье и в голову, на которой, очевидно из-за сыпи, в некоторых местах образовались проплешины. Затем женщина стала рассказывать девочке:

«В старину, когда я жила в столице, там было двое знатных юношей, прекрасных и даровитых. Звали их Накатада и Судзуси [1]. Когда кто-то из них играл на кото, приходили в движение ветер и тучи, с неба падал град, сверкали молнии и гремел гром, а иногда даже небожители спускались на землю и танцевали — столь редкостно было их мастерство. Накатада унаследовал свое искусство от деда, Тосикагэ, а тот обрел его во время скитаний по Персии, куда судьба забросила его после того, как корабль, на котором он плыл в страну Морокоси, попал в бурю. Благородный Судзуси принадлежал к роду Гэндзи, предки его жили в уезде Муро провинции Кисю, приемы же игры на кото он унаследовал от Ияюки, некогда почитаемого наравне с Тосикагэ. С тех пор как Ияюки внезапно исчез из столицы, прошло уже более тридцати лет. Столичным жителям казалось странным, что искусство Ияюки унаследовал именно Судзуси, выходец из Кисю. Они спросили об этом у самого Судзуси, и что же? Оказывается, Судзуси пятилетним мальчиком совершил паломничество в святилище Кумано. Где-то в горах Кумано он и встретился со странствующим монахом Ияюки, и тот обучил его всем мелодиям. Сам же Ияюки удалился в свои горы, пожелав, чтобы тело его стало подаянием для диких зверей, а останки были брошены в глубокое ущелье под дождь и палящее солнце».

Тихонько постанывая, девочка слушала рассказ женщины. Ее тело было освещено золотистым огнем очага, сыпь в полумраке не была видна, и мужчине вдруг представилось, как прекрасная девушка приедет в столицу и вызовет переполох среди столичных юношей: «Откуда такое совершенство?» Мужчина быстро перевел взгляд на лицо женщины. Ему вдруг подумалось, что, наверное, и оно когда-то было покрыто желтоватой гноящейся сыпью и женщина тоже заматывала голову бинтами. Но он не заметил ни одной оспинки, лицо женщины было чистым и прекрасным. Ее черные глаза блестели, отражая огонь очага, под тканью кимоно угадывались полные, округлые плечи, грудь, бедра — вся ее нежная, податливая плоть. В хижине царил полумрак, только то место, где стояли женщина с девочкой, было мягко освещено, и что-то умиротворяющее было в этой картине. Мужчине показалось, что именно ради этого он так долго бродил по горным тропам, карабкался по утесам, пробирался между влажными темными корнями криптомерий.

---

[1] Накатада и Судзуси — персонажи из древней японской повести «Уцубо-моногатари» («Повесть о дупле», X в.). Накатада был потомком Тосикагэ, познакомившего Японию с искусством игры на кото. Гэндзи Судзуси был соперником Накатады, также большим мастером игры на кото, но другой школы.

Он был рослым, сильным. Жизнь в деревне не удовлетворяла его. Он пробовал стать отшельником, но у него не хватило терпения. Выбирая самые темные тропы, он шагал и шагал вперед, и ноги его стали как палки, он уже перестал понимать, идет он или нет, и в конце концов, обессилев, свалился на землю. Кричала кукушка. Где-то у ручья пел соловей. Но мужчина не узнавал голосов птиц. Он заставил себя подняться и, раздвинув буйную зелень высоких кустов, увидел впереди какой-то странный, будто подкрашенный алым, водопад. Он двинулся дальше, раздвигая перед собою ветки, и вдруг откуда-то — плюх! — посыпались пиявки. Мужчина сразу забыл о том, куда и зачем он идет.

Глядя теперь на женщину, он почему-то живо вспомнил то странное ощущение, которое испытал тогда, заблудившись в горах. Рассматривая ее лицо, он снова и снова принимался размышлять над тем, почему он здесь, хотя в общем-то в его появлении в этой хижине не было ничего сверхъестественного — от жары и усталости он лишился сил, упал, крепко заснул — и вот попал сюда.

Он соединился с женщиной. Впрочем, нет, это она, прижавшись всем телом к телу мужчины, по-прежнему блуждавшего между сном и явью, пробудила в этом мечущемся в горячечном бреду, сломленном усталостью теле дикого зверя, она настойчиво ласкала этого зверя, растирала его целебным отваром, как только что растирала девочку. Он принимал все, покорившись этой шелковой узде и понимая, что дал себя приручить. Такого с ним еще не бывало. Он шел вперед, оставляя за собой горы и деревни. Его называли праведником, он заговаривал глисты у детей, продавал амулеты с какими-то начертанными на них знаками, уверяя, что это большая ценность. Он ласкал на соломе встреченных по дороге деревенских девушек, но никогда не принимал подаяния от женщин.

На одном горном перевале он даже убил человека. Женщина, с которой он познакомился в той деревеньке, была его женой. Разделавшись с мужем, он натешился вволю с женщиной, а затем убил и ее. Когда он выходил из их дома, кричала кукушка.

После того как ребенок заснул, женщина на глазах у мужчины разделась донага, зачерпнула чистой родниковой воды, принесенной из горного источника, и, смочив тряпицу в стоявшем рядом чане, стала тереть себе затылок и грудь. «Освежусь маленько»,— сказала она, повернулась к мужчине спиной и, изогнувшись всем телом, стала, тихонько нашептывая какие-то молитвы, тереть бока и между ляжками. Ее напряг-шиеся ягодицы подрагивали в такт движениям. На обнаженном теле женщины не было ни одной оспинки. Не осталось на нем и следов от прикосновений бесчисленных мужских рук. По-прежнему совершенно обнаженная, она встала перед мужчиной. Глядя ему прямо в глаза, посмеиваясь, спросила: «Ну как, окрепли?» Мужчина запустил руку между ее ляжками. Женщина шлепнула его по руке и захихикала громче. Надевая кимоно, она сказала: «А попробуйте-ка встать». Мужчина послушно поднялся на ноги и попытался шагнуть. Ноги еще плохо слушались его, но идти он мог. «Да вы совсем молодец»,— сказала женщина. Она произносила слова, придыхая, словно слабый ветерок шелестел в кустах. «Да, вроде бы получше»,— сказал мужчина, приноравливаясь к ее тону. Впервые встав, он понял, как сильно изменился: кости выпирали везде так, что он сам себя не узнавал. Обнаженное, жирно лоснящееся тело пахло снадобьем, которым натирала его женщина. Он был грязен. В складках кожи на ладонях скопилась грязь, руки были в ссадинах. Бывало, вспотев, он обливался водой горных ключей, время от времени стирал платье под водопадом и сушил его, а иногда и сам окунался в воду. Однако грязь не так-то просто смыть. Неожиданно подумав об этом, мужчина устыдился своего пахнущего отваром тела, затем, снова взглянув на смеющуюся женщину, ощутил нестерпимый приступ ярости. Спустившись на земляной пол, он стал лить воду себе на голову. Вода попала в очаг, и огонь с шипеньем погас. На этот раз он первый обнял

женщину. Он лизал ее соски, кусал их, стараясь заставить ее закричать от боли, затем обеими ногами придавил ее ноги, которыми она пыталась сжать его ягодицы. Остро ощутив, как нежные складки ее лона охватили его детородный орган, мужчина задвигался, словно стремясь расплющить эти складки.

Каждая складочка ее лона была покрыта сыпью. Сыпь вздувалась, наливаясь гноем, лопалась при каждом соприкосновении с членом мужчины. Из нее выдавливались гной и сукровица. Женщина вскрикнула. Нет, сыпь была не на ее теле. Она покрывала половой член мужчины — верхняя кожица была содрана, и из-под нее выступал гной. Задевая за складки женского лона, сыпь раздавливалась и лопалась. Приподняв голову, женщина потянулась к мужчине, впившемуся зубами в ее сосок, и кончик ее языка пополз по его уху. Мужская рука мяла женскую грудь, и каждый раз, когда он, стискивая ее ягодицы, с силой врывался в нее, женщина впивалась ногтями в его спину и кусала его ухо. Когда мужчина наконец кончил, женщина шепнула ему: «Я принесу воды и оботру вас». Мужчина покачал головой, и она сказала: «Ведь я всегда так делала». Женщина прижалась губами к его лицу. Она провела языком по его векам, затем по носу. Она заставила его приподнять ногу и принялась лизать у него между ног. Она лизала его ягодицы. Мужчина потянул женщину на себя. Его тело было мокрым от ее слюны. Она прижалась губами к его руке. Брала в рот его пальцы один за другим и, громко причмокивая, сосала. В темноте раздавался какой-то странный звук, будто кто-то хихикал. Потом женщина уселась верхом на мужчину и вложила свои груди в его руки. И вот — это произошло почти сразу же. Женщина сказала: «Спасите меня». Она ввела член мужчины в свое лоно и простонала: «Спасите меня». Прильнув к груди мужчины, она сжала его лицо руками, приникла к нему губами, терлась щекой о его колючую небритую щеку, не переставая твердить: «Спасите меня». Мужчина попытался приподнять ее, но она, дрожа, цеплялась за него и все время повторяла: «Спасите меня, будьте милосердны». Его лицо и грудь сделались липкими от ее слез и слюны.

Мужчина сбросил с себя женщину. Тихо сказал: «Подними ноги». Женщина послушно подняла ноги. «И так — сколько уже лет, сколько лет...» — всхлипывала она. «Убейте меня»,— говорила она и каждый раз, когда мужчина ударялся о ее грудь, вскрикивала, прижимаясь губами к его груди, стискивала зубы и, опуская ноги, вытягивалась. «Убейте меня»,— повторила женщина и, взяв руки мужчины в свои, сомкнула их на своей шее и крепко сжала, стараясь сообщить им силу. Она извивалась под мужчиной, билась грудью о его грудь, изо всех сил сжимая его руки на своем горле. Кончив, она стала всхлипывать. «Сколько же лет, сколько лет я скитаюсь вот так, нигде не находя покоя...» — говорила она. Женщина сказала, что она Идзуми Сикибу. Но везде есть женщины, которые называют себя Идзуми Сикибу. Женщина все всхлипывала, потом снова прижалась к мужчине и спрятала лицо у него на груди. Его слуха коснулся тихий, словно шелест травы, плач. Сначала слабым отзвуком коснувшись его слуха, в следующий миг он заполнил все его существо, разбудив давно уже таившуюся в душе ярость. Мужчина подумал о том, как много раз он уже слышал этот плач. Он вспомнил, как в одной деревне догнал убегавшую девушку, повалил ее и грубо овладел ею. Так плакал и муж, жену которого он изнасиловал. Взглянув на его трясущиеся плечи, мужчина на том же матрасе, на котором только что овладел женой, изнасиловал и мужа.

Женщина снова навалилась на мужчину всей своей тяжестью, ее дыхание пахло свежей зеленью, она лизала ему ухо, шепча: «Гонгэн-сама, Гонгэн-сама... [1]».

Мужчина проснулся внезапно, когда горсть камней ударила в стену хижины, и понял, что рядом нет ни женщины, ни девочки. Одевшись, он

[1] Гонгэн-сама — обращение к существу (часто к синтоистскому божеству), являющемуся воплощением будды или бодхисаттвы.

вышел наружу. В воздухе плыл мерный звон цикад. Увидев, что от солнца, зияющего в небе огромной прорехой, падают вниз бесчисленные слепяще белые лучи, мужчина, следуя изгибам реки, пошел вверх по склону. Он рассчитывал выбраться к Одайгахара, идя тайными тропами горных монахов, но вдруг вспомнил, что на земляном полу остался мешочек с рисом, и вернулся в хижину. Тогда-то это и случилось. Что-то глухо — раз и еще раз — стукнуло в стену хижины. Быстро засунув мешочек с рисом за пазуху, мужчина вышел наружу, собираясь задать хорошую взбучку деревенским ребятишкам. Раньше стоило ему сказать: «Вот я сам, не видите, что ли, кто я такой?» — и самые злостные озорники сразу же разбегались. Да и взрослые тоже. Уже открыв рот, чтобы закричать, он повернулся в ту сторону, откуда летели камни. И сразу же увидел женщину. Показывая на мужчину пальцем, она пронзительно кричала. Рядом стояла та девочка, с лицом, покрытым струпьями. Женщину окружали деревенские парни — пригнувшись, они стояли на изготовку с большими камнями в руках. Камни снова ударили в стену хижины. Женщина громко смеялась, что-то кричала резким, пронзительным голосом, словно подбадривая парней, и пальцем показывала на мужчину. Красная тряпка на ее голове горела на солнце, притягивая к себе взор мужчины.

ЯПОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА СТРАНИЦАХ «ИЛ»

ПРОЗА

Абэ Кобо — Женщина в песках (Роман. Пер. В. Гривнина; предисловие П. Палиевского), 1966, № 5.

Абэ Кобо — Чужое лицо (Роман. Пер. и предисловие В. Гривнина), 1967, № 12.

Абэ Кобо — Сожженная карта (Роман. Пер. В. Гривнина), 1969, № 8-10.

Абэ Кобо — Детская. (Рассказ. Пер. В. Гривнина), 1972, № 6.

Абэ Кобо — Человек-ящик (Роман. Пер. В. Гривнина; предисловие Т. Грушина), 1976, № 8,9.

Абэ Кобо — Вошедшие в ковчег (Роман. Пер. В. Гривнина), 1986, № 10-12.

Акутагава Рюноскэ — Мысли о литературе (Вступление, составление и перевод В. Гривнина), 1974, № 3.

Акутагава Рюноскэ — Миниатюры. К 90-летию со дня рождения (Пер. В. Гривнина), 1982, № 10.

Ариёси Савако — Дважды рожденный (Повесть. Пер. В. Логуновой), 1971, № 12.

Иноуэ Ясуси — Сны о России (Главы из романа. Пер. и вступление Б. Раскина), 1974, № 2.

Иноуэ Ясуси — Охотничье ружье (Новелла. Пер. Б. Раскина), 1980, № 1.

Иноуэ Ясуси — Рассказы о любви (Пер. Б. Раскина), 1986, № 5.

Исихара Синтаро — Япония, которая сумеет сказать «нет». (Политическое эссе. Пер. М. Теракопян), 1991, № 11.

Ито Такэси — 6 августа 1945 года — Хиросима обвиняет. (Фрагменты книги. Пер. Б. Раскина), 1982, № 10.

Кавабата Ясунари — Голос бамбука, цветок персика (Рассказ. Пер. Б. Раскина), 1972, № 6.

Кавабата Ясунари — Стон горы (Роман. Пер. В. Гривнина), 1973, № 9, 10.

Кайко Такэси — Токио с близкого расстояния. (Из очерков разных лет. Пер. Б. Раскина), 1983, № 4.

Кайко Такэси — Всё дальше и дальше! (Из книги путевых очерков. Пер. Г. Чхартишвили), 1986, № 3.

Кита Морио — Машина времени (Рассказ. Пер. З. Рахима), 1967, № 1.

Кита Морио — Головастики (Рассказ. Пер. В. Гривнина), 1969, № 2.

Маруяма Кэндзи — Сердцебиение (Повесть. Пер. Г. Чхартишвили), 1991, № 5.

Мисима Юкио — Патриотизм (Рассказ. Пер. Г. Чхартишвили), 1988, № 10.

Мисима Юкио — Золотой Храм (Роман. Пер. Г. Чхартишвили), 1989, № 5.

Миура Тэцуро — Река терпения (Рассказ. Пер. Т. Григорьевой), 1975, № 1.

Морита Акио при участии Эдвина Рейнгольда и Митико Симомура — Сделано в Японии: Акио Морита и «Сони» (Фрагменты книги. Пер. Б. Никольского), 1990, № 3.

Нумано Мицуёси — За одну остановку до вечности (Главы из книги. Пер. Г. Чхартишвили), 1990, № 2.

Охара Томиэ — Ее звали о-Эн (Повесть. Пер. и вступление И. Львовой), 1970, № 2.

Оэ Кэндзабуро — Футбол 1860 года (Роман. Пер. и вступление В. Гривнина), 1972, № 1-2.

Оэ Кэндзабуро. Из книги «Хождение по канату» (Пер. Б. Раскина), 1979, № 9.

Оэ Кэндзабуро — Объяли меня воды до души моей... (Роман. Пер. В. Гривнина), 1978, № 3-4.

Оэ Кэндзабуро — Записки пинчраннера (Роман. Пер. и послесловие В. Гривнина), 1981, № 11-12.

(Продолжение см. на стр. 171)

ХАРУКИ МУРАКАМИ

Авария на Нью-Йоркской шахте

Перевод Л. ГРОМКОВСКОЙ

Что же спасатели? Неужели
Бросили нас, ушли,
Разуверились, не сумели
К нам пробиться сквозь толщу земли?

Из песни «Авария на Нью-Йоркской шахте».
Группа «Би джиз».

Всякий раз как надвигается тайфун и вот-вот хлынет дождь, он направляет стопы в зоопарк. Чудно́й привычке он подвержен уже лет десять. Человек этот — мой друг.

Когда весь честной люд перед ненастьем закрывает ставни и проверяет, на месте ли транзисторы и карманные фонарики, он заворачивается в плащ-накидку, которая досталась ему из запасов американского обмундирования времен вьетнамской войны, рассовывает по карманам банки с пивом и выходит из дому.

Если не повезет, ворота зоопарка окажутся запертыми.

«Зоопарк закрыт по случаю непогоды».

В этом, пожалуй, есть резон. Ну кто, в самом деле, явится в такую скверную погоду, да еще под вечер, чтобы поглазеть на зебру или жирафа?

Он принимает это как должное, присаживается на каменную белочку — их изваяния рядком стоят перед воротами, выпивает тепловатое пиво и возвращается домой.

Если повезет, ворота открыты.

Заплатив за билет, он входит внутрь, не без труда раскуривает размокшую сигарету и прилежно, одну за другой, обходит клетки с животными.

Животные ведут себя по-разному: то боязливо наблюдают за дождем из домиков, то, когда ветер крепчает, начинают возбужденно метаться по клетке, если же резко меняется атмосферное давление — впадают в панику или приходят в ярость.

Обычно он устраивается перед клеткой бенгальского тигра — этот больше других негодует на стихию — и выпивает здесь баночку пива. Потом еще пару банок в обезьяннике, где помещается горилла. К тайфуну она безразлична, но с неизменным сочувствием наблюдает за странной фигурой — не то человека, не то водяного,— сидящей на цементном полу с банкой пива.

Он говорит: «Чувствуешь себя так, будто оказался с ней один на один в сломанном лифте».

Впрочем, если не брать во внимание эти его вечерние прогулки в непогоду, то он в высшей степени серьезный человек.

Служит в одной иностранной торговой фирме, не слишком известной, но с хорошей репутацией; живет холостяком в чистенькой квартирке; каждые полгода меняет подружек. С какой стати он это делает, мне совершенно непонятно. Все они похожи одна на другую, как если бы возникли путем клеточного деления.

© Haruki Murakami, 1983

Многие почему-то забрали себе в голову, что он заурядный, недалекий тип, однако его самого это, кажется, ничуть не тревожит. У него имеется автомобиль, подержанный, но в хорошем состоянии, полное собрание сочинений Бальзака и костюм для похорон — черный пиджак, черный галстук и черные штиблеты.

Когда кто-нибудь из моих близких покидает этот мир, я звоню ему, чтобы попросить взаймы пиджак, галстук и туфли. Пиджак и туфли мне на размер велики, но тут уж не до роскоши.

— Виноват,— говорю я,— опять похороны.

— Пожалуйста, пожалуйста,— неизменно отвечает он.

На такси до него ехать минут пятнадцать.

Когда я приезжаю, на столе уже разложены аккуратно отутюженные пиджак и галстук, башмаки начищены до блеска, а в холодильнике остывает полдюжины импортного пива. Такой вот субъект.

— Я тут как-то в зоопарке видел кошку,— говорит он, откупоривая пиво.

— Кошку?

— Да, пару недель назад был в командировке на Хоккайдо, заглянул в тамошний зоопарк, вижу — небольшая такая клетка, на ней написано «Кошка», и внутри действительно спит кошка.

— И что за кошка?

— Самая обыкновенная. Рыжая в полоску, с коротким хвостом, страшно толстая. Развалилась и дрыхнет.

— Выходит, кошки на Хоккайдо в диковинку? — говорю.

— Да брось ты!

— А вообще-то почему бы и не держать кошку в зоопарке? — рискнул я порассуждать.— Что, кошка — не животное?

— Как-то не принято. В конце концов, что кошка, что собака — обыкновеннейшие твари. Специально платить, чтобы на них посмотреть? Того не стоит,— сказал он.— Все равно что на людей.

— В самом деле,— согласился я.

Когда мы выпили все припасенное пиво, он тщательно сложил галстук, пиджак в виниловом чехле и коробку с туфлями в большой бумажный мешок. Будто на пикник меня собирал.

— Твой вечный должник,— сказал я.

— Не бери в голову...

Пиджак был сшит три года назад, но вряд ли он хоть раз надевал его.

— Не умирает никто,— пояснил он.— Странное дело, с тех пор как я обзавелся этим пиджаком, все до единого живы-здоровы.

— Это уж как водится.

— Вот именно,— сказал он.

* * *

У меня же в тот год случилось кошмарное количество похорон. Друзья, нынешние и бывшие, уходили один за другим. Картина была плачевная, прямо кукурузное поле, иссохшее под палящим солнцем. Было мне тогда двадцать восемь.

Все вокруг были в общем-то сверстниками. Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. Не те, вроде, годы, когда положено умирать.

Считается, что в двадцать один погибают поэты; революционеры и рок-музыканты — в двадцать четыре. Я был почти уверен: стоит только проскочить этот рубеж и можно дальше какое-то время жить безбедно.

А уж если ты миновал и «смертельный поворот» — тот возраст, который по народному поверью считается опасным [1],— значит выбрал-

[1] В Японии, по традиции, считается опасным возрастом для мужчин 25 лет и 42 года, а для женщин — 19 лет и 33 года. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

ся-таки из сырого с тусклым освещением тоннеля. Лети прямо к цели (даже если не больно-то хочется) по широкому шестирядному шоссе!

Все мы теперь ходили подстриженными, неукоснительно брились по утрам. Не были ни поэтами, ни революционерами, ни рок-музыкантами. Бросили в пьяном виде дрыхнуть в телефонных будках, перестали целыми пакетами лопать вишни в метро по вечерам, врубать на рассвете на полную мощность пластинки с записью группы «Doors»... Завязали мы со всем этим!

Поддавшись уговорам знакомого агента, застраховали жизнь, выпивали только чинно-благородно — в гостиничных барах, хранили счета от зубного врача, чтобы потом получить, как положено, льготу по страховке.

И как-никак мне уже стукнуло двадцать восемь...

Несусветное побоище началось неожиданно. Как гром среди ясного неба.

Живешь, не ведая беды, под ласковым солнцем. Переодеваешься, например, весь поглощен этим немудреным делом. Размер, будь он неладен, не тот, приходится закатывать рукава рубашки, натягиваешь штанину на правую ногу, а левой пытаешься попасть в несуществующую брючину... э-э, что там за грохот?

А это зловеще грянул выстрел. И началось...

Откуда-то сверху, с какого-то таинственного холма, кто-то неведомый навел на нас воображаемый пулемет — и ну поливать незримыми пулями!

Как ни крути, смерть — это смерть, и ничего другого. Так же, как заяц, например,— это заяц, неважно, откуда он выскочил — из шляпы или из хлебного поля. Или, скажем, жаркий очаг — это жаркий очаг, а черный дым из трубы не что иное, как черный дым.

* * *

Первым шагнул через мрачную бездну между бытием и небытием (или небытием и бытием) мой университетский товарищ. Он был учителем английского, три года как женился. Накануне Нового года жена уехала рожать в отчий дом на Сикоку.

В одно прекрасное январское воскресенье он купил на распродаже в универмаге немецкую бритву — ею, пожалуй, можно было бы отрезать уши слону — и два тюбика крема для бритья. Дома, пока грелась вода для ванны, достал из холодильника лед и опорожнил бутылку шотландского виски. Потом, сидя в ванне, вскрыл себе вены.

Через два дня тело обнаружила мать. Приехала полиция, место происшествия фотографировали и так и этак. Если бы еще расставить там горшки с цветами, снимки вышли бы жизнерадостными, как реклама томатного сока.

«Самоубийство» — гласила официальная полицейская версия. Квартира оказалась запертой изнутри, ключ висел тут же. Главное же — бритву в тот день приобрел сам покойный.

Никто, однако, не мог уразуметь, зачем ему понадобился этот дурацкий крем. Да еще два тюбика! Наверное, не успел свыкнуться с мыслью, что жить осталось всего несколько часов. Или устрашился, что продавец в универмаге заподозрит, что он собирается свести счеты с жизнью?

Ни предсмертного письма, ни какой-нибудь записки — ничего не было. На кухонном столе стоял стакан, пустая бутылка, глубокая чашка из-подо льда и два тюбика крема для бритья.

Пока грелась вода, он пил рюмку за рюмкой шотландское виски со льдом и, наверное, не отрывал глаз от этих тюбиков.

«Бриться мне больше ни к чему».

Тосклива, как зимний дождь, смерть молодого человека двадцати восьми лет.

* * *

В следующие двенадцать месяцев к нему добавились еще четверо.

Один в марте стал жертвой аварии на нефтяных промыслах где-то в Саудовской Аравии, а может — в Кувейте. Двое других погибли в июне. Сердечный приступ и транспортная катастрофа. С июля по ноябрь длилось затишье, а в середине декабря опять... И тоже из разряда «дорожно-транспортных происшествий».

Кроме самого первого, того, что ушел из жизни по своей воле, ни один человек в предсмертный миг не успел осознать, что происходит. Так бывает, когда привычно тащишься вверх по лестнице, а под ногой вдруг рушится ступенька.

«Постели мне, пожалуйста,— произнес тот, что скончался от разрыва сердца.— Какой-то шум в затылке».

Укрылся одеялом, уснул и не проснулся.

Девушке, погибшей в декабре, самой молодой из всех, единственной женщине, было двадцать четыре.

Вечер накануне Рождества был холодным и дождливым. Ее насмерть задавил грузовик какой-то фирмы, производящей пиво. Смерть настигла ее в роковом — и таком прозаическом! — месте... Это был тесный промежуток между фонарным столбом и злосчастным грузовиком.

* * *

Вскоре после похорон я упаковал пиджак, только что взятый из химчистки, и, как положено, с бутылкой виски отправился к его владельцу.

— Спасибо, выручил.

Он улыбнулся.

— Ничего, мне ведь он не понадобился.

В холодильнике остывало пиво, уютная софа освещалась слабыми лучами солнца. На столе рядом с традиционным рождественским украшением — цветком эуфорбии — красовалась свежевымытая пепельница.

Он принял от меня виниловый пакет с пиджаком и уложил его в шкаф, так, будто устраивал медведя на зимнюю спячку.

— Надеюсь, пиджак не очень пропах похоронами,— сказал я.

—-Да ладно, для того он и предназначен. Меня больше тревожит персона, которая надевала этот пиджак.

Я хмыкнул.

Он уселся напротив, вытянул перед собой ноги и положил их на софу. Разлил пиво в стаканы.

— Вот ты, действительно, с ног до головы весь в похоронах. Скольких же ты похоронил?

— Пятерых.— Я разогнул все пять пальцев левой руки.— Но теперь все, конец.

— Думаешь?

— Мне так кажется,— ответил я.— Хватит. Вполне достаточно народу поумирало.

— Какое-то заклятие пирамид. «Таково расположение звезд на небе, и тень от луны закрыла солнце...»

— Вот-вот.

Покончив с пивом, мы взялись за виски. Зимнее солнце, описав плавную дугу, заглянуло в комнату.

Он сказал:

— Ты выглядишь мрачным.

— Вот как...

— Наверное, мысли спать не дают.

Я засмеялся и посмотрел в потолок.

— А я с этими ночными думами покончил,— сказал он.

— И как же это?

— Когда на меня находит, хватаюсь за уборку. Включаю пылесос,

протираю окна, перемываю стаканы, двигаю мебель, глажу рубашки все подряд, подушки диванные выбиваю... А потом перед сном часиков в одиннадцать выпью немного и спать. И все. Утром, когда натягиваю носки, считай, все забыто. Начисто. Часа в три ночи чего только не взбредет на ум. То одно, то другое...

— Точно.

— В такое время даже звери и те «думу думают»,— сказал он, что-то вспомнив.— Слушай, а тебе никогда не случалось бывать ночью в зоопарке?

— Нет,— ответил я растерянно,— нет, конечно.

— Я был разок. Вообще-то нельзя, но я упросил одного знакомого.

— Понятно.

— Необыкновенное, я тебе скажу, переживание. Нечто неописуемое. Знаешь, кажется, будто земля лопается беззвучно и что-то выползает... И это что-то, оно вылезло из самых земных глубин, а потом, невидимое, затеяло шабаш. Этакая глыбища морозного воздуха. Глазом ее не видно... А звери чувствуют. И я чувствую, что они чувствуют. Слушай, ведь почва, по которой мы ходим, она же соединяется с самой сердцевиной земли... А в этой сердцевине как бы спрессовано время... Огромная масса времени... Я чушь мелю, да?

— Нет,— сказал я.

— Второй раз я бы туда не пошел... Какие прогулки в зоопарк среди ночи?..

— Что, в бурю интереснее?

— Пожалуй,— усмехнулся он.— Тайфун — то, что надо.

Зазвонил телефон.

Конечно же, звонила одна из тех его подружек, что возникли клеточным способом, но разговор, против ожидания, оказался не по-«клеточному» долгий.

От нечего делать я включил телевизор. Цветной телик с экраном 27 дюймов по диагонали. Легонько нажимая на кнопки ручного управления, я переключал каналы, убавив звук. Из-за того, что там было целых шесть громкоговорителей, комната стала напоминать старомодный кинотеатр, где крутят новости и мультики. Я дважды прошелся сверху донизу по клавишам и остановился на программе новостей. Вспыхивали пограничные конфликты, горели дома, поднимался и падал курс валюты. Вводились ограничения на импорт автомобилей, проходил съезд любителей плавания в холодной воде. Целая семья разом совершила самоубийство. Происшествия и события каким-то образом были связаны между собой, точно фотоснимки в школьном выпускном альбоме, я это чувствовал.

— Что-нибудь интересное? — спросил он, вернувшись на свое место.

— Да как сказать,— ответил я.— Просто давненько не смотрел телевизор.

Он подумал немного:

— У телевизора есть, по меньшей мере, одно достоинство. Его можно выключить, когда захочется.

— Можно и вообще не включать.

— Не говори,— засмеялся он с довольным видом.— Но я человек доверчивый, включаю, все надеюсь на лучшее...

— Оно и видно.

— Не возражаешь? — И он нажал клавишу. Изображение мгновенно исчезло. Комната погрузилась в тишину. За окном в доме напротив зажегся свет.

Минут пять мы пили молча, исчерпав тему для разговора. Опять зазвонил телефон, но на сей раз он сделал вид, что не слышит. Телефон умолк, и он, точно вспомнив что-то, снова включил телевизор. Изображение вернулось. Комментатор программы новостей продолжал талдычить про изменение цен на нефть, водя указкой по диаграмме.

— Надо же, он и не заметил, что мы выключили его на целых пять минут...

— Точно...— сказал я.

— А почему? — Думать было неохота, и я покачал головой.— Выключаешь телевизор, и в этот момент кто-то перестает существовать. Кто — мы или этот тип?

— Можно и по-другому рассуждать,— сказал я.

— Разумеется, есть куча возможностей рассуждать по-всякому. В Индии, например, благодать, пальмы тебе кокосовые растут, а вот в Венесуэле — кошмар, там, видишь, политических преступников сбрасывают с вертолетов...

— Да...

— Что говорить о других... Бывает в жизни и так: о похоронах речи нет и мертвечиной от него не пахнет, а человек-то уже неживой.

Я молча кивнул. Потрогал пальцем зеленые листья эуфорбии.

— Если честно, то у меня есть шампанское,— сказал он с серьезным видом.— Из Франции, отличная штука. Выпьем?

— Может, лучше оставить для какой-нибудь барышни?

Он разлил охлажденное шампанское в чистые стаканы и поставил их на стол.

— Неизвестно,— сказал он,— зачем, собственно, его пьют? Просто бывают такие моменты, когда торжественно откупоривают шампанское.

— В самом деле.

Мы, значит, «торжественно откупорили шампанское». И принялись болтать о парижском зоопарке и его обитателях.

* * *

В конце года я попал на вечеринку. Каждый год в районе Роппонги снимали целиком ресторанчик и устраивали проводы Старого года. Там было неплохое фортепианное трио, вкусно кормили, подавали отличное вино. Знакомых почти не было, и я счел за благо отсиживаться в углу. Премилое было сборище, я благодушествовал.

Но, конечно, не обошлось без знакомств. И пошло-поехало: ах, ох, рад познакомиться, да что вы говорите, в самом деле, действительно, надо же! С любезной улыбкой я выжидал момент, когда можно было бы взять еще порцию виски и ретироваться в свой угол, чтобы продолжить глубокие размышления о судьбах государств и столиц южноамериканского континента.

Однако женщина, с которой меня познакомили, последовала за мной до моего места с двумя стаканами виски с содовой.

— Я попросила, чтобы нас познакомили,— сказала она.

Она не была красавицей из тех, что глаз не оторвешь, но, как говорится, ужасно мила. Дорогое платье из голубого шелка сидело на ней великолепно. Наверное, ей было где-то года тридцать два. Впрочем, она вполне могла бы выглядеть моложе, если бы захотела, но, видно, не было в этом нужды. На пальцах у нее я заметил целых три кольца. На губах блуждала усмешка, легкая, как летние сумерки.

Я не речист и предпочел так же, как она, молча улыбаться.

— Вы страшно похожи на одного моего знакомого.

— О! — поразился я. Банальная фраза, которая была в ходу в мои студенческие годы, в пору ухажерства. Женщина же явно не принадлежала к тем, кто пользуется избитыми трюками.

— Вы похожи на него невероятно — и лицом, и фигурой, и манерой говорить... Всем обликом. Я наблюдаю за вами с тех пор, как вы появились.

— Хотелось бы взглянуть на того, с кем у меня такое сходство,— сказал я. И эта реплика всплыла откуда-то из прошлого.

— Правда?

— Да, хотя мне и страшновато.

Ее улыбка на мгновение ушла вглубь, но тут же вернулась.

— Это невозможно,— сказала она.— Уже пять лет, как он умер. Как раз в вашем возрасте. Это я его убила.

Фортепианное трио закончило очередное выступление на эстраде, вокруг рассыпались аплодисменты.

К нам подошла девица, исполнявшая на вечере роль хостессы — хозяйки.

— Вы, я вижу, увлечены беседой?

— Да,— сказал я.

— Конечно,— дружелюбно подтвердила моя собеседница.

Хостесса спросила:

— Хотите сделать заявку? Они могут исполнить все, что захотите.

— Нет-нет, все отлично, мне нравится, что они играют... А вам?

— Мне тоже.

Хостесса с улыбкой перешла к следующему столику.

— Любите музыку? — спросила женщина.

— Если мир вокруг хорош и музыка хороша, то да.

— В хорошем мире не может быть хорошей музыки,— сказала она.— В хорошем мире воздух ведь не вибрирует.

— Вот именно.

— Помните фильм с Уорреном Бити, где он играет на фортепиано в ночном клубе?

— Нет, не видел.

— Одну из посетительниц клуба, бедную, несчастную женщину, играет Элизабет Тейлор, и Уоррен Бити предлагает ей заказать какую-нибудь мелодию.

— И что же,— спросил я,— заказала она что-нибудь?

— Не помню... Фильм-то старый.— Она отпила виски, и кольца на ее пальцах засверкали.— Неприятное слово «заявка». Чувствуешь себя каким-то ущербным. Как будто берешь книгу в библиотеке. Не успеет эта музыка начаться, как хочется, чтобы она поскорее кончилась.

Она сунула в рот сигарету, я зажег спичку.

— Да,— сказала она,— мы ведь говорили о том, кто был похож на вас.

— Каким образом вы его убили?

— Запихнула в пчелиный улей.

— Шутите, надеюсь...

— Шучу,— согласилась она.

Вместо того чтобы вздохнуть, я глотнул виски.

— По закону я, вообще-то, не убийца,— сказала она.— И по совести тоже.

— Ни по закону, ни по совести вы не убийца.— Мне не хотелось развивать эту тему, и я подытожил суть дела.— Но вы убили человека.

— Да,— охотно подтвердила она.— И он был очень похож на вас.

Музыканты заиграли что-то знакомое. Какую-то старую вещь, но я не мог вспомнить название.

— Дело не заняло и пяти секунд,— сказала она,— я имею в виду убийство.

Некоторое время мы молчали. Она, видно, любила помолчать.

— Вы никогда не думали о том, что же такое свобода? — спросила она.

— Иногда,— ответил я,— а почему вас это интересует?

— Вы смогли бы нарисовать маргаритку?

— Пожалуй... Совсем как тест на интеллектуальные возможности.

— В этом роде,— засмеялась она.

— Ну и что, я выдержал?

— Да,— засмеялась она.

— Спасибо,— сказал я.

Зазвучал «Прощальный вальс».

— Одиннадцать часов пятьдесят пять минут,— сказала она, мельком взглянув на золотые часики-кулон, висевшие у нее на груди.

— Обожаю эту мелодию,— сказала она.— А вы?

— По-моему, «Мой дом на перевале» лучше. Там тебе и серна, и дикий бык.

Она ласково улыбнулась.

— Приятно было поболтать. До свидания.

— До свидания,— сказал я.

* * *

Чтобы экономить воздух, фонарь задули, и все вокруг погрузилось в кромешную тьму. Никто не издавал ни звука. Только слышно было, как с потолка мерно, каждые пять секунд, падает капля воды.

— Старайтесь не дышать... Воздуху осталось мало...— Это сказал пожилой проходчик. Голос был тихий, но все равно камни на потолке едва слышно скрипнули.

Сгрудившись во мраке, шахтеры напряженно вслушивались. Ждали одного-единственного звука. Звона кирки. Звука жизни. Сколько времени уже длилось ожидание... Мрак постепенно растворил реальность. Все, что было, происходило в далеком прошлом, в каком-то другом мире. Или — все еще будет? В далеком будущем и в ином мире?

— Старайтесь не дышать, воздуху осталось мало...

Конечно, снаружи к ним пробивались. Как это бывает в кино.

ЯПОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА СТРАНИЦАХ «ИЛ»

Сига Наоя — Преступление Хана (Рассказ. Пер. Т. Григорьевой), 1975, № 1.

Судзуки Дайсэцу — Две лекции о дзэн-буддизме (Пер. и предисловие Л. Ермаковой), 1991, № 1.

Танидзаки Дзюнъитиро — Татуировка (Рассказ. Пер. А. Долина), 1975, № 1.

Уно Коитиро — Бог китов (Рассказ. Пер. Т. Григорьевой), 1972, № 6.

Хаяси Кёко — Встреча однокурсниц (Рассказ. Пер. Б. Раскина), 1985, № 8.

Эндо Сюсаку — Море и яд (Повесть. Пер. П. Петрова), 1964, № 8.

Ямамото Сюгоро — Три новеллы: «Ночь в камышах», «Бежит по нашей улице трамвай», «Дом с бассейном» (Пер. и вступление Б. Раскина), 1977, № 1.

Поэзия

Акико Ёсано. Пер. А. Долина, 1988, № 7.

Бокусуй Вакаяма. Пер. А. Долина, 1988, № 7.

Бусон. Пер. Т. Соколовой-Делюсиной, 1990, № 11.

Ёнэда Эйсаку. Пер. А. Мамонова, 1962, № 7.

Исса. Пер. и предисловие Т. Соколовой-Делюсиной, 1992, № 5-6.

Канэко Мицухару. Пер. В. Марковой, 1960, № 9.

Канэко Мицухару. Пер. и вступление А. Долина, 1970, № 11.

Киёока Такаюки. Пер. Т. Соколовой-Делюсиной, 1982, № 7.

Китамура Таро. Пер. В. Марковой, 1960, № 3.

Кора Румико. Пер. А. Долина, 1973, № 2.

Кусано Симпэй. Пер. Т. Соколовой-Делюсиной, 1982, № 7.

Масаока Сики. Пер. А. Долина, 1984, № 8.

Мокити Сайто. Пер. А. Долина, 1984, № 8.

Муро Сайсэй. Пер. В. Марковой, 1980, № 7.

Мурано Сиро. Пер. В. Марковой, 1960, № 9.

Окамото Дзюн. Пер. В. Марковой, 1960, № 9.

Оно Тосабуро. Пер. В. Марковой, 1960, № 9.

Оно Тосабуро. Пер. А. Мамонова, 1966, № 6.

Садаиэ. Пер. В. Марковой, 1977, № 5.

Сикиси-найсинно. Пер. В. Марковой, 1977, № 5.

Тавара Мати. Пер. и вступление Т. Соколовой-Делюсиной, 1991, № 9.

Таками Дзюн. Пер. В. Марковой, 1960, № 9.

Таками Дзюн. Пер. И. Мотобрывцевой, вступление И. Львовой, 1968, № 8.

Такамура Котаро. Пер. В. Марковой, 1980, № 7.

Такамура Котаро. Пер. Т. Соколовой-Делюсиной, 1982, № 7.

Таникава Сюнтаро. Пер. А. Долина, 1987, № 2.

Цудзи Юкио. Пер. А. Долина, 1987, № 2.

(Продолжение см. на стр. 238)

МАСАХИКО СИМАДА

Дельфин в пустыне

Перевод Т. СОКОЛОВОЙ-ДЕЛЮСИНОЙ

Полнолуние. Холодом скованная возбужденность лунного диска. Ночь такая светлая, что отчетливо различимы алые струи кровавого дождя. Звездные часы показывают полночь, я изнемогаю от усталости, душа словно блуждает в угрюмом дремучем лесу. Память не сохранила почти ничего — ни какой это был день, ни какой месяц. Не помню, где я бродил, что делал. Мне запомнилось только, что однажды я взглянул на луну — она показывала мне пепельно-лиловый язык. У меня нет ни семьи, ни положения в обществе. Прошлое начинает стираться в памяти. Хорошо помню, как до хрипоты беседовал с каким-то человеком. Почему-то он был мне очень дорог, хотя я видел его впервые.

* * *

— А теперь и вы что-нибудь спойте! — С этими словами пожилой мужчина, который только что, не вынимая рук из карманов, пропел популярную песню, похлопал по плечу одиноко сидевшего рядом мужчину в сером костюме и галстуке с набивным узором из голубых роз. Мужчина сидел прямо, словно у него не гнулся позвоночник. Он был неопределенного возраста, а на его бледном лице застыло такое выражение, будто он по рассеянности забрел в этот захудалый бар откуда-то из зазеркалья.

— Взгляни, какие у него ясные глазки! И совершенно круглые, как у зверя,— прошептала спутница пожилого, жеманно вздрагивая и голосом, и всем телом. Взгляд «круглых глазок» шарил по бару беспокойной мухой.

— Кстати, вы давно здесь? Я немного захмелела и не заметила, когда вы пришли. Ну же, спойте.

У женщины с длинными волосами заплетался язык. Она сидела, привалившись к спине своего спутника, то ли любовника, то ли начальника, и явно не прочь была позабавиться.

— Мне кажется, я вас уже где-то видела. Но вот где? Помню только, там было темно...

Визгливый голос женщины резал мне слух, я обернулся, собираясь сказать ей какую-нибудь колкость. И тут встретился взглядом с «круглыми глазками». Почему-то и мне его лицо показалось знакомым. Такое впечатление, что передо мной давняя возлюбленная, только превратившаяся в мужчину. Я вглядывался в это лицо, испытывая одновременно и неприязнь, и смущение. Несомненно, это был его первый вечер. Подумать только, ведь десять лет тому назад и я вот так же, блуждая по

© Masahiko Shimada, 1991

совершенно незнакомым местам, начинал свою земную жизнь, начинал с таким видом, будто никогда и не знал ничего другого. Поскольку я давно уже живу на земле, интуиция моя притупилась и с первого взгляда я не сумел распознать его истинной сущности. И если бы в тот вечер я не услыхал его пения, два существа, принадлежащие к одному роду, так и расстались бы, оставшись в неведении относительно истинного обличья друг друга.

«Круглые глазки» вдруг запел без микрофона и без аккомпанемента, запел, устремив взгляд на потолок. Необычная, невольно привлекшая всеобщее внимание мелодия. Голос прекрасный, словно выдержанное вино. Откликаясь на него, нервы слушающих затрепетали, как струны арфы. «И в этом захудалом баре... Уж не в оперу ли мы попали?» — невольно подумалось всем. «Да чья же это песня? На каком языке он поет? И кто он?» Находившиеся в баре люди сидели, опустив головы, будто все разом онемев. Они словно прикоснулись к чему-то загадочному, непостижимому. Даже я не сразу понял, в чем дело. Прежде разума на песню откликнулось тело. Поющий голос отозвался в каждом его суставе, в каждой жилке, в каждой клеточке и оживил ощущения, погребенные в моей памяти под самыми давними воспоминаниями.

Десять лет спустя... И в таком месте...

В одно мгновение я освободился от многопудовой тяжести, до сих пор придавливавшей меня к земле. И невольно схватился за стойку. Если бы я этого не сделал, тело мое, пробив потолок бара, взмыло бы ввысь.

— Что с вами? — улыбнулась хозяйка бара, уловив мое движение.

Вы вряд ли это поймете, но в былые времена я умел летать. Да, да, я носился по небу быстрее ласточек, быстрее даже, чем истребитель F-14. Но десять лет тому назад там, на Небесах, я был предан суду и сослан на землю. Меня заставили проглотить десять грузовиков гальки, затем, чтобы я уже никогда не смог подняться к Небу, прикрепили это грузило к моим внутренностям и столкнули с расположенного на облаке эшафота. Наверняка и этого человека постигла та же участь. Доказательством служил зонт, большой зонт, который был у него с собой несмотря на совершенно ясную погоду. Такие зонты нам выдают вместо парашютов незадолго до того дня, когда со стремительной скоростью града мы падаем на землю. Этот день становится днем нашего рождения. Так появился на свет и я — появился мужчиной средних лет без прошлого и без будущего.

— Какой прекрасный голос! Таких гостей у нас еще не бывало,— невольно вырвалось у хозяйки, и посетители бара, словно очнувшись, разразились рукоплесканиями. Слышались восхищенные возгласы: «Вот это да, всех переплюнул...» «Что это было, католическая молитва?»

Подсев к нему, я предложил ему рюмку виски. От крайнего возбуждения слова застревали у меня в горле.

— Ты, наверно, только что упал на землю? Я сразу смекнул, в чем дело, когда услышал, как ты поешь.

— Разве... Неужели вы знаете?

— Я здесь уже десятый год, поэтому узнать меня невозможно. И все же я твой товарищ по несчастью. А в тебе еще сохранились прежние черты.

— Я упал совсем недавно здесь неподалеку. Там, где стоят люди.

— А, наверно, ты попал на стоянку такси у вокзала. Но зачем ты пришел в этот бар?

— Я не знал, что делать, и двинулся прямо на юг. И тут же уперся в этот бар. Видите ли, я еще и сам толком не пойму, в кого превратился. Впрочем, нет, теперь понимаю. Какая удача, что я встретил вас...

Обычно в момент приземления мы обретаем человеческий облик. Ведь изначально мы лишены того, что принято называть наружностью. И ему и мне суждено было, упав на землю, уподобиться людям, случайно оказавшимся рядом. Мы что-то вроде метисов, возникших в результате

смешения разных кровей. Он, к примеру, является усредненным вариантом тех людей, которые стояли на стоянке такси,— у него их средний рост, средний возраст, средняя внешность. Вот и круглые глаза объясняются, скорее всего, тем, что среди этих людей были либо дети, либо собаки. Правда, когда-то, когда я еще не погряз окончательно в земной жизни, у меня тоже были круглые глаза.

Упав на землю, мы, изгнанники, сразу же получаем внешность землян и их язык. И с этого момента у нас есть единственный шанс выжить — приспособиться к земной культуре. Привилегии, которые мы имели на Небесах, здесь совершенно ни к чему, чудесные свойства, которыми мы были наделены при рождении, постепенно слабеют, а потом и окончательно утрачиваются. Труднее всего бывает отделаться от врожденных привычек: отучиться открыто проявлять свое любопытство, совать нос в чужие дела; отвыкнуть хранить в памяти то, что есть, и то, чего нет; слоняться повсюду без цели и дела. И еще вспоминать. О том, что когда-то ты был Небесным ангелом. Когда же померкнут в памяти воспоминания о жизни на Небесах, придет смирение.

— Я не могу тебе ничего посоветовать, хотя я и старше. Возможно, твой голос со временем загрубеет и станет фальшивым. Пока ты не утратил своих чудесных способностей, тебе следует определить свой путь в жизни и по возможности задержать неизбежное увядание. Тогда худшее, что тебе грозит,— стать обычным земным человеком.

С другой стороны стойки нам слабо улыбалась хозяйка бара, тщетно пытаясь скрыть растерянность. Что, забавны наши шутки?

— Нам лучше поговорить наедине.— Не успел я произнести эти слова, как рядом запела та самая женщина с визгливым голосом, запела песню, похожую не то на вопль горя, не то на крик радости. Видя, что мы собираемся уходить, хозяйка сказала:

— Похоже, вы спелись.

Снаружи нас оглушил звон бьющихся бутылок, рев бешено несущихся по узким улочкам такси, хор компьютерных автоматов из Игрового центра, смеющиеся голоса подвыпивших компаний... Звуки — сироты, люди охотно производят их на свет, но потом никто уже не обращает на них никакого внимания.

— Шумно здесь, на земле, правда?

— Да нет, не очень. Разве вам казалось, что на небе тихо?

— Пожалуй, нет. Но тамошние звуки гармоничны. А здесь — кто во что горазд.

— Возможно, у меня что-то со слухом. Мне кажется, что и здешние звуки прекрасны.

Это звуки-то города прекрасны? Он просто еще не успел перестроиться на земной лад. Ведь слух небожителей улавливает гармонию в любом шуме. Мой-то слух, вне всякого сомнения, стал вполне земным. Боюсь даже, что, окажись я теперь на Небесах, я возмутился бы, не обнаружив ни одной приятной мелодии. Ведь земной слух воспринимает небесные звуки тоже как шум.

Очередь на такси двигалась быстро, не прошло и пяти минут, как мы уже сидели в машине, мчавшей нас к моему скворечнику.

— Сегодня ты переночуешь у меня. Нам о многом надо поговорить.

— Скажите, а кем вы стали здесь, на земле?

— Кем? В данный момент я просто живу в свое удовольствие.

Такси промчалось по нескольким эстакадам, глядя на которые я почему-то всегда представлял себе чьи-то гигантские пальцы, неожиданно ухватившие земной покров и приподнявшие его; затем судорожно, словно икая, принялось обгонять одну машину за другой, удаляясь все дальше и дальше от центра города. Минут через двадцать мы остановились у гигантской стены.

— Что это?

Окрестные жители называли этот дом «крейсером». Громадина в двадцать один этаж возвышалась над землей, и на самом последнем этаже прилепился мой скворечник.

Люди земли привыкли жить в созданных собственными руками коробках, словно скорпионы, которые, облюбовав какой-нибудь уголок в громадной пустыне, роют себе там тесные норки. Иногда люди покидают эти коробки, но лишь для того, чтобы спустя некоторое время непременно вернуться в них. В конце концов начинаешь сочувствовать этим неутомимым труженикам, которым и в голову не приходит сетовать на полное отсутствие свободы. Впрочем, теперь это и моя участь. Я обречен жить, подчиняясь круговороту смертельно наскучивших повторений, которым лишь смерть и способна положить конец. В первое время после моего падения я полагал, что эти повторения — пытка, к которой меня приговорили. С точки зрения обитателей Небес, жизнь на земле — что-то вроде фабрики, усердно воспроизводящей мучения. Порочный круг в чистом виде! Лишь сон в скворечнике-коробке позволяет жителям земли вкусить небесных радостей.

— Очень уж тесное у вас убежище! — пробормотал он, войдя в комнату.

— Это мой дом. Прекрасный, роскошный дом. В прошлом мне случалось ночевать и в картонных коробках. Ты знаешь, что такое сны? Это чисто земное явление, но ощущения, которые при этом испытываешь, ближе всего к Небесным. Здесь, на земле, жизнь подчинена законам порочного круга, и сон — единственная возможность хоть на миг разорвать его. Дом — это место, где смотрят сны. Во сне земной человек становится свободным как ветер. Правда, случается попасть и в беду. Тебе надо набраться мужества для того, чтобы с завтрашнего дня достойно начать земную жизнь. Одно испытание ты уже проходишь. Я имею в виду испытание силой тяготения.

— Да, и это так утомительно. А земные люди? Я не заметил, чтобы они от этого страдали.

— Они тоже устают. Сопротивляться силе тяготения — непосильный труд. Потому-то вечерами они возвращаются в свои жилища и ложатся спать. Ложатся спать для того, чтобы, забыв о земном, хотя бы во сне сделаться ангелом Небесным и воспарить высоко над землей.

Я переоделся в халат, а ему дал тренировочный костюм. Достав из холодильника шампанское, я открыл окно на балкон и запустил пробку-ракету. Разлив пенящееся шампанское, протянул ему один из бокалов. Сам же, сжимая пальцами ножку другого, посмотрел сквозь стекло на вечернее небо.

— Когда так смотришь, пузырьки шампанского превращаются в звезды.

— Какое странное вино! Смотрите-ка, а ведь сегодня полнолуние.

— Да, сегодня хорошо видно, как падают на землю наши товарищи.

Смеясь, мы рассматривали друг друга, пытаясь отыскать ангельские черты.

— Сколько вам лет?

— Сорок один. Там, куда я упал, молодежи совсем не было. А тебе сколько? Имя у тебя уже есть?

— Пока у меня нет ничего — ни возраста, ни имени, ни гражданства.

— Ты должен все хорошенько обдумать. Имей в виду, что потом ничего изменить уже будет нельзя.

— И надо все придумывать самому?

— А как же! Ведь редко кому посчастливится встретить старшего товарища, готового помочь советом. Кем бы ты хотел стать?

— Мне не хотелось бы расставаться с музыкой...

— Что ж, тогда тебе следует сделать музыку своей профессией. С твоим слухом, с твоим голосом ты наверняка добьешься успеха. Я видел, какое впечатление произвело твое пение на посетителей бара. К тому же музыка — это та нить, которая связывает землю с Небом. Музыка и сны.

— Знаете, а ведь я упал на землю по собственной воле. Мне ужасно захотелось познать свойства земных звуков.

— Надеюсь, что тебе не придется раскаиваться. Не стоит недооценивать здешних трудностей, это не приведет ни к чему хорошему.

Мысль, что можно самому, по собственной воле спуститься на землю, да еще имея при этом какую-то тайную цель, возбудила в моей душе страх, смешанный с изумлением. Он не совершил никакого преступления, и наказание было для него чем-то вроде развлекательной прогулки. Да, времена явно изменились. Что касается меня, то я был жесток, потому что еще там, на Небе, превратился в земного человека. Когда у ангела, не имеющего ни определенного облика, ни прошлого, ни возраста, ни имени, появляются воля и память, когда в своих рассуждениях он начинает руководствоваться логикой, тогда он перестает быть ангелом. Настоящие ангелы не рассуждают, а поют, не страдают, а просто существуют. Вселенская истина выражается в бесчисленных звуках, формах, вспышках света, частицах материи, потоках и взаимосвязях. Всякие попытки объяснить ее логически нарушают гармонию и порождают хаос. А хаосом правит Дьявол. Ангел, вызвавший к жизни Дьявола, теряет свободу и перестает жить в согласии со вселенской истиной. Вселенская истина настолько сложна, что объяснить ее не под силу ни ангелам, ни Богу. Именно поэтому единственно возможным способом существования и для ангелов и для Бога является полное слияние с вселенской истиной. Они просто не могут иметь волю или память. Если у ангела все-таки появляется воля или память, он сразу же заболевает. А Бог — тот теряет рассудок. Бог — Он потому и Бог, что никогда не говорит об истине Сам и предостерегает тех, кто пытается заговорить о ней. Кстати, мне никогда не доводилось ни видеть Бога, ни слышать Его голоса. Откровенно говоря, это существо никогда не вызывало у меня особого интереса. Выработалась Небесная логика посредством жесткого искоренения логики Дьявола, то есть посредством уничтожения порочного круга.

Когда люди земли задают мне не совсем учтивый вопрос: «А что это такое — Небо?» — я отвечаю, стараясь говорить доступным для них языком:

— Это что-то вроде моря. Ангелы же похожи на дельфинов, которые не умеют плавать.

Сам-то я всегда предпочитал земных раеведов райским дельфинам. Подобная идиосинкразия ко всему Небесному — явление довольно частое в последнее время, очевидно, потому, что расстояние между Небом и землей сильно уменьшилось. Говорят, что в наше время ангелов падает раз в двадцать больше, чем в средние века. Есть среди них и такие вот любители приключений, которые попадают на землю по собственной воле.

После того как я продал свою ангельскую силу Дьяволу, жизнь на Небе стала казаться мне нестерпимо скучной. Мне захотелось переосмыслить вселенскую истину — да, не больше и не меньше,— причем переосмыслить по-своему, исходя из собственного опыта. И я не боялся, что мои построения сочтут заблуждением или пустыми измышлениями — что мне с того? Напротив, мне казалось тогда, что и Богу и ангелам не мешает прислушаться к иным толкованиям — земным или даже дьявольским. Мне захотелось доказать, что гордыней обуяны именно те, кто свято верит в незыблемость вселенской истины. Я видел в этом единственно возможный для меня способ возблагодарить Бога. Мне удалось достичь большого мастерства в переводе вселенской истины на язык земной логики. То есть еще там, на Небе, я приступил к просвещению жителей земли. Упав же на землю, я мог целиком посвятить себя осуществлению своей миссии наставника. Так что, наверное, я должен благодарить Бога за свое изгнание с Небес как за величайшую милость.

Однако, как ни прекрасно владел я земной логикой, она так и осталась не более чем логикой, и тщетно было пытаться пробить брешь в стене заблуждений и привести людей земли к пониманию истины. Куда важнее логики оказалась способность к сопереживанию. Но для того

чтобы понять чувства другого, необходимо очутиться в равном с ним положении. Мне потребовалось пять лет, чтобы уразуметь — миссия падших ангелов не в том, чтобы просвещать жителей земли, а в том, чтобы создавать условия для взаимопонимания, иначе говоря, не в том, чтобы ввязываться с ними в споры, прибегая к доводам либо логики, либо просто грубой физической силы, а в том, чтобы попытаться вместе с ними построить на земле некоторое подобие Рая.

Если он упал на землю, влекомый любопытством, то ничуть не меньшее любопытство владело и мной. К тому же я ясно видел, что ждет нас впереди. Ибо в результате долгих исследований земных обстоятельств, предпринятых мною еще там, на Небе, пришел к следующему выводу:

Скоро Рай упадет на землю.

Как вероотступник я влачил за собой кандалы силы тяготения. Разумеется, это наказание было пожизненным. Существовал единственный способ для облегчения моей участи — я должен был стать совершенным человеком. Совершенные люди приближают наступление Рая на земле.

— Ну вот, вы опять о чем-то задумались.

— Давай-ка выпьем. Эта жидкость называется вином. Говорят, если много ее выпить, можно стать другим человеком.

— Значит, если я захочу стать другим человеком, не таким, как сейчас, мне нужно будет выпить вина? Ну ладно, расскажите лучше о том, что произошло с вами, когда вы упали на землю.

Я закрыл окно, поудобнее устроился на диване и прикрыл глаза. Я упал на землю ночью, когда в небе висела трехдневная луна. Я хорошо помню ее отчаянно загнутые рожки.

— Со мной все было по-другому. Я упал не в центре города, кишащем людьми. Вокруг темнел смешанный лес, ни единого человека рядом не было. Повиснув, словно паутина, на ветке, я стал ждать, когда кто-нибудь появится. Я висел так ровно месяц и десять дней. Очень скоро терпение мое иссякло, но деться было некуда. Позже я узнал, что попал на необитаемый остров, где жили одни дикие олени да обезьяны. Я едва не превратился в кого-нибудь из них. Если бы я упал в море, то наверняка превратился бы в дельфина. Почему-то вокруг этого острова кишмя кишели дельфины. Да, мне повезло, что я не стал дельфином. В здешних местах дельфины считаются заклятыми врагами рыбаков. Ведь они едят то же, что и люди,— рыбу и кальмаров. Будь судьба ко мне неблагосклонна, меня давно бы уже проткнули гарпуном. В других странах дельфинов считают посланцами Божьими, а японцы называют их попросту «морскими свиньями». В конце концов мне удалось перебраться на проплывавшее мимо рыболовное судно, и я превратился в рыбака. Там, на палубе, среди вытащенных из воды кальмаров и окуней валялись три окровавленных дельфина. Я содрогнулся, словно мне довелось стать свидетелем конца ангелов, упавших в море. Да уж, превратиться в человека, пронзающего гарпуном существ, которые когда-то были твоими соплеменниками...

— И впрямь — ирония судьбы.

— Не делай вид, будто тебе это понятно. Тебе-то просто повезло.

Несмотря на то, что рыбачье судно, выйдя в море с четырьмя рыбаками, вернулось, имея на борту пятерых, я не вызвал никаких подозрений ни у самих рыбаков, ни у жителей деревни. Постепенно все привыкли ко мне, и деревенские кумушки стали звать меня Умихико [1]. Мне был тогда сорок один год. С тех пор прошло десять лет, а мне по-прежнему сорок один. И так будет до самой моей смерти.

Я превратился в рыбака-бобыля, снимающего угол в общей комнате барака. Тебе повезло, ведь там, где ты упал, было много разных, к тому же совершенно друг другу чужих людей, поэтому у тебя нет ни имени, ни

[1] Умихико — персонаж легенды о двух братьях — рыбаке и дровосеке — из «Записей о делах древности» (VIII в.). *(Здесь и далее — прим. перев.)*

профессии. Чаще всего бывает так, что ты становишься кем-то, даже не успев высказать своего желания.

— Да, похоже, что мне и в самом деле очень повезло.

— Это верно. Ты — никто. И что самое главное — ты молод.

Целых два месяца я прожил в обличье Умихико, известного по всей округе ловца кальмаров. Только дельфинов убивать я так и не научился. Вскоре я покинул эту деревню и долго скитался в поисках более людного места. Причем нельзя сказать, чтобы у меня были определенные виды на будущее или по крайней мере какие-то желания. Будь мне восемнадцать, я бы еще мог сойти за юнца мечтателя, но вечно пожилому человеку вряд ли пристала такая роль. Наверное, многие, видя, как я бесцельно брожу по улицам, принимали меня либо за опустившегося бродягу, либо за человека, потерявшего память. Не раз меня останавливал полицейский и начинал расспрашивать, где я работаю. Тогда я снова назывался рыбаком. Рыбак на отхожем промысле... По крайней мере, это было всем понятно.

Вскоре деньги у меня кончились, и я поступил на службу в транспортное агентство. Обладая железным здоровьем рыбака, я вкалывал за двоих, не гнушаясь самой тяжелой физической работой. К счастью, зарплата в этом агентстве была сдельной. Я был верен земному принципу, который гласит, что лень — самый тяжкий грех. Поскольку тогда я еще не достиг земного просветления и не осознал всей бессмысленности этого принципа, то работал по тринадцать часов в день и в месяц получал около четырехсот тысяч иен. Впрочем, разве это не лучше, чем зарабатывать себе на пропитание, убивая и продавая дельфинов, которые, может быть, такие же падшие ангелы, как и ты сам?

— Ты понимаешь хоть, что такое деньги? Здесь, на земле, они по ценности стоят на втором месте после жизни.

— Это когда на листке бумаги напечатано лицо человека и стоят какие-то цифры? То, что может превращаться в любые вещи?

— Да. Сами по себе деньги не имеют никакой цены, но в этих бумажках заключена сила, которая заставляет людей действовать, убивает их, сводит с ума. При этом ты не найдешь человека, который не желал бы денег. Именно они определяют ценность человека и укрепляют нити, связывающие его с другими людьми. То, что на Небе называют «любовью», здесь, на земле, называется «деньги». Поэтому я и думал, что самое главное — стать богачом.

Год спустя я переехал в Токио. Здесь я начал изучать законы обращения денег. Мне казалось, стоит это понять, как сразу станет ясна структура земного мироустройства. Я изучал экономику и, стараясь попасть в исходный и конечный пункты движения денег, служил поочередно в компаниях по купле и продаже ценных бумаг, в страховых и рекламных агентствах. Пять лет я был «белым воротничком». Я оставался ангелом, хоть и падшим, а потому превосходил обычных людей интуицией и смекалкой. Где бы я ни служил, я оказывался самым предприимчивым. Сначала с видом вечного безработного я сидел где-нибудь в уголке у процессора. Занимаясь вроде бы пустяками, я спустя некоторое время уже четко представлял себе весь механизм производственной деятельности фирмы и между делом разрабатывал подробный проект обновления и усовершенствования этого механизма. Этот проект я потихоньку подкладывал начальнику на стол. Дня через три я приносил второй проект, а еще через четыре — третий. И как правило, через какую-то неделю я заправлял всеми делами фирмы.

За годы службы мой месячный заработок никогда не опускался ниже миллиона иен. Скоро я сам стал приобретать акции и преуспел в этом чрезвычайно. Я сделался одним из крупнейших налогоплательщиков столицы, мне принадлежали два дорогих иностранных автомобиля и здание в центре города. Здесь, на земле, таких, как я, называют счастливчиками. Моего внимания стали добиваться женщины, я постоянно был окружен толпой льстецов. Ведь вся эта публика свято верит, что мир

вращается вокруг одного Бога — денег. Мне захотелось узнать, что они думают о Рае. Я попытался выяснить, какой рай они создали бы для себя, имея достаточно денег. И представь себе, почти для всех Рай — это полная праздность. Пресытившись же праздностью, они начинают искать новых утех в чревоугодии, насилии, сексе, наркотиках, причем и здесь каждый старается перещеголять других. Никому и в голову не приходит ничего, кроме самых стереотипных удовольствий.

Мало чем отличаются и те, кто добился успеха в жизни собственными силами. Единственное отличие — они считают лень величайшим грехом и знают, что на земле Рай соседствует с Адом. Для них как Рай, так и Ад находятся на земле, и человек попадает то туда, то сюда в зависимости от обстоятельств. Это понял и я за десять лет земной жизни.

На седьмой год я подвел черту под моей служебной карьерой. Всякое повторение неблагоприятно для ангела. Когда долго занимаешься чем-то одним, окружающие начинают смотреть на тебя с подозрением. Ангелу лучше все время менять обличье. Даже здесь, на земле, я старался держаться с достоинством бывшего ангела. Впрочем, это единственное, что мне оставалось. Жизнь на земле для нас — бесконечный кошмарный сон. Я верил, что только это достоинство, только память о своем происхождении и помогают мне держаться.

Я увидел свою миссию в том, чтобы объяснить жителям земли, что такое Рай, что такое ангелы, объяснить в доступной земному восприятию форме. Меня называли то монахом, то богословом, то поэтом. Мне казалось, что, вкладывая в их головы правильное представление о Рае, я ускоряю его наступление на земле. К тому же, чем больше падших ангелов, тем меньше расстояние между миром Небесным и миром земным.

Мне никогда уже не вернуться на Небо. Именно поэтому я и должен спустить Рай на землю. Возможно, Бог скажет, что мое желание — не более чем проявление мстительного духа падшего ангела. Но это не так. Просто в промежутках между кошмарами земной жизни хочется помечтать о рае для падших ангелов. И я уверен, что все Небесные ангелы, которым там, на Небесах, нет нужды предаваться мечтаниям, упав на землю, начинают мечтать о том же, о чем мечтаю я.

— Но что будет, когда на земле настанет Рай? Что именно рисуется в ваших мечтах? — зевая, спросил мой гость. Я снял с полки три томика и протянул ему.

— Вот книги, которые я написал. Здесь все это в общих чертах описано. Возьми их себе. Впрочем, тебе нет нужды их читать. Ведь скоро и ты станешь мечтать о том же. А сейчас пора ложиться, светает. Да и надоело, наверное, тебе слушать чужие сказки. Вот кровать, ложись. Сейчас ты сам узнаешь, что такое сон.

— А что нужно сделать, чтобы увидеть сон?

Я обнял его за плечи и подвел к кровати. Хорошо, что я как раз накануне поменял белье.

— Надо только лечь и закрыть глаза. Постарайся забыть о своем теле и растворись во мраке. Я буду сидеть рядом, пока ты не заснешь. Ведь это твоя первая ночь на земле. Желаю приятных сновидений.

Этим вечером, рассказывая о своем горьком опыте земной жизни, я был по-настоящему счастлив. Словно на мой балкон упал кусочек Рая. Впервые за долгое время мне захотелось, оторвавшись от земли, оказаться по ту сторону снов. Как только гость заснул, я проглотил пропитанный лекарством клочок бумаги и лег на кушетку. События этого дня утомили меня, но спать не хотелось.

Вскоре я почувствовал на своем лице легкое дуновение ветерка, веявшего каким-то сладковатым ароматом. С каждым мигом ветерок становился сильнее, он трепал мои волосы, играл полами халата. Окна были закрыты. Вне всякого сомнения, ветерок возник здесь же, в доме. Вот он окрасился в нежно-розовый цвет, и его порывы стали видимыми.

Судя по всему, прилетел он из той комнаты, где спал мой гость. Этот странный, обладающий цветом и запахом ветер дул порывисто, словно вздыхая; его нежно-розовые струи, причудливо извиваясь, метались по комнате, ударяясь о стены, о стол. Внезапно из-под моей кушетки вырвался смерч. Вращаясь, он ввинтился между моими ляжками и стал поглаживать мне пенис. С каждой секундой смерч набирал силу и захватывал все большее пространство. Скоро, подхваченные им, закружились по комнате пустая бутылка из-под шампанского и часы, книги и торшер, диванные подушки и статуэтки. Затем в воздух поднялись стол и кушетка, на которой я лежал. Мое тело, словно пропеллер вертолета, стало стремительно вращаться вокруг пениса. Вцепившись во взметнувшуюся занавеску, я попытался открыть окно, но меня, словно кончик хлыста, швыряло то об потолок, то об пол. Не сдаваясь, я из последних сил тянул руки к окну, но тут мое тело пробило стекло и вылетело наружу. Пальцы все еще сжимали клочок оторванной занавески. Не успел я подумать: «Сейчас грохнусь о землю», как взмыл вверх и, будто муха, полетел по ночному небу, оставляя за собой причудливый след. Впрочем, вряд ли это можно было назвать полетом. Мне казалось, что я нахожусь внутри гигантской соломины, похожей на дугу, нарисованную одним случайным взмахом кисти, и меня стремительно засасывает куда-то.

Меня швыряло то в одну сторону, то в другую, мышцы и кости перемалывались, словно в мясорубке, распадались на отдельные частицы. Наконец от меня остались лишь два глазных яблока. Вылетев из соломины, они устремились в необозримое пространство. Будто кто-то, вырвав из мрака, внезапно повлек меня к солнцу. Солнце ослепительно сверкало, казалось, глаза мои вот-вот расплавятся.

— Быстрее! — кричало Солнце. Посмотрев вниз, я увидел бушующее море. Из белых гребней волн один за другим рождались ангелы. Несметные сонмы ангелов. То, что поначалу показалось морем, на самом деле было небом. А белые гребни волн — падающими, как снег, ангелами. Я взглянул наверх. Четкий рисунок перекрещивающихся линий. Сумятица большого города. Туда, вверх, падали и падали сонмы ангелов, испускающих слабый мерцающий свет, словно клочки утренней зари. Скоро мое прозрачное тело обволокла утренняя заря, страшная тяжесть навалилась на меня, и я с чудовищной скоростью рухнул вниз.

Земля гудела, словно гигантский барабан. Машины, здания, собаки, люди, рассыпавшись на отдельные частицы, разлетались по сторонам, пронзая мое окутанное зарей тело. Излучая голубовато-белое сияние, оно сплавлялось с этими неизвестного происхождения частицами, образуя липкую слякоть, затем, превращаясь в яркий песок, падало на землю.

Дул неистовый ветер. Послушный его порывам песок превратился в песчаную реку. В ней уже не было ни ангелов, ни людей, ни меня. Вокруг простиралась бесконечная пустыня. С тихим шуршаньем струился поток песчинок, совсем недавно бывших людьми и ангелами. Подхваченный ветром, песок перемещался с места на место, песчинки сталкивались одна с другой, продвигались вперед и отступали, слипались друг с другом, превращаясь в комья. Но вот шум ветра и шуршанье песка переросли в шум улиц и площадей.

— Эй, господин, у меня найдется для вас подходящая бабенка!

— Не хочешь поболтать со мной наедине?

— Да я тебе пузо проткну!

— Ты Энимал-бэби? Я от Джила. Товар есть?

— Мадам, у вас упало!

— Когда-то я был адвокатом, но наркотики разрушили мою нервную систему, теперь вот актерствую.

— Проснитесь!

Ветер принес откуда-то знакомую мелодию. Вот только никак не вспомню...

— Проснитесь же!

Перед моими глазами возникло его лицо. Я снова лежал на своей кушетке. Похоже, что, приняв лекарство, я задремал. За окном было уже совсем светло.

— Который час?

— Пять минут одиннадцатого. Слышите, музыка?

Я всегда устанавливал таймер радиоприемника на десять часов утра. В это время повторяют программу «Музыкальная вселенная».

— А, это моя любимая музыкальная программа. Ты хорошо спал?

— Да, но я так и не понял, что такое сон. Я просто плавал во мраке.

— Вот как? Это потому, что твое сознание еще не перестроилось на земной лад. А мне приснилось, что Рай упал на землю.

— Вот здорово! Ну что ж, пожалуй, мне пора, большое спасибо за все.

— Уже уходишь? Ты мог бы пожить у меня некоторое время. Ты мне не помешаешь.

— Я понимаю, но ведь до сегодняшнего дня вы всегда жили один. Я тоже хочу играть один, поставив на достоинство падшего ангела. Я возьму с собой вашу книгу.

— Ты уже выбрал себе имя?

— Пока нет.

— Может, позволишь мне выбрать его для тебя?

— Конечно, буду вам очень признателен.

Взяв книгу, которую он держал в руках, я надписал ее своим именем, затем, немного подумав, приписал: «Господину Дельфину Сунагаве [1]».

— Это имя будет твоим сценическим псевдонимом. Что касается возраста, пусть тебе будет восемнадцать. Согласен?

— Решено. Я Дельфин Сунагава, мне восемнадцать лет.

— Постой-ка.

Достав из ящика письменного стола сто тысяч иен и четыре порции лекарства, которое я принимаю на ночь, я вручил их ему.

— И в аду все решают деньги. Без денег ты ничто. А лекарство... Это на тот случай, если у тебя возникнет ностальгия по Раю, если тебе захочется забыть обо всем, что происходит на земле. Только помни, когда ты принимаешь его, рядом с тобой никого не должно быть. Понял?

— Большое спасибо, вы были так добры ко мне.

— Не стоит благодарности. Буду рад, если мы встретимся еще раз.

Дельфин вышел из комнаты, напоследок бросив на меня полный любви и уважения взгляд. Я зарылся в его постель, пытаясь вобрать в себя мельчайшие следы, оставленные упавшим на землю ангелом. Дрожа от наслаждения всем телом, я вдыхал впитавшийся в простыни и подушки слабый аромат Небес.

«Может быть, Рай уже здесь, на земле?» — подумалось мне.

Распахнув окно, я взглянул на Небо. День выдался пасмурный. Вдалеке виднелась удаляющаяся фигура Дельфина. Интересно, куда он идет? Почему я знаю то, чего не знает он? Пусть блуждает. Лабиринт — вот среда обитания человечества. У человечества нет конечной цели. К тому же я забыл рассказать ему о любви. Впрочем, с таким лицом и с таким голосом у него не будет недостатка в поклонницах и поклонниках. Может, он станет звездой рока, ему бы это очень пошло.

Как бы то ни было, а город шумит сегодня иначе, чем обычно. Раньше в этот час в окно врывался неясный гул, напоминающий потрескивание телевизора, когда кончаются передачи, а сегодня за окном словно разом зазвучала тысяча органов. Каждый вел свою мелодию, они переплетались, соединялись, рождая величественную симфонию. Наверное, это небоскребы, видные с моего балкона, пели каждый свою песню.

---

[1] Фамилию Сунагава можно перевести как «песчаная река».

АННА ОГИНО

Водяной мешок

Перевод Г. ЧХАРТИШВИЛИ

1. САММЕРТАЙМ

Говорят: «Врет и не краснеет». Хорошо бы, когда врешь, нежно розоветь — как роза. Ну-ка попробую.

— Я сегодня вернусь поздно. С подругой встречаюсь — я тебе говорила.

— Угу.

— Сходим в театр, потом поужинаем где-нибудь. В общем, приду ночью.

— М-м.

— Ты ложись без меня, не жди.

— Ага.

Ну же, давай останови меня, а то поздно будет. В груди прямо все клокочет. Вот бы взял встал перед дверью и отрезал: «Никуда ты не пойдешь!»

Я бы тогда ка-ак пихнула бы его и все равно ушла бы.

Я уже надевала туфли, как вдруг вижу — чулок сзади пополз. Через всю лодыжку, зараза такая. Я застонала — получилось не очень убедительно, как-то без души. Стон вяло перешел на низкую ноту. Тогда я свирепо размахнулась и зашвырнула подальше свою сумочку.

— Да ладно тебе. Надень другие,— говорит.

Какие у него все-таки иногда бабские интонации проскальзывают. Голосишко — будто воздух из надутого шарика выпустили. Любые слова, даже самые ядовитые, он произносит протяжно так, скучно. Весь смысл испаряется.

— Ну чего ты возишься? Опоздаешь.

А мне слышится: «Не спеши, не надо».

— Ты говорила, в Сибуя [1], в полшестого? Еле-еле успеваешь.

А я слышу: «Куда ты, не торопись!»

Я совсем скисаю и со вздохом начинаю искать целую пару чулок. Порылась в ящике, достала сначала розовые, потом лиловые, потом желтые. Как быть? Розовые лосины с искрой? У дядечки глаза на лоб полезут. Белые гольфы? Нельзя, с черной мини-юбкой подчеркнет, что ноги толстые. Надо что-нибудь синее. Или все-таки черное? Но это чертово тряпье все с какими-то дырками!

Вот здесь заштопано только на носке. Может, сойдет? Все равно в туфлях не видно будет. Я уже натянула один чулок и снова заколебалась. А вдруг придется где-нибудь раздеваться? Застыла в спущенном чулке, совершенно деморализованная. *Этот* уставился на меня с недоумением.

В конце концов надела старые черные лосины. Я в них такая девочка-студенточка. Целовать его на прощание не стала. Сказала, помаду сотру.

© Anna Ogino, 1991

[1] Район в центре Токио. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Иду, мрачно смотрю под ноги. На этих поганых лосинах от ходьбы над щиколотками морщины собираются. Если не припустить до станции бегом, точно опоздаю. А побежишь — они вообще гармошкой соберутся. Да и шов весь перекосится. Иду медленно, скриплю на ходу зубами.

Ну почему я всегда опаздываю? Чем важнее свидание, тем больше. Наверно, очень нервничаю, и от этого мои внутренние часы начинают здорово отставать. Ведь готовлюсь загодя, с запасом, и на́ тебе: смотришь на часы и видишь, что опять опоздала. Наспех наводишь красоту, руки дрожат, а перед самым выходом вдруг решаешь одеться совсем по-другому. Прямо не человек, а кукла какая-то, которую дергает за ниточки невесть кто.

Прихожу в себя я обычно уже в электричке. Герметично закрытый железный ящик — идеальное место для самобичевания и угрызений совести.

Когда я выскочила из вагона, было уже полшестого. Воздух на площади сочился бессмысленным субботним возбуждением. Истерично надрывался громкоговоритель какой-то правоэкстремистской партии, издалека доносились судорожные тремоло электрогитары, а с другой стороны из предвечерних сумерек душещипательно подвывал благотворительный хор — опять пожертвования собирают.

Светофор мигнул зеленым, и людская толпа, как бурно размножающиеся бактерии, хлынула с тротуара на мостовую.

Я ринулась вперед, но, сами понимаете: Сибуя, суббота, полшестого вечера. Особенно не разлетишься. Все мечутся, как опрысканные тараканы, налетают друг на друга. Короткими зигзагами, то и дело бормоча извинения, несусь вверх по улице. Проклятые каблуки. Я совсем к ним не привыкла, подвернула ногу и, чуть не упав, столкнулась с шедшей навстречу парочкой. Врезалась, разумеется, в мужчину. Его спутница одарила меня уничтожающим взглядом. Ладно, бегу дальше, подворачиваю другую ногу. Едва схватилась за первое попавшееся. Попалась мне толстая ручища, держащая хозяйственную сумку. Собственница ручищи, полная тетя, побагровела от возмущения и неожиданности. «Идиотка!» — шиплю я. Имею в виду, конечно, саму себя — привычка у меня такая, с собой разговаривать.

— Сама ты идиотка!!! — отвечает мне тетя громогласным сопрано. Все на нас оборачиваются.

Вот наконец и универмаг «Парко». Уф, добралась. Но не успела я вздохнуть с облегчением, как вдруг соображаю: мы же не у «Парко» встречаемся, а прямо перед концертным залом «Токю».

Врываюсь как полоумная в ближайший магазин и дурным голосом кричу кассирше:

— Скажите, где здесь концертный зал «Токю»?!

Похоже, никто из прежних посетителей кассиршу об этом не спрашивал. Вид у меня совершенно безумный — сама понимаю. Кассирша переглядывается с продавцом, и оба одновременно показывают пальцем: он направо, она налево.

— Ой, извините, что так опоздала. Такая неприятность вышла!

Про рваный чулок я решила не распространяться. Чтобы не привлекать внимания к своим сморщенным лосинам. Сказала, что перед самым выходом из дома пролила молоко на свой единственный выходной наряд. Мне всегда кажется, что, раз уж все равно врешь, как-то вежливее по отношению к собеседнику напрячь фантазию и придумать что-нибудь поинтереснее. В этом-то, наверно, и проявляется моя порочная сущность.

— Все время с вами что-то приключается,— кисло улыбается Юсан. Это кличка. Его так прозвали потому, что своей круглой

физиономией он похож на Юдзиро Исихару [1]. Я не обижаюсь — ведь уже шесть. Кроме кислой улыбки, он ничем не выражает неудовольствия. В глубине души я пожалела, что не выдумала вместо молока чего-нибудь покруче.

— Пора в зал.

Ю-сан изящно приподнимает бровь, кидает вокруг себя гордый взгляд и становится еще больше похож на Юдзиро Исихару. Я, помню, как-то не выдержала и сказала ему, что с приподнятой бровью он — прямо одно лицо с Исихарой. Хотела подольститься. Ю-сан поморщился и сказал, что терпеть не может Юдзиро Исихару. Но я заметила, что с тех пор бровь у него стала ползти вверх чаще. Каждый раз, когда я вижу эту гримасу, у меня в груди что-то сжимается. Может, это совесть? Хотя вообще-то чувство не сказать чтобы неприятное.

Когда он пригласил меня в театр, я согласилась не сразу. Хоть я про себя и зову его просто «Ю-сан», между нами, как говорится, о-го-го какая дистанция. Положение, разница в возрасте и все такое. В общем, одним словом, *дистанция*.

Собственно, кто он по отношению ко мне? Начальник? Вряд ли это можно так назвать. Я делала иллюстрации на обложку одной книги, которую выпускает его издательство. Мои обложки у заказчиков обычно восторгов не вызывают, и второй раз меня приглашают редко. Но все-таки какое-то время я как бы находилась у Ю-сан в подчинении, и он был мой начальник.

Может, он мой друг? Тоже не скажешь. У него старший сын уже студент. Тот мне больше подошел бы в друзья. Хотя нет, я для него лет на десять старовата. А для этого лет на десять моложе, чем нужно.

Неугомонное сердце прошептало: для романа дистанция не имеет значения. Разница в положении и возрасте делают его только пикантнее. Это мне сатана нашептывал, я догадалась. Ну-ка залепим ему пасть пластырем и попытаемся трезво рассудить, что означает это загадочное приглашение в театр.

Значит, так. «Вы в субботу вечером свободны? У меня два билета на «Порги и Бесс». Может быть, сходим?» Если бы приглашающий находился в той же возрастной категории, что и я — этак плюс-минус пять лет,— все было бы ясно. Клеится. Но Ю-сан мог таким образом отблагодарить меня за выполненный заказ. Хотя, по правде говоря, благодарить особенно не за что. Представляю, сколько стоят билеты в оперу. С другой стороны, это для меня — куча денег, а для Ю-сан, может, сущий пустяк. Или кто-то отказался и у него остался лишний билет? И он решил из благотворительных соображений устроить бедной девушке культпоход в театр?

«Наверно, вам интереснее было бы пойти с кем-нибудь помоложе». А что *это* должно было означать? Ю-сан часто порет какую-нибудь чушь. Наверно, просто хотел пошутить. Так сказать, поднять дух измотанной непосильным трудом сотруднице. Или поддразнить меня, что ли?

В обычной ситуации я бы немножко поизводилась сомнениями и в конце концов отказалась бы. Пробормотала бы, что субботний вечер у меня уже занят. Вряд ли с ходу придумала бы что-нибудь поинтереснее. Ну а потом, само собой, горько бы раскаивалась.

Стоп, сказала я себе. Тут случай особый. После того, что мне *тот* устроил... И мысленно махнула рукой сатане, что живет в укромном уголке моего сердца: валяй нашептывай. Чего это я, думаю, такая рассудочная? Гори оно все ~~огнем.~~

— Ах, «Порги и Бесс»? Какая прелесть! — говорю.— Кто, я? Нет, никогда в жизни. Это там поют: «Саммертайм, саммертайм, тра-та-та, тра-та-та»? Ой, с удовольствием! Особенно,— говорю,— с вами!

А сама так и вижу, как на том конце провода у Ю-сан челюсть отвисает. Вот так все и вышло.

---

[1] Популярный киноактер пятидесятых и шестидесятых годов.

Ладно, занимаем места. Говорить не о чем. Ю-сан — большой знаток классической музыки. Я — большой знаток рока (раннего периода). Про Гершвина мне лучше не распространяться, могу сморозить что-нибудь саморазоблачительное. Сижу и проклинаю собственную болтливость — ну не умею я сидеть и помалкивать. Надо тренироваться, научиться молчать так, чтобы все вокруг ощущали твою невысказанную эрудицию. Хорошо быть красавицей — сиди себе и улыбайся. И никаких проблем.

Отбросив робость, спрашиваю:

— А эта опера, она хорошо кончается?

По-моему, прозвучало довольно мило, по-светски. Особенно если учесть, что было искушение добавить: «Извините за дурацкий вопрос, но просто не знаю, что еще спросить».

— Ну как вам сказать. Вообще-то не очень.

Зря спросила. Я ненавижу две вещи: сушеную селедку и трагедии. Все эти любовные страдания и зловещие повороты судьбы выдуманы лишь для того, чтобы выдавить у зрителя слезы. Прутся прямо в душу, не снимая сапожищ, и давят, давят на слезную железу. Не люблю, когда манипулируют моими чувствами. По-моему, ронять на публике слезу, выманенную у тебя таким мошенническим способом,— отвратительно. Спасаюсь от позора ироническим отношением. Если несчастная героиня очень уж страдает, я начинаю разглядывать толстый слой ее грима. В самых душераздирающих сценах я, зажав нос, гундосо передразниваю: «Де богу жидь без дебя, любибая». Сколько раз мне кавалеры говорили: «С тобой невозможно смотреть серьезные вещи. Все настроение ломаешь».

Ага, вот и «Саммертайм». Хрипловатое и вязкое негритянское сопрано весенним солнышком согревает душу. Грязный снег посторонних мыслей под его лучами тает. Я честно пытаюсь сконцентрироваться на том, что происходит на сцене. Беда только — поют по-английски. В кино бы хоть титры дали. Эх, надо было перед началом программку почитать, там «Краткое содержание» есть. Теперь, в темноте, разве прочтешь? Я искоса смотрю на Ю-сан. Он уставился на сцену таким истуканом, что к нему с вопросами лучше не соваться. Вздыхаю и, рассеянно глядя перед собой, начинаю думать о своем.

В чувство меня привело тепло, разлившееся по левой руке. С той стороны сидит Ю-сан, мы касаемся друг друга локтями. Чего это он ко мне прижался? Или кажется? Не то чтобы прижался — до этого чуть-чуть не хватает. Но тепло передается.

Я прямо застыла. Как быть? Миллиметровое движение в любую сторону может быть неверно истолковано. Даже пот прошиб, и откуда-то набрался полный рот слюней. Разве в обычном состоянии человек обращает внимание на то, сколько у него во рту слюней? Откуда-то там появляются, куда-то исчезают, и все дела. Если со слюной начинаются какие-то фокусы, значит, ты не в своей тарелке. Господи, да откуда ее столько? У меня под языком уже целый пруд. Уровень слюны катастрофически поднимается. Сейчас начнет заливать зал. Я с оглушительным шумом сглотнула. По-моему, он слышал. Ей-богу, слышал!

Наши руки слились в поцелуе. До самых кончиков пальцев пробежал горячий ток. И почти сразу же меня пробрала дрожь. Я стиснула зубы, чтобы не затрястись всерьез, по-крупному.

Жар хлынул из его тела в мое, словно никакой одежды нет и не было. Я чувствовала его дыхание, ощущала, как в его руке бьется пульс, словно туда переместилось сердце. Вдруг замечаю — я и сама дышу в такт. Сердце колотится быстрее, трудности со вдохом и выдохом. Как будто стометровку пробежала. Усилием воли пытаюсь воздействовать на сердечную мышцу, делаю сама себе искусственное дыхание.

Что это со мной творится?

И как реагировать — радоваться или ужасаться?

Внутренний голос шепчет: «Спокойно, дура. Расслабься. Он просто смотрит на сцену и даже не замечает, что прижался к тебе рукой».

Безногий Порги и легкомысленная Бесс пытаются урвать кусочек счастья на двоих. А это бывший дружок Бесс — Краун. Он снова к ней вяжется, она ему что-то такое поет. Мол, я уже старуха, найди себе моложе.

Посмотри на эту грудь,
Посмотри на эти руки,
И оставь меня, оставь!

Когда она запела про грудь, я непроизвольно чуть не потрогала собственный бюст. «Посмотри на эти руки» — и меня тянет на собственные руки взглянуть. Я потихоньку пощупала их — как там кожа, не обвисла?

Крутовато она про себя, даже ради того, чтобы мужику дать от ворот поворот. Если женщина так заговорила, это уж все, финиш. Хотя почему финиш? У нее же в тылу Порги. Поэтому она и лепит такое. Если тебя любят, можно себе позволить и старухой назваться. Не убудет. Вот если одинокая баба называет себя старухой, то, значит, она и в самом деле уже старуха.

И стало мне вдруг как-то очень тошно.

Тут и первый акт закончился. «Не хотите ли закусить?» Встаем. В буфете толчея страшная. Ю-сан героически прорвался сквозь толпу вокруг стойки и вынырнул обратно с вином и бутербродами. Небрежным жестом остановив мою робкую попытку достать кошелек, Ю-сан вгрызся в бутерброд. В углу какая-то дамочка, прикрываясь ладошкой, кушала принесенную из дома провизию. Вот что значит ходить в театр одной. Еще одна парочка с аппетитом уплетала домашние рисовые колобки, запивая купленным лимонадом. Приди я сюда с *тем*, тоже сейчас бы вот так подкреплялись.

Яркий свет, шелест нарядных платьев. Я выпила бокал вина и слегка окосела.

Началось второе действие. Ю-сан уселся, сложив руки на груди. Значит, локотками прижиматься не будем? Сидит и не шелохнется. Ладно, посмотрим, что там на сцене. Бесс уже доходит — ее преследует Краун. С Крауном разбирается Порги. Над любовной историей сгустились тучи. Дальше смотреть уже не хочется.

Подумаем о чем-нибудь другом. Я начинаю вспоминать лобзание двух рук. Сплав конечностей в посрамление разделяющей их одежды. Два сердца, переместившиеся в локти, единая температура тела... Наша общая кровь, изливаясь из пределов плоти, все быстрее и быстрее течет куда-то прочь, к неведомым континентам. Его эритроциты братаются с моими лейкоцитами. Кровяные тельца, кружась легкими бабочками по спирали ДНК, танцуют вальс. Маленькие сумасшедшие балерины, канкан крови и любви.

Может, я начинаю влюбляться в Ю-сан? Или уже заканчиваю? Эмоционально обрабатываю чувство, ставшее, не успев расцвести, делом прошлым? Каких-нибудь полчаса назад прикосновение наших локтей мучило меня и мешало нормально дышать. И вот вдруг превратилось в такое сладкое воспоминание.

Сладким бывает только то, что уже миновало и горла больше не царапает. Чем дольше живу на свете, тем хуже переношу это самое «сейчас». Куда лучше звучит «давным-давно». Все время себе говорю: не успеешь оглянуться, как «сейчас» превратится в «давным-давно». И тогда, в райском заповеднике минувшего, экспериментируй с воспоминаниями как хочешь, своя рука — владыка.

Порги на сцене завопил что-то отчаянное. Бедолага просидел в каталажке всего неделю, а Бесс, обманутая негодяем, уехала в Нью-Йорк. Порги на своей тележке катит по горам, по долам, из Южной Каролины в далекий Нью-Йорк. «За тыщу миль, на север дальний, минуя сто застав». Едет к своей Бесс.

Я качу дорогой в рай
Дальнею дорогой.
Не оставь меня, Господь,
Отправляюсь в путь.

— Не такая уж печальная концовка.

Я стараюсь говорить пониже, чтобы голос не дрожал, но выходит какое-то дурацкое сипение.

— Это вам по молодости кажется.

Ю-сан поднес бокал с шампанским к носу и сосредоточенно разглядывает пузырьки. Спектакль кончился, мы сидим в кафе «Домаго». В шипящем соусе масляно поблескивают эскарго.

— Думаете, по молодости?

Не знаю, что он хотел этим сказать, но чувства внутреннего протеста не возникает.

Ю-сан в последнее время страдает от «комплекса заходящего солнца». «В моем возрасте жизнь кончена»,— вздыхает он, глядя в сторону заката. И зубы-то у него уже не те, и дальнозоркость одолела, и седина в волосах.

По правде говоря, видок у него на закате пока еще хоть куда. Нынешние двадцатилетние девочки про таких говорят «обалденный кадр». Мне не двадцать лет, и «обалденным» я Ю-сан не считаю, но посидеть с ним вечером в приличном кафе — почему бы и нет.

— Какая там молодость,— говорю.— Старушка уже. Посмотри на эту грудь.

Выпячиваю вперед бюст. Декольте у меня сегодня — не для слабонервных.

— Посмотри на эти руки.

Протягиваю ему руки (предварительно напрягаю мускулы).

— Нельзя так говорить. Постареете.

— Уже. Годы взяли свое.

— Ну что вы за человек такой. Почему вы не можете жить как нормальные люди?

— Продолжать не надо. Мне уже неоднократно советовали. Жить как нормальные люди живут, повышать уровень профессионального мастерства. Которого нет.

— Нет, я не то хотел сказать. До меня доходят слухи, что кое в чем вы вполне нормальная. Переехали на другую квартиру, да?

— Да. Оторвалась от родительского гнезда. Так сказать, вылетела в большой мир.

— И живете, как я слышал, не одна?

Скачок давления. Миллиметров на тридцать. И, ясное дело, похолодели конечности.

— Такие ходят слухи? Ну что ж, хоть, говорят, дыма без огня и не бывает...

Ой, не то ляпнула. Не надо так решительно все отрицать, а то не поверит.

— Но вообще-то приятно, когда про тебя сплетничают. По правде сказать, я сама этому способствую. Переодеваюсь мужчиной и специально кручусь перед собственной дверью, чтобы соседи заметили.

Нет, это я переборщила. Смеюсь — пусть видит, что пошутила.

— На самом деле я действительно живу не одна.

Нервная пауза.

— Что это вы так смотрите? Мы с подругой квартиру снимаем.

По-прежнему молчит, но взгляд помягчел.

— Ее зовут Жюли. Мы когда-то в одном классе учились. Она теперь известная журналистка. Деловая — жуть. Зарабатывает раз в сто больше меня. Но все время в бегах. Зато я с утра до вечера сижу дома. За квартиру платит Жюли, а я убираю, стираю. Готовлю. Правда, довольно паршиво. В любой столовке и то вкуснее. Это Жюли так говорит. А по-моему, ничего, есть можно. В общем, я у нее вроде домохозяйки. Думаю вот, не выйти ли за нее замуж, а?

По-моему, тон взят верный.

— Я-то вот одна-одинешенька. А у Жюли есть парень. Чудной такой. Она обожает крепких мужиков, этаких мачо. Чтобы мускулы, как

у Шварценеггера, ну, одним словом, мужественных. Знаете, до того, как она ездила учиться в Англию, у нее был один кандидат в любовники — жутко добрый и внимательный, души в ней не чаял. Жюли стирать-готовить терпеть не может, так он, представляете, специально на видео кулинарные рецепты записывал — «Меню на сегодня» или там «Обед за три минуты». И учился готовить. Между прочим, по вечерам, после работы. Собой, правда, был не красавец. Не то чтоб урод какой-нибудь, но Жюли с ним рядом отказывалась ходить. Говорила: «Отстань на три шага, образина». Так он и таскался за ней — на три шага сзади. Причем, чем больше Жюли зверела, тем покладистее он становился. Она с ним обращалась, как с грязью, а он был сущий ангел. Ну, потом Жюли укатила в Англию учиться и оставила ангела с носом. Вот... А еще она один раз сказала другому ухажеру: «Похудеешь на десять килограммов, тогда и поговорим о свидании». Тот давай голодать, иссушать плоть, но все без толку.

— Так и не сумел похудеть?

— Да нет, сумел. До десяти килограммов уже совсем чуть-чуть оставалось, но тут Жюли взяла и послала его. А про нынешнего своего она говорит коротко: вот это, говорит, мужик! Ему сорок лет, холостой. Художник — делает для ванных гравюры с видами Фудзи. Я его пару раз видела. Плечищи! А рост — просто скала какая-то. По улице идет — земля дрожит. Если в метро какая-нибудь шпана безобразничает и все пассажиры смотрят в другую сторону, этот на них один раз цыкнет: «А ну, тихо там!» — и все дела. В общем, одним словом, «вот это мужик!». Над нами, этажом выше, живет один малолетний придурок, который повадился ночь-полночь шуметь и грохотать. Сколько раз я ходила к его папаше жаловаться, тот и слушать не хотел. Пусть, говорит, ребенок порезвится. Пожаловалась Жюли — он рукава засучил, поднялся наверх и исполнил свой коронный: «А ну, тихо там!» Папаша и придурок с тех пор — тише воды, ниже травы. Настоящий мужик. Соседи уверены, что в нашей квартире поселился член якудза [1] с двумя любовницами.

— А разве этот господин прямо живет у Жюли?

— А? Нет... То есть теперь уже да. Он недавно к нам переехал. Они сейчас ищут другую квартиру. А пока живем втроем. Он занял маленькую комнату — там ничего нет, голые стены. (Пытаюсь я увести разговор в сторону.) Только книги стопками. Он — маньяк по части чтения. У нас там недалеко букинистический магазин, а перед ним ящики, в которых горой навалены книжки по сто иен штука. Так наш Геркулес набирает целую груду, даже не глядя на названия, притаскивает домой и прочитывает от корки до корки. Потом относит на помойку и в тот же день приволакивает новую груду.

— Интересно вы про него рассказываете.

— Ну́ так. «Вот это мужик!» Сами понимаете.

— А что, ваша подруга красивая?

— Спрашиваете! Разве дурнушка может сказать ухажеру: «Похудей на десять килограммов»? Разве я бы такое брякнула? Сама на диете сижу.

Похоже, Ю-сан не на шутку заинтересовался роковой Жюли. Поворот, конечно, неожиданный, но такой уж я человек — не могу оставить любопытство собеседника неудовлетворенным. И весь остаток вечера (мы потом еще в бар пошли) я рассказывала Ю-сан про жизненный путь своей подруги, ее внешность, хобби и даже любимые блюда. Ушел он совершенно удовлетворенный.

А надо сказать, что дело было как раз накануне Валентинова дня, я и шоколадку заранее приготовила. Сую ее Ю-сан, а он уже такой хороший, еле языком ворочает. Эх, надо было с шоколадкой подъехать до того, как всплыла роковая Жюли...

Вспомнилось стихотворение:

---

[1] Японский преступный синдикат.

Позднее раскаянье.
Поглядишь назад —
Где ж была соломка,
Как упал на зад?

Я ждала поезда, стоя на пустой, гулкой платформе (неужели еще недавно здесь было такое столпотворение?), и думала про Ю-сан. Точнее, про свою шоколадку, небрежно сунутую им в «дипломат». Он, конечно, про нее забудет. То-то удивится, когда найдет у себя в портфеле через пару дней. Озадаченно прищурится. Возникнет две-три версии о происхождении этого загадочного предмета. Так ничего и не вспомнит. Тряхнет головой и бросит мою бедную шоколадку туда, где уже будет лежать горка ее валентиновых сестер. Вздохнет: память совсем ни к черту стала. «Комплекс заходящего солнца».

Еще одна синяя птица упорхнула.

Что-то туман в глазах. Потерла пальцами — мокро.

2. БЛУЖДАНИЕ В ПОТЕМКАХ

Я тихонечко открыла входную дверь. В прихожей стоял Жюли. Скорбные глаза Кэндзи Савады (из-за них он и получил свое прозвище [1]) смотрели на меня сурово.

— Ассьте,— шепчу я, имея в виду «здрасьте».

— Ты знаешь, который час?

— Акатачас? (А какой такой час?)

— Все шутки шутишь?!

Какие там шутки. Это я с перепугу слова глотаю. Вид у Жюли довольно грозный.

— А что такого? Ну, засиделись с Юко. Я тебе разве не сказала, что я с Юко встречаюсь? Ну, с моей школьной подругой. Она теперь журналистка. Вот устроилась! Знаешь какие деньги гребет? Не поверишь! Не то что я. Но работка у нее тоже не сахар. Думаешь, легко материал для статей собирать?

У меня внутри что-то судорожно сжалось и вырвалось наружу — совершенно неожиданно — хохотом.

— Знаешь, в Тиба есть целый квартал борделей, которые раньше назывались «турецкими банями», а теперь просто «банями»? Так, представляешь, редакция ее туда отправила, и бедняжка целый день изображала «банщицу». За такую работенку сколько ни плати — все мало будет. Или, допустим, поступил сигнал, что в одной аптеке из-под прилавка торгуют наркотиками. Так Юко отправляют туда — чтоб купила и все разнюхала... Я не помню, ты с ней встречался? Нет? Обязательно познакомлю. Она на мальчика похожа. Косметики — ноль, короткая стрижка, джинсики, спортивная курточка. А за спиной — здоровенная репортерская сумка. Представляешь, заявляется такая пигалица в аптеку и пищит: «Мне таблеточек, пожалуйста. *Тех самых*». Ну, ее, конечно, посылают куда подальше. А начальство говорит: сама виновата. Вот такая работенка. Ей бы замуж.

— А я тебе ванну приготовил.

— Ага. Ты слушай дальше. Она мне одну историю рассказала. Неприличную. Тебе интересно? У их газеты есть отделение в Тиба. А напротив, через дорогу, двухэтажный дом: на первом этаже магазин подержанной мебели, на втором хозяева живут. Они вдвоем работают, муж и жена. Часто можно видеть, как они на пару надрываются, тащут какой-нибудь развалюшный диван. Что тут неприличного? А ты слушай. У стариков дочка, в колледж готовится. Окно ее комнаты как раз на улицу выходит. Раз в три дня к дочке приходит приятель — помогает готовиться. Он тоже абитуриент. Сидят занимаются. Скучно, кровь

---

[1] «Жюли» — прозвище популярного эстрадного певца Кэндзи Савады.

играет. Ну и, сам понимаешь, учебники в сторону и пошло-поехало. Это бы еще ладно, но дочка каждый раз перед этим окно открывает. А как раз напротив, через дорогу,— редакционный мужской туалет. Расстояние — подмигнуть можно. Так у них там сидит специальный дежурный. Как увидит, что у дочки окно открылось, давай названивать по отделам: началось, мол. Через минуту в мужском туалете у окна давка. И главный аттракцион такой. На лестнице непременно появляется мамаша с подносом — чай там, конфетки. Несет наверх, деток угостить. Дочка этого не видит. А из туалета — все как на сцене: тут дочка с парнем, там мамаша с подносом надвигается. Мужики слюну глотают, шепчут: «Давай, давай, торопись!» Наверное, господь Бог с небес на нас, грешных, примерно с таким же чувством смотрит. Ну вот, старушка уже у двери. В одной руке поднос, другой ручку поворачивает. И тут всякий раз — чудо. Те двое в момент отлетают друг от друга, дочка молниеносным движением одергивает юбку (она никогда не раздевается, как солдат на фронте), лицо — сама невинность. Мирная жизнь семьи не нарушена.

— А чего же она окно-то открывает? Жарко ей, что ли?

— При чем тут «жарко». Она каждое утро перед открытым окном одевается. В редакционном туалете по утрам не протолкнешься.

— Щедрая девица.

— У нее с мужиками из редакции родство душ. Она их любит, потому что все люди братья. А может, просто эксгибиционистка. Или бешенство матки.

— Кстати, а ты знаешь, что «бешенство матки» входит в список слов и терминов, запрещенных к употреблению на телевидении и радио?

— Да? Между прочим, история совершенно правдивая.

Что-то глаза у него подозрительно блеснули.

— А про цензуру на телевидении я тебе могу отдельно рассказать. Тоже чистая правда.

На слове «тоже» я делаю ударение.

— Когда в записи встречается запрещенное слово, там в фонограмме делают такой щелчок или гудок. Слышал, наверно? А когда транслируют концерт Рютаро Камиоки [1], он же без конца сыплет всякими словечками. Зал хохочет, а телезрители одни щелчки слышат. Такая досада всегда берет! А знаешь, как это делается? Ведь трансляция-то прямая, поди угадай, что он там залепит. Так вот, оказывается, на телевидении есть специальный эксперт по нецензурным словам. Он сидит у пульта и напряженно слушает. Работа нервная, ответственная. Должен нехорошее слово с лету угадать и нажать на кнопку. В его распоряжении максимум две десятых секунды. Работенка — не позавидуешь. Весь, наверно, напичкан похабными словами. Ходячий справочник неприличностей. И нервная система, поди, ни к черту.

— У него, наверно, выделяется специальная секреция на похабщину.

— Смешно! Ты, Жюли, нынче в ударе.

Когда лицо Жюли расплывается в улыбке, от уголков глаз лучиками разбегается по пять морщинок. Их я больше всего в нем и люблю.

Поулыбались немножко. Потом помолчали.

— Я волновался.

Моя болтовня, как обычно, подействовала на Жюли благотворно. У него привычка в конце каждой фразы как бы ставить вопросительный знак. К кому вопрос относится — к собеседнику или к самому себе,— неясно. Жюли как бы слегка отстраняется от своих слов. Или прикидывается, что отстранился, а потом подступает по-новой.

Я терпеть не могу людей, которые не говорят, а вещают. Поэтому так уж выходит, что рядом всегда оказывается какой-нибудь любитель вопросительной интонации.

— Извини. Ты же знаешь, я как начну болтать — меня не остановишь.

---

[1] Известный комик.

— Я уже решил: еще час подожду и буду твоему отцу звонить.

Ничего себе. Я так и представила себе физиономию папика. Мнется у телефона, мямлит что-нибудь. Жена от него сбежала еще десять лет назад. А как не сбежать от типа, который хочет, чтобы дочь его «папиком» называла? Он был намного старше мамочки. Заменял ей, так сказать, отца. Когда она наконец дала от него деру, то завела себе приятеля, которому сама стала вместо матери. Почему-то она думала, что я тоже немедленно найду себе мужика и покину отчий дом. Но в этом мамочка ошиблась. Между прочим, они с папиком иногда втихаря встречаются.

Всякий раз мамочка, трагически хмуря брови, спрашивала меня:

— Ты все одна? Неужели у тебя никого нет?

Звучало это как-то не очень по-матерински. Мол, все бабы как бабы, а ты...

— Я же не такая шустрая, как ты,— огрызалась я, ковыряя вилкой кусок торта.— Не такая умная, не такая любвеобильная, не такая целеустремленная.

Мамочка у нас теперь стала совсем независимая и самостоятельная. Любовник — непременный атрибут независимости. Ну как независимую и самостоятельную мать звать «мамой»? А «мамиком» как-то язык не поворачивается. Поэтому я ее вообще никак не зову. Она из-за этого не комплексует. Не из таких.

— Главное — не отчаивайся. На худой конец Тэруо-сан обещал потолковать с кем-нибудь из своих холостых друзей.

Тэруо-сан — это атрибут независимости. Когда мамочка о нем говорит, лицо у нее делается сдобно-сладкое, как глазированная булочка. Иногда мне просто хочется ее убить, ей-богу.

— Обойдусь я без твоего Тэруо-сан. Уж мужика себе как-нибудь и сама найду.

Сказать легко, сделать трудно. Но уж с мамочкой о своих сердечных делах я секретничать не собираюсь. Как-то нечестно по отношению к папику.

После ухода жены он, бедненький, стал совсем чудной. И голова облысела, прямо бильярдный шар. Зато рвения к работе стало хоть отбавляй, и это, конечно, проблема. Весь дом заставлен скульптурами, которые никто не покупает. Буквально не протиснешься. Однажды, споткнувшись о ногу какого-то гипсового истукана и расшибив себе коленку, я не выдержала и предложила раздать весь этот хлам бесплатно. Истукан назывался «Мечта о будущем» и расположился почему-то посреди кухни.

— Знаешь что,— оскорбился папик,— будешь шуточки шутить, когда на твои картинки покупатели найдутся.

— Мои картинки столько места не занимают.

Вместо ответа родитель швырнул в меня резцом. На кухонном столе появилась еще одна отметина.

Мирному сосуществованию отца с дочерью положил конец Жюли.

Мне для работы иногда приходится ходить в муниципальную библиотеку. В тот день я сидела над толстенным, килограмма на три, ботаническим атласом и, не поднимая головы, срисовывала патринию, сангвисорбу официналис, марсилею и гонобобель. Нужны были виньетки для романа с продолжением. Там без конца шли любовные сцены, более или менее одинаковые, но с разным антуражем: то на квартире, то в гостинице, то летом у моря, то осенью в горах, под кустом какой-нибудь акебии пятилистной. Нахожу в атласе марсилею: цветет в апреле — мае. Делаю такой весело-красненький фон. Двигаюсь дальше. В тексте сказано: «Осенний ветерок сыпал белым дождем лепестков гонобобеля». Смотрю в атлас — этот самый гонобобель цветет в июле. Все желание трудиться пропадает. Подпираю щеку рукой и тоскливо озираюсь вокруг. В глазах желтым-желто от цветочков проклятой сангвисорбы.

Вижу желтый свитер. Над ним сонное мужское лицо. Лицо говорит мне сонным голосом: «Что это вы такая сонная?» Потом вдруг оказывается рядом, на соседнем стуле. Все произошло как-то само собой, я даже не успела удивиться.

В правой руке мужчина держал какую-то корректуру, в левой — такой же толстенный, как у меня, атлас насекомых. Уселся и давай вертеть головой: то в атлас, то в корректуру, то в атлас, то в корректуру. Мне ужасно хотелось вступить с ним в диалог. Несколько раз уже рот открывала, но неудобно как-то первой начинать. Ладно, думаю, и отвернулась к окну. На улице уже смеркалось.

— Вы художница? — спрашивает.

— А что, заметно?

Снова замотал башкой влево-вправо. Но не похоже, что надулся. Правда, желания продолжить беседу тоже не проявляет. Мне почему-то стало спокойно так, уютно на душе. Пристроила подбородок на свой фолиант, смотрю, как он работает. Впервые видела, чтобы лицо было одновременно сонным и таким сосредоточенным. В волосах легкая седина, вспыхивает в лучах заката. Красиво.

Вдруг ни с того ни с сего у меня срывается, детским таким голосочком:

— Пойдем погуляем?

Так вдруг захотелось развеяться — мочи нет. Мужчина посмотрел на меня сначала без выражения, потом по его лицу рябью расползлась улыбка.

Сели в электричку, поехали к морю. Ветер в порту дул уже совсем по-вечернему, обвевал лицо, словно влажной рукой по коже проводил. Мы сели рядышком, как-то без особых разговоров прижались друг к другу. Волны катились, катились, конца им не было, и от этого сделалось хорошо и спокойно. Потом стало холодно, и мы отправились греться на причал, в здание вокзала. Там было пусто, повсюду сувенирные киоски. Помню запылившиеся пластмассовые бонсаи. Какое-то кимоно с драконом на спине. Товар для иностранных матросов.

Вдруг захотелось купить что-нибудь на память. Я выбрала носовой платок «Рыбы планеты». Он — «Флаги стран мира» и еще стереооткрытку. Знаете, фотоизображение в несколько слоев, закатанное в пластик. Создает эффект объемности. Раньше такие картинки часто выдавали в качестве бесплатного приложения к шоколадке. А те, что поздоровее, продавали в рамке. Можно было купить вид Фудзи, орла, тигра и так далее. Мой приобрел деревенский пейзаж: вдали соломенные крыши, а на переднем плане низко летящий большущий фазан.

— Какой шикарный кич! Обязательно на стенку повешу,— восхитился он. И в полпервого ночи по телефону доложил мне, что свое намерение осуществил.

События в тот вечер развивались следующим образом: легкий ужин в китайском квартале; стремительный поцелуй в парке у моря; в полдесятого — прощальное махание «Рыбами планеты» на платформе.

На папика поздний звонок произвел глубокое впечатление, и «тот странный тип, что тебе звонил среди ночи», был им взят на заметку.

При следующей встрече я спросила:

— А чего это ты делал с атласом насекомых? И что это была за корректура?

Вообще-то мы не особенно расспрашивали друг друга, не форсировали события.

— Я — сверщик.

— Кто-кто?

— Ну, корректор. Верстка, сверка. Журналы, книги.

Голос звучал как-то обиженно.

Стало быть, после второй встречи я обладала следующей информацией: нрав тихий, но обидчивый; работает корректором. И все, остальное окутано мраком. Так оно и пошло — встречаемся как старые

добрые знакомые, а знать о нем толком ничего и не знаю. Совместные ночевки по выходным. После первой ночи, уплетая приготовленный мной омлет (точнее, какие-то угольки), он тоскливо пробормотал: «Надо, наверно, заехать познакомиться». Я догадалась, что имеется в виду папик. По дороге ко мне домой в электричке он нервно мял пальцы. В прихожей нас встретил папик, суровый, как страж у врат рая. «Здрасьте»,— пробормотал Жюли из-за моей спины, глядя себе под ноги. «Ну-ну»,— ответил страж.

Жюли начал нести что-то невнятное. Разобрать можно было только два слова, которые он без конца повторял: «серьезные отношения». Папик ограничивался суровым «ну-ну». Вечером, когда Жюли отправился восвояси, у нас состоялась тягостная беседа. В ярко освещенной кухне, за столом. Стол широченный, но в тот раз незримая тень Жюли поглотила его, и он как-то скукожился.

Для начала папик высказал такую мысль: какие, мол, к черту, «серьезные отношения», когда знакомство начинается с ночевки. Он-то всегда полагал, что «серьезные отношения» — это когда жениться собираются. Ничего себе «серьезные отношения»: в субботу вечером сунула в сумку косметику, запасные трусы, банку кофе — и тю-тю. С этим он, как отец, мириться не может.

Ну, в общем, стала я ездить к Жюли по субботам. Дорога — два часа. Еду, читать не могу — сердце колотится как бешеное. Поэтому сижу обдумываю меню на вечер. Короче, время в электричке провожу с приятностью. На станции встречает Жюли, издалека машет рукой, и мое трепещущее сердце сразу расцветает розами. Идем по улице, взявшись за руки. Улица — так, ничего особенного: покосившиеся магазинчики, забегаловки. Отходим подальше от станции, и начинается настоящий загород. Между новостройками тут и там ютятся рисовые поля. Живая земля между убогими стандартными постройками кажется заброшенной и несчастной.

Мне же не двадцать лет, робость и стыдливость остались в прошлом. Иду, дышу полной грудью, наслаждаюсь жизнью. Дорога, по которой мы шагаем, искрится приглушенным сиянием, как тщательно покрытый лаком пейзаж семнадцатого века. Вообще все вокруг посверкивает, поблескивает самым бесстыжим образом. Один раз, когда мы проходили мимо продуктовой лавки, я увидела у входа ржавый бочонок, на дне которого плавал кусок тофу [1]. Он был такой белый-белый, я присела на корточки и стала на него смотреть. И вдруг пронзило: обманываю я себя, ох, обманываю. Ну и пусть, думаю. Обман — это тоже приятно.

Квартира у Жюли чистенькая такая, аккуратненькая. Веранда выходит на юг, там цветы в горшках, пылинки на листьях в солнечных лучах так и вспыхивают. В общем, никакого холостяцкого бардака. Скорее, жилище одинокой порядочной девушки. В прихожей висит несколько зонтиков, один (я заметила) красный. С рукояткой в виде собачьей головы. В ванной, кроме крема для бритья и прочей мужской ерунды, французский одеколон и дезодорант (женские).

Каждый раз, когда входила в эту квартиру, меня начинали одолевать тяжкие подозрения. Но поднять эту острую тему я решилась очень не скоро.

— Знаешь,— говорю,— когда я пришла сюда в первый раз, сразу почуяла: женским духом пахнет.

— Господь с тобой,— отвечает.— С чего бы это?

Легкое удивление, как будто я внезапно спросила, какой у него размер ботинок.

— А красный зонтик?

— Цвет, конечно, не очень. Но, понимаешь, у меня раньше был точно такой же синий. Я к нему привык, а его украли.

---

[1] Соевый творог.

— Точно такой же, с собачьей головой?

— А-а, ты про тот. А то я не понял. Ну, это очень просто. Пошел в дождливый день в супермаркет, зонтик оставил на входе. Назад иду — нету. Тогда служитель выдал мне этот. Кто-то из посетителей забыл. Другого, говорит, не было.

— А женский одеколон?

— Ой, я в этих делах полный профан. Привезли в подарок из-за границы. Я им ванну опрыскиваю, чтоб пахло хорошо.

И тон такой естественный-естественный. До неестественности.

На шкафу я обнаружила две фотографии. Снизу видно только, что со стены сняты давно — пыли много. Однажды, когда Жюли принимал душ, я затеяла такую легкую уборочку. Приставила к шкафу стул и подсмотрела. Чуть не рухнула. На одной фотографии Жюли с какой-то бабой. Крупным планом. На другой они же, но (господи Боже!) в голом виде. Закинула фотографии обратно, поскорее слезла. Баба большеротая, длинные прямые волосы, постарше Жюли будет. Он большой театрал. Наверно, какая-нибудь неудачливая актриска или танцовщица.

Ладно, думаю, не будем ворошить прошлое.

А у самой руки трясутся, пылесос ходуном ходит. Откуда-то из желудка ком такой черный к горлу подступает.

— Что с тобой?

Оборачиваюсь — стоит. Увидел мое лицо, голову в плечи вжал и попятился.

Я молча тычу на шкаф.

— Не понял.

— Ах, ты не понял?! — говорю.— А кто там на фотографиях, не ты?

Тут до него наконец доходит.

— Да ладно тебе,— говорит.— Откопала старье какое-то.

Подходит, обнимает за плечи, усаживает на диван. Да еще улыбается, гад. Снимает с полки толстую книгу. «Жизнь Джона Леннона». Листает, показывает. Те самые фотографии, только уменьшенные.

— Это же Джон и Йоко, дурочка. Не узнала? Фотографии-то знаменитые. Приятель-фотограф увеличил и подарил.

Теперь сама вижу. Плачу и смеюсь одновременно. Диафрагма дрожит, трудно дышать. Вместе со слезами вытекают все силы. Мягчею. Но какой-то осадок все же остается.

— Неужели я так похож на Леннона?

— Конечно, было темновато. Но что-то общее есть.

Я уже просто смеялась, без слез. Жюли тоже хохотал в голос, что с ним случается нечасто. Глаза только не смеялись. И, боюсь, у меня тоже.

Вечер воскресенья. Возвращаюсь домой, к папику. Садимся как ни в чем не бывало за стол. Тот из нас, кто больше устал за день, закатывает обычную истерику. Второй терпеливо ждет, пока буря пронесется. Такой примерно расклад.

Раньше мы с папиком иногда за целый день слова друг другу не скажем, и ничего, все нормально. Это я уже потом поняла, что, когда можешь спокойно молчать, это здорово. Когда же началась эпопея с Жюли, воскресный ужин превратился в муку: каждая пауза давила на психику. Даже во рту пересыхало. Спасибо, пиво выручало. А как слегка поддам, язык развяжется, сразу начинаю нести то, чего не следует. Например, спрашиваю:

— Все ворон лепишь?

У папика обычай такой: когда не в духе, ваяет нечто воронообразное. Это у него называется «абстрактный образ в полуконкретной кристаллизации». Но похожи эти образы, как их ни поверни, на каких-то облезлых ворон.

Папик берет легкую хандру́ и лепит из нее черного жалкого вороненка. Большие творческие кризисы превращаются в здоровенную мрамор-

ную ворону а-ля Генри Мур. Когда папика бросила мамочка, он сварил из колючей проволоки свирепое пернатое в человеческий рост — в стиле Джакометти. Все дело в том, что студентом, страдая от несчастной любви, папик часами просиживал на берегу пруда и смотрел на ворон, стаями собиравшихся на голых ветках. И с тех пор заразился вороньей болезнью на всю жизнь.

— Никакие это не вороны,— отвечает мне папик.

— А соседский мальчишка посмотрел на твое последнее творение, которое ты выставил во двор, и кричит: «Ворона! Ворона!»

— У мальчика нет художественного воображения.

— Да ты хоть знаешь, как наш дом зовут соседи?

— Мало ли что идиоты скажут. Они в любой абстрактной работе видят лишь гору Фудзи.

— «Вороний дом» — вот как.

— А что плохого в изваянии вороны?

— Никто не говорит, что это плохо.

— Чего ж ты таким тоном спрашиваешь: «Все ворон, мол, лепишь»?

— Констатация факта, только и всего.

— Это не констатация, а выпад в мой адрес.

А у самого уже губы трясутся. Вижу: дело принимает опасный оборот. Хочу перевести на шутку, а вместо этого выпаливаю:

— Я? Выпад? Это ты мне без конца гадости говоришь! Воронами этими своими все заставил! Мне назло, да?

— Я творю тебе назло?! А ты свои картинки что, тоже мне назло малюешь?

— Очень может быть!

Со стола летит посуда.

— Дура! Не смей так говорить о творчестве!

Голос у папика, как надтреснутый колокольчик. Бац! Щека у меня вспыхивает огнем. Последний раз он меня ударил, когда я раскрасила красками его новую скульптуру. Мне тогда было пять лет. Я сижу, разинув рот. Потом чувствую боль.

Посуда со стола у нас летала и раньше, но такое... Почему-то я ощутила странное удовлетворение. Знаете, есть несчастные дети, которым надо, чтобы родители их били,— пусть хоть так свою любовь выказывают. Неужто я всю жизнь проживу этаким несчастным ребенком?

Чтобы избежать воскресных сцен, стала возвращаться в понедельник утром. Оказалось, что за ночь отцовское чувство еще больше крепчает. Попробовала перенести приезд на вечер понедельника. Потом на утро вторника.

Чем более двойной становилась моя жизнь, тем в большее запустение приходил «Вороний дом». Двор-то у нас и без того давно сорной травой зарос, да и грязи за десять лет без хозяйки тоже поднакопилось будь здоров. При моем деде под этой крышей жила большая семья с прислугой. А теперь остались только мы двое. Деревья в саду давно засохли, повсюду торчат одни только каменные вороны. Дом издали похож на подводную лодку, вытащенную на берег. Корпус увит плющом; в раздутом чреве — тусклая гостиная, бестолково разбросанные спальни и комнаты для гостей, которых у нас отродясь не бывало. Почти все комнаты пустые, заброшенные, кроме пыли, там ничего нет.

Когда кто-то приходит, реакция всегда одна и та же: ах, как просторно! ой, какая старина! фу, как грязно! — в таком порядке. Единственный, кто и глазом не повел,— Жюли. Мы с папиком жили в одной комнате, где каменный очаг. Когда мне надо было одеться или раздеться, папик отворачивался к сломанному телевизору. По сути дела, мы жили в однокомнатной квартире.

Наша с папиком гостиная была сердцем «Вороньего дома». Сам дом давно болел, разбитый параличом. Жило в этом дряхлом теле одно сердце. Но теперь болезнь добралась и до него. В обычных условиях я бы

этого не заметила, но после светлой, вылизанной квартирки Жюли запах умирания шибал мне в нос еще в прихожей.

Мы с Жюли решили снять квартиру поближе к папику. Впервые в жизни я занялась хлопотами такого рода: выходила на каких-то станциях, разыскивала конторы по аренде жилплощади, пила в кабинетах жидкий чай, слушала россказни агентов, получала бумажки с адресами «отличных вариантов», говорила «спасибо, до свидания». Потом по карте искала нужный дом. Почти ни разу не удалось добраться до цели. Мне скажут «десять минут пешком», а я проплутаю минут двадцать, выбьюсь из сил, да и засяду в кафе отдохнуть. Пью кофе, читаю бюллетень, на улице темнеет. Стаканчик пива, потом еще один. А там и домой пора. День пропал.

Поиски продолжались, результатов — никаких. Только собралась мощная коллекция рекламок, газетных вырезок и спичечных коробков из кафе.

— Если до конца года ничего не найдется, всему конец,— говорю.

— Чему всему? — спрашивает Жюли.

— А всему. Нашим отношениям.

Он роняет с сигареты пепел.

В следующий раз агент сопровождает меня до места. Посмотрела квартиру. Агент спрашивает:

— Ну как, годится?

А откуда мне знать, годится или нет. Неуверенно киваю. Дело сделано. Через неделю переехали.

В последний вечер сидим с папиком. Он поддал, глаза тоскливые.

— Твердо решила, да?

— Ну конечно.

— Брось ты его.

— Чего это ты вдруг?

— О тебе думаю. Не получится у вас.

— Он хороший.

— Разве хороший стал бы тебе голову морочить? А замуж не зовет.

— У нас серьезные отношения. Поженимся. Потом.

— Да что в ваших отношениях серьезного? Он свистнул, и ты побежала. Разве так я тебя воспитывал? Эх, не моя ты дочь.

— Ага. Мамочкина. Ты это хотел сказать?

— Это самое.

— Ты всегда так говорил, когда я делала что-нибудь не так. Сразу я становилась мамочкиной дочерью. Ну конечно, ты ведь у нас безупречный. Живешь ради своего «творчества», тебе даже баба не нужна. Хуже нет, когда человек уверен, что всегда и во всем прав.

— Пускай хуже меня нет, но твой типчик все равно хуже. Не получится у тебя с ним, вот увидишь.

— Ну и пусть не получится. Могу я хоть раз в жизни пожить нормально, с мужчиной?!

— Да сколько угодно. Только не с этим.

— Лицемер! Ты скольких моих ухажеров разогнал, а? И каждый раз одно и то же: «Кто угодно, только не этот».

— А я виноват, что у тебя вкуса нет? И потом, я не помню, чтобы мои слова хоть раз на тебя подействовали. Ты всегда поступала по-своему.

— Неправда! Ни разу я не поступала, как мне хотелось. И все из-за тебя!

— Чего-чего?!

— И на этот раз ты мне все испортишь, я знаю!

— Разве я тебе мешал? Ездила к нему, жила там целыми днями.

— Это еще хуже! Ты меня нарочно изводил своим молчанием! Ждал, пока у меня все вкривь и вкось пойдет!

— Трусиха! Ты всегда валишь на других!

— А ты, папик, просто дурак! Неужели ты не понимаешь — чем

больше ты его поливаешь, тем больше он мне нравится! Веди ты себя по-другому, может, у нас бы с ним все давно кончилось. Ты сам меня к нему подпихивал.

— Значит, всему виной твое упрямство? Тогда ты дура, а не я дурак.

— Кто дурак — разберемся потом. Но на этот раз я сделаю так, как мне хочется. Хватит!

— Тебе со мной так плохо, да?

— Хорошо тебе говорить, у тебя есть я. А у меня никого. Ты что, хочешь, чтоб я тут состарилась и подохла одна, среди твоих ворон?

— Уж лучше жить одной, чем с этим твоим.

— Да наш дом превратился в гроб какой-то. Плесень, гнилье кругом. Скоро я тоже превращусь в гнилую старушку. Все, к черту!

— Дом можно будет продать. Чтоб доживать в богадельне, тебе денег хватит.

— Ах, ты мне богадельню уготовил?!

И я плеснула папику прямо на лысину выдохшимся пивом. Он весь затрясся, глазами захлопал, ручками замахал. Потер себя по темечку — там мокро.

— Ничего,— говорю,— теперь, глядишь, волосенки вырастут.

А сама реву.

В общем, переехали. Несколько дней устраивались. Прошла неделя.

Как-то утром Жюли собирался в типографию — вызвали по срочному делу. Какой-то он был раздражительный. До ссоры не дошло, но холодком по квартире веяло. Вроде ничего особенного не случилось, а на душе было паршиво. Нет, думаю, так дело не пойдет. Предчувствие какое-то было нехорошее.

Проводила его, села за стол работать, а сосредоточиться не могу. Мне надо было чернилами один эскиз сделать, но штрихи все какие-то не такие получались. Замазки надолго не хватило. Решила позаимствовать у Жюли.

Надо сказать, что в его столе я копалась впервые. Стала выдвигать ящики: ручки, бумага, фотокарточки — все вперемешку. Последний ящик оказался почти пуст. Несколько сложенных вдвое бумажек и больше ничего. Валяются небрежно так, словно кинули их туда и забыли. Смотрю — бланки на международные денежные переводы. Нахлынули воспоминания. Студенткой ездила на весенние каникулы в Париж. Денежки моментально просадила и давай папику телеграфировать: «Целую тчк Деньги». Когда вернулась домой, папик с видом обвинителя предъявил мне стопку таких же точно квитанций.

Зачем мне понадобилось рассматривать эти проклятые бумажки? Не иначе бес попутал. Читаю. Отправитель — мой Жюли. Получатель — какая-то Харука Фудзита. Парижский адрес. Сумма — триста тысяч иен. Цель пересылки — «деньги на расходы».

Деньги на расходы какой-то бабе за границу? Дата отправления — тот самый день, когда я в первый раз приехала к Жюли домой.

У меня прямо в глазах потемнело. Стою и напеваю: «Гуд бай, май лав, гуд бай».

Всего переводов на два с лишним миллиона. Самый ранний отправлен за несколько месяцев до нашего знакомства. Сначала посылал раз в два-три месяца, потом чаще, а последний перевод датирован числом, когда мы с Жюли решили жить вместе.

Все, думаю, приехали.

Поработать в тот день мне так и не удалось. Ладони сделались влажные, перо то и дело из пальцев выскальзывало. Вечером следовало устроить ему допрос с пристрастием. Но сердце сжималось от страха. Ничего себе фокус подкинула мне жизнь.

Жюли вернулся поздно ночью.

— Что это такое? — спросила я, показывая ему квитанции и изображая на лице неопределенную улыбку.

— А-а, это,— смущенно заулыбался он.

— Ага. Это.

Я хотела спросить с металлом в голосе, но не вышло. Дурацкая получалась сцена: ночью, в кухне, суем друг другу какие-то квитки. Хотелось бросить все и убежать.

— Харука-тян [1] — это моя знакомая.

— Подружка, да?

— Да нет. Если ты на секс намекаешь, то ничего такого не было.

— А «расходы на жизнь»?

— Ну как же, раз в бланке есть графа, надо же было что-то написать. Мне на почте сказали, что чаще всего пишут так.

Дальше излагаю своими словами.

С «Харука-тян» Жюли познакомился в баре, который называется «Шалфей». Это такой «голубоватый» притончик, который принадлежит бывшему соученику Жюли. «Я-то сам,— говорит,— не голубой, но ходить туда любил. Много людей искусства, атмосфера такая раскованная». Харука тоже частенько туда наведывалась. У нее было много друзей среди гомиков. Она училась на певицу. На шансонье. Голос у нее, правда, был так себе, не Эдит Пиаф. «Она,— говорит,— любила песни со сложным текстом. Особенно Лео Фере и Сержа Гензбура». Ну вот, а затем, стало быть, наша «Харука-тян» укатила доучиваться в Париж. «Мы с ней,— говорит,— музыку вместе слушали, в театр пару раз сходили, только и всего». А потом Харука начала писать письма, просила денег в долг. Сначала робко, затем осмелела — будто так и надо. Уроки там, в Париже, оказывается, жутко дорогие. За телефон надо заплатить. Костюм для выступлений купить. Долг по квартплате внести. И т. д.

— И ты ей отвалил два с лишним миллиона? — спрашиваю.

— Не отвалил, а одолжил.

— Два миллиона!

— Человек, старый друг на чужбине загибается, а я буду деньги считать?

— Нормальная женщина у мужчин денег не занимает.

— Нормальная-то да...

— Есть родители, родственники, подруги.

— У нее, по-моему, никого нет. Об отце Харука-тян никогда не рассказывала, а мать с каким-то мужиком давно уехала на Кюсю.

Я представила, что у меня нет папика. Мамочка смылась. Что бы я стала делать? Тоже по друзьям побираться? Наверно. Ладно, думаю, допрос окончен.

Прошло несколько дней — без происшествий. Ситуация требовала времени на обдумывание. Из нас двоих роль скандалиста отведена мне. А для вживания в образ нужно время. Три дня я размышляла, могу ли я удовлетвориться таким объяснением. В схватках с папиком мой бойцовский пыл порядком порастратился. Силы поиссякли. Надо было тратить их с умом. Сердце говорило: «Не верь. Врет». Из потайного шкафчика души я выдвинула новый ящичек: ревность. Ревность бывает трех фасонов: «мини», «миди» и «макси». Я решила выбрать «миди». Но пусть не думает, что я ревную.

Выждав три дня, я провела повторный допрос. Результат почти тот же.

Еще через четыре дня повторила. Ответ был почти такой же.

Почти. То есть не совсем. Каждый раз Жюли слегка менял версию, и эта эволюция шипами вонзалась мне в самое сердце.

«Да она просто хорошая знакомая».

«Нет, ну конечно, я к ней очень хорошо отношусь».

«Хотелось поддержать талантливого человека».

Моя ревность из «миди» постепенно переросла в «макси». Потом

---

[1] Тян — уменьшительно-ласкательная частица.

шлейфом поволоклась по полу. Как говорится, реакция зала стимулировала игру актера.

— Если ты ей посылал деньги из чистой филантропии, то почему перестал, когда мы решили жить вместе?

— Да я не собирался кормить ее всю жизнь. Просто так уж вышло, что одно время я посылал ей деньги каждый месяц. Но она, само собой, жила не только на мои переводы. Харука-тян — гордая.

— Как же она теперь без «расходов на жизнь»? Значит, это я виновата, что человек подыхает с голоду на чужбине?

А сама думаю: ну его к черту. Уеду.

— Да нет. Просто я очень серьезно отношусь к нашей с тобой совместной жизни. Поэтому никаких денег никому больше не шлю.

Взял меня, подлец, за ручку, к сердцу прижимает. А ладошки потные. От вранья потеет.

— Ну как же — хорошая знакомая, талантливый человек. Валяй подкармливай ее дальше. Не буду вам мешать.

И прямым ходом — под родительский кров, даже ничего с собой не взяла.

У папика подскочило давление, вскоре притащился Жюли. Снова те же вопросы, те же ответы. Бойцы выбились из сил.

Для Жюли весь этот скандал был громом среди ясного неба.

Для папика любовной ссорой.

Я же чувствовала себя любознательной мартышкой, очищающей луковицу и льющей горькие слезы.

Новый год все действующие лица встретили в одиночестве. Мы с папиком, правда, под одной крышей, но чуть не загрызли друг друга.

Перед рождеством я встречалась с мамочкой. Хотелось излить душу кому-нибудь кроме папика. Когда родительница прибыла на место встречи, я чуть не ахнула: за год она постарела лет на десять. Корни волос, крашенных в каштановый цвет, все сплошь седые. На кофте спереди пятно. Губы намазаны помадой кое-как. Прямо другой человек.

— Ты что,— говорю,— теперь одна живешь?

— Да. А что, сразу заметно?

И в рев. Слезы — как горошины.

— Не связывайся с молоденькими, доченька. Рано или поздно сбежит, подлец, к бабе помоложе.

И давай поливать своего Тэруо-сан. С такой лютой ненавистью, что я подумала: наверно, она и в самом деле его любила. Мне даже ее жалко стало.

Я вспомнила одну передачу по телевизору. Про семидесятисемилетнюю старушку, хозяйку крошечной забегаловки. Так — стойка, два стула, сортир во дворе. Крутая лесенка наверх. Там каморка, в которой старушка ночует. Не комнатенка, а чистый музей: какие-то допотопные стульчики, столики. За несколько десятилетий хозяйка ничего не сдвинула ни на миллиметр. Все осталось, как было при Нем. Он был младше ее на двенадцать лет. Вместе они прожили десять, хотя все вокруг сплетничали и говорили про них гадости.

В углу каморки пожелтевшая фотография: ей сорок семь, ему тридцать пять. Счет из гостиницы тридцатилетней давности. Они ездили в Хаконэ. Номер стоил три тысячи иен. Платила, конечно, она. Запись в старушкином дневнике: «Недавно видела счастливую пару. Сколько воспоминаний».

Лицо у бабуси жутковатое: алое пятно помады поверх белил. Счастливое или несчастное — сказать трудно.

Из своих семидесяти семи лет она жила по-настоящему только десять. Она и сейчас живет в том десятилетии.

Что же это, думаю, мы с мамочкой такие дуры несчастные? Чуть было не сказала ей: «Раз ты теперь одна, возвращайся домой». Но не повернулся язык. Про Жюли так ей ничего и не рассказала.

После Нового года появилась работа. Мне назначили встречу в кафе над книжным магазином. Я прибыла на станцию за целых полчаса. Шла по улице не спеша, разглядывала в киосках журналы. А перед самым магазином остановилась как вкопанная — и не могу больше ни шагу сделать. Что это, думаю, со мной?

Зашла в телефонную будку, изображаю, что звоню куда-то,— торчать в автомате без дела неприлично. Нажимаю кнопочки, шевелю губами — будто с кем-то разговариваю. Похожа при этом на задыхающуюся рыбу.

Потом не выдержала. Сунула в прорезь магнитную карточку и набрала его номер.

— Понимаешь,— говорю,— тут работу предлагают. А у меня ноги отказали. Опаздываю уже.

Пока все ему по порядку объяснила, минут пятнадцать прошло. А вечером переехала к нему обратно.

Но что-то во мне сдвинулось. По-моему, я просто заболела. Болезнью под названием «харукамания». Мне неудержимо хотелось знать про эту женщину абсолютно все. Я приставала к Жюли, чтоб он мне показал все ее письма и открытки. Про погоду, про природу. «Тут тоже полно педиков». «Спасибо за перевод». «Целую, не болей».

Я никогда не была сторонницей феминизма. Вообще терпеть не могу всякие «измы». У меня не хватает мозгов гордиться тем, что я женщина. Я дочь папика, от которого сбежала жена, и мамочки, от которой сбежал любовник. Во всем, что касается противоположного пола, я безнадежная идиотка.

Сколько себя помню, всегда и за все платила в складчину с кавалерами. Да что у меня были за кавалеры? Сначала студенты из школы искусств, потом зеленые художники. Денег у них отродясь не водилось. Постепенно зеленые художники наливались цветом, взрослели, но богаче от этого не становились. Кошельки у них оставались такими же тощими, как в студенческие годы.

Жюли, конечно, не назовешь обычным работягой, который с утра до вечера просиживает штаны на рабочем месте, но из всех моих былых дружков он самый устроенный. Работает в трех еженедельниках, закалачивает по пятьсот тысяч в месяц. Правда, без премиальных.

Когда мы с ним первый раз ужинали в китайском ресторанчике, он достал бумажник, и я тут же привычным жестом отсчитала половину суммы. Так с тех пор у нас с ним и повелось: платим за все пополам. Но в конце недели, когда Жюли получает в редакциях деньги, он приглашает меня в бар. И это очень приятно. Я тоже, бывает, получу какой-нибудь нежданный гонорар и приглашаю Жюли на якитори [1]. Когда стали жить вместе, все осталось по-прежнему. И ничего, меня устраивало.

А теперь досада взяла. Я, думаю, надрывалась, вкалывала, тратила свои хилые заработки, чтобы с этим гадом за все на равных платить, а он своей «Харука-тян» такие деньжищи слал. Каждое приглашение в бар было для меня праздником, а этой стерве он, видите ли, деньги на расходы обеспечивал.

В районе, где Жюли жил до того, как мы съехались, страшно дорогие магазины. Так я, дура, бывало, покупаю у себя огурцы, шампиньоны, разносолы всякие и пру на горбу часа два, экономлю этому паразиту паршивые несколько иен. А кому-то он, значит, два миллиона за здорово живешь отваливает. «Спасибо за перевод».

Жюли говорил, что «Харука-тян — существо простодушное, сущий ребенок». Ничего себе ребеночек. Просто вундеркинд.

Если вдуматься, самостоятельная с финансовой точки зрения женщина — находка для мужика. Сама за себя платит, никаких проблем, а «чистую любовь» он, разумеется, испытывает к другой, которая нежно пролепечет: «Спасибо за перевод».

---

[1] Японское блюдо из жареной птицы.

Сижу напеваю:

Знают взрослые, знают дети:
Справедливости нет на свете.
Та-ра-рам-па-пам-па-пам.

А рука машинально набрасывает на бумаге портрет «Харука-тян». Я ее в глаза не видывала, поэтому рисую, опираясь на воображение. Все зависит от настроения. То она у меня похожа на Мэрилин Монро, то на Софи Лорен. Какая она? Худая? Сексапильная пампушка? Бесполое существо с мальчиковой стрижкой?

Не жизнь у меня пошла — сплошное мучение. Допустим, Жюли говорит: «Ну и болтушка же ты». Ага, думаю, значит, *она* молчаливая. «Аппетит у тебя — позавидуешь»,— замечает Жюли. И я сразу ощущаю себя какой-то горой мяса. *Та*-то, наверно, ест, как птичка. Короче говоря, Харука стала для меня воплощением всего чудесного и прекрасного. Всего, чем не могу похвастаться я. Может, думаю, перестать быть собой и превратиться в «Харука-тян»? Ей-богу. Совсем ум за разум заехал.

Смотрю, знакомые вдруг начали говорить: «Что-то ты сильно красишься». Заметьте: что я стала лучше выглядеть, не говорят. Тогда я постриглась, села на диету. Думала, поражу всех красотой и стройностью. А вместо этого слышу: «Что-то ты отощала совсем».

Тогда я объявила Жюли:

— Смотри. Пойду на содержание к какому-нибудь симпатичному мужичонке.

Жюли укоризненно покачал головой. Прижал мою руку к сердцу. Ладошки опять потные.

Первым «симпатичным мужичонкой», проявившим интерес к моей особе, был Ю-сан. Как вам уже известно, с ним я дала маху.

— Жюли, ты был когда-нибудь на «Порги и Бесс»?

— Один раз.

— Как по-твоему, там конец веселый или грустный?

— В конце Порги отправляется ее искать, так?

— Так.

— Что-то поет про дорогу в рай, еле тащится через сцену, правильно?

— Правильно.

— Вообще-то довольно мрачно кончается.

Вот и у нас с тобой, думаю, кончится довольно мрачно. И возможно, уже завтра. Но сначала надо прожить сегодня. А сегодня, думаю, ты мне еще нужен. Хочется думать, что нужен.

3. ПУПОК ПИКАССО

На следующий день после фиаско с Ю-сан я позвонила Канно. Руки дрожали. К счастью, его жены дома не было.

— Давай встретимся,— говорю.— Прямо сейчас.

— Ты что, сдурела?

— Не можешь, да?

— Почему не могу,— говорит.— Могу.

С Канно я познакомилась недавно, на одной развеселой вечеринке в честь проводов старого года. Мне его представили как художника «новой волны». Я сначала на него и внимания не обратила, в голове была одна Харука. Обычно я с таких попоек ухожу рано, а тут нашла какая-то апатия, и я потащилась со всеми из одного бара в другой, потом в третий, потом в четвертый.

Начали мы в солидном ресторане, в Сибуя. Затем оказались в Синдзюку. Заведение попроще, еще проще, совсем простое, наконец, какая-то забегаловка (вход со двора). Я и не подозревала, что на свете так много мест, где можно выпить. Сколько горестей, столько и питейных заведений. Наклюкалась дай боже. Память периодически отключалась. После

очередной отключки прихожу в себя, смотрю: сижу на высоком стульчике перед стойкой, пью что-то крепкое. Рядом — этот самый Канно. Вся остальная компания куда-то подевалась. Канно лакает из стакана, запрокинув голову, кадык свирепо ходит туда-сюда. Я прямо позавидовала этой отраве, которую он так жадно засасывал.

— Здоров ты пить,— говорю.

Будь на его месте Жюли, я бы могла сказать: выпей лучше меня.

— Что ты,— сказал Канно.— Куда мне до тебя.

Отвечаю туманно:

— Куда тебе до меня, туда и мне до тебя.

Он на меня уставился. Потом засмеялся. Глаза заискрились огоньками. Разрез глаз мне понравился, красивый. Сбоку на щеках, правда, глубокие такие морщины, но кожа гладкая, белая. Как у девушки. Если б не бороденка, мог бы за мальчика сойти. Издалека, конечно. В нем и правда есть что-то от мальчика, хотя вполне уже в возрасте. Иногда вдруг мелькнет на лице такое выражение — ну просто мальчуган.

Канно, сосредоточенно нахмурившись, зажег сигарету. В зрачках отразилось по огоньку. Потом взмахнул бутылкой, как дирижерской палочкой, и наполнил стакан. Бухнул об стойку. Я тоже потянулась к бутылке, но он решительно отвел мою руку и с размаха плеснул мне добавки. На стойке было море разливанное.

Канно пил и рассказывал мне о себе. Жесты его становились все размашистей. Оказывается, он с детства страдает черной меланхолией и приступами беспричинной ярости. Не жизнь у него, а какая-то гонка в никуда.

Я так поняла, что текст хорошо отработан и на девушках неоднократно проверен. Всегда испытывала слабость к мужикам, которые пудрят нашей сестре мозги.

— Тебя, наверно, папа с мамой в детстве очень любили,— говорю.

Он вздохнул, слегка обмяк, голову повесил.

— Это точно,— говорит. И еще несколько раз повторил, кивая: — Это точно... У нас была самая обычная семья. Никакого отношения к искусству. Предок много лет шофером работал. А потом вдруг взял и поменял всю свою жизнь. Сделался поваром, представляешь? Я тогда в школе учился. Такие дела.

Опрокинул еще стакан. Канно, когда нагрузится, все приговаривает: «такие дела», или «так-то», или «и точка». Это делает беседу более выразительной.

— Но ведь кулинария,— говорю,— тоже в некотором смысле искусство.

Чуть было не продекламировала: «Был водилой — стал варилой». Вообще-то я люблю огорошить собеседника какой-нибудь идиотской шуткой. Мой коронный номер. Глупо, конечно.

Но тут держу себя в руках.

— Создать новый, неповторимый вкус — разве это не искусство? А украшение блюд — чем не живопись?

Что-то у меня внутри шестеренки не в ту сторону закрутились. Несет куда-то, не поймешь куда.

— Нет, предок был в своем деле не художник. Знаешь, какое у него было фирменное блюдо?

— Может, рагу?

Канно помотал головой.

— Плов? Жареные креветки? Бифштекс?

На этом моя ослабленная алкоголем фантазия иссякла. Канно саркастически улыбался.

— Последний шанс. Угадаешь — я плачу по счету. Не угадаешь — страшное наказание.

— Идет,— говорю.— Рис с карри?

— Близко, но мимо. Омлет с рисом. Каждое воскресенье на обед готовил. Мало ему работы было. Говорил, если хоть день пропущу — форму потеряю. Так-то.

Хлоп — стакан опять пустой.

— А теперь страшное наказание. И точка.

Берет и прямо на глазах у бармена ставит мне засос в щеку. А губы между тем мягкие, нерешительные. Я и опомниться не успела. На душе стало куда веселей.

— А я женат. Ничего?

Знаю я таких. Ответь я «омлет с рисом», он сказал бы «рис с карри».

Рука Канно пошарила по моему локтю, по плечу, по спине. Ладонь горячая. Пальцы нетерпеливо сжали мою руку. У меня рука узкая, холодная, как рыбья чешуя.

Впервые в жизни меня лапали вот так вот, при всей честной публике. Настроение было мирное, расслабленное. Наплевать — есть кто рядом, нет.

В обычном состоянии для меня присутствие посторонних значит очень много. Оно меня парализует. Зато уж при закрытых дверях я компенсирую это излишней активностью, устраиваю стриптиз во всех смыслах. Поэтому в тот раз я решила себя наказать: сама обняла Канно, положила голову ему на плечо.

— Главный криминал, когда готовишь омлет с рисом,— объяснял он,— это если яйца подгорают, а рис получается раскисшим. Предок делал все в лучшем виде. У него омлет прямо сверкал: яйца — как зеркальная поверхность, и под ней рисинка к рисинке.

Взгляд Канно был устремлен куда-то вдаль, по лицу блуждала задумчивая улыбка, но рука делала свое дело: исследовала ложбинку на моей спине и постепенно подбиралась по ней к заднице.

— Но каждую неделю омлет с рисом, сама понимаешь, кому хочешь надоест. И привкус какой-то у него был казенный, ресторанный. Я до сих пор омлет с рисом видеть не могу.

С омлета Канно плавно перешел на блюда, которые любила готовить его мама. Рука обследовала мой зад и переместилась на бедро.

— В западной кухне предок ей в любом случае дал бы сто очков вперед. Поэтому она решила утереть ему нос по части японской кухни, хотя сама терпеть ее не могла. Такие дела. Кошмарнее всего у нее получалась отварная рыба. Она не клала туда никаких приправ, даже соли. У мамаши с вкусовыми ощущениями было что-то не в порядке. Говорит, соль вредна для здоровья. Предок дипломатично помалкивает. Ну, я поливаю рыбу каким-нибудь соусом или кетчупом и давлюсь, ем. С такими родичами-кулинарами я вырос полным гастрономическим калекой. Так-то.

Канно прищурился. По-моему, он уже смутно различал окружающий мир.

— Завидую я тебе,— говорю.

— Что, любишь вареную рыбу с кетчупом?

— И омлет с рисом тоже. У тебя была нормальная семья. Не то что у нас дома. Каждый жил как хотел. Мамочка сбежала с хахалем. А отец — я его «папиком» зову, какой он мне «отец» — даже ухом не повел.

— Так куда интереснее. И современнее.

— Да чего там интересного. Безобразие одно. Родители и я — совершенно на равных. И изводим друг друга, как можем.

— Непорядок.

— Еще бы.

Первому встречному рассказывать такое — хороша же я была.

— Хочу познакомиться с твоим папиком,— объявил Канно.— Приходите с ним ко мне в гости. И точка.— И с невинным видом добавляет: — Я по вечерам почти всегда дома один.

Я уже давно заметила: когда в первый раз встречаешься с мужиком, и ты и он, не сговариваясь, изображаете из себя несчастных сироток. Взаимные откровения о семейных травмах начинаются уже на более позднем этапе.

В этот же раз мы с Канно проявили чудеса скорости. Я ему несла какую-то чушь, сыпала своими дурацкими шутками — хотела понравиться. А он подбирается ко мне по-своему, через трогательные воспоминания детства. Так и удили друг друга.

Канно наклонился и деловито гладил мою коленку. Поэтому я не видела, какое у него было выражение лица, когда он сказал, что хочет познакомиться с папиком. А жаль.

Наверняка он уже тыщу раз проделывал такие штучки с бабами. И мне почему-то делалось спокойно от мысли, что я теряюсь в этой толпе. Спрячусь в ней, и пусть меня никто не видит.

Потом мы сидели в каком-то подвальчике. После разной крепкой гадости пить пиво было приятно. В горле булькали пузырьки. Канно обнимал меня за плечи и кормил с ложечки. С детства никто так за мной не ухаживал. Я сидела и растроганно думала, что за плечами долгая жизнь. И не такая уж плохая.

За нашим столом сидела какая-то юная компания.

— Вы,— спрашивают,— брат и сестра, да? Очень похожи.

А мы оба почему-то в зеленых свитерах.

— Молодость, ребята, она как нож,— стал им объяснять Канно.— Только затупится — не наточишь. И все, конец. Вот ты, парень, ты к чему стремишься?

— Мы в театральном учимся,— охотно ответил паренек с длинными волосами, завязанными в хвост. По обе стороны от него сидели девчонки лет по семнадцать. Вид у обеих вызывающий, волосы выкрашены в рыжий цвет, но на коже еще совсем детский пушок. Маленькие такие головастики.

— Понятно. А меня зовут Канно. Я пишу картины. Вот сходите в галерею... (он сказал, в какую именно) и увидите мои работы. Возраст у меня уже такой, что пора становиться добропорядочным членом общества. Но мой ножик еще не затупился! Жить надо агрессивно, по-боевому. И точка.

— Ясное дело.

— Живопись — это агрессия. Театр — тоже агрессия. Осторожничать нельзя, а то раньше времени состаришься. Так-то.

— Ясное дело.

Паренек был целиком и полностью согласен. Я сидела, положив Канно голову на плечо, и умиротворенно улыбалась будущим актрискам.

Я, конечно, понимала, что все это бессмысленный треп. Но Канно так красиво размахивал руками. Правда красиво. Сижу и думаю: впервые рядом со мной такой красавчик. Ужасно хотелось верить, что Канно — писаный красавец. Красота — это вам, думаю, не шуточки. Не предусмотрено моей планидой, чтоб я сидела рядом с красавцами и беззаботно улыбалась. Ошибка какая-то вышла. Сейчас мне хорошо, а потом придется расплачиваться.

— Не надо подлаживаться к обществу,— проповедовал Канно.— Используй его, это да. Но не более.

— Использовать?

— Именно. Причем сознательно и с умом.

— Ясное дело.

Рядом со мной красавец. Он расположен ко мне всем сердцем. Уши у меня пылали огнем, словно Канно нашептывал слова страстной любви. От полноты чувств я решила поделиться чем-нибудь с ближними и стала перекладывать ребятам куски курицы со своей тарелки. Хотела отдать им все, но последний кусочек Канно отобрал, объявив: «Стоп»,— и насильно запихнул мне в рот. Сладковатое недожаренное мясо с трудом пролезло в горло.

Это самое «стоп» проникло мне прямо в душу. Если уж я начала делиться с ближними, мне хочется отдать им решительно все, чем обладаю. Тарелка опустела, так я готова стащить тарелку с соседнего

стола и еще подкормить этих славных ребят. Моя проблема — никогда не знаю, где остановиться. А между прочим, хоть по кусочку себе и Канно я оставить была обязана. Мы — это мы, а они — это они. Мы на одной плоскости, они на другой, и мир приобретает объемность. Я всегда жила в каком-то двухмерном мире, на одной плоскости со всеми. И это лишенное объема пространство все время сжимается, когда-нибудь оно скукожится до размеров точки, а потом и вовсе исчезнет.

Канно же одним-единственным словом сделал картину стéреоскопической. Я думала, что земля ровная и гладкая, а она, оказывается, круглая. Идейный переворот почище Коперника.

Любовь — это, наверно, соблюдение дистанции. Нельзя любить того, кто ничем от тебя не отделен.

Когда мы шли пешком до метро, ночное небо уже светлело. Кто-то бросил на тротуар букет свежих маргариток. Канно подобрал одну и преподнес мне. Я молча обняла его и крепко поцеловала в щеку. Он погладил меня по голове, я — его. Постояли.

— Видишь,— говорит,— как мы с тобой похожи.

Я стою реву. Растрогалась от того, что он так думает. И в то же время — мурашки по спине. Говорю себе: не надо мне с ним больше встречаться. А то выяснится, что не так уж мы и похожи, и я этого не вынесу.

Будет врать — ничего. А вдруг будет говорить правду и мне эта правда не понравится? Вдруг он нарушит дистанцию, которая отделяет меня от его жены, от других его баб, от него самого? Пусть уж я лучше живу в своем средневековье, в докоперникову эпоху.

Сижу в метро, чуть не сползая с сиденья, и тупо шепчу: «Видишь, как мы с тобой похожи. Видишь, как мы с тобой похожи».

Маргаритка у меня до сих пор стоит в вазочке. Совершéнно мумифицировалась. Жюли иногда удивляется: надо же, говорит, какая стойкая.

А с Канно с тех пор мы не виделись.

И вот встречаемся в кафе, сразу заказываем пива. Когда я рядом с Канно, пространство удивительным образом сгущается, и, пока не напьешься, дышать трудно. Потом посидели в баре. Вышли, взявшись за руки, на улицу и без лишних слов отправились в отель.

— У тебя рука,— говорит,— больше моей. Рука Курбе.

И прижимается к руке Курбе губами.

— Какой смешной,— говорит,— пупок. Пикассо такие писал.

А губы уже там. Слушаю чушь, которую несет Канно, и так мне хорошо, радостно. Не знаю, откуда она взялась, эта радость,— то ли от Канно, то ли внутри меня сидела. Но отныне рука Курбе и пупок Пикассо станут моими бесценными сокровищами.

Приступили к телесному общению.

Я наблюдала за этой сценой откуда-то с высоты, в подзорную трубу. Вот трудится Канно, он величиной с фасолину. Под ним лежу крошечная я. Я похожа на куклу, которая была у меня в детстве,— при каждом нажатии на живот издаю писк. Я и есть кукла.

Приоткрываю веки, смотрю Канно в глаза. В них замешательство. Мы совершили ошибку, поторопились. Надо было сначала как следует напиться. Нельзя заниматься таким по-звериному естественным делом рефлексуя. Повозились еще немножко и, не закончив, расцепились.

Итак, обменялись словами, обменялись телами. Больше обмениваться было нечем. Ни слова, ни тела ничего нам не дали. Очевидно, когда смотришь на человеческое существо в окуляр под названием «любовь», изображение здорово искажается.

Пришла домой — в прихожей топчется хмурый Жюли.

— Где была? — спрашивает.

— С папиком выпивали.

— Ну и как он, в порядке?

— У него мелантропия,— говорю.

Хотела сказать «меланхолия», но оговорилась. Голова была другим занята. Думала: мизантропия — это когда ненавидишь все человечество.

На следующий день накатила полная прострация. В глазах какой-то белесый туман. И жутко противно на душе, сама не знаю почему. Наверно, это было чувство вины, но не перед женой Канно и не перед Жюли. Просто общее ощущение нехорошести содеянного, такая банальнейшая моральная гадливость.

Канно сказал: «Видишь, как мы с тобой похожи».

Каково это, если любовник — твой брат, пусть даже не родной, а какой-нибудь сводный-единоутробный? Даже если абстрагироваться от морали, ложиться в койку с братом как-то дико. Он тебе близок, даже очень близок, однако не станешь же ты обвиваться вокруг него руками и ногами. Я впервые ощутила всю кошмарную греховность кровосмешения.

Для тех, кто так похож друг на друга, возможны только платонические отношения — это ясно. Не надо было трахаться с Канно. Теперь вот тоска на душе и ощущение пустоты внутри. Пусто в душе, пусто в теле, один дым и чад.

Ну его, не буду с ним больше встречаться.

Еще одна синяя птица тю-тю. Что ж, на то они и синие птицы, чтобы оставлять нас с носом.

Прижимаюсь к Жюли, плачу. Первый раз в жизни чувствую, что я с ним — одно целое.

4. ШЕЛКОВЫЙ ВЗГЛЯД

Ёко — моя школьная подруга. Работает в газете. Я ее дразню «блестящим пером», Ёко же утверждает, что в редакции она — девочка на побегушках. Еще со студенческих лет мы с ней прикрываем друг друга, если надо переночевать вне дома. Она мне не просто подруга, а, можно сказать, боевая подруга. Многолетней дружбе особенно способствует то обстоятельство, что у обеих на любовно-семейном фронте дела так себе. В общем, дружим — периодически встречаемся.

После Валентинова дня я пошла к ней в гости и вручила шоколадный набор, первоначально предназначавшийся Жюли.

— Ешь,— говорю,— это вкусно. Из дорогого магазина.

— Что-то,— отвечает,— конфеты подсохли. Поди, с Валентинова дня?

— Угадала. Не пришлось подарить.

— А кому? Что у тебя вообще происходит? Давно не показывалась. Сказала — переезжаю на другую квартиру и пропала. Сейчас я у тебя буду брать интервью.

— Сначала свари кофе. И слопаем эти несчастные трюфели, а то они долго не лежат.

— Ты знаешь, я вообще-то трюфели терпеть не могу.

Верно. Ёко с некоторых пор не любит сладкого. Она была в командировке, в Германии, и в одном кафе заказала здоровенный кусок шоколадного торта. Приносят ей этакого слона из крема и теста, причем теста чуть-чуть, а крема — целая гора. Съела она половину, чувствует — плохо ей. Но слово «недоесть» в лексиконе Ёко отсутствует. Стиснула зубы, попросила еще чашку кофе и умяла все до конца. Потом ее вырвало.

— После этого,— говорит,— на крем, шоколад, трюфели там всякие смотреть не могу. Видимо, свой трюфельный мешок я уже оттаскала.

— Какой такой,— спрашиваю,— мешок?

Оказывается, в одной японской провинции есть поговорка «таскать водяной мешок». Якобы каждый человек рождается на свет с мешком воды за плечами, причем воды в нем ровно столько, сколько человеку суждено за свою жизнь выпить. «Таскать водяной мешок» попросту значит «жить». Последнюю каплю выпил — покойник.

— Вот я и слопала весь отведенный мне на этом свете шоколад. Мой трюфельный мешок пуст.

Я сразу подумала про Жюли. Ведь я хотела уйти от него, когда всплыла эта его Харука, но почему-то не смогла. И вот эта история тянется, тянется. Причем тяну ее я. И простить не могу тоже я. Видно, мешок с Жюли, который я тащу по жизни, еще не опустел.

— А у меня мешочек — не приведи Господь,— говорю.

Лицо Ёко сразу посерьезнело — уж больно трагически я это сказала.

— Ну давай,— говорит,— рассказывай. Что за мужик?

— А кто его знает, что он за мужик.

Хоть я пришла к Ёко за советом, начать трудно. Сижу жую шоколад, наказываю непослушный язык тошнотворной сладостью. И думаю: все калории в жир пойдут.

В общем, рассказала.

— Я его этой «Харука-тян» совсем достала,— говорю.— Жюли уже дошел до точки. Сегодня дал мне телефонный номер. Звони и спрашивай, говорит.

Но это не телефон Харуки. Она давно не звонила из Парижа, Жюли даже не знает ее теперешнего адреса. Во всяком случае, так он сказал, а там кто его разберет. Телефон их общего друга, которого зовут Кацу-сан. Тоже завсегдатай «Шалфея». Он все знает про Харуку и тоже неоднократно ссужал ее деньгами. Вот и расспроси его обо всем сама, сказал Жюли.

Обо мне этому Кацу он якобы ни слова не говорил. Он совершенно не в курсе наших дел. Ну как я ни с того ни с сего позвоню незнакомому человеку? Да и стыдно мне морочить ему голову историей про денежные переводы. Это все равно что признаться, будто я сама тайком от мужа шлю любовнику деньги. Совсем я запуталась. А к Жюли начинаю испытывать нечто похожее на ненависть.

— Вот и пришла,— резюмирую,— к тебе за советом.

В глаза Ёко я не смотрела, но чувствовала, как ее все больше и больше зло разбирает.

— Помоги. Прошу.

Жалобно так говорю, чуть не со слезами.

— Ты что, сдурела? Ничего себе заявочки! Да пошли ты его знаешь куда!

— Ёко, ну пожалуйста. Мне и нужно-то всего только твое удостоверение и два часа твоего времени.

План у меня был такой. Приходит к Кацу-сан журналистка из солидной газеты. Вроде как собирает материал для статьи о японках, обучающихся за рубежом. Опрашивает всех подряд — чем больше соберет данных, тем лучше. И вот ей (то есть Ёко) одна подруга (то есть я) будто бы сказала, что у ее знакомого (Жюли) есть приятельница (Харука), которая в Париже учится на шансонье. Ах, подумала Ёко, как интересно, и пришла к Кацу-сан за подробной информацией. Извините, что отрываю от дел.

Такой, в общем, сценарий. Я понимала, что эта мистификация может выйти моей подружке боком, и не особенно надеялась, что получу ее согласие. Однако Ёко вопреки ожиданиям отнеслась к моей идее с энтузиазмом.

— Обожаю всяческое надувательство!

Насчет редакции, говорит, можно не беспокоиться. Мало ли статей затевается, да не пишется? В общем, Ёко готова мне помочь. Настоящая боевая подруга. Я расчувствовалась, даже всхлипнула. Поклялась себе, что отныне буду читать все ее репортажи.

Договорились, что после «интервью» встречаемся в ресторане «Шевалье». Я угощаю — гонорар такой.

— Заказывай,— говорю,— чего душа пожелает.

— Правда? Ну, раз ты такая добренькая, я возьму «Сосновый обед».

— Это еще что такое?

— А это самое дорогое, что есть у них в меню.

Я почувствовала, что моя ненависть к Жюли крепнет не по дням, а по часам.

— Симпатичный этот Кацу-сан,— сказала Ёко.

— Да?

— Я спрашиваю: «А правда, что у Харука-сан много друзей-гомосексуалистов?» Он засмущался так, глазки потупил и молчит.

— Правда?

— Судя по всему, Харука действительно не без способностей. Нрав вздорный, но есть в ней какой-то огонек. В общем, людей к ней тянет. А это уже неплохая предпосылка, чтобы стать звездой. Но поет, говорит Кацу-сан, пока довольно паршиво. Я говорю: ничего, мол, техники наберется — запоет лучше. Он: «У нее упорства маловато». Я: «Это, конечно, плохо, но ничего, для статьи все равно она подходит. Вдруг станет когда-нибудь знаменитой? И я буду первой журналисткой, которая о ней написала».

Ёко рассмеялась дребезжащим смехом, как ведьма, скушавшая упитанного младенца, и с аппетитом принялась уплетать «бифштекс под анчоусами».

Я вяло жевала «петушка в горчичном соусе». Меня интересовало только одно: что еще рассказал ей Кацу-сан.

— Ну вот, а потом я его спрашиваю: «Наверно, у нее любовников навалом?» Кацу так и покатился. Есть, говорит, один.

Я вся похолодела. Ёко поспешно продолжала:

— Ее любовник, говорит,— жратва. Все время ест. Вес, говорит, килограммов восемьдесят, если не девяносто. А росточек махонький.

У меня отлегло от сердца. Восемьдесят килограммов?! Вот тебе и Мадонна, вот тебе и Мэрилин Монро, вот тебе и Исабель Аджани. Восемьдесят кило! Все многочисленные лики Харуки, преследовавшие меня столько дней, окутались туманом и исчезли.

— Он говорит: «Вот такущая туша, но при этом вся на нерве. Внутреннее напряжение вырывается наружу в виде зверского аппетита». Оказывается, Харука долго ходила к психоаналитику. Но потом бросила.

А я сижу и слышу только одно: восемьдесят кило, восемьдесят кило! Оказывается, я воевала с ветряной мельницей!

— Понимаешь, у нее сердце больное. Кацу мне по секрету сказал: «Не для статьи, а между нами. Врачи ей строго-настрого запретили: никакого секса. Раньше она гуляла о-го-го как, а тут все — нельзя. Вот она и пустилась замену сексу искать. Жрет в три горла и по магазинам шастает. Деньги так и летят». В общем, эта самая Харука тратит жуткое количество денег. И все время у знакомых занимает. Почти всех друзей уже распугала. Он говорит: «Первые два-три месяца общаться с ней интересно, но больше года никто не выдерживает». Я делаю вид, что потрясена, и спрашиваю: «И у вас она тоже занимала?» Он малость поскучнел. «А что?» — спрашивает. «Да нет,— говорю,— просто интересно, давали вы ей деньги или нет». Он: «Тысяч триста у меня заняла. И чувствую, с концами».

Дальше я уже не слушала. В голове вертелось только «восемьдесят кило» и «никакого секса». Лишь к десерту немножко пришла в себя.

— Спасибо,— говорю,— Ёко, дорогая.

И слеза — кап! — прямо в сливочный шербет.

— Ты чего ревешь? — спрашивает она.— Официанты на тебя пялятся. Наверно, думают, что это я тебя довела.

— Ты меня просто спасла,— говорю.— Хоть вздохну теперь свободно.

Впервые за несколько месяцев почувствовала, что опять могу по-человечески улыбаться.

— Свободно вздохнешь? — как-то очень уж скептически спросила Ёко.

— Да. А что?

— Не хотела тебя расстраивать, но уж лучше сказать.

Поколебалась немножко и решительно продолжила:

— Кацу-сан, конечно, симпатичный. Но не забывай, он приятель твоего Жюли. А может, даже близкий друг. Кто знает, а вдруг они такие же боевые товарищи, как мы с тобой?

И Ёко задумчиво уставилась вдаль, очевидно припоминая, сколько раз мы с ней прикрывали друг другу тыл и обеспечивали алиби. Она права — Жюли мог запросто сговориться с этим Кацу заранее.

— Но ведь он ничего про меня не знает,— слабо возражаю я.

— Может, и не знает. А может, и знает. Ведь его телефон тебе дал не кто иной, как Жюли.

— Ой, наверно, ты права.

Больное сердце? Восемьдесят кило веса? Слишком хорошо для правды.

— Может, права, а может, и не права. Но я хотела, чтобы ты знала о моих сомнениях. Так что извини.

— Чего там,— говорю.— Спасибо.

Поплелась к кассе. Походка — как у восьмидесятилетней старухи.

— Да ладно,— говорит Ёко.— Дай я заплачу.

— Нет,— отвечаю гордо,— если ты за меня еще и платить будешь, я совсем скисну.

У кассы я пожалела об этих словах, но было поздно.

На сердце стало совсем паршиво, особенно по контрасту с теми несколькими минутами счастья. И снова я оказалась в вязком, как деготь, море сомнений. Чем больше барахталась в нем, тем глубже погружалась.

Это мрачное море плещется у меня в душе. На дне его сидит спрут по имени Жюли. Если вцепится в добычу щупальцами — держит намертво.

Я недавно книгу прочитала, которая называется «Спрут». Там так сказано: «Спрут — опасный хищник, поджидающий добычу в засаде. Он сидит без единого движения, невидимый в своей маскировочной окраске, и ждет, пока жертва приблизится. Тогда чудовище открывает глаза и притягивает добычу магнетической силой своего взора».

Если смотреть в глаза Жюли при солнечном свете, они светло-карие. Физиогномистика утверждает, что карие глаза — признак жестокости. Но мои-то глаза, если верить зеркалу, тоже карие?

— Я вчера виделась с Кацу-сан.

— Ну и? — спрашивает. Лениво зажигает сигарету.

— Ты ему правда про меня не рассказывал?

— Правда.

Сложил губы дудочкой, выпустил струйку дыма. Уж больно у него вид безмятежный. Ух, с каким наслаждением я схватила бы его за шиворот и вытрясла из него настоящую правду!

Заглядываю ему в глаза. Светлые, безмятежные и какие-то бездонные. Два полупрозрачных таких болотца. «Глаза спрута по-своему красивы, но есть в их выражении нечто, вселяющее ужас».

— А почему ты мне сразу не сказал, что Харука-тян весит восемьдесят килограммов?

— Разве не сказал?

— И что у нее больное сердце?

— Да, верно.

— И что врачи запретили ей сексом заниматься?

— Неужели? Вот этого я не знал.

— Странно как-то. Трахаться нельзя, а за границу можно.

Мычит что-то невнятное — привычка у него такая. Надо же, когда-то я от этого мычания прямо таяла. Теперь озноб по коже.

— Действительно чудно́,— говорит.— Харука-тян любит наплести про себя невесть что.

Я осталась при своих сомнениях, но продолжать разговор не имело смысла. Мы оба были уже на пределе. Да и все равно результат был бы величиной, бесконечно близкой к нулю. Если из этой величины вычесть нервную энергию, потраченную на беседу, получится большой минус. Я все пыталась остановить этот бессмысленный перевод калорий, но заводилась снова и снова. Самой скучно стало от повторения одного и того же. А Жюли, наверно, думал, что это я из-за любви к нему так извожусь.

«Внимание спрута привлекает любой движущийся предмет. Хищник притворяется, что даже не глядит в ту сторону, а сам не сводит глаз с потенциальной жертвы. Взгляд упорный, внимательный, неотрывный. Возможно, в нем есть гипнотическая сила».

Кто из нас упорнее — Жюли или я? Если он решит набрать воды в рот, то не проронит ни звука. И делай с ним что хочешь: поджигай, топи, стучи по башке молотком, осыпай ласками, пои вином — все без толку. Сдохнет — губ не разомкнет. Ей-богу.

И чего он так уперся с этой Харукой? Ну ладно, поначалу, допустим, ему не хотелось меня терять. Но теперь-то сосуд треснул, вода вытекла, остались одни осколки. Я уже не в силах выносить все эти загадки, остается только уйти. Пусть выбирает: или я, или его дурацкие тайны. А он что делает? Изо всех сил изображает, будто я ему дорога, а сам уже сделал выбор, причем не в мою пользу.

Ему наплевать на меня, ему дороже его маленькие секреты. Может, без них он ничто?

Я все это понимаю, но все лезу, лезу к нему со своими идиотскими допросами. Что это со мной? Сначала я тоже не хотела его терять, а для этого надо было во всем разобраться. Теперь я уже дошла: готова докопаться до истины любыми средствами, хоть динамитом.

Жюли такой скользкий, что в сыром виде его не ухватишь. Пробуешь сварить — не варится. Вообще не трогаешь — покрывается плесенью. Такой уж экземпляр. Я его одновременно и люблю, и ненавижу.

А может, я и драматизирую. Может, не так уж сильно я его люблю и не так уж люто ненавижу. Я читала в каком-то комиксе, что если долго притворяться влюбленным, то в самом деле влюбишься. Или, помню, еще читала про одного типа, который прикинулся мертвым, чтоб не убили, ну и в него, ясное дело, тут же попала шальная пуля.

Вопрос в том, сколько осталось притворного, а сколько подлинного. Что уж точно неподдельно, так это наше взаимное упорство.

Мы с Жюли — две параллельные плоскости, отделенные одна от другой всего лишь миллиметром, но нигде не соприкасающиеся. Однако отодвинуться друг от друга нам тоже не дано.

Мы ведь с Жюли тоже очень похожи. С Канно «похожи» означало, что есть сходство, но все-таки мы разные. Это давало шанс на спасение. Зато я и Жюли — близнецы, сидящие в одной утробе, но разделенные непроницаемой перегородкой. Эх, где сейчас Канно со своим спасительным «стоп»?

Зазвонил телефон. Жюли взял трубку, поздоровался и подозвал меня. Папик.

— Ты что,— спрашивает,— в воскресенье делаешь?

— А что такое?

— Как что? Годовщина смерти дедушки. Придешь?

— Дай сообразить.

Смотрю в ежедневник.

— Почему замолчала? Твой рядом стоит, да? Ты боишься при нем с отцом разговаривать?!

И голос уже дрожит от злости. Так орет, что Жюли запросто может услышать. Я покосилась на Жюли. Не поймешь: глядит с безучастным видом в окно, дымит сигаретой.

— Да нет, папик, я просто листаю ежедневник.

— Ну какие у тебя могут быть дела? Тебе ведь все равно сейчас не до работы.

— Это еще почему?
— Сама знаешь.
— Не поняла.
— Как ты можешь с ним оставаться после такого? Стыд и срам!
— А-а, ты вот о чем.
И повесила трубку.
Пошла на кухню жарить курятину.
— Опять курятина? — спрашивает Жюли.
— Да,— говорю.— Пока не освою в совершенстве, буду готовить ее каждый день.

Жюли кисло улыбается. Я мысленно показываю ему язык. Жареная курятина — память о Канно, и есть ее вместе с Жюли мне очень нравится. Наверно, если тебе нравится с человеком вместе есть, еще остается надежда?

По телевизору показывали викторину. Угадайте, сколько денег тратит средний мужчина на подарки своей любовнице? Сто тысяч иен. А на подарок жене? Тысячу пятьсот.

— Слышал,— говорю,— сто тысяч. С ума сойти!
Молчит. Только посмеивается.
— Я с самого начала угодила на положение жены.
По-прежнему помалкивает. Правда, головой помотал.
— Ой, с каким удовольствием я от тебя сбегу!
— Не надо,— говорит.— Останься.

Ну и в конце концов вышло, конечно, по его. Я проиграла. Но и он тоже проиграл. У меня не хватает сил добраться до его сути, но и он ее постепенно утратит.

А может, нет у него никакой сути? Вообще нет. А я все чего-то ищу, все чего-то добиваюсь. Мои мучительные подозрения, моя ревность бессмысленны, я выплескиваю их, и они тут же растворяются в воздухе. Палю в белый свет, как в копеечку.

Все в этой квартире чересчур яркое и светлое. Вспомнилась строчка из какого-то стихотворения: «Свет — аллегория смерти».

На окнах цветастые занавесочки. Скатерть вся в розовых тюльпанчиках. В вазе стоят розовые же цветы вроде лилий. Чувствуется вкус Жюли.

— Что это за цветы? — спрашиваю.
— Аристолицинии.
— Помесь Аристотеля с глицинией?

Между прочим, спортивный костюм, в котором Жюли ходит дома, тоже розовый.

Меня вдруг пронзило беспокойство. А что это, думаю, Жюли со всеми своими приятелями познакомился в забегаловке для педиков? Неужели...

Половина человечества — мужчины, половина — женщины. Ревность делает тебя врагом половины человеческого рода. А вдруг этого мало и мне нужно ревновать Жюли ко всему человечеству? Тут уж будет не водяной мешок за плечами, а целый земной шар. Превратишься в Атланта.

Вечером мы с Жюли снова играли в «переодевашки». Менялись друг с другом одеждой и вертелись перед зеркалом. Раньше меня это нисколько не забавляло, зато теперь я отнеслась к делу серьезно. Надела его джинсы. В поясе немного свободно, но в целом сидят неплохо. Только сразу видно, что у меня ноги короткие. И он, наверно, заметил. Розовый спортивный костюм идет мне меньше, чем ему. А Жюли в моей черной майке похож на злую безгрудую ведьму.

Я целую злую ведьму в губы. Они как две присоски, мягкие и чуть-чуть желеобразные. Когда я прикасаюсь к этому спруту, то и сама превращаюсь в какую-то морскую тварь. Плаваю в глубине океана, в бескрайней, тошнотворно соленой толще воды. Я одновременно — эмбрион в материнском чреве и покойник, разлагающийся в гробу.

Перед зеркалом мечутся две рыбины, белея животами. Рост одинаковый, вес одинаковый, даже длина волос одна и та же.

— Мы с тобой двойняшки,— говорит.— Видишь, как похожи.

Жюли сливается с Канно, но сейчас я почему-то противоестественности не чувствую. Просто сплетаются и сливаются две тени. Он — моя тень, я — его. И ни единого пятнышка света.

Утро воскресенья.

— Пока,— говорю.— Я к папику.

— Ага.

— Годовщина смерти дедушки сегодня.

Положила в сумку смену белья и пошла себе. Перед уходом шумно чмокнула Жюли в щеку, хоть губы были накрашены. Интересно, догадался он или нет?

Около станции зачем-то свернула в закусочную, съела кебаб, хотя совсем не была голодна. Часа два кружила по улицам. Идти к папику расхотелось. Так и представила себе, как завтра утром, когда я соберусь домой, он будет орать мне вслед сорванным голосом всякие гадости:

— Опять ты уходишь от меня к этому мерзавцу!

Нет уж, хватит. Сыта по горло.

Вернуться к Жюли? К его непроницаемой улыбке и прохладным ласкам? Снова барахтаться на мелководье этих ласк, не в силах выбраться на глубину? Чтобы пробиться через панцирь Жюли, нужен, наверно, сверлильный станок.

Один из нас должен поставить точку. Пора. Жюли и так уже отстранился, стал безучастным наблюдателем.

Вот двое стоят на старте. Один сделал шаг назад — второй оказался впереди, хоть и не двинулся с места. Этот второй — я. Надо бросить его, и все уладится.

Наш с Жюли водяной мешок опустел. Или это я сама его вычерпала?

Получается, что идти мне некуда. И годы уже не те, чтобы манила романтика бездомного житья. Денег, естественно, тоже ноль.

Решила для начала погулять по какому-нибудь парку с аттракционами. Посмотрела по карте, какой ближе. Села на электричку. Но до парка не доехала, вышла за две остановки. Там, где живет Ю-сан. Позвонила ему из станционного кафе.

Автоответчик женским голосом сообщил, что никого нет дома. Я почувствовала что-то вроде легкой паники, в глазах потемнело. Гуд бай, май лав, гуд бай. Напеваю под нос, пью вторую чашку кофе. За соседним столиком сидит какой-то мужчина. Смотрит на меня и тихонечко так подпевает. Улыбаюсь ему до того ослепительной улыбкой — самой противно. Этой улыбке я научилась у Жюли: ужасно приветливая, но холодная и в душу не пускает.

Спрут, завидя жертву, впивается в нее упорным, «шелковым» (как написано в книге) взглядом.

Я смотрю на мужчину и чувствую, что превращаюсь в Жюли.

КЭНДЗИ МАРУЯМА

Плач по луне

Перевод Г. ЧХАРТИШВИЛИ

* * *

На ширме «Весна» нарисованы: молодой месяц посреди неба; тростник на берегу реки, колеблемый ветром; и еще — бродячий монах. Он сидит у ствола плакучей ивы, смотрит на месяц и, бренча по струнам бивы [1], орет хриплым голосом песню. Глаза монаха зажмурены, и он не видит голубого света, заливающего широкую долину. Запыленные ноги прочно упираются в землю, ощущая под собою весь Божий мир, всю вечность творения и безграничность пространства. Звучный перебор струн торопит весну и проникает в самую душу мальчика, сидящего рядом с ширмой и кутающегося в старенькое одеяло. Душа у мальчика еще совсем хрупкая, как первый росток бамбука.

Одеяло сделано из тростниковой циновки, подшитой тряпкой с изображением карпа — когда-то тряпка была знаменем и реяла над крышей [2]. Этот мальчик — я тридцать лет назад. Мне только что исполнилось десять.

* * *

Я лежу неподвижно, не ворочаюсь.

Светит луна, а я немигающим взглядом смотрю на старинную четырехстворчатую ширму. Давно уже залез я под одеяло, но согреться никак не могу. Особенно мерзнут ноги.

Только что закончилась первая весенняя буря.

Наша затерянная среди гор деревня вновь погружена в сонный, бездонный покой. Из тьмы монотонным, едва уловимым фоном доносится тихий звук — это сотни тысяч шелкопрядов жуют свою жвачку. Шелкопряды белые и толстые, всю свою короткую жизнь они только и делают, что насыщаются, и им никогда не выбраться из своих коконов.

Я лежу, затаив дыхание, и напряженно слушаю ночь за окном.

Вскоре дверь внизу с грохотом распахивается и тут же захлопывается вновь.

Это отец отправился к старосте — выпить на дармовщину. Походка у отца приволакивающая, но сейчас твердая и решительная, как никогда. Я слышу, как он проходит двором, идет по деревянному мостику, тропинкой спускается в яблоневый сад. Потом шаги стихают вдали. Я осторожно выдуваю из легких застоявшийся, нечистый воздух и вижу: по ширме пробегает легкий ветерок.

© Kenji Maruyama, 1986

[1] Старинный музыкальный инструмент. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Пятого мая, в Праздник мальчиков, согласно древнему обычаю, над домами на шестах поднимают матерчатых или бумажных карпов.

Весь день отец был не такой, как всегда.

Ковылял на своей хромой ноге куда быстрей, чем обычно, а вечером, когда деревенские расшумелись да расходились, он задвигался еще стремительней, и глаза у него зажглись огнем, как у охотничьей собаки. Я догадался, откуда у него вдруг взялась такая сила — это все костюм из рыбьей кожи. Наверно, именно в таком наряде полагается охотиться на человека.

В деревне залаяли собаки.

Одна какая-то, словно проснувшись, загавкала, остальные подхватили, и этот хор наполнил шумом всю долину. Только наш Снежок молчит. Я знаю, он сейчас лежит на охапке рисовой соломы, под навесом сарая. Это отец сегодня не такой, как всегда, а Снежок никогда не меняется.

Сначала отец пытался его разозлить, пустить по следу, но Снежок не утратил хладнокровия.

Мимо нашего двора то и дело группками пробегали преследователи, а Снежок все сидел рядом со мной и не проявлял ни малейшего интереса к происходящему. Даже мама, и та обозвала его «никчемной дворняжкой», но я-то знал, в чем дело. Снежок с радостью погнался бы за лисицей или медведем, но на человека, да еще и односельчанина, он охотиться не станет, пусть этим шавки помельче занимаются. Родители никак не могут понять, что Снежок — пес самостоятельный и сам решает, когда и как ему поступать.

К ночи в деревне стало тихо.

Снимая свой сверкающий костюм, от которого пахло сушеной рыбой, отец сказал: «На сто лет вперед острастку дали, чтоб другим неповадно было». Вообще-то костюм изрядно потускнел, пропитавшись потом и грязью. Мама его хорошенько постирала в речке и повесила перед домом на яблоне — сушиться. Отец привез с войны только два трофея: негнущуюся правую ногу да этот чудной наряд.

А еще на ширме нарисован беглец.

Солнце уже давно зашло, в небе месяц, а он все куда-то бежит, бежит. Совсем запыхался, в углах рта пена. Беглец мчится через широкую реку, по мелководью, во все стороны летят брызги. Только преследователей не видно. И собаки ему вслед не лают.

На подушку, набитую рисовой шелухой, капнула слюна — я стираю ее пальцем.

У меня полон рот слюны, и я сглатываю. Я очень устал, но глаза никак не хотят закрываться, и голова ясная. Сегодня ночью в деревне, поди, никто не спит. Уж Яэко-то точно не сомкнет глаз. Какое там. В школу, когда закончатся каникулы, она больше не придет. Я слышал, родители говорили, что Яэко с матерью ушли в город, к родственникам.

Вот монах прислушивается: кто-то бежит по мелководью.

Песня прерывается, струны бивы больше не звучат. Монах прикладывает к уху ладонь, его незрячие глаза беспокойно прищуриваются. Но шум и плеск удаляются прочь, фигурка беглеца становится все меньше и меньше, потом исчезает во мраке. Остается только теплый ветерок, колышущий стебли тростника, да мягкий лунный свет. И весенняя ночь — черная, безмолвная.

Мать тянула Яэко за руку.

Сгибаясь под ветром и дождем, они брели к перевалу. Я встретил их на склоне. Наверно, Яэко больше не появится у нас в деревне. И пусть. Я не хочу больше видеть ее с таким лицом. Сегодня она лишилась отца.

Монах глубоко вздыхает.

Он опять один, ему опять спокойно, уголки рта на миг искривляет подобие презрительной улыбки. Потом он неспешно берет биву и вновь начинает перебирать истончившиеся струны. Но сам больше не поет, сидит молча. Как он похож на моего покойного деда. Даже пахнет от него так же.

Аромат цветущих яблонь.

Он доносится из приоткрытого окна. В эти несколько дней дружно расцвели все деревенские сады. Мой нос умеет различать запах нескольких сортов яблонь. Вот потянуло от дома Яэко. А это — весенний ветер, налетевший откуда-то с верховьев реки, что петляет по моей ширме.

Есть одна яблоневая деревенька, о которой никто кроме меня не знает.

За дальней горой, которая из нашего окна кажется не больше фасолины, у самого подножья раскинулся сад. Все яблони там одна роскошней другой. Я бывал в том саду уже много раз. Надо перебраться через речку, долго карабкаться по скалам, потом идти, идти, идти и окажешься в тех местах. Там нет ни души. Только заросли высокой травы вокруг заброшенных домов с соломенной крышей да пестрые пичужки, прыгающие под деревьями. И еще буйно цветущие лотосы и одуванчики, а над ними — мириады бабочек... Люди никогда туда не заходят.

Но сегодня ночью в безлюдной деревеньке появилась Яэко.

Во всяком случае, так кажется мне. Дорога, на которой я встретил их с матерью, ведет в город, и больше никуда. Но я не могу себе представить, что они там, у родственников. Это они только сделали вид, что идут в город, думаю я, а сами отправились в яблоневую деревеньку. Хотя откуда им про нее знать?.. Ну ничего, ей можно.

Монах все перебирает струны.

И снова заводит заунывную песню, подняв лицо к луне. Не знаю как голос, но звук бивы разносится далеко по излучине реки. Яэко, наверно, тоже его слышит. Я ей не враг, и Снежок ей тоже не враг. Пусть отец вырядился в свой странный костюм и стал врагом Яэко — я здесь ни при чем. Понимает ли она это?

Но я ей и не союзник.

Мы со Снежком просто наблюдали за происходящим, сглатывая слюну. Не больше и не меньше. Мы не мешали преследователям, не пытались помочь бегущему. Что могут сделать мальчик и собака? Даже если бы сам староста захотел прекратить погоню, вряд ли у него это вышло бы.

Староста живет по ту сторону глубокого оврага.

Оттуда доносятся пьяные мужские крики. Но без особенного задора — видно, еще не напились как следует. Во время свадьбы шумят совсем не так. Сегодня голоса куда визгливей, пронзительней. И громче всех орет отец. За какие-то полдня он превратился в важную персону. Все сегодня смотрят на него с почтением. Даже мама глядит на отца новыми глазами.

Снова вдали залаяли собаки.

Их будоражит шум, доносящийся из дома старосты. Один только Снежок по-прежнему молчит. Я резко поднимаюсь, захлопываю окно. Месяц висит совсем близко — кажется, рукой достанешь. И все вокруг залито светом. Цветы яблонь и висящий на дереве костюм из рыбьей кожи отливают красноватым сиянием. Вокруг костюма сгустилась тьма.

Камни на берегу речки, сама вода тоже кажутся красноватыми.

Перед самой деревней речка частично уходит под землю и разветвляется там на множество проток. Вот я; подо мной татами [1]; под татами комната, где хранятся шелковые коконы; под комнатой земля; под землей грунтовые воды. Я очень хорошо чувствую, как под толщей глины, камней и песка бесшумно несется масса воды. Я даже вижу, что она ярко-красная.

Стена амбара у дома старосты тоже красная.

А ведь еще утром, когда я, не позавтракав, выбежал из дома и похлопал по ней ладонью, она была белой-пребелой. У амбара собрались только дети, женщины да старики. Мужчины, разделившись на две группы, уже ушли прочесывать горы и берег. Издали было видно, как скачет на лошади староста, бешено размахивая кнутом.

Я смотрел на дыру, вырытую под стеной.

Она оказалась меньше и мельче, чем я думал. Рядом лежали ведро, какие-то тряпки, ржавый серп и обмотанный в несколько слоев полотенцем молот. Батрак старосты уже в который раз рассказывал, как было дело. Пришел, стал делать подкоп. Землю поливал водой, чтоб не скрипела. Потом серпом попал по медному щиту, которым укреплена стена. От звона проснулись гуси, закричали. За ними подняли лай собаки.

Не повезло ему.

Будь ночь потемнее, он, скорее всего, сумел бы скрыться неузнанным. А так убежать-то он убежал, но люди успели разглядеть, кто это. На рассвете все деревенские мужчины пришли к дому Яэко. Староста пальнул в воздух из охотничьего ружья. Выстрел прокатился по окрестным горам оглушительным гулом, и в людях вдруг что-то переменилось. Я посмотрел на восток и явственно увидел, как шарик восходящего солнца вздрогнул и сжался.

Отец Яэко был уже далеко.

Никто не знает, как ему удалось выбраться из деревни, хоть его искали еще с ночи. Наверно, пробрался яблоневыми садами. Яблони — они такие, они кого хочешь спасут. Когда староста собрал мужчин, беглец был уже за горой. По следу бросились собаки, а быстрее собак бежал мой отец. Его рыбья чешуя ослепительно сверкала на солнце — все это видели.

Яэко сидела в углу прядильни и плакала.

Она свернулась клубком, как кошка, распущенные волосы красиво разметались, тоненький голос был похож на звук струн бродячего монаха. Я проковырял в сёдзи [2] дырку и долго-долго смотрел на Яэко. Ее мать громко кричала что-то, окруженная плотным кольцом деревенских женщин.

Я и сейчас слышу этот плач.

Временами он доносится прямо из ширмы, переплетаясь с голосом бивы. А может быть, то поет слепой монах? Или этот странный, дребезжащий звук издает мое собственное горло? Плач постепенно стихает, потом прекращается совсем. Слышны только крики из дома старосты.

Отец по-прежнему заглушает всех.

Если он собирается сплясать перед своими приятелями, пусть лучше обрядится в свою пахучую рыбью чешую. Пусть все они по очереди ее наденут. И староста тоже. А потом надо ее навсегда запереть в неприступный старостин амбар, где хранятся все деревенские сокровища. Или

[1] Соломенный мат, покрытие в японском доме.

[2] Перегородки из плотной бумаги в японском доме.

еще можно наловить в речке толстенных рыб, чтобы все деревенские мужчины понаделали себе такие же костюмы. Эдакая красота должна быть в каждом доме. Глядишь, еще на кого-нибудь придется поохотиться, все тогда и нарядятся. А если не на кого будет, пускай бросаются друг на друга.

Сняв костюм из рыбьей кожи, отец сказал так.

Когда, говорит, воевал на материке, каждый день что-нибудь в этом роде случалось. Потом разделся догола и залез в бочку с горячей водой, а мне велел поливать ему спину. Я его тер-тер, но запах сушеной рыбы пристал намертво. Отец — не любитель мыться, но тут чуть не кипятком обливался, раскраснелся весь. Потом как захохочет во все горло. А глаза какие-то пустые, зрачки — словно две точки.

Мы сели втроем ужинать.

Отец и мама ели очень много, куда больше, чем обычно. И все время говорили, говорили, а это с ними редко бывает. Я же не съел ни кусочка и рта ни разу не раскрыл. Отец спросил, ты чего молчишь? И мама тоже: чего не ешь? Я ответил: «Яблоко я бы съел». Нарочно так сказал. Знал, что яблок не осталось. Отец как закричит: «Значит, до осени ничего теперь жрать не будешь?!»

И Снежок тоже ничего есть не стал.

Я ему принес из курятника два яйца, но он на них и не посмотрел. Может, яблоко он бы съел, не знаю. Я потрепал его по голове, поговорил с ним, потом мы оба смотрели на луну. А позже я поднялся на второй этаж, закутался в одеяло и сжался в комок, стал похож на яблоко. Нет, не на яблоко, а на того человека, который валяется сейчас в пожарном сарае.

Он лежит рядом с насосом.

Ноги у него в нескольких местах изогнуты самым немыслимым образом, руки выкручены за спину, голова пригнута к самому животу. Я был бы сейчас совсем на него похож, да вот только веревки не хватает. Тот был весь обмотан новехонькой, джутовой. Он лежал мокрый, облепленный песком и грязью, волосы запеклись кровавой коркой и в одном месте сквозь них проглядывала голая кость.

Отец Яэко был мертвый.

Все деревенские собрались перед пожарным сараем. Их пригнал сюда, толкая в спину, внезапно усилившийся на закате ветер. Люди стояли и смотрели на мертвеца, тихонько переговаривались, потом растворились в сумерках, погоняемые все тем же ветром. А я все стоял. Я ждал долго, но Яэко так и не пришла. Ее мать тоже.

На деревню налетела первая весенняя буря.

Вихрь затряс яблони, сдул с них белые лепестки, но это ничего — плоды уже завязались. Застонали деревья на склонах гор, завыли провода. В пожарном сарае вдруг погас свет, и стало темным-темно. Тем, кто еще оставался рядом с трупом, стало жутко, и они, толкаясь, бросились к выходу. Только я не тронулся с места.

Это был не обрыв на линии, просто лампочка перегорела.

Скоро свет загорелся опять — кто-то вкрутил новую. Я увидел перед собой мужчину, самого здоровенного верзилу во всей нашей деревне. Он сунул в карман старую лампочку. И спустился на пол. Я увидел, что он стоял на голове отца Яэко. Лицо мертвого исказилось еще больше, оскалились зубы и высунулся язык.

Теперь я уже точно остался один.

Я вышел из сарая и сел на корточки под навесом. Пошел дождь,

отовсюду доносился шум льющейся воды. Где-то вдали заржал конь старосты — будто человек захохотал. Я вдруг подумал, что ни разу с отцом Яэко и словом не перемолвился. Захотелось спать.

Монах уснул.

Неловко подогнув ноги и свернувшись калачиком, он лежит под ветвями ивы. Бива валяется на молодой весенней траве. Легкие облака прикрыли месяц и несутся по небу, на глазах набирая скорость. Месяц светит ярко-ярко, как голая лампочка. Я зажмуриваю глаза. И ощущаю всем лицом теплый и ласковый ветерок, что веет на меня с ширмы.

У нас в деревне такого ветерка не бывает.

Он прилетел от излучины реки и принес аромат цветущих яблонь. Когда я вырасту большой, обязательно свожу Яэко в яблоневую деревеньку. И мы станем там жить. Наверно, так все и будет. Снежка возьмем с собой. Только бы он дожил. А больше никого не возьмем. Там никому нельзя жить, кроме меня, Яэко и Снежка.

Какая странная сегодня ночь.

Снизу слышно, как жуют листья шелкопряды, как ровно посапывает Снежок. Плещет вода — это мама моется. А шум голосов из старостиного дома не доносится, разве что специально прислушиваться. Собаки почти уже не лают. Я лежу и думаю про пожарный сарай. О мертвеце, который там один, под голой лампочкой. Куда его теперь? Я бы бросил в речку, и хорошо бы еще до рассвета. Но никто не станет за это браться, придется старосте самому поработать.

Надо было все же как-то помочь Яэко.

Но что я, мальчишка, могу сделать? Даже не знаю, что бы я ей сказал. И все равно я долго ждал ее возле того сарая. Буря стремительно пронеслась над деревней, и скоро ветер стих, дождь перестал. Взошла луна. В сарай затекла дождевая вода, и отец Яэко теперь лежал в луже.

Я дернулся и встал на ноги.

Кто-то приближался по пологому склону, который был весь в пятнах тени и голубого света. Нет, это не Яэко и не ее мать. То вообще был не человек, а пес. За мной пришел Снежок. Я крепко обнял его и несколько раз погладил. Снежок осторожно заглянул в сарай, но заходить туда не стал. Посмотрел на меня снизу вверх, один раз гавкнул и пошел в сторону дома.

Я последовал за ним.

После дождя яблоневым цветом пахло еще сильней. Посередине склона Снежок вдруг остановился. И я тоже. Навстречу нам шли двое, луна светила им в спины. Мы со Снежком сразу поняли, кто это. Отошли на обочину и ждали там, пока они пройдут. У Яэко на спине был рюкзак, который она брала с собой в дальние прогулки. Мать тащила на спине большущий узел.

Стало трудно дышать.

Когда Яэко проходила мимо, я почувствовал, что не могу даже слюну сглотнуть. Я впился глазами в лицо Яэко, а она на меня даже не взглянула. Они спустились вниз и, как я и ожидал, остановились перед сараем. Но внутрь вошла только мать.

Яэко ждала снаружи.

Она стояла неподвижно, как пугало, высвеченная электрическим светом. Снова дико заржал конь старосты. Потом женщина вышла, и они зашагали по дороге, что ведет в город. Снежок потянул меня за собой, но я стоял и смотрел, пока Яэко и ее мать не скрылись за поворотом.

В доме старосты громко загоготали.

Деревенские собаки подхватили, разразились лаем. У старосты жратвы и выпивки навалом. Пьют яблочный самогон, закусывают кониной — конь-то старосты сегодня надорвался и околел. Я рывком сажусь на постели и шумно, прерывисто дышу. Потом опрометью сбегаю по лестнице и не обуваясь бегу через двор, по деревянному мостику, по тропинке, вдоль яблоневых садов.

Сам не знаю, куда меня несет.

Снежок вцепился зубами в край ночной рубахи и не отстает. Я бегу и ругаю его на чем свет стоит. Вдруг мне становится ясно, что надо делать. Вперед, вдоль речки, потом через скалы. В яблоневую деревеньку. Мне нужно туда во что бы то ни стало. Там Яэко, она горько плачет.

Снежок уперся лапами и держит, не пускает.

Разжимает зубы, только когда я прихожу в себя. И вот бредем назад. В доме старосты гулянка в самом разгаре. Оттуда несет жареной кониной, и повсюду надрываются глупые деревенские псы. В лунном свете лепестки яблонь ослепительно белы на фоне ночной черноты. По трещине, рассекающей скалистую равнину, на которой уже несколько тысяч лет стоит деревня, бежит вода. Она ярко-красная.

Я вижу искаженное лицо мертвеца.

Убитый отец Яэко всюду, он пялится на меня из-за каждого угла. А рыбий костюм висит на ветке и, зловеще посверкивая чешуей, тихо вращается. Снежок улегся на свою соломенную подстилку, я вернулся в постель. Лежу и не двигаюсь, смотрю на ширму. Там молодой месяц, тростник под ветром и бродячий монах. Поет бива. Ее голос — как плач девочки.

* * *

На ширме «Лето» нарисованы: полукруг луны над самой кромкой гор, поросшая густой зеленой травой равнина и бродячий монах. Он сидит на утесе и обнимает потрепанную биву — совсем как женщину. Монах бренчит по струнам и хрипло поет во всю глотку. Но песня разносится недалеко, душная и вязкая ночь поглощает все звуки. Гноящиеся глаза монаха слепы, но они видят сейчас сотни мужских и женских фигур, сплетенных в объятиях. Тощее тело налито силой, в лысой голове возникают яркие, не передаваемые словами картины. Мысли монаха выплескиваются за пределы ширмы, они проникают в душу и плоть молодого парня, ворочающегося на тонком матрасе. По жилам у парня бежит не кровь, а что-то обжигающее огнем.

Из матраса лезет свалявшаяся вата, дешевое одеяло пропахло потом. Парень — это я двадцать лет назад. Мне двадцать.

* * *

Грозовые облака спешат спрятаться за горизонт.

Снова тяжелая и влажная августовская жара. Я лежу у себя на втором этаже, машу веером. Лампа погашена, тлеет только ароматическая палочка, отгоняющая комаров. В окно сочится лунный свет, освещая половину ширмы и меня — по пояс. Иногда на одеяло падает обалдевший от запаха комар, и я стряхиваю его веером. Я во все глаза смотрю на ширму.

Наша деревня пропахла ядом.

Это инсектицид, которым опылены яблони. Он резко шибает в нос. Я без конца моюсь в бане, но от него разве отвяжешься, в кожу впитался. И запах Яэко тоже со мной. Белая ядовитая краска убивает жучков,

а Яэко убивает меня. И всякий раз, когда это происходит, когда она в меня впивается, я заряжаюсь новой жизнью.

Снизу доносятся стоны отца.

Похоже, он здорово расшибся. Как наступил хромой ногой на ту перекладину, так и полетел с лесенки кубарем, приложился о землю спиной. Подумаешь, перекладина подломилась — всякое бывает. Видать, придется теперь какое-то время мне одному в саду работать. У мамы и в поле дел невпроворот.

Все равно отцу эта работа не в радость.

Он всегда терпеть не мог крестьянский труд. Нет, он никогда не лодырничал, но уж я-то знаю. На самом деле ему на яблони наплевать. А я с каждым годом люблю их все больше. Постоянно думаю, что бы еще такое для сада сделать. Сам не пойму, почему это для меня важно.

Отец и мама совсем не догадываются про мою любовь к яблоням.

Они сдуру боятся, что я, их единственный сын, брошу стариков-родителей, брошу сад и сбегу в какой-нибудь дальний город. И больше никогда в деревню не вернусь. А как им не бояться? У нас в деревне уже восемь молодых ребят сделали ручкой. И до конца лета наверняка еще парочка сбежит.

Осенью купим телевизор.

Мама уж все уши прожужжала. В нашей деревне только две крыши осталось без телеантенны — наша да Яэко. Денег, конечно, жалко. Лучше б маленький трактор купить, чтоб в дальний сад с комфортом ездить. А то надоело уже таскаться в гору с тачкой.

За десять лет жизнь нашей семьи не шибко изменилась.

С голода, правда, не помираем, в долги не залезли, но среди деревенских по-прежнему считаемся бедняками. Теперь, чтоб нормально жить, надо много денег, куда больше, чем раньше. Подумаешь, с голоду не помираем — мартышка в лесу тоже с голоду не помирает. Сейчас уже не те времена. Это староста так говорит. Он теперь не на лошади ездит, на автомобиле.

Многие из нашей деревни работают в городе.

Утром садятся на первый автобус, возвращаются последним, поздно вечером. Весь день месят в городе бетон, раскатывают асфальт, а потом еще до ночам на поле горбатят. От такой жизни стали они квелые, всегда усталые. Говорят мало, встретишь на улице — и не поздороваются толком.

А я никуда из деревни уезжать не собираюсь.

Ночью яблони засыпают, и я с ними. Они вросли в эту землю накрепко, и я тоже. Даже если Яэко уедет, я все равно останусь здесь. Хотя не знаю, может, и не смогу. Но Яэко с матерью никуда не уезжают, у них тоже сад.

Яблоки в саду Яэко необыкновенные.

Я не раз таскал их тайком и ел, они потрясающе вкусные. У меня в саду яблоки красивые, яркие, я ухаживаю за ними куда лучше — и все равно никакого сравнения. Но это не единственная загадка. Я не могу понять, почему Яэко и ее мать не уедут из деревни. Они могли бы перебраться в какие-нибудь дальние края и жить там не в пример богаче.

Нет, не понимаю.

То есть иногда кажется, что начинаю понимать, но всякий раз ошибаюсь. Я бы на месте Яэко давно уж плюнул на нашу деревню. Ведь тогда, десять лет назад, они ушли в город к родственникам. Разве я после

такого смог бы вернуться? А они вернулись. И я слышал, что первым делом отправились к пожарному сараю.

Труп, конечно, давно уже убрали.

Я не знаю, кто это сделал и как. Но мать Яэко — мне рассказывали — после долгих поисков нашла место, где было зарыто тело, откопала останки и похоронила рядом с могилами предков. Одна, никто ей не помогал. Если все это правда, то отец Яэко лежит сейчас за их домом, прямо посреди яблоневого сада.

Мне до этого дела нет.

У нас в деревне не любят вспоминать ту историю. И в глаза Яэко и ее матери никто из деревенских не смотрит, разве что дети, родившиеся уже потом. Может, до людей наконец дошло, что́ они тогда натворили. Все-таки в домах теперь телевизоры, видно, как устроен остальной мир. И вообще, стало понятнее, чего делать нельзя, а что можно.

Я с того дня костюма из рыбьей кожи больше не видел.

Отец куда-то его запрятал. Или сжег где-нибудь в укромном месте у речки, не знаю. Отец рассказывал, что купил его у одного китайца, все свои деньги выложил. Врет, наверно. Ткнул в рожу винтовкой и отобрал. А то еще и выстрелил сначала, кто его знает.

Да, мир понемногу стал понятнее.

Может, дело и не в телевизорах. Я вот все свои двадцать лет состою при яблонях, а в людях тоже научился разбираться. Например, легко могу предетавить, как отец и ему подобные вели себя на материке. И не верю я, что они «только выполняли приказы». Человек способен натворить бог знает что, а потом жить спокойненько себе дальше и ни гу-гу. Такая уж это тварь. Что-то я не слышал, чтобы кто-нибудь из деревенских бил себя в грудь и страдал из-за отца Яэко.

Сейчас-то отец страдает, и еще как.

У него во всю спину здоровенный такой синячище. Но половина стонов, которые я слышу, доносятся не снизу — это голос монаха. Он тоже страдает. Он почуял, что совсем недалеко, за поворотом реки, в высокой траве переплелись двое, мужчина и женщина. Сложная у них там конструкция: букет из четырех рук, четырех ног, двух языков и пары половых органов. И все это в постоянном движении. Мужчина то и дело спрашивает: «Так хорошо?» И женщина шепчет: «Хорошо». Пот с обоих так и льет.

Жара стоит несусветная, и жучков развелось прямо пропасть.

Мы с отцом хотели сегодня обработать инсектицидом весь сад на горе. Надо было поторапливаться. Я погрузил на тачку насос и попер ее в гору. Когда у нас подохли шелкопряды, мы на склоне вместо плантации разбили еще один сад. Деревья молодые, всякая дрянь к ним так и вяжется. Я качал насос, а отец, поднявшись по лестнице, поливал из длинного шланга стволы и ветви. Жарко, работа тяжелая, нудная, пот градом. Я пару раз чуть сознание не потерял. А стоит снизить темп — отец издали орет дурным голосом.

Вдруг слышу — вроде бы женский голос.

Я как раз думал: хорошо бы передохнуть, воды попить. Отец кричит: «Ты чего там, заснул?» Я спохватился, качаю. И снова сзади женский голос. Обернулся — Яэко. Стоит по ту сторону колючей проволоки, трава ей по пояс и на меня смотрит.

Я сделал сердитое лицо.

И головой мотнул в сторону — отец, мол, рядом. Мы с ней встреча-

ем́ся только поздно ночью. А Яэко не уходит. Смотрит на меня, странно так улыбается и губы почему-то помадой намазаны. «Эй! — орет отец.— Опять не идет!» Я скорей опять качать. Яэко стоит, не двигается.

Я сказал: «Подожди до ночи».

Тогда она расстегнула блузку, рассмеялась и заголила грудь. Груди у нее круглые, белые, еще белей инсектицида. Так и засверкали на солнце. Я навалился, поднял давление в насосе до предела и рванул к проволоке. Хотел отругать Яэко, прогнать домой, но руки сами потянулись к ней. Раздвинул проволоку и ухватил за белую, податливую плоть.

Ярко-алые губы придвинулись совсем близко.

«Ты качаешь или нет?» — крикнул отец. Я отбежал к насосу и взялся за работу. Яэко присела на корточки, уходить и не думает. Я снова показал в сторону отца, отрицательно затряс головой. Уж, казалось, можно было понять. А Яэко сидит как ни в чем не бывало. Больше того — раздвинула колени и начала потихоньку юбку задирать.

Деревня наполнена разными звуками, голосами.

Шумит вода в речке, хором квакают лягушки (их тут водится три вида), по-звериному постанывает отец. Помещение внизу, где раньше хранились коконы шелкопрядов, теперь пустует, и там тихо. Я знаю, в этой пустоте обитают духи тех, кто родился, жил и умер в нашем доме. Когда-нибудь к ним присоединятся отец и мама. Но не я. Мы со Снежком после смерти переселимся в ширму.

Да, Снежок еще жив.

Наверно, по человечьим меркам ему уже за сто лет. Он почти ослеп, но уши пока слышат и нюх не ослаб. Куда я, туда и он. Не всегда, конечно. Днем он лежит возле сарая и спит, похожий на кусок старой рогожи. Зато ночью, когда я тайком выбираюсь из дома, Снежок тут как тут.

Он знает, с кем я встречаюсь по ночам.

Снежок раньше меня чувствует запах Яэко, раньше слышит ее поступь и голос. Каждый раз мы назначаем свидание в новом месте. Вообще-то нам все равно где встречаться, лишь бы люди не видели. В черной прохладе под мостиком; в заброшенной лачуге углежогов; в кустах; а безопаснее всего где-нибудь между скал. Под яблоней еще ни разу не пробовали, но обязательно попробуем.

Снежок — очень умный пес.

Когда мы с Яэко кидаемся друг на друга, он сидит поодаль и сторожит. Если она начинает слишком громко стонать, Снежок подходит и молча лижет меня в пятку. Я смеюсь, Яэко тоже. Наш смех взметается вверх, к самой луне, и впитывается в землю, где текут подземные ручьи.

Подземная вода в наших местах горячая.

Не то чтобы кипяток, но очень теплая, я чувствую. Интересно, чувствуют ли ее Яэко и Снежок? Я так просто живу этим теплом, как живут им мои яблони. Вода проходит сквозь мое тело, сгущается, и я отдаю ее Яэко, которая может существовать, только подпитываясь моей силой. Мне хочется так думать. А разве может быть как-то иначе?

Монах сжимает в объятьях свою биву.

Он прислушивается к звукам затянувшегося любовного свидания и что-то бормочет себе под нос. Отец, наконец, перестал стонать. Наверно, болеутоляющее подействовало. Мама ушла мыться. Больше всего она любит сидеть в бочке с горячей водой и смотреть, как в клубах пара мечутся светлячки. Но наш с отцом инсектицид изведет не только вредителей, маминым светлячкам тоже конец.

На самом деле мама, конечно, больше всего любит меня.

Она все время мечтает, какую чудесную невесту я приведу в дом. Надеется, что с моей женитьбой мы наконец выберемся из бедности. Запросы у мамы прямо-таки фантастические. Например, дочку старосты ей подавай. Она даже родственникам об этом наболтала, всю деревню насмешила. И без конца повторяет: «Нам какая-нибудь дешевка не пара».

Думает, меня продать можно.

К нам в дом вообще ни одна девушка не пойдет. То есть за меня, может, кто-то и вышел бы, но жить в нашем доме — ни за что. Вкалывай с утра до вечера, нюхай инсектицид, умывайся пóтом и грязью, ешь каждый день одно и то же, зимой подыхай от скуки — какая же девушка захочет такую жизнь? Староста прав. Теперь настали времена, когда одной жратвой сыт не будешь.

Нам с Яэко пожениться нельзя.

Во всяком случае, в нашей деревне. Мы оба это знаем. Поэтому даже не касаемся темы женитьбы. Без лишних слов бросаемся друг другу в объятья, а когда дело сделано, молча расходимся. Вот и все. Если я пытаюсь завести разговор, она сразу затыкает мне рот своей круглой грудью. Вкус как у яблока. И я сразу перестаю что-либо соображать, мне ни до чего на свете нет дела, и никакого завтра не существует. Приду в себя — а я уже дома, на постели. Лежу полумертвый, смотрю на ширму. И так ночь за ночью, ночь за ночью. Время летит, как бешеное.

Но нынче ночью я останусь дома.

Сегодня в первый раз мы с Яэко проделали это среди бела дня. Ночью лучше. Когда светит солнце, как-то неспóкойно. Она сказала, три-четыре дня не увидимся. Это случается каждый месяц. Надо ждать, ничего не поделаешь. И я жду, а потом обнимаю новую Яэко. Она каждый месяц рождается заново.

Хорошая сегодня ночь.

Поденок разлеталось — ужас сколько. На большом мосту, где горят фонари, наверно, глаз не откроешь — обязательно залетят. Поденки жужжат, лягушки квакают, даже не слышно, как монах играет на биве. Утром все вокруг будет засыпано прозрачными трупиками, как снегом. Дорога станет скользкой.

И рейсовый автобус сорвется с обрыва.

Там метров пятьдесят лететь. Я согласен ехать на этом автобусе, если вместе с Яэко. Он разлетится на куски, а мы с ней останемся без единой царапины. И пойдем вдоль берега далеко-далеко, в яблоневую деревеньку. Станем там жить, и ни до кого нам не будет дела. Там можно и пожениться.

Яэко сидела уже почти голая.

Юбку она задрала выше пояса, и я видел все ее межножье. Мне в голову бросилась кровь, словно вдруг солнцем опалило. А вокруг сада с трех сторон горы, и отовсюду звон цикад. Я понял, что прогнать Яэко не удастся, надо было что-то делать.

Как избавиться от отца?

Он уже полез с лесенки, чтобы посмотреть, чем это я там занимаюсь. Я бросился к нему и сказал: клапан барахлит. Сейчас, говорю, налажу, а ты перекури пока. Отец уселся под яблоней, закурил. А я бегом назад, к Яэко. «Подожди минутку»,— говорю.

И стал думать.

Наверняка есть какой-нибудь выход. Во-первых, можно плюнуть

и на отца, и на насос, перескочить через ограду и рвануть с Яэко в горы. Во-вторых, можно попросту затащить Яэко в сад и повалить под ближайшую яблоню... Отец уже докурил, кричит: «Ну, как там?»

«В порядке»,— рявкнул я.

Наклонился над перекладиной лесенки, чуть-чуть над ней поколдовал и отдал отцу шланг. Повернулся, иду к насосу, вдруг сзади треск и дикий вопль. Я не сразу обернулся, а не спеша так, в замедленном темпе. Перекладина обломилась, отец лежит на земле, глаза закатились.

Одним словом, все в лучшем виде.

Я и не ожидал, что так удачно получится. Отец лежит, губами бубукает, потом затих и не шевелится. Но помереть не помер, это видно. А хоть бы и помер, разве мне до него? Я перетащил его в тень, огляделся по сторонам и побежал к Яэко.

Она про отца ничего не спросила.

Ну, а спросила бы, я бы ответил, мол, солнечный удар у него. Яэко молча уселась на меня сверху и давай наяривать. Я сжимал в ладонях ее пахнущие яблоком груди, а зубами впился в ее ладную коленку. Лицо Яэко было полузакрыто разметавшимися длинными волосами, выражение его постоянно менялось, ярко-алые губы то смыкались, то приоткрывались. Мы лежали в траве. Было ужасно жарко, прямо парило.

Над головой Яэко сгустилось знойное марево.

Выше было обожженное небо, еще выше — приклеенное горящее солнце. Как-то по-особенному громко куковала кукушка, а цикады просто с ума посходили, от их металлического звона у меня в голове загудело. Яэко орала в голос, а потом обессилела и рухнула на меня, как подрубленное дерево.

Яэко ушла.

Я сидел и лениво смотрел, как она идет вдоль проволоки, спускается по склону. Правой рукой она поправляла волосы, левой стряхивала с юбки пыль. Походка у нее была ровная, спокойная. Яэко спускалась в долину. И с отцом все было в порядке. Ничего он себе не сломал, сам встал на ноги. Бледный только был очень.

Я усадил его в тачку.

Говорю ему: «Отвезу тебя домой». Он в ответ только мычит. Тело у меня после Яэко стало тяжелое. Внизу посверкивали черепичные крыши домов, оконные стекла, телевизионные антенны. А больше всего вспыхивали на солнце разлившаяся на несколько рукавов речка и листва прибрежной рощицы. Еще ярко блестело что-то в дальнем лесу, где убили отца Яэко. Мой старик скрючившись сидел в тачке и стонал, весь покрытый грязью и потом.

Я толкал тачку и мурлыкал под нос песенку.

Мы спустились на ровную дорогу, навстречу шел кто-то из деревенских. Отец поспешно спустил ноги на землю и громко поздоровался. А потом тихо так добавил: «Не повезло мне нынче». Как бы, говорит, хуже не было, беда-то не приходит одна. Неужто, думаю, ему до сих пор так хорошо жилось, что теперь надо еще какой-то беды бояться?

Я счастлив, на все сто.

Еще год назад мне и не поверилось бы, что бывает такая великолепная жизнь. Я думал, жизнь прожить — это выращивать яблоки, половину урожая продать, другую слопать самому, доскрипеть до старости, для разнообразия погоняться за кем-нибудь в рыбьем наряде, потом умереть и лежать в земле под яблоней. Оказывается, жизнь — это совсем иное. У меня есть Яэко. И никто не смеет влезать между нами, даже отец.

Я для Яэко могу сделать все.

Знаю это наверняка. Если она захочет — могу взломать старостин амбар, даже не задумаюсь. И пусть потом гонятся, меня им не догнать, это уж точно. А если даже поймают, вряд ли прикончат.

За десять лет наши деревенские здорово изменились.

А может, не они, время изменилось. Люди узнали, что в жизни много разных радостей. Ткнешь пальцем в кнопку, и в телевизионной трубке просыпается могучая жизнь. На краю деревни теперь кафе, где можно пить хоть до глубокой ночи. Оно принадлежит старосте. А тот перестал быть такой уж важной персоной. Вряд ли в его амбаре найдешь теперь что-нибудь шибко ценное.

Да, сила у старосты уже не та.

Не у него одного нынче деньжонки водятся. Для деревенских, которые ездят на работу в город, главный человек уже не староста, а хозяин. Отдай сейчас им староста какой-нибудь полоумный приказ, как тогда,— черта с два они его послушают. Даже если самого его кто-то пристукнет, по нынешним временам наши просто позвонят в город, в полицию. У нас своего участка пока нет.

Я слышу гортанный крик.

Так кричал отец Яэко, когда увидел, что его настигают. Я часто слышу во сне этот вопль, а иногда он доносится из ширмы. Отец снова что-то расстонался. Наверно, лекарство перестало действовать. А врач говорил, к утру полегчает. Позвоночник, сказал, у тебя в порядке, не бойся, не помрешь. А хоть бы и помер — самая подходящая смерть для такого, как мой отец. Он давно уже покойник, только не замечает этого.

Яэко почувствовала, что я смотрю на нее.

Отвернулась. Мы с отцом как раз проходили мимо ее дома. Яэко срезáла придорожную траву, размахивая сверкающим на солнце серпом. Ее мать ползала по луковому полю. Ни одна из них не взглянула в нашу сторону. Пока дом Яэко не остался позади, отец не проронил ни стона.

Он сидел в тачке, низко опустив голову.

Спину выгнул дугой, лицо где-то между колен. Но я знал, что он ничуточки не жалеет о том дне десятилетней давности. И не считает, что переусердствовал тогда. Никто из деревенских, охотившихся на отца Яэко, так не думает. В их мозгу, не избалованном особенными впечатлениями, тот день запечатлелся как самое яркое событие в жизни.

На душе у меня было неспокойно.

Яэко тоже, конечно, ничего не забыла. А вдруг для нее это воспоминание — тоже самое главное в жизни? Вдруг она и со мной-то связалась, только чтобы моему отцу досадить? Не может быть, решил я. Хруст срезаемой серпом травы остался позади. Отец снова заныл.

Я тащил тачку, обливаясь потом.

Когда нам навстречу выскочил Снежок, отец вдруг тихо, но очень отчетливо сказал: «Найди себе другую девку». Мне не могло послышаться. Я не ответил, только поздоровался со Снежком. И тогда отец повторил: «Я сказал — ты слышал». А я и ухом не повел. Взвалил его на спину, втащил в дом и мешком сбросил на пол. Мама испугалась, завыла.

Потом она позвонила в больницу.

Врач приехал не скоро. Старый, сморщенный какой-то и пьяный, лыка не вяжет. Потыкал отца в спину пальцем и говорит: «А шуму-то, шуму. У, мужичье сиволапое». Выписал болеутоляющее и был таков.

Когда ехал на своем велосипеде через мостик, пару раз чуть не грохнулся. Ругался страшно.

Когда отца посадили в горячую воду, он орал, будто его режут.

Пока мама там с ним возилась, я наскоро поужинал. Съел, давясь от жадности, три миски риса, и еще горячего супу, и еще сырых яиц. Запил все это чаем, завалился на постель и бормочу: «А шуму-то, шуму. У, мужичье сиволапое». Яэко — это мое дело. Пусть отец лучше помалкивает.

Она — моя женщина.

Но нам с ней не жить в этом доме. Когда я умывался, увидел в зеркале, что на шее у меня волос Яэко и следы губной помады. Волос я сразу снял, а с помадой пришлось повозиться — никак не хотела отмываться. Я залез в горячую воду и начал ругаться самыми распоследними словами. Не знаю, с чего это меня так разобрало. А потом встревожился. Сижу в воде и думаю: моя она или не моя?

Монах плавает в реке.

На спине у него ссадины, возле поясницы здоровенный синяк. Руками и ногами он двигает очень осторожно, чтобы не удариться о камень. Плывет и что-то бормочет. Наверно, какие-нибудь гадости про Яэко. Что с такой бабой одному мужику не сладить. Что она — дочь своего отца и рано или поздно выкинет штуку почище папаши. Что связываться с ней опасно. Уноси ноги, парень, пока не поздно.

Отец угомонился.

Да и монах больше не бурчит. Он устал плавать. Вылез на берег, раскинулся на траве. Мама после мытья отправилась на кухню, ест там сладкие лепешки. Про нас с Яэко она еще ничего не знает. Представляю, какой шум она поднимет. Отец ей ничего не скажет, но рано или поздно до нее все равно дойдет. Деревня-то маленькая.

Слышно, как посапывает Снежок.

Он спит в последнее время очень глубоким сном, каким-то младенческим, а не собачьим. Наверно, скоро умрет. И отправится в нашу с ним яблоневую деревеньку, будет терпеливо ждать меня там. Меня и Яэко. Только вот не знаю, захочет ли она туда.

Я чувствую, как мне на спину льется лунный свет.

Он один и тот же: и на ширме, и в нашей деревне. Луна освещает и затылок спящей Яэко — я слышу, как из ширмы доносится ее прерывистое сонное дыхание. Или это тихий плач? Если ей одиноко, мне тоже одиноко. Если плечи ее дрожат от рыданий, мои плечи тоже сейчас затрясутся. Иначе и быть не может.

Как изменился слепой монах.

Куда делись его лохмотья? Он весь сверкает, облаченный в рыбью чешую. Как ослепительно блещет его наряд в лунном свете! Монаху костюм идет не меньше, чем отцу. Но я отворачиваюсь, потому что из ширмы дует сырой, пахнущий рыбой ветер.

* * *

На ширме «Осень» нарисованы: светлая лунная ночь; широкая, поросшая высокими травами равнина; бредущий по ней слепой монах. Он повесил свою потрепанную биву на спину и ковыляет неведомо куда по диким просторам, сгибаясь под злым ветром. Вокруг никого — ни человека, ни зверя. Тощий монах превратился в ходячее воспоминание: перед его незрячим взором воскресают картины былого счастья. Ядови-

то-белое сияние полной луны проникает сквозь одежду, сквозь кожу спины, разъедая старые кости, но путник ничего не чувствует. Равнина жалобно стонет под ветром, почти как поющая бива, и эти тоскливые звуки бередят душу молодому мужчине, что лежит возле ширмы, на пуховом ложе, накрытый превосходным шерстяным одеялом.

Этот мужчина — я десять лет назад. Мне тридцать.

* * *

Я лежу неподвижно, как камень.

Мне тепло под моим замечательным одеялом, кровь бежит по телу горячим током. Перед ужином я принял ванну, грызя свежее яблоко. Потом похлебал грибного супа с рисовыми колобками, выпил стаканчик яблочной. Почему же тогда мерзнет лицо? Это, наверно, веет ветром из ширмы.

Деревня затихла.

Тайфун умчался в дальние края, не натворив особенных бед. Ну, рис на полях слегка полег, да часть яблок осыпалась — только и всего. Урожай все равно будет отличный. Год выдался на редкость яблочный, нашей семье хватит и трети того, что созрело, остальное можно продать. А паданцы и собирать не стану, пусть зимой дрозды и свиристели склюют — скоро уже их время.

За последние десять лет птиц в наших местах стало больше.

Зато людей сильно поубавилось, вон сколько домов стоят пустуют. Кто в город на заработки поехал, назад уж не вернется. По нынешним временам последний деревенский дурачок знает, насколько приятней жить в городе. Еще немало домов у нас опустеет, я знаю. И все же никогда не будет так, что здесь останутся только Яэко и я. Немало наших намерены оставаться в деревне до самой смерти.

Снежок давно умер.

А отец и мама пока живы и не очень-то изменились. Все то же «мужичье сиволапое». Вкалывают с утра до вечера, облизываются на недоступные соблазны новой жизни, понемногу старятся. По ночам допоздна смотрят телевизор. А я смотрю только на мою ширму. Без нее мне не уснуть.

Она тоже стареет.

Как наш дом, как я сам. Постель вот только у меня новая, славно лежать между пуховым матрасом и шерстяным одеялом. У родителей такие же. Когда провалилась затея с моей женитьбой, мама разозлилась и в сердцах накупила всякой всячины. Долго обзывала меня дураком и тупицей, а наутро забрала из банка все деньги и приобрела три новые постели да еще в придачу цветной телевизор. Отец пытался ее удержать, но не смог.

Она и сейчас еще не остыла.

Еще бы — где ей найти другую такую невестку? Во-первых, с приданым; во-вторых, здоровая, как лошадь,— никакой работы не побоится; и главное, медсестрой раньше была. Мне, может, такая жена и ни к чему, а маме бы она в самый раз сгодилась. Идеальный вариант для старухи.

Мне, вообще-то, было все равно — жениться или нет.

Когда нас с ней знакомили, я спросил: «Если вы, городская, решили выйти замуж за деревенского, на то, наверно, есть серьезная причина?» А она в ответ: с детства мечтала, мол, выращивать яблоки. И не покраснела даже.

Ничего она не знает, подумал я.

Ни о яблонях, ни о деревенской жизни, ни о крестьянском труде. Если б знала, то предпочла бы умереть в свои двадцать восемь лет, чем выходить замуж за такого, как я. А может, жизнь исхлестала ее еще почище, чем Яэко, и она решила найти себе простого деревенского парня, приклониться к его плечу? Даже не к парню, а к земле, к яблоням?

Я готов был с ней жить.

Тогда я стал бы таким же, как все в нашей деревне. Жил бы, как они, и умер бы, как они. Да не судьба, видно. Ничего из этого сватовства не вышло — сам виноват. А мама виновата еще больше. Уж больно она расхвасталась будущей невесткой. Знает ведь деревенских, но не уберег-лась. Не надо ей было разливаться перед каждым встречным-поперечным про то, как отыскалась-таки ей на старости лет отрада и услада.

Про то, что у меня было с Яэко, все знают.

Но тут наплели такого, чего и в помине не бывало. Уж я-то знаю, что ребенок, которого Яэко родила два года назад, не имеет ко мне никакого отношения. Мы с ней семь лет как порвали, я с тех пор ее и пальцем не касался. «Нашел подружку! — кричала мама.— Из хорошей семейки, нечего сказать!» А потом как швырнет кастрюлю со свежесваренным рисом в окно.

Отец оказался прав.

Для Яэко я просто был первым мужиком. И не более. Я более или менее знаю, кто стал вторым, третьим и четвертым. Дальше — потерял счет. Да и перестал интересоваться. Прошло время, когда я из-за этого мучился и ночами не спал. Я стал другим. И слава Богу.

Яэко ездит в город на автобусе.

Она работает на мыловаренной фабрике. Отец ее ребенка, наверно, тоже из городских. Раньше с младенцем сидела мать Яэко, но недавно она умерла. Разрывалась между полем и домом, да и не выдержала: поболела дней десять и приказала долго жить. В то утро, когда она умерла, в горах затрубил первый олень. А я подумал, что если б хоть кто-то из деревенских помог старухе, изредка посидел бы с ребенком, она, глядишь, и не надорвалась бы.

На похороны все-таки несколько человек пришло.

Мама меня не пускала, но я отпихнул ее и пошел. Все плакали, уж не знаю, искренне ли. Сухие глаза были только у меня и у Яэко. Похороны получились вполне пристойные. И гроб был не из самых дешевых, и двое монахов. Выпивки и жратвы на поминках тоже хватало.

Я помог копать могилу.

Рыли посреди яблоневого сада, за домом. Метрах в двух под землей наткнулись на кости. Никто ничего не сказал. Я тоже молчал. Все отлично знали, чей это скелет. Череп был весь в трещинах и вмятинах. Мы слегка забросали кости землей, сверху поставили гроб, засыпали черноземом (он пах яблоками). Установили могильный камень, синего цвета.

Ребенок все время хныкал.

Яэко его не успокаивала, пришедшим на похороны ни слова не сказала, а только стояла и смотрела. Плечи ее были опущены — то ли жизнь придавила, то ли просто ветер дул холодный. Покончив с гробом, люди быстро разлили сакэ, закусили, выпили душистого чаю и отправились восвояси. Пошел мелкий дождик.

Я остался.

Никаких утешительных слов ей говорить не стал, просто спросил:

«Что теперь будешь делать?» Я не собирался предлагать Яэко свою помощь. Сам не знаю, зачем спросил. Ребенок, наконец, угомонился и затих. Яэко тяжело вздохнула и села на мокрый от дождя край веранды. Я присел рядом. Она была еще очень красивая и молодая.

Яэко долго молчала.

А я не стал повторять вопроса. Мы долго сидели рядом, ничего не говоря, и смотрели на небывало яркие в осеннем наряде горы, на сорокопутов, шуршавших палой листвой в поисках жучков, на красную россыпь спелых яблок, на синий надгробный камень. Потом снова захныкал ребенок, и Яэко принесла из дома молока.

Я потрогал малыша за ручку.

Спрыгнул с веранды, пошел прочь через сад. Вслед мне несся детский плач. Я шагал быстро, втянув голову в плечи, и грыз яблоко. Таких вкусных, как в саду у Яэко, нигде больше нет. Когда входил в дом, мама сыпанула на меня солью — хотела очистить от скверны. Я ее так пихнул, что она аж на пол села. Впервые в жизни на мать руку поднял.

Ветер на ширме совсем расходился.

Иногда его завывания напоминают плач ребенка. «Что теперь будешь делать?» — спрашиваю я у ширмы. Но Яэко не отвечает, идет куда-то в ночь, по равнине, меж колеблемых ветром высоких трав. Что это у нее на спине, бива? Нет, это пухлый младенец. Наверно, Яэко и сама не знает, кто его отец.

Сегодня Яэко уехала из нашей деревни.

Не знаю, как там она разобралась с домом, садом, жилищным реестром. Так или иначе, поставила на прежней жизни крест. Ну и правильно. Самый лучший ответ на мой вопрос. Я думал об этом, когда вез их до станции.

Под вечер это было.

Яэко позвонила мне и говорит: есть просьба. Долго упрашивать ей не пришлось. Так лучше и для нее, и для нас, деревенских. Пусть уезжает куда-нибудь подальше — тогда, глядишь, и наши вздохнут посвободнее. После обеда я отправился к Яэко. «Ты куда?» — спросила мама. Тут отец на нее как рявкнет: «Тридцать лет мужику, а ты все лезешь со своими расспросами!»

Я погудел клаксоном.

Яэко сразу же выбежала из дома. Дул ветер, лил дождь — тайфун был уже совсем близко. Она бежала по дорожке: в каждой руке по сумке, за спиной ребенок. Все ее имущество. Хотя, может, мебель она уже отправила, кто знает. Я вылез под дождь, открыл ей заднюю дверцу, усадил.

Она тихо сказала: «Спасибо».

«Чего там,— ответил я.— В такую погоду все равно не поработаешь». В машине запахло Яэко, ребенком, яблоками. Мы долго ехали дорогой, спускаясь на равнину. В деревне нас никто не видел, все попрятались по домам. А Яэко, наверно, и не хотела, чтобы видели, как она уезжает. Поэтому и автобусом не поехала.

Пошел настоящий ливень.

Возле перевала дорогу здорово размыло. Я подумал: неизвестно, проеду ли обратно. Ребенок спал как убитый. Яэко осторожно вытерла ему намокшие волосы полотенцем. Назад за все время она оглянулась только два раза. Может, ей и хотелось на прощание поглядеть на деревню, но стекло так запотело — разве что разглядишь?

Я молча вертел баранку.

Несколько раз открыл было рот, чтобы хоть что-то сказать, но так ничего и не родил. Насупился, смотрел на шоссе и на дымящиеся дождем горы с ненавистью. Вообще-то мне о многом хотелось ее спросить. Например, кто будет отмечать сорок девять дней по ее матери? И куда она едет? Есть ли у нее деньги? А главное, что будет с ее яблонями? Ведь погибнут — других таких не народится. Не возражает ли она, если я стану за ними присматривать?

Однако я так ничего и не спросил.

Чего зря болтать, еще передумает. Яэко была полна решимости. Честно говоря, я ей завидовал. Яэко не выглядела жалкой, когда покидала нашу деревню. На тридцатом году жизни она, наконец, стала свободной. Поздно это или рано, не мне судить.

Но одно я знаю точно.

Яэко вошла в дверь, за которой ее, может быть, ждет счастливая жизнь. Никто не ведает, что нам уготовано впереди. Не ведает этого и Яэко, но теперь ее шансы на счастье стали куда лучше. Я-то, например, ничего хорошего от своего будущего не ожидаю.

Отец, тот хоть на материк ездил, воевать.

А в моей жизни не происходит ничего — так, мелкая рябь по воде. Ну, заведу себе нового пса взамен Снежка. Ну, помрут родители. Жучок яблони перед самым урожаем попортит. Или увидишь на телеэкране, как иностранцы в диковинных нарядах ковыляют по поверхности Луны. И все. Мне уже тридцать лет, а я даже ближайший город толком не знаю.

Зато уж про нашу деревню мне все известно в доскональности.

Я могу точно показать, как и где проходят подземные воды и какого они цвета. Грязные они теперь стали, не то что раньше. Совсем замутились. И тайфун тут ни при чем. Если мы хотим, чтобы вода снова очистилась, надо деревенским жить по-другому. И мне в том числе.

Один вопрос я ей все-таки задал.

Про яблони. Мы уже ехали по городским улицам, до станции оставалось всего ничего. «Яблони?» — повторила Яэко и посмотрела на чахлые городские деревья, гнувшиеся под бурей. Я пожалел, что спросил, и говорю: на поезд бы не опоздать. Она только головой мотнула. Видно, ей все равно было, каким поездом ехать. Может, даже не решила, в какую сторону.

Я притормозил на площади.

Обернулся назад, посмотрел Яэко в глаза. Быстро сунул заранее приготовленный конверт. Она взяла и еле слышно прошептала: «Спасибо». Я едва расслышал сквозь шум дождя. Потом она посадила на спину ребенка, подхватила свои сумки и побежала к вокзалу — чуть под такси не угодила. Через пару секунд я ее уже не видел, исчезла в толпе. Тут мне сзади загудел автобус, я дунул ему в морду выхлопным газом и тронулся. Буря набирала силу.

В машине еще пахло ребенком, Яэко, яблоками.

Но когда доехал до перевала, запахи уже улетучились. Потом мне пришлось туго. Думаю, задержись я в городе еще чуть-чуть — нипочем бы не проехал. На шоссе был оползень, пришлось лопатой раскидывать. Чтоб не промокнуть, надел костюм из рыбьей кожи. Он у меня давно в багажнике валялся, как раз на такой случай.

И вот довелось надеть — впервые.

Не знаю, каков он был в роли дождевика, но одно точно: в нем меня

сразу бросило в жар, и я почувствовал какую-то опасную, звериную силу — все, мол, мне по плечу. Не боясь нового обвала, я два часа махал лопатой, весь грязный и потный, и прорыл-таки проход.

Когда вернулся в деревню, было уже совсем поздно.

Остановился перед домом Яэко и все в том же рыбьем наряде, под проливным дождем, ходил между брошенных хозяйкой яблонь. Плоды были ярко-красные, но мелкие, неважной формы и поклеванные птицами, много червивых — ухода-то никакого. Странная вещь — в такую бурю яблоки в саду Яэко не осыпались. Ни одно не упало.

А потом я вернулся домой.

Куда мне еще идти? В большой комнате отец и мать смотрели телевизор, громко смеялись чему-то, но когда я вошел в своей чешуе, оба замолчали и уставились на меня с явным испугом. Какое-то время спустя снова отвернулись к экрану, но уже сидели тихо, даже не кашлянули ни разу.

Я вышел в прихожую и разделся догола.

И сразу же стало холодно, навалилась усталость. Залез в горячую воду, согрелся. Тайфун умчался прочь, на небо выплыла полная луна. В голове не было ни единой мысли. Яэко уехала, и думать стало не о чем. Я совсем обмяк, пальцем не мог пошевелить. Луна высасывала из меня душу, я это чувствовал.

Ужинали мы все вместе, как обычно.

Во время еды мама с отцом тоже не отрывались от телевизора. То и дело покатывались со смеху, но друг с другом не разговаривали. Я сказал, что ветром много яблок посбивало, но отец только отмахнулся. Ну и хрен, говорит, с ними. Родителей теперь занимает только одно — как бы поприятней остаток дней прожить. Ни о чем кроме самих себя думать им уже не хочется.

Яэко не задавала мне никаких вопросов.

Может, конечно, ее и поджидал кто-то на станции, но вряд ли. Перед тем, как выйти из машины, она сказала: «Прощай». Или это мне послышалось? А я ничего не ответил. Мог хотя бы счастливого пути пожелать. Забыл.

«Прощай, прощай»,— бормочет монах.

Он бредет по траве, сгибаясь под яростным ветром, и повторяет в такт шагам: «Прощай, прощай, прощай». Монах прощается с вчерашним днем. Еще до рассвета он пересечет пустынную равнину, где нет ничего — только травы, ветер, лунный свет. Надеюсь, с ним ничего плохого не случится. Он, конечно, устал скитаться и хочет найти пристанище в яблоневой деревеньке. Там он сожжет свои лохмотья вместе с бивой, задышит глубоко и ровно, будет до самой смерти кормиться одними яблоками.

Монах пошатывается на ходу.

Не знаю, хватит ли у него сил. На ногах он удерживается лишь сосредоточением воли. И еще, может быть, его подгоняет мысль о близкой погоне. Ветер пахнет рыбьей чешуей, в его завывании слышатся то собачий лай, то людские крики. Монаху не спастись. Скоро его догонят, прикончат в зарослях и бросят труп в какой-нибудь пожарный сарай. Конец ему, ясное дело.

Мне тоже конец.

Во всяком случае, он уже близок, мой конец — так мне кажется. Ощущение, что я живу на свете страшно долго, не одну сотню лет.

Почему — сам не знаю, ведь у меня даже своей семьи никогда не было. Было у меня три года с Яэко, и этого довольно. Какие мне еще нужны события?

Сегодня Яэко уехала из деревни.

Бросила дом, могилы предков, сад, поле и уехала, даже не сказав куда. Я мало чем смог ей помочь, разве что довез до железной дороги да немного денег дал. Ни о чем ее не спросил, даже не попрощался по-человечески. По сути дела, я ее выгнал. Неужто мне до такой степени хотелось сохранить в неприкосновенности память о тех трех годах?

В горах снова затрубил олень.

Как холодно сегодня. Первые в этом году заморозки. Завтра целый день буду подбирать яблоки. На рынок паданцы, конечно, не отвезешь, но на консервный завод, по дешевке, я их не отдам. Лучше вино сделаю, а останутся — замочу. Нет, лучше все пущу на вино. Буду пить до весны, пьяному веселее. Напился — уснул, проснулся — выпил.

Яэко сейчас, наверно, спит в своем вагоне.

А может, уснул только ребенок. Может, Яэко смотрит в окно. Там отражается ее лицо, за ним — тьма, во тьме редкими огоньками светятся дома. Яэко достает из сумки яблоки и ест их. Обо мне она уже забыла. И отлично.

А я устроен иначе.

У меня в душе живет тысяча дней с Яэко, живут сто яблоневых деревьев. Мне этого хватит и на завтрашний, и на все последующие дни. Что мне еще остается? Буду жить день да ночь — сутки прочь, а точнее — потихоньку умирать. У Яэко жизнь, возможно, сегодня началась, а у меня кончилась.

Мычу от боли, переворачиваюсь на другой бок.

За окном луна. Ее свет — не голубой, не красноватый, а какой-то торжественно-белый — льется на деревню. Оленьи крики приблизились к домам. Наверно, олени хотят полакомиться паданцами. Ну и на здоровье. Пусть хоть все сожрут. А я буду есть яблоки из сада Яэко.

Вдруг с луной что-то случилось и свет ее померк.

* * *

На ширме «Зима» нарисованы: холодный, точеный серп луны; скованное льдом и снегом горное озеро; скрюченный в три погибели слепой монах. Он вырыл в снегу нору, забился туда и сидит, закутавшись в драный плащ. Монах слушает, как скрипит и охает ледяная корка над озером. Он не может играть на биве — закоченели пальцы, не может петь — распухло простуженное горло. Но в костлявой, едва прикрытой чахлой плотью груди живут звучные мелодии, произносятся страстные речи. Лед временами жалобно стонет, словно всхлипывает. На ледяном просторе застыло все, даже само время; застыла и пепельно-серая, позабывшая о надежде душа немолодого мужчины, который лежит возле ширмы, под электрическим одеялом.

Мужчине сорок лет и десять месяцев; это я.

* * *

Снегопад кончился, ударил мороз.

Я уж и сам не пойму, мерзну я или нет. Но одеяло греет, значит, смерть от холода мне не грозит. Не то чтобы это меня сильно волновало. А солнце сегодня за весь день ни разу так и не выглянуло.

Сколько же выпало снега всего за каких-то несколько часов!

Надо как следует выспаться — завтра намахаюсь лопатой. Целый день, поди, уйдет, чтобы расчистить двор и дорожку. А с садом придется недели две повозиться. Это ничего — времени у меня сколько угодно. Какие зимой у крестьянина дела? Разве что ветки у яблонь подвязать.

А так — ешь, пей да спи.

Скрипит старый дом, шуршит снег, от безделья и постылой свободы на душе тоска. Жду весны, как мои яблони. Да, снегу навалило столько, что, боюсь, до дальнего сада руки у меня не дойдут. Туда теперь и на лыжах не проберешься. Еще один такой буран, и пиши пропало: ветки поломаются, а то и сами стволы не выдержат. Эх, надо было с осени больше подпорок установить.

У меня в доме всегда ночь.

Я лежу, как обычно, на правом боку, чтоб сердце было сверху, лицом к ширме. Глаза полузакрыты. Мой слепой монах прошагал множество стран — благо ноги держат, а бива кормит. Все нигде не осядет, бродяга. То ли не хочет, то ли просто никак не найдет места по душе.

Я по-прежнему живу в своей деревне.

Меня словно гвоздями прибили к этому затерянному в горах клочку земли, который с каждым годом все дальше и дальше от остального мира. Меня здесь держат яблони. Не могу я их бросить, да и боюсь, что они обо мне забудут. А так — что ж, можно бы и уехать, в этом доме я больше никому не нужен. Три, нет, уже четыре года назад отец и мама умерли — почти одновременно, словно заранее сговорились.

Думаю, они умерли счастливыми.

Досыта наелись на старости лет и риса, и яблок. Перед смертью отец прошептал мне: «Ох, спина болит». Не верю я ему. В могилу его не спина, а голова свела. В начале зимы, когда ударили морозы, лопнул у него там какой-то сосуд, и старик умер. А в следующую стужу за отцом последовала мама. Как же им завидовало на похоронах деревенское старичье: мол, жизнь прожили по-людски и померли — дай Бог всякому. Такая замечательная смерть даже отчасти компенсировала неудачу с сыном, который остался бобылем.

Я и в самом деле не такой, как все, сам знаю.

Деревенские про меня разное болтают. Ну и пусть. Тут у нас нормальных, пожалуй, и не осталось. За последние десять лет все изменилось к худшему. Не поймешь, кто тут теперь живет — не крестьяне, не рабочие, а так, какие-то обсевки. Вялые, озлобленные, взгляд тусклый. Не хочется таких ни жалеть, ни оправдывать. В этой деревне даже маленькие дети словно неживые.

Во многих домах яблоки больше не выращивают.

У меня в саду за десять лет умерло десять деревьев. Два от удара молнии, пять под тяжестью снега, три просто от старости. Зато я посадил двадцать новых, в этом году собрал с них первый урожай и неплохо продал. Но все равно бедней меня в деревне никто не живет. Почти все, что зарабатываю, трачу на яблони. Расходов полно: удобрения, инсектициды, всякие инструменты.

Снег сегодня выпал необычайно тяжелый.

Когда утром пригреет солнце, он размякнет и навалится на яблони неподъемным грузом: самые толстые ветви пригнет до земли, остальные поломает. Может, и стволы не выдержат. Старые яблони хрупкие, как старые люди. За эту зиму у нас в деревне наверняка несколько стариков

умрет. А сегодня не стало еще одного человека, моего возраста. Но никто кроме меня пока об этом не знает.

Я слышал, что и бывший староста при смерти.

Все говорят, будто он доживает последние часы, но я надеюсь, что он еще потрепыхается. Пусть помучается как следует. Его пронзительный визг не смолкает даже ночью. Что слышится в этом диком крике? Боль и безумие.

А если прислушаться, то можно разобрать и голос девушки.

Это голос юной Яэко. Минувшей осенью я сидел на пороге ее полуразвалившегося дома и ел красные яблоки из ее сада. Стоило один раз откусить — и сразу перенесся на двадцать лет назад. Яэко ожила, наполнила все мое тело. Пока ел яблоки — все время видел и чувствовал ее. Очнулся от птичьего крика и долго потом разглядывал яблони в ее саду.

Они все до единой живы.

Я за ними не ухаживал, но им нипочем болезни, насекомые, грозы, снегопады. И каждую осень они по-прежнему родят яблоки, не сравнимые по вкусу со всеми остальными. Три-четыре съедаю я, бóльшая часть достается птицам и оленям, а остальные сгнивают в земле, питая ее своим соком. Да и мать Яэко под своим синим камнем давно уж стала удобрением для сада.

Как стонут мои бедные яблони.

Кровь в жилах леденеет, сердце пронзает болью. Мокрый, тяжелый снег душит мои деревья. Самые старые, те, что растут по берегу речки, вряд ли дотянут до утра. Надо что-то делать сейчас, пока не поздно. Случись такое еще вчера, я непременно вылез бы из постели, взял в сарае большую алюминиевую лопату и — ночь-полночь — отправился бы спасать свой сад.

Но сегодня я лежу не двигаясь.

Я так устал, не могу пошевелиться. Нет сил даже перевернуться на другой бок. Бог с ним, со снегом. Видеть его больше не хочу. Сегодня я находился на лыжах, а потом еще пришлось рыть в снегу яму — глубже, чем в человеческий рост. По-хорошему надо было и землю подолбить, но она смерзлась, стала крепче бетона. Разве киркой возьмешь?

Придется с этим подождать до весны.

И зачем я только повадился ездить в город за покупками? Сидел бы себе дома, глядишь, и обошлось бы. Так до самой весны ничего не узнал бы. А может, и до осени. Нет, надо мне было с утра пораньше налаживать лыжи, собирать рюкзак. До автобусной остановки добираться — целая история. А о том, чтоб ехать на своей машине, и вовсе думать нечего — весь двор под снегом. Я не был уверен, что и автобус-то ходит, думал, не придется ли с пустыми руками возвращаться.

Но шоссе было расчищено.

А перед бывшим пожарным сараем (он теперь пустует) ждал автобус. Колеса у него были обмотаны цепями. Пассажиров кроме меня никого. Молодой шофер поглядывал на меня в зеркало, всю дорогу трепал языком. Говорил, если ночь выдастся ясная, будет видно, как старый месяц умирает. Говорил, на Новый год поедет на юг, на острова. Еще что-то там нес, но я почти не слушал. Смотрел на отвесные снежные стены по краям дороги, вспоминал Снежка, которого давно уж нет на свете.

Рещил: весной заведу себе белого щенка.

Я, конечно, знал, что новый Снежок не поможет мне начать жить заново. Если б я даже очень захотел изменить свою жизнь, вряд ли мне это удастся. Ответы на все вопросы будут те же самые. Вот я существую на свете сорок лет. А что в прошлом? Ничего и никого кроме Яэко. Столько лет миновало, а я все не могу избавиться от этого наваждения, сдвинуться с мертвой точки и пойти по жизни дальше. И еще есть у меня яблони, живущие от весны к осени.

Значит, полжизни позади?

И все равно, я прожил их лучше, чем мой сосед. Он-то считает, что ему все должны завидовать — как же, до семидесяти одного года был старостой. А потом стал живым трупом. Лежит, весь закованный в гипс, три раза в день вместо завтрака, обеда и ужина ему делают укол толстенной иглой, а по ночам визжит нечеловеческим голосом.

Эти вопли не дают деревенским спокойно спать.

Они разносятся по всей долине, эхом раскатываются по горам, пугают домашнюю скотину, будят грудных детей. Родные перенесли бывшего старосту в погреб, но это мало что изменило. Все равно временами он орет так пронзительно, что и толстые стены не помогают. Соседи тревожно ворочаются в постелях, их сладкие сны сменяются кошмарами.

Автобус подъехал к мосту и остановился.

Надо было пропустить встречное такси. Я попытался рассмотреть, кто там сидит, но не сумел. Потом автобус тронулся, и я перевел взгляд на речку, бурлившую далеко внизу. Той разбитой в лепешку машины не было видно — снегом занесло. Деревенские, проходя мимо этого места, всякий раз качают головой: «Как только жив остался». В жаркий летний день «мерседес» старосты заскользил по сплошному ковру из дохлых поденок. И все — был человек старостой, стал овощем. Теперь у нас старостой его сын, но на ближайших выборах его, наверно, прокатят. Что-то мало поит вином своих избирателей.

В городе тоже было снежно.

Но без сугробов, только пыль кое-как припорошило. Повсюду строят небоскребы, искры от сварки так и сыплются огненным дождем. Горожане за последние годы здорово раздобрели, только глаза сделались какие-то безумные. Встретил на улице одного мужика, раньше жил в нашей деревне. Шел куда-то со всем семейством, наверно, покупки к Новому году делать. Я с ним здороваться не стал, даже головой не кивнул. Он тоже сделал вид, что меня не заметил.

Я зашел в самый дешевый супермаркет.

Накупил кучу рыбных консервов, уложил в рюкзак. Теперь с голоду не помру. Немножко пошатался по улицам. Видел универмаг, который, по слухам, вот-вот с молотка пойдет; ярко разукрашенные кафе, где даже зимой продают мороженое; крошечный зоопарк, где можно посмотреть на дряхлого льва; фруктовые лавки с плохими и дорогими яблоками; вокзал, куда десять лет назад отвез Яэко.

Подождал обратного автобуса.

Ехал опять один. И по дороге никто больше не сел. Водитель был другой, пожилой. Говорит: «Ишь, как времечко-то летит. Вот уж мы с тобой и немолодые». Так оно и есть. Помолчали. Когда подъезжали к перевалу, он сказал: «И ждать особенно нечего». Опять он прав, но разговаривать не хотелось. А снег повалил еще пуще.

Через мост переехали медленно, осторожно.

Перила после той аварии починили, но в такую непогоду на мосту

все равно опасно. Снег слежится, будет почище дохлых поденок, а по тем колеса скользят, как по жиру. Так занесет — никакие перила не остановят. «Не дай Бог, навернемся»,— сказал водитель с непонятной улыбкой. Не знаю, что там у него было при этом на уме, но мне на тот свет еще рано. Яблони умеют привязать человека к жизни.

Деревня казалась одним большим сугробом.

Снегопад был в разгаре. Автобус плыл по заметенной улице, проехал мимо старого пожарного сарая. Он теперь никому не нужен, торчит, как бельмо на глазу. Я подумал, что весной надо будет его снести. Придется, наверно, одному поработать, других охотников не найдется. Разберу на доски, отнесу их к речке, оболью керосином и подожгу. Талый снег, перемешанный с пеплом, утечет прямехонько в загробный мир.

Вылез из автобуса, направился к дому.

На лыжах карабкаться по склону было трудно, все-таки уже немолодой. Я переставлял ноги и думал, что бы такое устроить на месте пожарного сарая. Можно натаскать хорошей, жирной земли и посадить яблони. Так и сделаю. Надо будет привить ветки из сада Яэко на мои молодые яблоньки. Наверно, подземные соки, которыми станет питаться новый сад, кровавого цвета. И лепестки на яблонях будут красные, а плоды — румяные.

С годами у меня заметно обострился слух.

Я теперь слышу, как корни дерева пьют подземную воду. А весной, когда раскрываются почки, я в саду просто глохну. Но зимой яблони воды не пьют, они спят. Слишком холодно там, под землей. Зимняя вода студенее льда, в ней даже микробы дохнут, она может убить дерево. А деревенские пьют ее каждый день и прикидываются, будто живут.

Я провожу ладонью по ширме.

Обледеневшая поверхность озера током пронзает мои пальцы, парализует мысли. А луна еще холоднее льда, и в тысячу раз холоднее луны сердце монаха. Над озером метет вьюга, лед не выдерживает, лопается, топорщится торосами. Монах не шевелится, скрюченный в своей снежной норе.

Я шел к дому, весь облепленный снегом.

Рюкзак был такой тяжелый, что лыжи глубоко проваливались, каждый шаг давался с трудом. Я остановился перевести дух и вдруг увидел следы. Не звериные, человечьи. Они цепочкой тянулись куда-то в сторону.

Меня бросило в жар.

Кто же это мог пробираться сквозь снега без лыж? Я пошел по следу и увидел, что он сворачивает к дому Яэко. Остановился, затаил дыхание, прислушался. Ничего — только шелест падающих хлопьев. Медленно, очень медленно я двинулся вперед. У самого порога дома снег горбился странным холмиком. Я сразу понял, кто там лежит.

Монах умирает.

В предсмертный час ему слышится жужжание пчел в яблоневом саду, беззаботное пение жаворонка, шелест теплого весеннего ветерка. Но победила зима, и бороться с ней больше нет сил. Вряд ли бедолаге суждено увидеть завтрашнее солнце. Надо мне приготовиться — как теперь жить без слепого монаха? Наверно, правильнее всего будет ширму «Зима» сжечь. А заодно «Весну», «Лето» и «Осень». Пепел развею под яблонями. Смогу ли вот только уснуть без своих ширм?

Монах скитался по миру вместо меня.

Сорок лет бродил он, однако до заветной яблоневой деревеньки так

и не дошел. Но, по крайней мере, жизнь его была полна событий. Как у Яэко. Ее сорок лет — как огненный цветок, как ярко-алое яблоко, с моими сорока годами нечего и сравнивать. Конечно, ей не удалось прожить жизнь так, как хотелось, но она во всяком случае пыталась. Представляю, сколько всего она повидала за десять лет, что ее не было в деревне.

Сегодня Яэко наконец вернулась домой.

Точнее, к порогу своего дома. Я снял рюкзак, отстегнул лыжи и присел рядом с белым холмиком на колени. Разгреб снег, откопал Яэко. Она лежала ничком, неподвижная, делать что-либо было уже поздно, и я долго просто смотрел на нее. На Яэко было легкое, совсем не зимнее пальто. Ни перчаток, ни обуви. Наверно, обувь она потеряла в снегу, пока добиралась сюда через сугробы. Она приехала в том такси, с которым мы разминулись на мосту по дороге в город.

Я перевернул ее на спину.

Тело было странно легким, лицо исхудало до неузнаваемости. В зрачках запавших глаз отразилось мое лицо, облачко пара из моего рта. Я еще порылся в снегу, но ребенка — ему сейчас должно быть двенадцать — не нашел. Потом я надел лыжи, взял рюкзак и пошел к своему дому, оставив Яэко лежать в снегу.

Первым делом я выпил яблочной.

Опрокинул в себя две кружки, закусил рыбными консервами. Потом пил еще. Разжег печку, лег подле нее на пол. Торопиться было некуда. Тут суетись — не суетись, ничего уже не изменишь. Вдруг вижу — сквозь пыльный экран телевизора на меня смотрят два лица: мама и отец. Смотрят и весело смеются. Им радостно, что я остался совсем один.

Шофер не соврал — старый месяц сегодня и в самом деле умирает.

Вот он потускнел, покрылся зазубринами. А на ширме луна все такая же, по-прежнему освещает мое лицо и прожитые мной унылые, бесцветные годы. Лед озера больше не трещит. Затихла и наша деревня. Все уснули — и люди, и домашняя скотина, и звери в горах, и духи предков.

Каждый раз, засыпая, люди в деревне делают еще один шаг к смерти.

Казалось бы, с утра до вечера едят и пьют до отвала, а жизненная сила все уходит и уходит. Сейчас бы им уже нипочем не догнать беглеца, не забить его насмерть. Я не знаю, для чего они — нет, мы живем. Для того, чтобы не быть мертвыми? Нет. Для того, чтобы жить? Тоже нет. Почему я никак не могу забыть ту давнюю историю? Ведь со дня убийства отца Яэко прошло тридцать лет, а оно все не дает мне покоя. Ничего, теперь, наверно, забуду.

Все, что положено, я исполнил.

Что еще могу я сделать для Яэко? Ведь мы с ней давно чужие. Сейчас она лежит, удобно раскинувшись на земле, под толстым слоем снега, прямо перед своим домом. Ей там не холодно. На ней красивая одежда, сверху — снежное одеяло. Конечно, ей больше подошел бы другой наряд и другая постель, но ничего больше сейчас сделать нельзя.

Оказывается, Яэко очень идет костюм из рыбьей кожи.

Лицо сразу помолодело на двадцать лет, исчезли и морщины, и следы лишений. Может, это яблочное вино помогло? Я щедро полил им костюм, чтоб заглушить запах рыбы. Когда задуют весенние ветры и помягчеет земля, я похороню Яэко под синим камнем. Может, тогда надо будет снять с нее рыбий наряд? Не знаю, там видно будет.

Как скрипят яблони под грузом снега.

Но сил встать нет. Снова душераздирающий скрип. Уже не из сада — из ширмы. Это лопнула струна на биве. Никто на ней не играет, никто ее даже не касался, просто взяла и сама порвалась. Монах вздрагивает, приходит в себя, широко раскрывает незрячие глаза и выдыхает изо рта холодный воздух.

Он тяжело, очень тяжело вздыхает.

Какой бесконечно долгий сон ему снился. «Хороший сон, хороший»,— хрипло шепчет монах. И это его последние слова. Морщинистые веки снова смыкаются, и он перестает дышать. Как отец, как мама, как Снежок, как Яэко. В руке старика зажато спелое красное яблоко.

Слышно, как треснула большая ветка.

Вдруг ширма покосилась, хоть я ее не трогал и сквозняка нет. Потом покачнулась и опрокинулась на пол. И ничего не осталось — ни света, ни тьмы. Только мое дыхание. Но вскоре что-то забрезжило во мраке. Очень далеко, лет в десяти отсюда, я вижу цветущую яблоню. А рядом еще одну, и еще, и еще — как их много! Я поворачиваюсь спиной к упавшей ширме и засыпаю, не успев рассмотреть видение как следует. В небе над деревней луны уже нет, она умерла.

И тут снова истошно завопил староста.

ЯПОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА СТРАНИЦАХ «ИЛ»

Статьи

Гранин Д. Из книги «Сад камней», 1971, № 6.
Гривнин В. Трилогия Кобо Абэ, 1969, № 10.
Гривнин В. Критики о послевоенной литературе Японии, 1975, № 4.
Григорьева Т. Читая Кавабата Ясунари, 1971, № 8.
Григорьева Т. И еще раз о Востоке и Западе. Вступление А. Долина, 1975, № 7.
Карякин Ю. «Взорвать воображение третьих лиц...» (О романе Оэ Кэндзабуро «Записки пинчраннера»), 1982, № 5.
Кожевникова И. Страдание и достоинство. Заметки об «атомной литературе» в Японии, 1975, № 2.
Львова И. Записки о современной японской литературе, 1957, № 7.
Львова И. Записки о современной японской литературе, 1959, № 4.
Редина Е. О чем размышляют японские критики, 1978, № 2.
Саркисов К. Новый глобальный конфликт? 1991, № 11.
Симонов К. Рассказы о японском искусстве, 1958, № 7,8.
Стругацкий А., Стругацкий Б. Разговор шел о фантастике (Кобо Абэ в «ИЛ»), 1967, № 1.
Федоренко Н. Японские записи (из цикла «Традиции и творчество»), 1970, № 10.
Федоренко Н. Кавабата: взгляд в прекрасное, 1974, № 7.
Чхартишвили Г. Мученичество святого Себастьяна, или Завороженный смертью. (Эстетика саморазрушения в творчестве Юкио Мисимы), 1988, № 10.
Эренбург И. Японские записи, 1957, № 6.
Это Дзюн. Молодые писатели Японии, 1961, № 4.

Библиотека «ИЛ»

1982 **Иноуэ Ясуси** — Три новеллы (Составление и перевод Б. Раскина).
1983 **Ясуока Сётаро** — Морской пейзаж (Составление и перевод В. Гривнина).
1984 **Кавабата Ясунари** — Старая столица (Пер. Б. Раскина, составление В. Сановича).
1985 **Абэ Кобо** — Тайное свидание (Пер. В. Гривнина).
1987 **Дорога к замку.** Современная японская новелла. (Составление и пер. Г. Чхартишвили).
1989 **Эдогава Рампо** — Психологический тест (Составление и пер. Г. Дуткиной).

Критика

ГРИГОРИЙ ЧХАРТИШВИЛИ

НЕВЫНОСИМАЯ ТЯЖЕСТЬ ЛЕГКОСТИ

Японская проза в конце века

Пусть не воспримет читатель название этой статьи как глумление над классикой, к каковой, вероятно, уже следует причислять роман М. Кундеры «Невыносимая легкость бытия». «Противоположность «тяжесть — легкость» есть самая загадочная и самая многозначительная из всех противоположностей»,— пишет Кундера, обозначивший посредством отношений и взаимных переходов двух этих, на первый взгляд, очень простых понятий самую основу духовного устройства современного человека. Меняются времена, меняются представления о ценности этих категорий. Для Парменида легкость — качество позитивное, тяжесть — негативное, для Бетховена — наоборот («Бетховенский герой — атлет по поднятию метафизических тяжестей»). «Чем тяжелее бремя,— сказано в романе,— тем наша жизнь ближе к земле, тем она реальнее и правдивее. И напротив, абсолютное отсутствие бремени ведет к тому, что человек делается легче воздуха, взмывает ввысь, удаляется от земли, от земного бытия, становится полуреальным, и его движения столь же свободны, сколь и бессмысленны».

То, что происходит в японской прозе последних лет, лучше всего можно понять, исследуя баланс «легкости» и «тяжести», их столкновения и метаморфозы. Литература, которую зарубежный читатель привык воспринимать как само олицетворение «тяжести» — серьезности, глубины, психологизма,— невероятным образом и как-то уж очень быстро «встряхнулась», сбросила с себя пудовые одежды многомыслия и предстала в совершенно новом, до чрезвычайности облегченном наряде.

Но прежде чем перейти к разговору об этом удивительном преображении, признаем сразу: ни сегодняшняя, ни даже вчерашняя японская литература в нашей стране абсолютно неизвестна. «Знаем ли мы американскую литературу?» — таков подзаголовок статьи А. Зверева в номере «ИЛ» [1], посвященном культуре США. К концу статьи становится ясно: нет, наш читатель американской литературы толком не знает. О современной японской прозе вряд ли вообще стоит задавать подобный вопрос, даже риторически,— ответ известен заранее. Итак, нам предстоит обсуждать предмет, читателю доселе незнакомый.

С одной стороны, вроде бы не так уж это и удивительно. Японскую литературу в мире вообще знают довольно плохо, и тому есть свои причины. Помимо проблем, связанных с трудностью изучения языка, есть еще некий невидимый, но ощутимый культурный барьер, различие в ментальности и художественной традиции, делающие японскую литературу менее доступной восприятию иностранца. В США средний тираж переводной японской книги составляет, как правило, не более 2000 экземпляров. Как сказал недавно один из руководителей издательства «Альфред Кнопф», которое в пятидесятые годы первым выпустило на американский книжный рынок произведения Кавабаты и Мисимы, «книги, затронувшие сердца японских читателей, оставляют читателей американских равнодушными». А рецензент «Нью-Йоркера», откликаясь на перевод романа Сайити Маруя «Бунт одиночки», простодушно написал: «Я впервые понял, что у японцев, оказывается, есть чувство юмора. Раньше мне и в голову не приходило, что можно читать японскую литературу и смеяться». Полагаю, многие из русских поклонников Кобо Абэ, Кэндзабуро Оэ или Ясунари Кавабаты согласятся с мнением американского критика Ирвинга Хау, писавшего: «При чтении японской прозы больше всего мешает ощущение, что упускаешь нечто очень важное; оно где-то совсем близко, но всякий раз ускользает... Читая Кавабату и Танидзаки, я постоянно чувствую некий неясный сигнал — улыбку? мягкую иронию? непонятную мне аллюзию? Звучит какой-то приглушенный истинный голос, я его слышу, но слов разобрать не в состоянии».

Эти и подобные высказывания дают японским писателям и культурологам основание говорить, что японская литература воспринимается иностранцами неверно, остается для них во многом закрытой.

Виной тому, в немалой степени, плохие переводы: или изобилующие неточностями и ошибками, или, наоборот, слишком буквалистские, выполненные людьми, хорошо знающими японский язык, но лишенными художественного дара. Сыграло свою роль и то, что вплоть до недавнего времени японские писатели и не стремились стать понятнее иностранной аудитории. Японская литература ощущала себя невидимкой, недоступной взглядам извне. Кэндзи Накагами назвал ее нарциссисткой, без конца любовавшейся на свое отражение в зеркале и все время повторявшей одни и те же жесты.

[1] «ИЛ», 1992, № 10.

Итак, казалось бы, объяснение недостаточной известности японской литературы за рубежом найти нетрудно. И все же такое положение никак нельзя назвать нормальным. Ведь сегодня не вызывает сомнений тот факт, что Япония — великая литературная держава, каковых в современном мире насчитывается всего несколько. Подтверждением права Японии на это звание является и многовековая богатейшая литературная традиция, и многочисленность поклонников японской классики на всех континентах. Даже в самой непонятности литературы этой дальневосточной страны ощущается нечто влекущее, «приглушенный истинный голос».

Немаловажно и то обстоятельство, что Япония — великая литературная держава не только в качественном, но и в количественном смысле. В Японии существует четыре с лишним тысячи издательств, ежегодно выбрасывающих на рынок более сорока тысяч названий (большее количество книг издается только в объединенной Германии и США); объем выручки от книготорговли составляет примерно двадцать миллиардов долларов, а это даже больше, чем в США.

Ни в одной стране, кроме разве что бывшего СССР с его непобиваемым рекордом (двенадцать тысяч профессиональных литераторов), нет столько писателей, сколько в Японии. Сосчитать их, правда, невозможно за неимением Союза писателей и литературных профкомов, к тому же заработать на жизнь пером могут лишь единицы, но иногда возникает ощущение, что чуть не половина японцев испытывает тягу к писательству — столько новых имен появляется на страницах литературных журналов каждый год.

Кстати говоря, издание толстых журналов — вовсе не только российская традиция, как иногда утверждают наши отечественные авторы. В Японии литературных журналов не меньше, чем у нас, и их влияние на духовную жизнь страны, пожалуй, не меньше, чем в России. Кроме того, издается множество так называемых «донин-дзасси» («журнал единомышленников») — маленьких журнальчиков некоммерческого характера, которые выпускаются литературными группами, университетами, муниципалитетами. Причем критические разделы журналов-лидеров, таких, как «Синтё», «Кайэн», «Гундзо», «Бунгаккай», внимательно следят за деятельностью своих меньших собратьев: ведут специальные постоянные рубрики, перепечатывают все наиболее интересное, учреждают премии для лучших произведений. Если говорить о литературных премиях, то в Японии их, наверное, присуждается больше, чем во всех остальных странах, вместе взятых: от самых престижных — имени Акутагавы и имени Мисимы — до провинциальных и малоизвестных, но нередко вполне весомых в денежном смысле. В Японии, в отличие, скажем, от США, писательство — занятие почетное, вызывающее уважение.

Конечно, как и во всех прочих странах, основная часть печатаемой художественной прозы относится к разряду массовой литературы: детективы, триллеры, «мягкое» и «жесткое» порно, исторические боевики, сентиментальные саги и — как следствие японского трудоголизма — внушительная доля «экономических романов» (нечто среднее между нашей «производственной прозой» и Артуром Хейли). Литература настоящая или, как ее называют в Японии, «чистая» — то есть собственно литература, и по количеству названий, и тем более по тиражам представлена куда скромнее. Однако именно о ней пишут и говорят критики, ей достаются и все самые престижные премии. Обычное для современной цивилизации положение: «чистой» литературе — внимание критики и почет, «нечистой» — статьи культурологов и социологов, списки бестселлеров и большие деньги.

Надо отметить, что и в нашей стране при куда меньшей — до недавнего времени — зависимости издательств от рынка процент развлекательной беллетристики среди совсем немногочисленных переводов с японского был очень велик: много раз издавали и переиздавали фантастику Сакё Комацу, детективы Сэйтё Мацумото и Сэйити Моримуры. Странно только, что при всей любви нашего народа к фильмам про ниндзя и каратэ до сих пор не освоен мощный жанр японского самурайского романа. На Западе, например, классическая самурайская эпопея «Мусаси», несколько лет назад переведенная на все основные европейские языки, разошлась небывало высокими тиражами.

Однако отдадим должное отечественному читателю: вовсе не детективы и не фантастика зажгли в его сердце интерес к современной японской прозе — да такой яркий, что угли тлеют и поныне, хоть хвороста в этот костер давно уже не подбрасывают.

Началось все почти тридцать лет назад, когда никому тогда еще не известный переводчик В. Гривнин принес в редакцию журнала «Иностранная литература» повесть Кобо Абэ «Женщина в песках». О К. Абэ у нас уже слышали — он начинал входить в моду на Западе, но репутация у этого писателя была заведомо нехорошая: слыл «последователем Джойса и Кафки». Тогдашний главный редактор Б. Рюриков, который, с одной стороны, был теоретиком социалистического реализма и, если верить Краткой литературной энциклопедии, «с большой энергией боролся за претворение в жизнь принципов политики партии в области литературы и искусства», но, с другой стороны, делал весьма неплохой по тем временам журнал и, как тогда уважительно говорили, «был способен на поступок», прочтя перевод, сказал: «Отвратительная вещь, но печатать надо». «Иностранная литература» опубликовала сначала «Женщину в песках», потом «Сожженную карту» и «Чужое лицо»; появились романы Кэндзабуро Оэ — «Футбол 1860 года», «Объяли меня воды до души моей...». И японская проза стала в среде советской интеллигенции модной и престижной; критики писали о ней статьи, спекулянты продавали нечастые издания из-под полы, а читатели любили ее всей душой. Любили, но, полагаю, как и читатели западные, не очень-то понимали. Позволю себе высказать предположение, что японская проза воспринималась у нас как нечто высокоинтеллектуальное, сложное, экзотичное и при этом *очень чужое*. Тем не менее мода на эту восточную «игру в бисер» продержалась все шестидесятые, семидесятые

и восьмидесятые годы — вплоть до самой гласности, открывшей столько неведомых нам сокровищ мировой литературы, что тонкий ручеек японской прозы в этом океане просто потерялся.

Сейчас для издания японской литературы в нашей стране ситуация совершенно безнадежная. Издательствам — как старым, так и новым — нужны прибыли и тиражи, что вполне естественно, но для «чистой» литературы всех стран и народов очень печально. Подготовленные к печати переводы с японского вынимаются из планов, о новых переводах не идет и речи, и, боюсь, это надолго.

Наше представление о современной японской прозе и раньше-то было однобоким (в конце концов, произведения К. Абэ и К. Оэ никак не могли дать представления о многообразии японской литературы, да и выходили у нас куда бóльшими тиражами, чем у себя на родине), а теперь к тому же еще безнадежно устарело.

Мимо нашего внимания прошли по меньшей мере две писательские генерации. Семидесятые годы — это эпоха не только К. Оэ, но в еще большей степени так называемых «обращенных в себя» — Ёсикити Фуруи, Мэйсэй Гото, Сэндзи Курои, а также период, когда необычайно ярко светила звезда Кэндзи Накагами, чьим рассказом открывается подборка прозы в этом номере. С начала же восьмидесятых в жизни не только литературы, но и всего японского общества обозначился перелом, конечно, менее резкий и драматичный, чем социальная революция, но почти столь же существенный. Некоторые называют это переходом от модерна к постмодерну; кто-то говорит о перемене самоощущения нации, начавшей иначе воспринимать свое место в мире; можно услышать суждение и о том, что национальный комплекс, свойственный японцам еще со времен «открытия» страны в середине XIX века и неоднократно менявший свой знак, вновь проделал курбет и под влиянием экономических побед из комплекса неполноценности перерос в комплекс превосходства. Во всяком случае, несомненно то, что эра процветания привела к расшатыванию старой системы ценностей и возникновению новой: для молодых японцев, выросших в сытые и спокойные шестидесятые и семидесятые, хорошая работа и крепкая семья — незыблемые приоритеты предыдущего поколения — уже не кажутся единственной стóящей целью в жизни. «Новое человечество», как прозвали молодых японцев шокированные отцы, открыло для себя мир, полный удовольствий, приключений и не обремененный излишними обязательствами. Кроме того, мир этот, пожалуй впервые за всю историю Японии, начинает выходить за рамки архипелага, и иногда кажется, что сегодня по интересам и вкусам «новое человечество» ближе к своим сверстникам из Европы и Америки, чем к родителям.

В литературе у обновившегося японского общества, в котором всегда правят старики, а тон задают молодые, появились новые имена-символы: Харуки Мураками, Масахико Симада, Анна Огино, Гэнъитиро Такахаси (оговорюсь еще раз, что речь идет только о «чистой» литературе, иначе список новых «звезд» получился бы иным).

Что же произошло со старыми писателями, многие из которых вовсе еще не стары? Участь литератора в Японии довольно печальна — в том смысле, что очень короток писательский век; имена, гремевшие на всю страну и являвшиеся кумирами целого поколения, быстро утрачивают ореол, вытесненные новой волной. Ведь японское общество с самой революции Мэйдзи уже почти полтора века находится в состоянии интенсивного движения и развития, многократно ускорившегося в послевоенные годы. При столь стремительной перемене общественной и духовной жизни властителям дум приходится прежде времени, нередко в расцвете сил, перемещаться с витрин книжных магазинов на пыльные библиотечные полки. Нечто подобное, только в еще удесятеренном эпохой темпе наблюдается в последние годы и в нашей стране, чья культура щедро укомплектована совершенно здоровыми, нестарыми и даже преуспевающими «героями вчерашних дней». Пережить свое время для писателя — тяжкий крест. Не от этого ли в Японии писатели (притом что по средней продолжительности жизни страна лидирует в мире) часто рано уходят из жизни — кто по болезни, кто по собственной воле? Не будем забывать, что из пяти великих японских писателей нашего столетия четверо — Рюноскэ Акутагава, Осаму Дадзай, Юкио Мисима и Ясунари Кавабата — покончили жизнь самоубийством и лишь Дзюнъитиро Танидзаки мирно дожил до глубокой старости.

Итак, одни из литературных знаменитостей прежних десятилетий умерли (Такэси Кайко, Ясуси Иноуэ, Мицухару Иноуэ, Кэндзи Накагами, Кобо Абэ), большинство живы и продолжают активно работать, но их новые книги, как правило, встречаются критикой вежливо, публикой — без интереса. Главная сфера деятельности ветеранов писательского цеха — участие в дискуссиях, членство в жюри литературных премий, чтение лекций. Анна Огино как-то сказала: буду писать, пока пишется, а потом полвека буду участвовать в дискуссиях.

Читателю, должно быть, интересно узнать, чем занимались в последние годы *наши* прежние кумиры — Кобо Абэ и Кэндзабуро Оэ.

После романа «Вошедшие в ковчег» [1] (1984) Кобо Абэ семь лет хранил молчание (для японского писателя, пишущего обычно по одной-две книги в год, явление совершенно исключительное), и лишь в прошлом году выпустил в свет роман «Записки кенгуру», ставший последним произведением писателя. Герой, страдающий от неизвестной болезни (у него на ноге выросла редька), лежит в больнице, прикованный к постели. (Напомним, что в предшествующем романе герой был прикован к унитазу.) Постель эта необычная, самоходная, и на ней можно ездить. Роман разбит на семь частей — семь «уголков» некоего макаберного Диснейленда, по которым путешествует герой во время своих ночных кошмаров. Действие — чередование яви и сна — начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье смертью больного. Стиль, гротескный символизм, вся система образов

[1] «ИЛ», 1986, № 10—12.

показывают, что К. Абэ до конца остался верен своей прежней манере. Вот только время на месте не стоит, и потому «Записки кенгуру», судя по литературной прессе, вызвали еще меньший интерес, чем «Вошедшие в ковчег».

Что до К. Оэ, то он стал одной из самых заметных фигур в литературном мире, настоящим мэтром, открывателем и покровителем молодых талантов. Его статьи и эссе, выступления на международных форумах вызывают неизменный интерес. Жаль лишь, что романов Оэ теперь не пишет — одни рассказы, причем в традиционно японском жанре «сисёсэцу» («проза о себе»). Оба наших старинных знакомца остались адептами «тяжести», в то время как стрелка на весах японской литературы резво качнулась к нулю.

Первой ласточкой новой, «легкой» эпохи был роман Харуки Мураками «Слушай песнь ветра» (1979), в котором зазвучал голос космополитического, рассеянного поколения, сторонящегося всего «тяжелого» и «квадратного». Одержимость легким, не привязанным к земле образом жизни, легкими, немучительными любовными отношениями, свободой, неприятием любого *навязывания,* бывшая поначалу вызовом истеблишменту и традиционным ценностям, со временем стала чем-то вроде императива: новые молодые писатели, появившиеся и утвердившиеся в последнее десятилетие, стремятся писать во что бы то ни стало легко — и даже не из желания сделаться доступными более широкому читателю, а отражая изменения в общенациональной ментальности; иначе они не считались бы «новыми». Характерно общее изменение интонации прозы — вместо абсолютной серьезности, преобладавшей прежде, повальное веселье во всех его оттенках и нюансах: от самоиронии у Анны Огино до фарса и «черного» юмора у Масахико Симады и Гэнъитиро Такахаси. Необычайно популярны стали пародии и пересмешничество, вполне в духе постмодернистских экзерсисов. Национальная традиция в новой прозе приглушена, отошла в тень под напором переиначенных на свой, японский лад веяний с Запада. Характерная черта молодых лидеров японской прозы — отличное знание мировой литературы (некоторые из них, даже самые знаменитые, охотно занимаются художественным переводом); благодаря им японская литература стала питаться соками корней, тянущихся из Америки и Европы. Применительно к этой генерации критика иногда использует термин «кросс-культура», то есть «культура перекрестка». Впрочем, часть критиков настроена по отношению к этим литературным «полукровкам» непримиримо. Наоки Ватабэ сказал, что японская литература «почти умерла», утратила стиль, потеряла дар описания. Токио Игути считает, что современные писатели страдают «провалом памяти», не помнят того, что было создано японской литературой. В среде критиков слово «постмодернист» стало ярлыком, почти ругательством, хотя в полном смысле к постмодернистам можно отнести, пожалуй, лишь Гэнъитиро Такахаси и Ясуо Танаку.

К концу восьмидесятых бегство от «тяжелого» к «легкому» стало всеобщим, и самые модные произведения достигли легкости почти недостижимой, как, например, продукция Бананы Ёсимото, дочери известного литературоведа Такааки Ёсимото, вполне интеллектуальной молодой дамы, чьи книжки, однако, являются вовсе невесомыми и вот уже несколько лет порхают по издательскому рынку разноцветными воздушными шариками, пугая серьезных критиков миллионными тиражами (для сравнения: произведение «чистой» литературы считается успешно разошедшимся, если продано двадцать тысяч экземпляров). Недавно прелесть детски-непосредственной прозы Б. Ёсимото оценили и европейские издатели, начавшие активно выпускать книги писательницы в расчете на ее западных сверстников, таких же любителей «легкого».

Нельзя не упомянуть и еще одну, вплоть до недавнего времени безошибочную и бесспорную примету новой «легкости»: все восьмидесятые годы она была подчеркнуто аполитична, провозглашала принципиальное неучастие в антивоенных, антиядерных движениях и прочих общественных играх предыдущего поколения — чересчур уж они были «тяжелы» и серьезны.

Подборка повестей и рассказов, публикуемая в этом выпуске «Литературного гида», конечно же, слишком мала, чтобы создать у читателя емкое представление об обоих направлениях японской прозы последнего десятилетия — «легком» и «тяжелом», но поскольку ситуация в отечественном издательском бизнесе не располагает к оптимизму, вряд ли в обозримом будущем нам доведется прочесть еще что-нибудь из новой японской литературы. Подобный спецномер выходит в нашей стране впервые; впервые переводятся на русский язык и четверо из пяти представленных здесь писателей (за исключением Кэндзи Маруямы). Каждое из этих имен по-своему интересно и значительно.

Кэндзи Накагами, чей рассказ открывает подборку, был, пожалуй, самым читаемым и самобытным из серьезных писателей семидесятых годов. «Тяжесть» в те времена еще считалась достоинством, и проза Накагами весома до чрезвычайности — и сложностью стилистики, напоминающей манеру Танидзаки, только более резкой, мужественной, и трагедийностью тематики. Герои романов «Тысячелетняя радость», «Чудо», «Засуха», «Восхваление» — люди, утратившие связь с родной почвой, и лихая судьба гонит их по жизни, толкая к насилию и преступлениям. Инцест, самоубийство, патрицид — вот, прямо скажем, далеко не «легкие» темы, занимающие писателя. Во многом его творчество близко американскому «грязному реализму» Р. Карвера, Т. Вулфа, Р. Форда и всей фолкнеровской традиции. Есть у Накагами и своя Йокнапатофа: горы и леса провинции Кумано на южном острове Кюсю (там происходит и действие публикуемого рассказа).

В прошлом году Накагами умер от рака, ему было всего сорок пять лет. Перед самой смертью писателя вышел его последний роман, «Презрение», во многом не похожий на произведения прежних лет. Это очень традиционная история о трагической любви, разворачивающаяся в Токио и в некоей безымянной, безличной местности, совер-

шенно не похожей на любимую писателем Кумано. Необычно и то, что главным персонажем является женщина, танцовщица из стрип-бара. Многие считают, что ранняя смерть оборвала новую линию в творчестве К. Накагами.

Резкий перепад по части «весомости» ощутит читатель при знакомстве со вторым автором, Харуки Мураками (р. 1949), лидером следующей литературной волны, мастером так называемого «прохладного нигилизма». Любимый персонаж Мураками — знакомый нам с детства «лишний человек», только на полтора века постаревший и переселившийся на берег Тихого океана. Он всегда одинок, заперт в сейфе своего «я», извечный индивидуалист в обществе традиционных коллективистских ценностей. Собственно говоря, он не столько даже японец, сколько дитя интернациональной молодежной контркультуры 1968 года; повзрослевший и слегка присыпанный пеплом постылой и неинтересной ему жизни. Эрос и рок-музыка, то, что осталось у бывшего поколения «людей-цветов»,— вечные спутники героев Мураками. Секс играет роль могучей силы, помогающей одиночке выбраться из пресловутого сейфа и обрести связь с миром другого человека, пусть временную и иллюзорную. А музыка — постоянный звуковой фон прозы писателя, который использует названия популярных песен в заглавиях своих произведений, цитирует строки из «Битлз» и «Роллинг стоунз» в тексте. Без основательного знания рок-музыки шестидесятых и семидесятых читать прозу Мураками, должно быть, нелегко — многое в подтексте остается непонятным. Так, в рассказе «Авария на Нью-Йоркской шахте» ключ к названию, да и ко всей вещи, содержится в некогда знаменитой одноименной песне группы «Би джиз»: герой рассказа, как заваленные под землей шахтеры, чувствует себя заживо погребенным — при свете дня, среди людских толп; речь идет о клаустрофобии, терзающей современного человека, и о едва теплящейся надежде на спасение. Мураками в рок-музыке, можно сказать, профессионал: после изучения античной драмы в университете он целых семь лет проработал в музыкальном кафе, где и написал свои первые книги. Лучшим его романом, как мне кажется, была «Погоня за бараном» (1982), где баланс «легкости» и «тяжести» почти совершенен. Но затем «легкость» явно возобладала. В 1987 году Мураками выпустил роман «Норвежский лес», ставший главным бестселлером восьмидесятых и разошедшийся чуть ли не трехмиллионным тиражом. Мураками сделался очень популярен и, наверное, очень богат, но с тех пор его проза стала по легкости уже почти неотличимой от массовой литературы. Мне кажется, лучше всего об этом писателе сказал в эссе «Харуки Мураками и мы» критик Ёсихико Кадзамару. Это эссе — портрет поколения, к которому принадлежит автор и голосом которого долгое время говорил Мураками. «Мы,— пишет Кадзамару,— родились в конце пятидесятых; мы не придаем значения фирменным ярлыкам; мы не листаем в метро «Экономическую газету»; мы любим быть поодиночке; мы не создали никаких «культурных ценностей»; мы не участвуем в политике; а начиная с «Норвежского леса», мы больше не читаем Харуки Мураками». В заключение замечу, что рассказ «Авария на Нью-Йоркской шахте» написан *до* «Норвежского леса».

Масахико Симада (р. 1961) — тоже представитель «кросс-культуры», но через перекресток его творчества, помимо национальной, американской и западноевропейской магистралей, проходит и славянская линия. Русская тема присутствует во многих произведениях писателя: в повести «Крик и бормотанье скитальца-эмигранта» (1984) описан туристический вояж двух молодых японцев в страну побéдившего социализма; в недавнем рассказе «Чернодырка» герой-японец попадает в некий таинственный городок под Ленинградом, где каким-то чудом сохранился оазис старой России — прямо со страниц Чехова. Но и в тех произведениях Симады, где действие происходит далеко от России, часто незримо присутствует тень русской литературы — Достоевский, Набоков, Замятин. Е. Замятина и В. Гомбровича Симада называет своими учителями. Этот молодой, но уже очень известный прозаик по образованию русист. Первая же его повесть «Дивертисмент для добрых леваков», вышедшая в 1983 году, ввела Симаду в круг модных авторов, в чьем творчестве маститые критики дотошно выискивали характерные черты новой литературной эпохи. За минувшие с тех пор десять лет Симада написал столько книг, что вполне хватило бы на многотомное собрание сочинений. Он ввел в обиход два новых определения для героя японской литературы конца столетия: «антипатриот» и «сирота». «Антипатриот» — в силу критического отношения к своей заплывшей жиром от «сильной иены» родине. «Сирота» — потому что молодой герой Симады всегда отщепенец и чудак, плохо приспособленный к деловому прозаизму жизни. От книги к книге «сироты» Симады, поначалу подчеркнуто инфантильные, взрослеют (вместе с автором), но при этом чувство сиротства у них только усиливается. Правда, возникает безумная мечта создать всеобщее Братство Сирот — ибо отщепенцев в современном мире, оказывается, очень много. В повести «Царь Армадилл» (1991) появляется даже чудесный Спаситель всех «сирот», новый урбанистический рыцарь Ланселот, но, как всегда у Симады, дело заканчивается крахом. Если говорить о «легкости», то персонажи Симады вообще лишены гравитации; ветер легко кидает их из города в город, из страны в страну. Происходящее часто печально и даже драматично, но ощущения трагедии не возникает — слишком уж глумлива интонация автора. Писатель как бы рассказывает нам приправленные «черным юмором» анекдоты, а в Японии, где традиции анекдотов нет, критики называют манеру Симады «серьезный фарс».

Вполне фарсовы герои и ситуации и у Анны Огино (р. 1956), только серьезность в них обнаружить значительно труднее. Как уже было сказано, все новые кумиры японской прозы являются культурными метисами, детьми космополитизированной эпохи. Но если Х. Мураками можно назвать японоамериканцем, а М. Симаду японославянином, то А. Огино — явная и несомненная японофранцуженка, нечто среднее между

Мурасаки-Сикибу [1] и ранней Франсуазой Саган. Она и по крови наполовину француженка, но, полагаю, еще большее значение имеет то, что А. Огино — специалистка по французской литературе, в частности по Рабле. В творчестве этой «Франсуазы-Сикибу» почти не чувствуется влияния крепких традиций японской «женской прозы», которая с начала шестидесятых годов медленно, но верно начала теснить «мужскую прозу». Все яркие писательницы более старших поколений: Фумико Энти, Таэко Коно, Юко Цусима, Минако Оба — привержены «тяжелой» линии. По сравнению с тем, о чем пишут они: дискриминация и одиночество женщины в мужском мире, тяжелые семейные драмы, психологический надлом, трагизм любовных отношений,— проза А. Огино подчеркнуто пуста и несерьезна. Но это кажущееся бестемье нарочито, веселость отдает наигранностью, и от этого сквозь шутки и легкомысленную болтовню прорывается щемящая нота все тех же вечных тем. Анна Огино — виртуоз легчайшего письма, она обожает игру со словом, озорные каламбуры. Ее любимый жанр — литературная пародия, писательница выпустила целую серию новелл под названием «Мои любимые фиги» (что-то вроде этого, ибо каламбуры переводу не поддаются), в которых передразнивает манеру и стиль своих любимых классических книг. Трижды подряд произведения А. Огино представлялись на премию Акутагавы, что уже само по себе очень почетно, но получила долгожданную награду (в 1991 году) лишь повесть «Водяной мешок». Первое, что сделала писательница после получения премии,— написала пародию на самого Акутагаву.

Свой творческий метод А. Огино сравнивает с качелями, имея в виду стремительные и резкие переходы от смешного к грустному, от полной легкомысленности к мимоходом брошенной глубокой и горькой мысли. Но главное — не задерживаться в точке, где «тяжесть» многократно возрастает. Скорее вверх, к остроумным и живым вершинам «легкости» — таков дух эпохи.

Совершенно в отрыве от «духа эпохи» работает Кэндзи Маруяма (р. 1943), чья повесть завершает подборку. Он никогда не входил в число кумиров того или иного поколения, однако во все времена имел стабильную читательскую аудиторию. Те, кто интересуется японской литературой, возможно, читали по-русски его повесть «Течение лета», рассказы «В снегах» и «Наш выходной» из сборника «Дорога к замку», а также роман «Сердцебиение» [2]. К. Маруяма вошел в анналы японской литературы как самый молодой лауреат премии Акутагавы — он получил ее в 23 года за повесть «Течение лета», посвященную проблеме смертной казни. Уже много лет писатель живет в маленьком, затерянном среди гор городке, в столичной литературной жизни не участвует, раз в год выпускает по роману. По моему твердому убеждению, это самый независимый, оригинальный и глубокий прозаик в сегодняшней Японии. Т. Ёсимото назвал его «антисовременным»; он и в самом деле пишет не на потребителя. И Япония, которую описывает Маруяма, очень мало похожа на утвердившийся в сознании всего мира образ: ни компьютеров, ни небоскребов, ни сияющих неоном авеню. Ландшафт Маруямы — горы, леса, озера, провинциальный городок-призрак, маленькая деревня. Не так велик круг тем, к которым писатель возвращается снова и снова, но это поистине *важные* темы. Умирание природы и умирание небольшой общины. Тоска по прошедшей мимо, непрожитой жизни. И еще — боязнь таящейся в душе человека жажды насилия, иногда вырывающейся на волю и тогда оставляющей за собой пустыню.

Повесть «Плач по луне» (1986) была важным этапом в творчестве К. Маруямы, поскольку знаменовала переход к поэтической прозе (многие критики называют ее романтической, но это не совсем та романтика, к которой мы привыкли). Несколько последующих романов были построены по принципу стихотворений в прозе. Особенно примечателен последний, «Тысяча дней лазоревки» (1992), вызвавший у рецензентов очень разную реакцию — от восторга до недоуменного пожатия плечами. Роман этот поистине уникален. К. Маруяма писал его тысячу дней, в день по главке. У каждой главки — свое «я», свой голос: с нами говорят трава, ветер, птицы, пустая консервная банка, дом, даже просто чувство — но никогда человек. Повествование вырвано из человеческих рук и отдано природе, предметам, настроениям, которые показывают нам день за днем полную неброского драматизма, безысходной тоски и чудесных свершений жизнь маленького городка, его обитателей, местного дурачка и его любимой птички лазоревки. Огромный двухтомный роман на совершенно немодную, непопулярную тему воспринимается как вызов вездесущей «легкости», хотя, я уверен, К. Маруяма вовсе не намеревался воевать с духом времени, а просто писал как пишется. Честно говоря, не знаю, к какому разряду — «легкому» или «тяжелому» — предложенной мною же нехитрой классификации его причислить. Может быть, ни к какому не причислять?

В последнее время появились первые признаки того, что диктат «легкости» может в недалеком будущем закончиться. Истинной сенсацией стала внезапная общественная активность писателей «легкого поколения» во время войны в Персидском заливе: часть из них, в том числе самые отчаянные нигилисты вроде М. Симады, Г. Такахаси, Я. Танаки, выступили — о ужас! — с антивоенной *декларацией* и тем самым, по ироническому замечанию Т. Ёсимото, предали и «легкость», и деконструкционистский лозунг своего «сэнсэя» Жака Деррида: нет ничего за пределами текста.

Мне кажется, эта акция в определенном смысле свидетельствует о том, что для некоторых писателей бремя вседовлеющей легкости становится невыносимым, а ее разукрашенные завитушками рамки — слишком тесными. В произведениях, вышедших в свет в начале девяностых, есть предощущение очередной метаморфозы, чувствуются противоречивые, более сложные устремления — если воспользоваться строкой Пауля Целана — «стать тяжелее, легче быть». Возможно, не за горами новый поворот в течении японской литературы.

---

[1] Средневековая писательница, автор знаменитой «Повести о принце Гэндзи».

[2] «ИЛ», 1991, № 5.

В. АЛПАТОВ

ЯПОНИЯ: ЯЗЫК И МИФ О ЯЗЫКЕ

Сейчас модным стало обсуждение проблем, связанных с богатой мифологией XX века в области культуры, литературы, идеологии. Меньше говорят о том, как мифологическое сознание, отнюдь не потерявшее своего значения в наш уходящий век, оказывало влияние на сферу науки.

Легче легкого в наши дни объяснить это одной-единственной причиной: спецификой выпавшего из мирового процесса развития Искаженного Мира, как выражаются А. Лукин и Вл. Рынкевич в весьма интересной статье («Иностранная литература», 1992, № 3), посвященной несколько другим аспектам проблемы мифов XX в.; при этом современные проявления все той же квазинаучной мифологии столь же нетрудно объяснить уже привычными ссылками на неизжитость нашего «совкового» воспитания. А может быть, рациональнее воспользоваться советом тех же А. Лукина и Вл. Рынкевича, высказанным по иному, но все же близкому поводу: «Однако не будем увлекаться национальной или, точнее, региональной спецификой оккультно-эзотерических исканий: многие корни возрождения мифа у нас те же, что и везде»? При этом ограничимся только одной областью квазинаучной мифологии, связанной с языком и языкознанием.

Перед нами книга известного американского ученого, бывшего во время ее написания профессором университета штата Вашингтон в Сиэтле (сейчас работает на Гавайях) Роя Эндрю Миллера «Современный миф Японии. О языке, и не только о языке». Вся книга посвящена проблеме создания и функционирования научного (вернее, квазинаучного) мифа.

Если кратко суммировать положения, разбросанные по разным местам книги, то можно сказать следующее. Миф по природе своей противоречив, и ошибочность его с научной точки зрения очевидна. В основе мифа лежат какие-то реальные факты, и миф не может не иметь какие-то крупицы истины, но все это фантастически препарируется. Миф обязан воевать с врагами, при этом в один ряд становятся научные борцы с мифом и авторы явно ненаучных сочинений, а чаще идет борьба с «бумажными тиграми». Для поддержания мифа выгодно обращаться к мнению авторитетных людей, не являющихся специалистами в данной области науки. Для мифа важно отождествление разных явлений, например, языка с культурой или расой, и отождествление общего с частным. В конечном итоге миф, каким бы научным он ни стремился казаться, противопоставлен обычному «здравому смыслу» и достижениям рационализирующего разума.

Не правда ли, все эти характеристики вполне применимы к лысенковщине, к марризму да и ко многому из того, что преподавалось в наших вузах под названием марксизма?

Так вот, Р. Э. Миллер — японовед, автор многих серьезных работ по японскому языку, и данная его книга целиком посвящена социокультурным и лингвистическим проблемам Японии. У нас сейчас старые представления об этой стране окончательно вытеснены идиллической картиной богатой, процветающей державы, хорошо усвоившей преимущества западного пути развития и наслаждающейся свободой, демократией и гражданским обществом. Тем неожиданней читать у Р. Э. Миллера о японском обществе как закрытом, расистском и недемократическом; при этом обосновывает он эти доводы, что для нашего читателя совсем уж неожиданно, анализом языкового поведения японцев и их отношения к языку. И еще оказывается, что к примерно тем же выводам и тоже с языковой аргументацией, но с положительной оценкой приходят и некоторые японские авторы, например Э. Фукуда и Ю. Фукуда в книге «Интернационализация Японии и США и языковая относительность».

В чем же дело? Попробуем разобраться в том, что пишет Р. Э. Миллер. Многое вполне соответствует не только тому, что пишут другие авторы, но и непосредственному опыту людей, бывших в Японии, в том числе и автора данной статьи.

Инокультурного наблюдателя сразу заставляют обратить на себя внимание две японские особенности: японцы очень много и охотно говорят о своем языке между собой и вовсе не любят говорить о нем и на нем с иностранцами. Как замечает Р. Э. Миллер, нормальное отношение людей к языку — не замечать его, поскольку язык — не самоцель, а лишь средство; мы все настолько заняты, что не можем терять время, обращая внимание на язык, и лишь японцы да еще французы поступают иначе. В таком замечании сквозит дух страны, провозгласившей: «Время — деньги». Однако и нашему наблюдателю бросается в глаза подчеркнутое внимание японцев ко всему, что связано с их родным языком (иностранные языки занимают в жизни японца примерно столько же места, сколько в жизни советского человека до перестройки). В набор штампов ничего не значащей беседы в Японии помимо фраз о погоде входят фразы о языке. Рассуждения о языке нередки в рекламе. Популярные газеты вроде «Асахи» могут помещать на первой странице статьи по вопросам орфографии. По телевидению в лучшее вечернее время показывают передачи, аналогичные нашей «Русской речи», появляются сериалы на языковые темы, вроде фильма, где на примере одной семьи рассказывается, как формировался современный литературный язык, а в телешоу нередко выступает именитый профессор-лингвист, рассказывающий веселые истории, связанные с иероглифами. Лингвистическая литература, в том числе специальная, переиздается и раскупается, попадает в списки

бестселлеров, по числу лингвистических изданий Япония опережает даже США, а среди языковедов есть и такие, кому удалось за жизнь издать 40—50 книг. Разительный контраст с тем, к чему привыкли мы (отмечу, что и в российском демократическом движении последних лет в отличие, например, от белорусского или эстонского языковые вопросы оказались на далекой периферии)! Но и американцев это удивляет не меньше.

В то же время к иностранцу, по крайней мере, европейцу или американцу, говорящему по-японски, относятся и сейчас с удивлением. Мне не раз приходилось сталкиваться с тем, как японцы в ответ на обращение к ним по-японски переходили на английский. Однажды в самолете я долго разговаривал с интеллигентным сотрудником химической фирмы, потом разговор прервался, и я начал просматривать газету. Японец, говоривший перед этим со мной по-японски и знавший, что я профессионально занимаюсь этим языком, увидев передо мной газету, очень удивился: «Как, вы по-японски еще и читаете?» При отборе иностранных преподавателей английского или русского языка в Японии предпочитают людей, не знающих никакого языка, кроме родного, и уж подавно даже минимально не говорящих по-японски (впрочем, и у нас когда-то гувернеров и гувернанток приглашали по этому же принципу). Из всех великих держав Япония до недавнего времени меньше всего заботилась о пропаганде своего языка за рубежом. Подобные факты нередко оцениваются как свидетельство закрытости японского общества.

Все, конечно, имеет исторические корни. Островное положение Японии и длительное отсутствие внешних завоеваний способствовали национальной изоляции японцев. Японский этнос консолидировался еще в I тысячелетии н. э. и с тех пор сохранял свою идентичность; единственным изменением в течение столетий было постепенное распространение японцев по всему архипелагу при поглощении древнейших аборигенов — айнов. С начала XVII по середину XIX в. Япония вообще была закрытой страной, почти не общавшейся с внешним миром. Общий литературный язык для всех был один. Издавна выработалось представление о том, что быть японцем и говорить по-японски — одно и то же; Р. Э. Миллер считает такое представление основой японского языкового мифа. При всей связи национальных проблем с языковыми ни в одной европейской стране до такого отождествления дело не доходило, тем более оно не свойственно американской культуре. Однако оно стало естественным для однонациональной и изолированной Японии.

С 50-х гг. XIX в. в Японии началось освоение западной культуры. Ситуация была достаточно сложной. С одной стороны, была необходима модернизация страны, учеба у народов, ушедших во многих областях знания далеко вперед. С другой стороны, для привыкшего к изоляции и обособленности народа было особенно важно сохранить свою идентичность. Растворение в чужой культуре следовало предотвратить введением в действие компенсирующих факторов. Их оказалось в первую очередь два. Во-первых, это национальная религия — синтоизм,— роль которой именно в эпоху европеизации резко повысилась; синтоизм стал государственной религией. Сохранивший живые связи с мифологией синтоизм кажется для постороннего наблюдателя очень архаической религией, но для национальной идентичности он подходил больше, чем более рафинированный, но интернациональный буддизм. Во-вторых, это был японский язык, считавшийся наряду с принадлежностью к синтоизму неотъемлемым национальным свойством. В самом начале процесса европеизации были предложения отказаться от японского языка и перейти на какой-либо из европейских, но они, конечно, были нереалистичны. Наоборот, в отличие от многих азиатских стран новая японская интеллигенция не стремилась даже в своих профессиональных областях перейти на европейские языки [1]. В течение нескольких десятилетий в Японии был создан современный развитой литературный язык, обслуживающий все сферы общения. Благодаря сформированной во второй половине XIX в. государственной системе образования этот язык стал общим достоянием всей японской нации. С его помощью стало возможным выражать понятия западной культуры, в то же время он сохранил многие традиционные черты, прежде всего иероглифику как основу письменности.

В такой ситуации сложился своеобразный, непривычный для европейского или американского наблюдателя вид национализма. Если для многих стран и народов, особенно находящихся на подъеме, характерно стремление презирать все культуры, кроме своей собственной, и распространять свой образ жизни вширь, то в Японии выработался иной стереотип. Японцы привыкли учиться у других народов и перенимать элементы любой культуры. Но к этому добавлялась и своя культура, приобретаемая, по мнению членов японского общества, генетически, которую необходимо сохранять и которая не может быть отдана чужому.

Поскольку язык — один из важнейших элементов культуры и национальной идентификации, понятно, почему иностранец, говорящий по-японски, воспринимался как нарушитель чужой территории. В конце XIX — начале XX в. это чувство было особенно сильным. Один из первых английских японоведов Б. Х. Чемберлен жаловался, что на таких людей японцы смотрят как на говорящих обезьян. Особенно непозволительно было говорить «чужаку» на вариантах языка, используемых для неофициального общения, тем более на диалектах. Этого не учел русский ученый Е. Д. Поливанов, когда первым в мировой науке начал изучать нагасакский диалект. Обладавший выдающимися языковыми способностями, Поливанов быстро начал на нем говорить, но результатом было лишь полное отчуждение его собеседников. Часто инстинктивное нежелание не допускать чужих на свою языковую территорию мотивировалось соображениями о том, что японский язык «слишком труден», весьма обычными даже

[1] Исключение составили, пожалуй, лишь медики, поначалу учившиеся в Германии. Малоизвестный в Японии немецкий язык приобрел в их среде свойства, аналогичные латыни в Европе. Мне в 70-е годы приходилось видеть рецепты на немецком языке.

в японских лингвистических работах. Конечно, строй японского и европейских языков весьма различен. Однако при этом не считалось, что европейские языки составляют непреодолимую сложность для японцев. Даже в наши дни один из крупнейших японских лингвистов М. Сибатани вынужден в фундаментальной грамматике японского языка заниматься опровержением мифов (его собственное выражение) об особой трудности и полной уникальности этого языка.

Особая ситуация сложилась после поражения Японии в войне в 1945 г. Культурная и идеологическая ситуация в стране была очень похожа на ту, в которой оказались мы в нынешнее время. Крушение привычного уклада, десакрализация официальной мифологии и всеобщее разочарование в ней, экономические трудности, национальное унижение, наконец, иностранная оккупация (единственное, до чего у нас пока дело не дошло) — все это воздействовало и на языковые представления японцев. Старая система ассоциировалась со всей японской традиционной культурой, поэтому снова появились идеи об упразднении японского языка, с которыми выступил вскоре после войны видный писатель Сига Наоя. Другие не заходили столь далеко, но призывали отменить иероглифику, исключить из языка формы вежливости, развить категории лица, числа, времени. У нас виднейший японовед Н. И. Конрад всерьез решил, что «по-видимому, сейчас Япония вступает в фазу действительного завершения строительства этого (национального литературного.— *В. А.)* языка». Но, конечно, это были лишь проявления национального самоуничижения, типичного для кризисных эпох [1]. Впрочем, на волне таких настроений удалось несколько упростить и стандартизировать систему письма; по мнению некоторых авторов, такая реформа замышлялась оккупационной администрацией как первый шаг для последующей латинизации.

Однако подобное самобичевание вскоре прекратилось. Настала пора думать о том, что́ можно противопоставить быстро осуществляющейся американизации общества. Когда страна лежала в развалинах, японцы могли вслед за Набоковым сказать: все, что есть у меня,— мой язык. Язык был тем единственным национальным достоянием, которым обладали все японцы и которое не могли отнять оккупанты; к тому же последние в подавляющем большинстве не знали или очень плохо знали японский язык (национальная черта американцев — нелюбовь к использованию иностранных языков) [2]. Именно в первые послевоенные годы окончательно складывается то подчеркнутое внимание к языковым проблемам, которое и сейчас господствует в средствах массовой информации и в массовом сознании, хотя склонность к этому была, конечно, и ранее.

Р. Э. Миллер прослеживает в разных разделах книги основные компоненты японского языкового мифа: представления об особой сложности японского языка, о его уникальности и несвязанности с другими языками, о его исключительном богатстве, о склонности японцев к невербальной передаче информации, наконец, о неразрывной связи японской национальности и владения японским языком. В основе каждого из утверждений лежит некоторая фантастически препарированная крупица правды: утверждение об уникальности японского языка основано на отсутствии у него близкородственных языков, постулат о его «особом богатстве» — на наличии большого количества синонимов благодаря множеству заимствований из китайского и западных языков. Все это живет в массовом сознании во многом благодаря тем сведениям, которые в большом количестве содержатся в японских изданиях, причем пишут об этом не только дилетанты, но и вполне серьезные лингвисты.

Квинтэссенцией квазинаучных «обоснований» японского языкового мифа можно считать вышедшую в 1978 г. и ставшую бестселлером книгу врача-отоларинголога и лингвиста-любителя Т. Цуноды «Мозг японцев». Шум вокруг этой книги дошел даже до нашей страны, где, к сожалению, появились ее неадекватные оценки [3]. Тем не менее можно согласиться с Р. Э. Миллером в том, что книга ненаучна и содержит редкие для нашего времени откровенно расистские идеи.

Книга «Мозг японцев» внешне выглядит как экспериментальное исследование: ее значительную часть занимает описание опытов по восприятию правым и левым ухом гласных и согласных у информантов, принадлежащих к разным национальностям. Эти опыты должны, по мнению автора, продемонстрировать, что японцы (и еще полинезийцы) воспринимают гласные правым ухом и, следовательно (хотя прямой связи тут нет), левым полушарием мозга, тогда как у лиц других национальностей все обстоит наоборот. Даже если принять эти достаточно спорные опыты, все равно непонятно, как на основе нескольких психолингвистических экспериментов сделаны столь глобальные выводы. Сначала автор заключает, что в европейских языках гласные не связаны со смыслом, а в японском связаны, затем — что японцы воспринимают гласные так же, как голоса природы, которые недоступны европейцам, и, наконец, приходит к гипотезе о принципиально особом устройстве японского мозга, являющемся первопричиной культурных различий. Согласно книге Цуноды, европейцы, китайцы, корейцы и другие народы не способны, например, ассоциировать писк насекомых с временами года, чувствуя себя одинокими в природе, и не в состоянии выйти за пределы логики, тогда как японцы и полинезийцы (явно добавленные во избежание обвинений в расизме) в состоянии воспринимать мир не только логически, но и интуитивно.

---

[1] У нас подобное «самоедство» тоже имеет место, хотя и не играет большой роли в демократической прессе. Показательна статья: *А. Люсый.* Оскудение. «Век XX и мир», 1991, № 12, где автор всерьез доказывает вредность «большевистской» орфографической реформы 1918 г. (разработанной задолго до того видными учеными) и обличает «разгул безграмотных аббревиатур» (начавшийся еще в предреволюционные годы).

[2] Р. Э. Миллер замечает, что и во время написания его книги в американском посольстве в Токио существует «культ принципиального незнания японского языка» (в отличие от советского посольства).

[3] См. интервью с Вяч. Вс. Ивановым, «Литературная газета», 01.06.1988. Вяч. Вс. Иванова привлекала перекличка тематики книги с интересными исследованиями группы советских ученых в области речевых функций разных полушарий мозга. Однако совпадение это случайно: Цунода знал лишь исследования П. Брока и других ученых XIX в.

Только человеку, обладающему японским мозгом, дано освоить японский язык, японскую музыку и японскую культуру вообще; в то же время японский мозг способен освоить что угодно, хотя это может быть вредно: например, европейская музыка действует на японцев слишком возбуждающе.

Подчеркивается, что уникальные, отсутствующие и в развитых странах, и в странах «третьего мира» особенности японского мозга не передаются генетически: они приобретаются жизнью в японском обществе и японским языковым окружением. Корейцы, живущие в Японии в третьем поколении, имеют японский мозг, зато эмигрировавшие в США японцы его потеряли. Здесь Цунода явно исходит из идеи о наследовании приобретенных признаков, как это делал в свое время Лысенко.

Ясно, что книга Цуноды интересна лишь тем, что она в достаточно откровенной и концентрированной форме отражает уже разбиравшиеся стереотипы японского массового сознания. В ней «обосновываются» все те же старые идеи об уникальности японского языка и японской культуры и их превосходстве над другими, прежде всего европейскими: у японцев есть все, что есть у европейцев, плюс еще кое-что, что есть только у них. При этом автор облекает эти идеи в наукообразную форму, вводя в книгу описания опытов, таблицы, диаграммы и т. д. Безусловно, вестернизация Японии зашла слишком далеко, чтобы излагать традиционную точку зрения без доказательств или апеллировать к религиозному авторитету. Антизападная идея сочетается с западной системой изложения и аргументации, что очень характерно для Японии, где сосуществуют старое и новое, за сверхамериканизированным фасадом скрываются традиции, часто восходящие к эпохе, когда полностью господствовало мифологическое сознание.

Как указывает А. Мещеряков в работе «Древняя Япония: культура и текст», в отличие от «реальностей европейской, а точнее, русской культуры, которая в переломных эпохах, начиная уже с принятия христианства Владимиром, последовательно отрицает свое прошлое в кризисные моменты своего существования», Япония «демонстрирует обратный пример — накопления и сберегания». Как мы видели выше, в кризисные эпохи и в Японии бывали моменты отрицания прошлого, доходившие до идей об отказе от языка, но в конечном итоге «накопление и сберегание» побеждало.

Языковой миф, как показано у Р. Э. Миллера, нелогичен по своей сути и противоречив, мифы легко перетекают в «антимифы», иногда у одного и того же автора. Говоря об особой трудности японского языка, могут тут же говорить и о его исключительной легкости. Утверждения о совершенстве японского языка чередуются с рассуждениями о его недостатках, «нелогичности» и «неясности»; характерно, что послевоенные высказывания Сига Наоя о безнадежной испорченности японского языка не только не забыты, но, наоборот, очень часто вспоминаются, и даже с сочувствием. В языковых представлениях японцев гордость своим языком сочетается с явным комплексом неполноценности по отношению к английскому языку, появившимся еще во время оккупации. Автору статьи пришлось видеть, как на фестивале японских национальных танцев (мероприятие, заведомо рассчитанное на японцев) отечественный мотоцикл «Вираго» фирмы «Ямаха» рекламировался на английском языке, хотя средний японец не так уж хорошо его знает. Реклама высококачественных товаров, уже давно превосходящих соответствующие американские, все еще ассоциируется с языком, традиционно престижным в данной сфере.

Однако с годами эти комплексы явно идут на убыль. Успехи Японии привели к трансформации языкового мифа. Остается гордость своим языком, подчеркивание его уникальности, но преодолевается лингвистический (шире: культурный) изоляционизм. Массовое сознание еще сохраняет прежние стереотипы: достаточно чуть-чуть отъехать от Токио, чтобы убедиться в том, как японцы, особенно дети, до сих пор выходят глазеть на принадлежащего к другой расе иностранца, а слыша от него японскую речь, просто не знают, как себя вести. Но официальная политика уже иная.

С 70-х гг. японское правительство активно разрабатывает и финансирует программы распространения японского языка за рубежом, в основном ориентируясь на страны Тихоокеанского бассейна, включая США и Канаду. Причины этого понятны: как заявил один японский чиновник, «люди, изучающие японский язык, склонны сделаться понимающими друзьями Японии в будущем». Современные японские лингвисты (например, Т. Судзуки) уже рассматривают проблему заимствования и калькирования из японского языка в английский и рассуждают на тему: «Будет ли в XXI веке мир говорить по-японски?».

Современный этап все того же японского языкового мифа отражает уже упоминавшаяся книга братьев Эйити Фукуды и Юдзи Фукуды «Интернационализация Японии и США и языковая относительность». Здесь также наукообразный стиль изложения и ссылки на вполне реальные научные авторитеты использованы для утверждения заранее подготовленных идей (отметим, что авторы этой книги, как и автор работы «Мозг японцев», не профессионалы в своей области: оба инженеры и специалисты по менеджменту). И опять представления об особом характере и преимуществах японской культуры и японского образа жизни аргументируются языковыми данными. Отечественный читатель привык к тому, что в согласии с марксизмом принято базисом считать экономику, но необычным для него окажется стремление считать базисом язык. Однако во всем остальном подход, содержащийся в книге братьев Фукуда, вполне традиционен и для нас: задается любимый автором или требуемый конъюнктурой тезис (коммунизм — «светлое будущее человечества» или, наоборот, «черная дыра»), а далее из моря фактов и научных концепций выбираются те, которые позволяют проиллюстрировать этот тезис должным образом (если их не хватает, то можно и присочинить).

Авторы опираются на известную концепцию американского лингвиста-любителя 30-х гг. Б. Уорфа, согласно которой мышление, культура и поведение людей определяются

в первую очередь строем их языка, его грамматическими и лексическими особенностями. Они сопоставляют английский и японский языки с точки зрения порядка слов, синтаксической структуры, ударения, орфографии и т. д., находя в самых разных языковых особенностях отражение двух, с их точки зрения, основополагающих принципов: в английском языке на первое место выходит обозначение части, в японском — обозначение целого; английское предложение состоит из обособленных и противопоставленных друг другу элементов, в японском предложении все взаимосвязано и гармонично. Эти различия в последующей части книги проецируются на культуру и общество.

Братья Фукуда приводят большое количество известных, но в совокупности достаточно впечатляющих фактов, иллюстрирующих все тот же тезис: американские культура и общество атомарны, механистичны, индивидуалистичны, а японские — целостны, спаянны и гармоничны; всячески подчеркивается коллективизм японцев и превосходство интересов государства, фирмы, семьи над интересами индивида. Западное общество, согласно авторам книги, капиталистическое, японская же экономика — не рыночная, а государственно регулируемая. Вывод авторов: американское общество имеет преимущества там, где важна индивидуальность, прежде всего в сфере науки и техники; зато японское общество намного превосходит его там, где речь идет о человеческих взаимоотношениях, начиная от экономики и кончая воспитанием детей. А поскольку различие определяется строем языка, то пока японцы пользуются японским языком, а американцы английским (что вряд ли может измениться в обозримом будущем), превосходство Японии будет сохраняться. Но если из книги Таданобу Цуноды следует логический вывод (прямо не формулируемый автором) о невозможности полноценного культурного диалога между Японией и остальным миром, то Эйити Фукуда и Юдзи Фукуда, наоборот, всячески подчеркивают необходимость интернационализации, взаимодополнения и взаимопроникновения.

Итак, если еще недавно японский языковой миф служил целям защиты японской национальной и культурной идентичности, противодействия западному, особенно американскому давлению, то теперь он помогает распространению японской культуры, японского образа жизни в мире, пропаганде японского пути развития; при этом такой путь связывается с признаками, которые сейчас, особенно у нас, принято ассоциировать не с демократией, а с тоталитаризмом.

Однако общие свойства японского языкового мифа, выделенные Р. Э. Миллером, остаются неизменными. По-прежнему отождествляются языковые признаки с расовыми и культурными, по-прежнему японское общество и японский язык искусственно противопоставляются западным [1], по-прежнему владение японским языком рассматривается как свидетельство превосходства японцев над людьми белой расы. При этом используется квазинаучная аргументация, но в то же время мифу помогает и непознанность многих явлений. Современная наука по-прежнему очень мало может сказать о связи языка и культуры, языка и мышления, о языковых картинах мира и их национальных особенностях; эмпирического материала даже слишком много, но нет способов его систематизации, нет какой-либо научной теории, гипотеза Б. Уорфа остается недоказанной и неопровергнутой; наука только подступается к этим вопросам. В речевых механизмах мозга тоже много непонятного и загадочного. Здесь, как и во многих других сферах, мифотворцы от науки легко могут объявить о том, что ими решены давно интересовавшие человечество проблемы.

Обратимся для сравнения к явлению сугубо отечественному — знаменитому когда-то «новому учению о языке» академика Н. Я. Марра. Мы не будем здесь излагать детали этого «учения» и историю его взлета, упадка и гибели, об этом автор статьи уже писал [2]. Хочется лишь поговорить о том, почему марризм мог оказаться на некоторое время столь популярен, но потом был обречен на забвение.

Сейчас уже не приходится спорить о том, что марровское «новое учение о языке» отношения к науке не имеет. Любая попытка непредубежденного читателя разобраться в пяти томах избранных трудов Марра приводит к однозначному выводу: перед нами скорее бред сумасшедшего или камлание шамана, чем научный труд.

Тем не менее в 20—30-е гг. очень многие воспринимали идеи Марра совсем по-другому. И среди этих людей были не одни полуграмотные «выдвиженцы» — пламенными марристами были талантливые, яркие, самостоятельные люди, достаточно назвать О. М. Фрейденберг, Н. Ф. Яковлева, В. И. Абаева, А. А. Холодовича. А если перечислять ученых, хотя бы эпизодически выступавших в те годы с похвалами Марру и его учению, то это просто почти весь цвет отечественной науки: В. И. Вернадский, Н. И. Вавилов, А. П. Карпинский, А. Ф. Иоффе, С. Ф. Ольденбург, И. Ю. Крачковский, В. М. Алексеев, Л. В. Щерба и др. (одно из редких исключений — И. П. Павлов, оценивавший Марра как параноика).

Чем так привлекал марровский миф? Думается, что он, как и аналогичные ему квазинаучные мифы, возник на пересечении двух идей, уже мифологических по природе. Это, во-первых, общая для европейской культуры XX в. (и других следовавших за ней культур вроде японской) идея о всемогуществе науки; во-вторых, тоже достаточно всеобщая, но достигшая апогея в нашей стране идея о необходимости полного преобразования всей жизни.

Идеи Марра соответствовали духу эпохи. Сама привычка рассматривать все явления «в мировом масштабе» (любимое выражение Марра) столь же была характерна для него, как и для поэзии В. Маяковского и В. Хлебникова и вообще левого искусства 20-х гг. А его обличения старой русской и западной науки, стремление построить совсем

[1] Японский язык противопоставляется западным, особенно английскому, так, будто в мире нет языков, похожих по структуре на японский, хотя таких языков много, особенно в Азии, начиная от ненецкого и кончая тамильским. При этом культура и строй там совсем другие.

[2] *В. М. Алпатов.* История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991.

новую науку, апелляции к народным массам и выходящим на мировую арену народам Востока, борьба с европоцентризмом, гипотезы о будущем всемирном языке!

Кризисные эпохи создают мифологических личностей; массу примеров мы имеем и в наши дни, в том числе и в научной сфере. Марр был одной из таких личностей в 20—30-е годы. А уже к концу 30-х стало приходить отрезвление. Имя Марра после его смерти в 1934 г. стало чисто декоративным, его по инерции продолжали считать великим ученым, но от его учения остался лишь набор дежурных цитат. И когда Сталин обнаружил, что марровские идеи уже не соответствуют новой конъюнктуре, миф рухнул окончательно.

Несложно заклеймить научный, а вернее, квазинаучный миф, и обличить его очевидные изъяны. Но проблема мифа и мифологического в самом широком смысле сознания имеет еще одну сторону: а что можно мифу противопоставить? Сейчас, живя в эпоху распада мифов, мы явственно ощущаем, насколько они владели умами даже тех людей, которые считали себя совершенно от них свободными. И август 1991 г. не привел к демифологизации нашего общества, наоборот, место одних мифов быстро занимают другие, впрочем, многие уже и в них разочарованы, но не знают, чем их заменить.

А теперь вернемся к японскому лингвистическому мифу. Сколь бы очевидно ненаучным он ни был (чтобы опровергнуть его, достаточно сравнить японский язык с каким-нибудь типологически близким, скажем, с нанайским), несомненно одно: этот миф японцам «строить и жить помогает». Ощущение обладания уникальным достоянием — японским языком — помогло японцам противостоять культурной экспансии более сильных народов и просто сохраниться как нации, утешалю их в годы, когда все рухнуло, а страна была оккупирована завоевателями. Теперь же оно укрепляет чувство национального достоинства [1].

Японский языковой миф оказался очень устойчивым, его научные «обоснования» — не причина его, а лишь один из способов его оптимального существования и развития. Языковеды поставляют то, что нужно общественному сознанию.

Японский языковой миф связан с теми областями языкознания, которые пока не располагают хорошим исследовательским инструментом, и, главное, этот миф имеет социальные корни. Разрушить его может только полная интернационализация японского языка, когда пользование этим языком перестанет связываться с генетическим происхождением. Но до этого еще далеко!

---

[1] Изменившиеся условия привели еще к одному новому явлению: японцы в отличие от прежних лет стали активно искать «национальные корни» вне Японии. Книги о родственных связях японского языка (часто научно слабые) становятся бестселлерами, пропагандируются идеи о японо-алтайской и японо-австронезийской общности (на «ЭКСПО-85» этому был посвящен целый павильон). Это не рушит идеи об «уникальности» своего языка.

А. МЕЩЕРЯКОВ

ВЗГЛЯД НА ПРОСТРАНСТВО И ПРОСТРАНСТВО ВЗГЛЯДА

Каждая культура по-особому зрима и по-своему зряча. Но если зримое в ней, как правило, растиражировано достаточно широко, то взгляд на мир через оптическое устройство, именуемое культурой, нуждается в труде и усилиях, еще до конца не проделанных.

Нынешний человек обитает в среде, которая является творением его собственных рук. Можно сказать, что все, окружающее горожанина, есть культура. Это не только литература и живопись, но и дома, дороги, пища, одежда и даже устройство экономики. Другое дело, что природная среда оказывала и оказывает огромное влияние на все, чем мы занимаемся.

Культуру можно познавать по-разному. Можно анализировать произведения классической литературы, а можно — просто поглядеть себе под ноги. Самое же верное — попробовать сделать и то, и другое.

Вот я сижу в номере японской гостиницы. Знаю — на улице душновато, а здесь, в комнате, кондиционер гонит прохладный воздух, но я все равно жду наступления темноты — чтобы выключить кондиционер и открыть окно. Стекло в окне — затуманенное, непрозрачное, такое, какое используют в туалетах. На раме — грозная предупреждающая надпись: «Ваше окно выходит на юг. Просьба не открывать окно, поскольку рядом находятся частные дома».

Но я жду наступления темноты — чтобы выключить кондиционер и электричество и посидеть у полуоткрытого окна, говоря очень русским словом — посумерничать, наблюдая, как угасающий свет поглощает очертания домов, на которые мне не разрешают смотреть.

Если прочесть надпись на окне не с недоуменным пожатием плеч, а со вниманием, то в ней можно обнаружить бездну культурной информации — как о Японии, так и о России.

Первое, что удивляет в ней нашего человека, так это указание на юг. Казалось бы — в нем нет никакого смысла, ибо окно в комнате только одно, и при всем желании я никак не могу открыть окно, выходящее, скажем, на север. Однако японец привык четко определять свое место в пространстве, а для того ориентировка по сторонам света является важнейшим подспорьем. Приезжая на новое место, японцы почти непременно поинтересуются, какое же положение занимает их гостиница относительно сторон света. Быть может, не отдавая себе отчета, они следуют в том за своими предшественниками: многие произведения японской классической литературы представляют собой подробнейший путеводитель (с указаниями типа: он стоял в северо-восточном углу комнаты северного крыла дворца) по тем местам, где разворачивается действие.

Когда мы в Москве объясняем друг другу дорогу, обычно говорим: «Выйдешь в головном (хвостовом) вагоне метро». Токиец же скажет: «Встретимся у северного входа».

Древние столицы Японии — Нара и Хэйан (Киото) — были выстроены согласно заранее разработанному плану, в соответствии с которым улицы пересекались под прямым углом и вели либо с севера на юг, либо с востока на запад. Другое дело — Москва, план которой представляет собой радиально-кольцевую структуру. При таком расположении улиц горожанину важнее знать, где находится центр (Кремль), а не север. Поэтому обычным является объяснение типа: если стоять спиной к центру, то следует повернуть направо.

В России есть один город, устроенный регулярно, подобно Нара или Киото. Это — Санкт-Петербург. На протяжении двух веков Петербург был столицей, но затем она была снова перенесена в Москву. И хотя переносу столицы находятся сугубо прагматические основания, но все-таки в этом акте был и глубоко символический смысл: «умышленная» регулярность всегда ассоциировалась у российских людей с чем-то казенным, чужим. Недаром герой «Петербурга» А. Белого, предстающий как воплощение петербургского бюрократизма, характеризуется именно через географический код: «Аполлон Аполлонович только раз вошел в мелочи жизни: проделал ревизию инвентарю; инвентарь был регистрирован в порядке и установлена номенклатура всех полок и полочек; появились полочки под литерами: а, бе, це; а четыре стороны полочек приняли обозначение четырех сторон света.

Уложивши очки свои, Аполлон Аполлонович отмечал у себя на реестре мелким бисерным почерком: очки, полка ка-бе и св, то есть северо-восток, копию же с реестра получил камердинер».

Не скажу, что российскому человеку совсем уж безразлична его ориентировка относительно сторон света, хотя современному горожанину это становится не так интересно. Однако попадая в пространство, не заслоненное домами, вновь испытываешь естественную потребность знать, где ты находишься. Я, например, адресуя свой вопрос местным жителям, всегда спрашиваю: «А где здесь солнышко всходит?» Для человека, обитающего в условиях бескрайней равнины, постановка вопроса именно в такой форме очень естественна. Пространство же, в котором традиционно обитали японцы, как правило, замкнуто, окружено горами, и потому наблюдать восход солнца и заход солнца за линию горизонта удается в Японии далеко не каждому. Поэтому в культуре Японии линия горизонта, в отличие от России, не имеет особого значения,

а существование в замкнутом пространстве, ограниченном горами, ширмами сёдзи или непрозрачным стеклом, не представляется японцу чем-либо неорганичным.

Японцы глядят не в даль, а в стену. Именно стена может быть признана одним из основных символов японской культуры. Вспомним, как происходит медитация у дзэнских монахов: они сидят, повернувшись к стене и отвернувшись от мира и простора.

Мы так не умеем. Оттого-то я и жду вечернего часа — чтобы незаметно для окружающих и администрации гостиницы открыть окно. Наша болезнь — клаустрофобия, болезнь же японской культуры — агорафобия.

В самом деле, по отношению к пространству дальнему японцы почти на всем протяжении своей истории вели себя достаточно пассивно, и обживание дальних земель никогда не было их сильной стороной. Окруженные морями, японцы не создали надежных и быстроходных судов, способных совершать дальние переходы, и потому страна не знала ничего, подобного эпохе географических открытий.

Как отмечает французский исследователь Августин Берг, 1492 год может считаться для Европы символическим в двух отношениях. Это, во-первых, год открытия Колумбом Америки. И во-вторых, в этом же году Антуан де Бэр по повелению Карла VIII поднялся на альпийскую вершину Эгю (2097 м), считавшуюся доселе неприступной, открыв таким образом эпоху альпинизма и положив конец эпохе запрета на восхождения (гора считалась обиталищем злых духов). А в 1333 году Петрарка, стоя на вершине двухтысячеметровой горы в Провансе, воспел красоты, оттуда открывающиеся. Начиная с этого времени, европейские горы в значительной степени утратили ореол мистической таинственности и стали предметом спортивного, туристского, эстетического, а затем и хозяйственного освоения.

Что же касается японцев, то вплоть до XX века горы, среди которых проходила их жизнь, оставались для них в основном источником религиозного опыта. В горы поднимались по преимуществу отшельники, возжелавшие приобщиться к мистической силе синтоистских божеств, обиталищем которых считались горы.

Японцы всегда предпочитали маршруты уже освоенные, опробованные, в особенности отмеченные посещением какой-нибудь выдающейся личности. Например, поэта — японские стихотворцы любили скрупулезно указывать, где и по какому случаю было сложено то или иное стихотворение, так что пути их странствий оказывается возможным восстановить достаточно точно.

Даже настоящее освоение Хоккайдо началось только во второй половине XIX века, и протекало оно при самом непосредственном участии заграничных экспертов — американских прежде всего. Поэтика пионеров и первопроходцев — отнюдь не в характере японцев, и даже теперь весь строй их жизни организован таким образом, что бóльшая часть населения сосредоточена в гигантском мегалополисе на побережье Тихого океана, в то время как плотность населения у Японского моря, на островах Кюсю, Сикоку и Хоккайдо сравнительно невелика.

Большая концентрация населения безусловно благоприятна с точки зрения достижения экономических результатов, ибо все информационные и хозяйственные процессы протекают в такой среде с большей скоростью. Однако жить дверь в дверь, окно в окно согласится далеко не всякий народ: население должно быть готово жить в тесноте и считать такое положение вещей нормальным. Несмотря на частые сетования японцев на тесноту, мало кто из них отваживается на добровольное переселение в более разреженную среду.

Привычка жить тесно наблюдается в японской истории достаточно давно. Так, население Киото составляло в 1681 году около 580 000 человек, Осака в начале XVIII века — 400 000, а Эдо (Токио) с населением более одного миллиона человек в первой половине XIX века был крупнейшим городом в мире.

Жизнь в ограниченном пространстве, помноженная на физическую невозможность покинуть страну (с середины XVII века по 1867 год выезд из Японии был запрещен), выработала привычку уживаться друг с другом, решая неизбежно возникающие при общежитии конфликты без прибегания к крайним мерам. Результат: очень незначительная диаспора, которая в последние десятилетия не имеет практически никакой подпитки.

Усилия же по освоению пространства за пределами Японских островов всегда оканчивались неудачей. Об этом свидетельствуют попытки колонизации Корейского полуострова в VI—VII и XVI веках, а также серия империалистических захватов в конце XIX — первой половине XX века, закончившихся полным крахом.

Это и немудрено: живя в условиях ограниченного, островного пространства, японцы не научились оперировать стратегическими категориями. Уже увязнув в Китае, японский генералитет отважился на Пёрл-Харбор, начав ничем не обеспеченную войну с США. И дело здесь, думается, не в природной глупости генералов, а в их в буквальном смысле этого слова «недальновидности», то есть культурно обусловленной неспособности оперировать невиданными до сих пор масштабами. Не о том ли говорит и японское присловье, утверждающее: «Лягушка в колодце не подозревает о море»?

Культура Японии, которая известна ныне на Западе, может пониматься прежде всего как культура детали, а не целого. Не лес, а дерево; не дерево, а ветвь; не ветвь, а листок; не листок, а прожилка на нем — так устроено зрение «классической» японской культуры.

Но так было не всегда. В архаический период формирования государственности можно говорить о «дальнозоркости» культуры, то есть способности охватывать взглядом обширное пространство, различать объекты вдали и моделировать их в человеческой деятельности. Строились гигантские погребальные курганы, буддийский храм Тодайдзи (перестроенный вариант которого представляет собой до сих пор самое крупное деревянное сооружение в мире), в VIII веке создается поэтическая антология «Ма-

нъёсю» («Собрание мириад листьев»), одной из основных тем которой является воспевание путешествий и покорения пространства.

Стиль жизни и стилистика искусства — изоморфны. Стихи «Манъёсю» свидетельствуют не только о пафосе покорения пространства, но и о том, что личность и межличностные отношения реализуются через переживание пространства. Одна из главных тем «Манъёсю» — разлука: с родными местами, друзьями, родственниками и возлюбленными. Именно физическое перемещение в пространстве ведет к изменению душевного состояния и служит источником лирического напряжения.

Как отметил исследователь раннегреческой поэзии Б. Снелл, «в выражении личных чувств и требований ранние лирики пытаются воспроизвести те эпизоды, в которых индивидуальность неожиданно вырывается из широкого потока жизни, когда она ощущает себя отделенной от вечнозеленого дерева всеобщего роста... Только эмоциональный разлад, вызванный несчастной любовью, является по-настоящему личным». Ситуация «несчастной любви», знакомая поэтам всех стран и эпох, в прочтении поэтов «Манъёсю» трактуется как физическое отделение от любимой в результате путешествия, часто вынужденного — по делам службы или повелению государя. Именно временное одиночество и оторванность от привычного уклада служат одним из основных условий для проявления лирического чувства. Личность обнажается лишь при пространственном перемещении.

Путешествие, однако, может иметь и совсем иную поэтическую и психологическую «сверхфункцию». Движение удаляет от привычной среды, но одновременно и приближает к природе. Отсюда — созерцательная сторона раннеяпонской поэзии, создающая эффект слияния человека с природой. Странничество, таким образом, приспособлено культурой для выявления сокрытого в человеке потенциала. Пространство поэтому с полным основанием может быть названо субстанцией лирической.

Однако затем, вместе со стабилизацией управленческих и социальных структур, поэтика покорения пространства сходит на нет, преодолевается и синдром гигантомании. Пространство как бы консервируется в пределах уже освоенного и начинает не развертываться, а свёртываться. Уже вторая по счету японоязычная поэтическая антология — «Кокинсю» («Собрание старых и новых песен»), составленная в начале X века, являет собой новый этап не только в эволюции поэзии, но и культуры вообще. Это время можно определить как период культурного самоограничения, когда тесные контакты с материком (в первую очередь с Китаем) добровольно свертываются и накопленные за два столетия достижения континентальной цивилизации подвергаются ревизии и переосмыслению. В результате культура приобретает сугубо японские черты.

К этому времени японцы предстают как полностью оседлый народ, не знающий сколько-нибудь значительных миграций. Предки японцев, перед тем как заселить острова, прошли длительный путь (японский язык относится к алтайской языковой семье, его ближайший родственник — корейский), но только здесь они превратились в «настоящих» японцев — земледельческий народ, практически не знающий скотоводства, тем более отгонного — ограниченность пригодной для этого территории гарантировала оседлость, так же как и ведение интенсивного растениеводства, исключающего подсечное земледелие.

Что такое оседлый народ? Это народ, занимающийся доместикацией ближнего пространства. Вся жизнь его проходит внутри четко ограниченного круга, в котором каждая вещь находится на своем месте, ибо человек попросту не имеет выбора и вынужден искать ей место внутри одомашненного пространства, а не вне его — в страшном, неупорядоченном хаосе. Отсюда привычка к аккуратности, точности и пунктуальности, которая поражает всякого, кто сталкивается с японцами.

Не обходится, разумеется, и без курьезов. Как-то раз в Японии я был свидетелем переезда некоего учреждения. Как и у нас, к каждому столу и пишущей машинке была прикреплена металлическая бляха с инвентарным номером. И вдруг объявился бесхозный стул без оного. В нашей (да, пожалуй, и в любой другой) стране этот стул был бы без лишних слов погружен на автомобиль (стул он ведь и есть стул, даже без номера). Здесь же произошло следующее. Служитель конторы отрезал ножницами аккуратную полоску бумаги, вывел на ней фломастером «стул» и повесил ее на спинку... Так этот стул и путешествовал.

Я назвал этот эпизод «курьезным». Японцы же, однако, восприняли бы как курьез, если бы стул маркирован не был...

И снова ненадолго вернемся к классической литературе. По сравнению с «Манъёсю» в «Собрании старых и новых песен» топонимы появляются намного реже — аристократы почти перестали путешествовать: они осели в столице. Рассуждали они, надо думать, приблизительно так: к чему преодолевать расстояния ради встречи с природой, если ее можно приблизить к собственному дому? И на свет появляются декоративные сады, природу имитирующие. Много меньше в стихах «Кокинсю» и названий диких животных и птиц — обитатели Хэйана попросту не имели возможности встретиться с ними... Пространство страны свертывается до пределов столицы, государева дворца, собственного дома и тела. Размеры этого пространства определяются взглядом, визуальными возможностями человека, который перестает смотреть вдаль. Взамен этого развивается способность к детальному структурированию ближнего пространства, умение видеть и замечать малейшие изменения в нем.

Умение японцев называть произрастает от того же корня, ибо для того, чтобы назвать, надо сначала увидеть. Лингвисты давно обратили внимание на то, что при бытовом общении японцы употребляют намного больше слов, чем европейцы.

Отсюда — постоянный «крупный план» хэйанской поэзии и прозы. Событие получает статус истинного только тогда, когда оно непосредственно наблюдаемо. Всеведающий хронист более ранней эпохи, не имеющий фиксированной точки пребывания,

в хэйанской литературе отсутствует. Пространственная точка нахождения автора всегда определена, и он может находиться только там, где он в действительности находится, доверяясь лишь собственному опыту и взгляду.

Немало усилий тратится автором и для определения местоположения персонажей, перемещения которых (происходящие по преимуществу в детально структурированном внутреннем пространстве дома, членимого с помощью многочисленных перегородок, штор, занавесей, пологов, экранов и ширм) тщательно фиксируются. Пространство же открытое, неодомашненное и потому хаотичное подлежит изображению в гораздо меньшей степени.

Такой метод исключает реконструкцию — наблюдатель и наблюдаемое неразрывно связаны взглядом (не: он вошел, а: я увидел, как он вошел). Объект изображения не существует вне зависимости от пространственного положения автора — он оживает, лишь попадая в его поле зрения.

Глагол «миру» — «видеть» и его производные становятся основой сказуемостного словаря времени Хэйана. В небольшом (менее 50 страниц в современном японском издании) «Дневнике Мурасаки-Сикибу» [1] (начало XI века) глаголы этого типа встречаются около 200 раз (отметим также обильное употребление глагола «слышать», который наряду с «видеть» свидетельствует о возможности описания некоторого действия лишь при условии присутствия смотрящего / слушающего). И всякий раз, когда событие недоступно зрению автора, он (а вернее, она) оговаривает это, не ручаясь за точность и достоверность описания. Зрение фиксируется на малом, доступном непосредственно чувственному восприятию и наблюдению.

Это утверждение может показаться парадоксальным, но даже нынешние японцы не слишком «доверяют» современным средствам связи — телефону, например. В отличие от Америки в Японии ни один важный вопрос по телефону не решается. Телефон служит для того, чтобы назначить встречу,— в Японии не проводятся «селекторные совещания». Нахождение собеседника в поле зрения считается непременным условием для решения дел. Япония — наверное, первая в мире страна по количеству ресторанов и конференц-залов на душу населения именно по этой причине. Так поэтика древней литературы определяет прозу современной жизни.

Наблюдаемая в литературе «мелочность», привязанность к объекту изображения ограничивает возможность «отлета», отвлечения мысли, что является непременным условием абстрактного мышления. Пожалуй, это свойство — одна из причин слабости японской философской традиции.

Всякий, кто знаком с японской литературой — как классической, так и современной,— вероятно, отмечает любовь к детали и озабоченность ею. Начала подобного мировидения относятся к эпохе Хэйан (IX—XII вв.). Именно с этого времени вместо оптического прибора с широким углом зрения стал использоваться микроскоп.

Для того чтобы читателю было лучше понятно, о чем идет речь, приведем наудачу какой-нибудь пассаж из «Дневника Мурасаки»:

«Я заглянула за бамбуковую штору и увидела там дам, которым позволялось носить запретные цвета. На них были, как и полагалось, нижние накидки карагину желто-зеленого или же алого цвета с набивным узором по белому полю. Верхние накидки были из темно-алого шелка. И только накидка Мума-но Тюдзё была бледно-лиловой. В нарядах дам перемешивались все оттенки осенних листьев; нижние же одеяния выглядели, по обыкновению, весьма пестро: густой и бледный шафран, лиловый на голубой подкладке, шафран — на голубой, на иных — в три слоя. Были там и такие, кому запретные цвета носить не позволялось. На дамах постарше были карагину желто-зеленые или же темно-алые с пятислойными обшлагами из узорчатого шелка. От яркости их подолов с изображением морских волн рябило в глазах, а пояса были украшены вышивкой. Нижние одеяния в три или же пять слоев были окрашены в цвета хризантемы различных оттенков...»

После этого пассажа читателю, может быть, станет понятнее, почему современные японцы способны различать больше цветов, чем европейцы...

Сужается не только угол зрения, но сами литературные формы, в которых овеществляется подобный менталитет, также стремятся к минимизации. Может быть, более всего это видно в поэзии, где в VIII веке еще были возможны «длинные песни» («нагаута») с неограниченным количеством слогов. Однако в X веке уже абсолютно доминирует пятистишие танка (31 слог), которое впоследствии сосуществует с 17 слогами хайку. Проза также в целом тяготеет к коротким формам. Квантом повествования выступает короткий монотематический рассказ. Отсюда — обилие различного рода сборников. Мозаичность, составленность произведения выступает как наджанровый принцип словесности.

Собственно говоря, не только словесности, а и культуры вообще: без отдельного человека невозможно человечество, без травинки — луг, без цветка — сад. Знаменитая притча о мастере чайной церемонии Рикю повествует, что он владел замечательным садом, в котором выросли прекрасные повилики. Некий знаток цветов прознал об этом и пожелал навестить мастера. Тот же к приходу гостя оборвал все цветы в саду, оставив лишь один, который он поместил в бронзовую вазу. Логика его поступка была такова: целое постигается через единичное, освобожденное от отягчающих подробностей.

Такую же картину мы наблюдаем и в живописи. Знаменитая пейзажная живопись «сансуй» («горы и воды»), как и многое другое, была заимствована японцами из Китая. Однако, будучи перенесена через море, она приобрела специфически японскую стилистику, характеризующую местный менталитет в целом. Если китайские художники тяготели к изображению обширного пространства и на их полотнах присутствует, как правило, ближний, средний и дальний план, то мастера японские предпочитали концентрироваться на плане ближнем.

[1] Мой перевод «Дневника Мурасаки» см. журнал «Восток», 1992, № 2, 3.

Японский способ познания постоянно из целого вычленяет единичное, фокусируется на нем. В атомизации объекта, его расчленении — сильная сторона такого менталитета. Если применить литературную аналогию, то японские исследователи предпочитают изучать один-единственный иероглиф, и на этом уровне анализа им нет равных. Что же до синтеза — понимания текста в целом, то они либо добровольно отказываются от этой задачи, не считая ее существенной, либо решают ее не со столь блестящими результатами.

Полифонический роман-эпопея — не японского вкуса и умения дело. Гений японского народа — в трехстраничном рассказе Кавабаты Ясунари, трехстишии Басё, взмахе кисти.

Зрение японцев может быть названо фасеточным. Оно приносит свои плоды лишь при условии пристального вглядывания в ближнее, окружающее тебя околотелесное пространство. Только тогда оно открывает тебе свои красоты и не оказывает сопротивления деятельности человека по приспособлению его к своим потребностям.

Японские здания оказываются внутри намного больше, чем они кажутся снаружи. Этот поразительный зрительный эффект достигается чрезвычайно продуманным структурированием внутреннего пространства, его умелым использованием: каждая вещь находится на своем месте и предельно функциональна.

Если в нашей стране вещи любят поработать друг за друга, то в Японии дело обстоит совсем по-иному. Вот традиционный японский дом, в котором каждой части помещения соответствуют свои тапочки. Одни — для того чтобы передвигаться по помещению, другие — для туалета, третьи — для ванной. Попав в такой дом, российский человек мгновенно теряется, путается в тапочках, отказывается понять — зачем это нужно и начинает твердить о «загадочной японской душе». А все оттого, что в русской и японской культурах концепция пространства вообще и концепция помещения в частности — разные. Воспитанные необъятными просторами, мы привыкли эти просторы покорять, устремляя свой взор вдаль и не видя, что творится под самым носом.

Тщательное прописывание околотелесного пространства в средневековых литературных текстах оборачивается удивительными открытиями в ближнем пространстве нынешнего дня. Только в Японии мне довелось видеть столь функциональное и продуманное устройство туалета (для ревнителей «высокого»: туалет — это тоже часть культуры; в Токио есть целый музей, посвященный истории «туалетного дела»). В таком туалете спусковой рычаг имеет два положения: первое рассчитано на малую нужду, а второе — на большую. Соответственно этому при спуске обеспечивается разное количество воды. Но это еще не все. Верхняя крышка фаянсового бачка имеет вид раковины. Над ней расположен кран. В тот момент, когда вы спустили воду в унитаз, из крана начинает литься вода. Поскольку она поступает не непосредственно в бачок, а сначала на его верхнюю крышку в форме раковины, расположенной на уровне живота, то у вас есть возможность вымыть руки, прежде чем вода наполнит бачок — для уже повторного использования.

Послевоенное японское «экономическое чудо» — на самом-то деле, разумеется, не чудо, а явление, обусловленное комплексом причин. Может быть, важнейшая из них заключается в умении японцев осуществлять микроманипуляции с микропредметами, а микроэлектроника, как известно, составляет основу современного научно-технического прогресса. В нашей же культурной модели, вдохновляемой бескрайними просторами и упоением имперской мощью, «мелкому» никогда не было места, и она всегда силилась создать нечто грандиозное: самую высокую в мире статую, самую большую ГЭС. «Маленькое» уважения никак не вызывало, ассоциируясь с чем-то несерьезным. Вот как описывает А. А. Игнатьев начало русско-японской войны: «Узнав в Яхт-клубе от престарелого генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского об объявлении войны, Николаев спросил: «Да где же находится Япония?» Когда же Белосельский объяснил, что она расположена на островах, Николаев, улыбнувшись в свои густые седые усы, ответил: «Что ты, что ты, батюшка! Разве может быть империя на островах!»

Да, именно так: на каких-то там островках ничего путного, подобного «настоящей» Империи появиться не может. И оказался прав: японская империя оказалась чрезвычайно недолговечной.

Японский опыт свидетельствует о том, что своих наибольших, признанных всем миром достижений страна достигла, осваивая «науку малого» — будь то поэзия, живопись или микросхема. Иероглиф — изобретение не японское. Однако оно пришлось как нельзя ко двору — сначала государеву, а потом и крестьянскому. Выучившись «китайской грамоте», в которой любая черточка кардинально меняет смысл, японский народ сумел эту науку применить ко всему строю жизни — в самых мельчайших ее проявлениях, из которых, собственно, этот строй и образуется.

Привыкнув смотреть на близком расстоянии, японцы слабо развили в себе способность к межкультурному диалогу. Чужую культуру они всегда усваивали в высшей степени избирательно. Оказываясь же за границей, японцы стремятся жить и действовать по собственным правилам, мало применяясь к обстоятельствам и мало считаясь с тем, как они могут выглядеть в глазах «аборигенов». Отсюда то стойкое недовольство японцами со стороны местного населения — недовольство, которое проявляется практически всюду (будь то Юго-Восточная Азия или США), где японцы, осваивая новые экономические пространства, собираются в многочисленные группы.

Так при экономической экспансии современной Японии в инокультурные регионы проявляются традиционные черты культуры, особый взгляд на мир и пространство.

Авторы этого номера

ДЖОН АПДАЙК (JOHN UPDIKE; род. в 1932 г.) — американский писатель, член американской Академии искусства и науки. Автор романов «Кентавр» («The Centaur», 1963; Национальная книжная премия; рус. пер. в «ИЛ», 1965, № 1,2), «Кролик, беги» («Rabbit, Run», 1960; рус. пер. 1979), «Кролик исцелившийся» («Rabbit Redux», 1971), «Кролик разбогател» («Rabbit is Rich», 1981: рус. пер. 1986), «Кролик на отдыхе» («Rabbit at Rest», 1990). В «Иностранной литературе» напечатаны романы «Ферма» (1967, № 4), «Давай поженимся» (1979, № 7, 8), рассказы из его книг разных лет (1984, № 5; 1992, №10).
Публикуемые рассказы взяты из сборников «Музыкальная школа» («Music School». New York, Alfred A. Knopf, 1966) и «Далека дорога» («Too Far to So». New York, CBS Publication, 1979).

ЖАН-КЛОД БРИСВИЛЬ (JEAN-CLAUDE BRISVILLE; род. в 1922 г.) — французский писатель, драматург. Автор многих пьес, с успехом идущих на французской сцене, в том числе исторических: «Сен-Жюст» («Saint-Just», 1957), «Беседа г-на Декарта с г-ном Паскалем-младшим» («L'Entretien de M. Dekartes avec M. Pascal le jeune», 1985), «Приемная» («L'Antichambre», 1992). За пьесу «Кресло-качалка» («Le Fauteuil à bascule», 1982) был удостоен премии Ибсена и премии Синдиката театральных и музыкальных критиков.
Пьеса «Ужин» опубликована во Франции в 1989 г. и в том же году в Париже состоялась ее премьера («Le Souper». Arles, Actes Sud, 1989).

ГЕРМАН ГЕССЕ (HERMANN HESSE; 1877—1962) — немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии (1946); большую часть жизни прожил в Швейцарии. Русскому читателю известны: повесть «Под колесом» («Unterm Rad», 1906; рус. пер. 1961), романы «Игра в бисер» («Das Glasperlenspiel», 1943; рус. пер. 1963), «Степной Волк» («Der Steppenwolf», 1927; рус. пер. напечатан в «ИЛ», 1977, № 4, 5), сборник повестей «Последнее лето Клингзора» («Klingsors letzter Sommer»), «Клейн и Вагнер» («Klein und Wagner») и «Душа ребенка» («Kinderseele»; Библиотека «ИЛ», 1986).
Роман «Демиан» печатается по изданию собрания сочинений, т. 5 («Demian». Frankfurt am Main, Gesammelte Werke, t. 5, 1970).

ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЙ ШАЛВОВИЧ (род. в 1956 г.) — критик, переводчик с японского, автор статей по японской литературе. В его переводах публиковались романы Юкио Мисимы «Золотой храм» («ИЛ», 1989, № 5), Кэндзи Маруямы «Сердцебиение» («ИЛ», 1991, № 5), рассказы Кобо Абэ, пьеса Ю. Мисимы «Маркиза де Сад», произведения Такэси Кайко, Ясуси Иноуэ, Такако Такахаси и др.

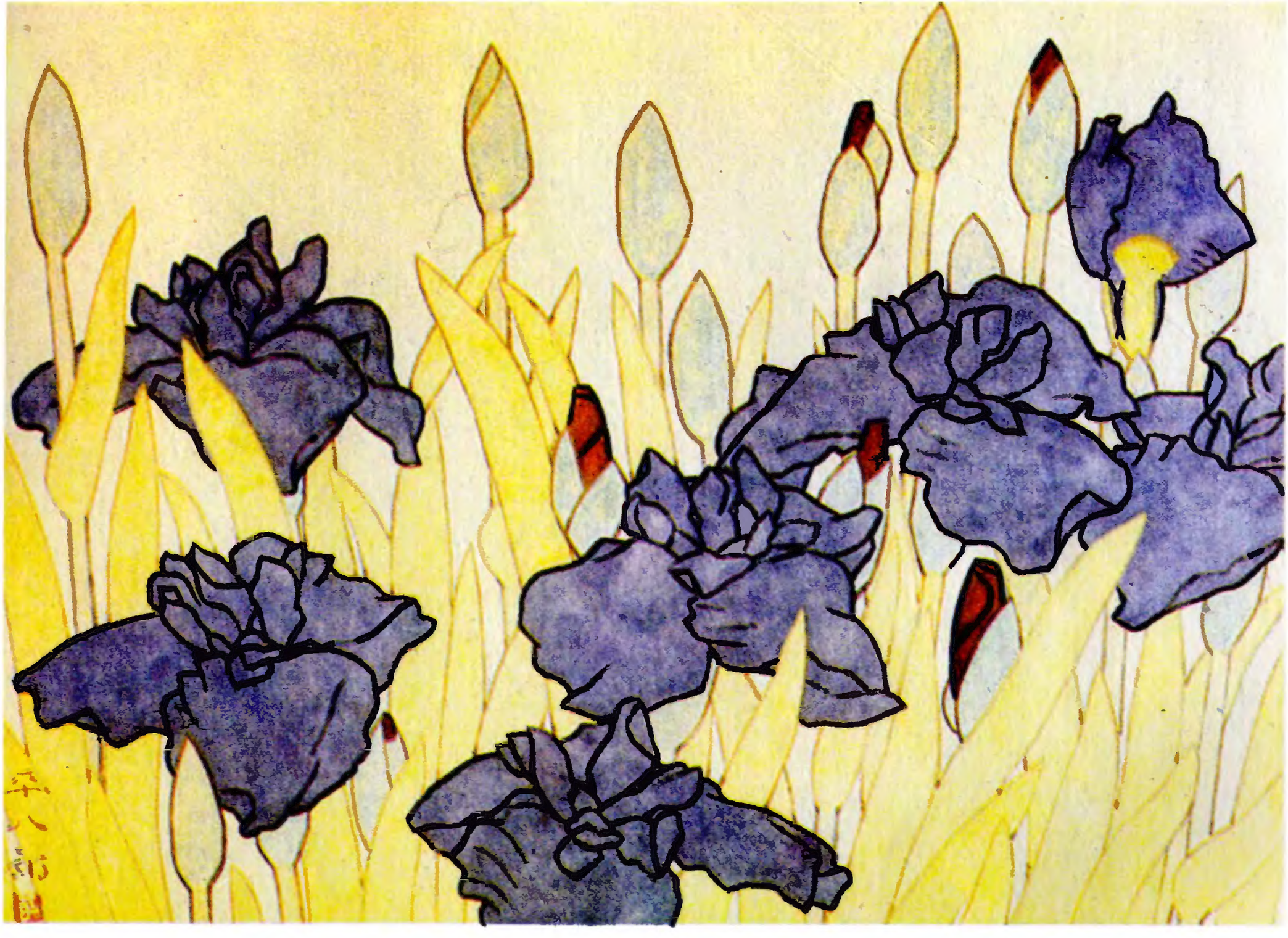
МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1950 г.) — доктор исторических наук, японовед, переводчик; заведует сектором отдела Древнего Востока Института востоковедения Российской Академии наук. Автор работ: «Древняя Япония: буддизм и синтоизм» (1987), «Герои, творцы и хранители японской старины» (1988), «Древняя Япония: культура и текст» (1991).

АЛПАТОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1945 г.) — доктор филологических наук, зав. отделом Института востоковедения Российской Академии наук. Автор книг: «Япония: язык и общество» (М., 1988), «История одного мифа. Марр и марризм» (М., 1991) и др.

ПЕРЕВОДЧИКИ:

КУЗНЕЦОВА ИРИНА ИСАЕВНА — переводчик с французского. В ее переводах публиковались стихи Г. Аполлинера, А. Рембо, Ш. Кро, Б. Ноэля, А. Боске, романы А. де Виньи «Стелло, или Синие демоны», А. Ланжевена «Пыль над городом», С. Пру «Терраса Бернардини», пьесы А. Камю «Осадное положение» («ИЛ», 1990, № 10), Э. Ионеско «Бескорыстный убийца» (Библиотека «ИЛ», 1990) и др.

АПТ СОЛОМОН КОНСТАНТИНОВИЧ (род. в 1921 г.) — литературовед, переводчик. Автор книг «Томас Манн» (М., 1972, в серии «ЖЗЛ»), «Над страницами Томаса Манна» (1980). В его переводах издавались трагедии Эсхила, романы: «Иосиф и его братья» Томаса Манна, «Степной Волк» («ИЛ», 1977, № 4, 5) и «Игра в бисер» Г. Гессе, «Человек без свойств» и «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» Р. Музиля («ИЛ», 1992, № 4), пьесы Б. Брехта и др.



ИНДЕКС 70394

ISSN 0130—6545 «Иностранная литература», № 5 1—256